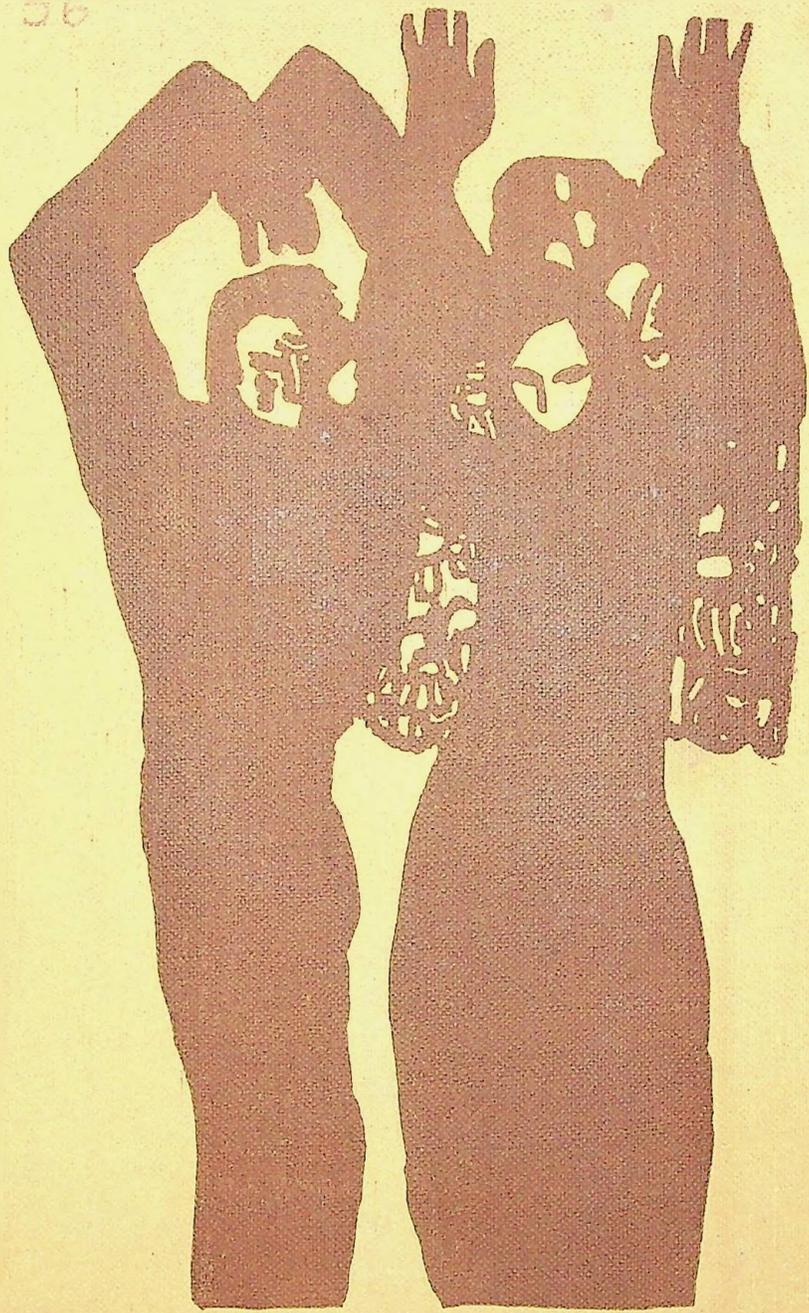


И (И. П.)
а 56



СОВРЕМЕННАЯ
ИСПАНСКАЯ НОВЕЛЛА

СОВРЕМЕННАЯ
ИСПАНСКАЯ
НОВЕЛЛА

ПЕРЕВОД
С ИСПАНСКОГО
И КАТАЛАНСКОГО

и (мен)
с 56



БИБЛИОТЕКА ИТЛ

И 181593

07

Составление, предисловие и справки об авторах
В. Ясного

Редактор Л. Борисевич

7-3-4

76-71

ПРЕДИСЛОВИЕ

Рассказ в Испании — древний и поистине демократический литературный жанр, уходящий своими корнями в фольклор, а потому вобравший в себя народную мудрость, веселое озорство, практическую сметку. На заре нового времени в XIV в. доп Хуан Мануэль создал своего «Графа Луканора» — сборник поразительно изящных, блестяще написанных повелл. Верным спутником «Дон Кихота» и любимым детищем Сервантеса были «Назидательные новеллы». Корифей испанского театра Лопе де Вега, Тирсо де Молина тоже отдали дань рассказу, а в XIX—XX вв. в этом жанре выступали такие выдающиеся писатели, как Бенито Перес Гальдос, Висенте Бласко Ибаьес, Мигель Унамупо.

Новеллистическая традиция жива в Испании и по сегодняшний день. Свидетельство тому — сборники, ежегодно выходящие в свет, и отдельные рассказы, публикуемые в газетах и журналах, многочисленные конкурсы и премии за лучшее в этом жанре произведение. Однако пока мы знаем испанский рассказ хуже, чем роман.

В Советском Союзе опубликованы сборники Камилло Хосе Селы, Виктора Мара, рассказы Аны Марии Матуте, Хуана Гойтисоло; в 1965 г. вышла в свет «Испанская новелла XX в.», вот, пожалуй, и все, если не считать некоторых журнальных публикаций. А между тем за последние 10—15 лет в литературной жизни страны наметились существенные перемены: появились новые имена, произошло в буквальном смысле слова возрождение литературы на каталанском языке; в творчестве ряда писателей усилились критические тенденции; благодаря общенациональной борьбе против режима Франко до известной степени ослабло давление цензуры. Все это во многом определило отбор рассказов для данного сборника, продолжающего линию упомянутой антологии. В него включены в основном вещи, написанные в 1955—1968 гг. и по преимуществу опубликованные в последних изданиях.

Всего в сборнике помещены произведения тридцати писателей, принадлежащих к разным поколениям, от начинавших еще в 20-х годах до тех, кто совсем недавно выступил на страницах газет и журналов. Словом, мы стремились как можно полнее представить современный испанский рассказ. Однако объем книги ограничен, поэтому читатель не найдет здесь имен Хуана Антонио де Суньегги, Камилло Хосе Селы, Альфонсо Гроссо, Хуана Гойтисоло и других, уже знакомых ему по русским переводам, зато узнает многие имена, до сих пор у нас неизвестные.

Новеллы сборника не похожи одна на другую: здесь и бытовые зарисовки, и психологические этюды, и полные драматизма миниатюры, и забавные жапуровые сцены, и новеллы-портреты. Но есть у них и общее. Как правило, авторов не интересует сюжет, приводящий к неожиданной развязке, они не стремятся морализировать, а лишь свидетельствуют, повествуют без назидания, так, чтобы сам читатель мог сделать тот или иной вывод.

Однако главное, что сближает большинство писателей, представленных в этом сборнике,— их отношение к действительности, к тоталитарному режиму, пагубно влияющему на все стороны испанской жизни. Франкизм оказался неспособным самостоятельно решать важнейшие социальные и экономические проблемы. Но он же оказался бессильным подавить стремление народных масс к свободе, к самосознанию, лишить их права мыслить.

«Перефразировал слова Брехта,— писал один из прогрессивных испанских критиков,— мы можем сказать, что молодые испанские писатели определяют свои творческие позиции, исходя из потребностей борьбы с фашизмом»*.

* Martín Díaz. La estética del realismo y la joven literatura española, "Nuestras ideas", 1962, № 13—14.

Отсюда гражданственность, острое чувство современности, внимание к насущным социальным проблемам, отличающие прогрессивных испанских художников, их бунт против всякой официозности, гуманизм, демократичность, критическое отношение ко всем институтам буржуазного общества.

Подобная позиция в известной степени определяет тематику современного рассказа. Писателей интересует положение крестьян, быт рабочих и обитателей городских окраин, мелких чиновников. Нередко они обращаются к прошлому, и прежде всего к событиям гражданской войны.

Одно из центральных мест в современном рассказе занимает деревня. И это не случайно. Крестьянская тема традиционна для Испании, ей посвящены произведения многих художников былых времен, не утратила своего значения она и сегодня. Испанию по-прежнему можно назвать крестьянской страной, и по-прежнему в ней не только существует, но и увеличивается разрыв между уровнем жизни в городе и деревне. Крестьянские паренки шеголяют с транзистором, во многих домах смотрят передачи Мадридского телевидения, но, как и раньше, испанский крестьянин не в состоянии прокормить свою семью. Своеобразная нищета атомного века, который к обычным заботам крестьянина прибавил новые. Рухнула прочно сложившийся уклад жизни. В поисках работы, сносного существования миллионы людей бросают родные места, уходят в город, эмигрируют.

С середины 50-х годов деревня привлекает особое внимание испанских писателей. Для них судьба деревни — это судьба самой отсталой, самой страдающей и все еще весьма многочисленной части народа. В произведениях различных авторов деревенская тема предстает перед нами в различных аспектах. Одни воссоздают косный быт крестьянина, мир которого ограничен полем и домом (как Мауро Мунье в своем «Празднике»). Другие (например, Хулио Эскобар в рассказе «Ребенок прежде всего») стараются постичь природу консервативного крестьянского мышления, суровых нравов, собственнической морали.

Для каталонского писателя старшего поколения Хуана Себастьяна Арбо, пишущего на каталанском и испанском языках («Проклятая смоковница», «Мой брат Кико»), характерно стремление к психологическому анализу. С любовью, очень тщательно рисует он внутренний мир своих персонажей, объясняет мотивы их иногда неожиданных поступков, обнаруживая за внешне спокойным течением повседневной жизни скрытый драматизм.

Однако наиболее характерной темой для испанской литературы о деревне 60-х годов является тема исхода. Столь не похожие друг на друга Рикардо Доменеч, Родриго Рубио, Мауро Муњис и многие другие вновь и вновь возвращаются к этой проблеме, которая была поднята десятилетие назад. В повелле Домепеча «Письмо» старый поденщик-лесоруб, никогда не уезжавший из родных мест, после мучительных раздумий отправляется в город к старшему сыну. За четверть века в своей полуразвалившейся хижине он ничего не накопил, кроме нескольких старых бутылок, жестянок да горы тряпья. Но здесь он вырос, здесь его дом. Все хорошее, что у него было, было здесь. И так же, как этот старый поденщик, снимаются с насиженных мест герои Родриго Рубио. Вредут по стране в поисках работы молодые ребята у Мауро Муњиса, ничего не видя, ни о чем не думая, не отвечая на приветствия, измученные, обессиленные.

Луиса Гойтисоло, Франсиско Канделя, Хулио Товара больше интересуют город, и герои их — рабочие, маленькие люди, перебивающиеся случайными заработками, вчерашние крестьяне, неудачливые чиновники — те, кто отвергнут обществом. Существование этих людей ушло, полно мелких повседневных забот, от которых никуда не уйти, им надоела эта жизнь с постоянной нехваткой денег, с изматывающей работой, с вечной зависимостью от власти имущих, от полицейского, от падре, от каждого, кто хоть на ступень поднялся выше по служебной лестнице. Эти повеллы пропитаны ощущением неблагополучия, неустroенности, назревающей катастрофы.

Бесконечно одинок старый садовник в повелле Луиса Гойтисоло «Цветник», на глазах которого под колесами автомобиля погибает жена. Однако по-прежнему мчатся по шоссе машины, недавние свидетели драмы вернулись к своим делам. Гибель старухи — лишь незначительный эпизод в жизни большого города. Никому не нужен старый, некогда знаменитый актер из повеллы «Время и память» Фернана Гомеса, доживающий свои дни в богадельне, в окружении таких же немощных и тоже никому не нужных людей.

Именно в городе с особой силой проявляется один из основных конфликтов капиталистического мира — противоречие между личностью и обществом, отчуждение человека, безразличие общества к человеку, тенденция к пивелировке, превращению индивидуума в некий стандарт, освобожденный от мыслей и эмоций.

В рассказах о мелких служащих, пожалуй, наиболее остро встают эти проблемы. Испания всегда была страпой бюрократической, при франкизме же ее чиновничий аппарат чудовищно разросся. Современный испанский чиновник — точно подогнанная без-

отказная деталь огромной безликой машины. И поэтому, когда молоденький служащий в новелле Фернандеса Косеро «Вслед за мертвецами» вдруг пытается бунтовать, отказываясь от повышения, потому что ему придется пересест на место, где не бывает солнца,— это даже не вызывает возмущения: начальству такое поведение просто непонятно. Немыслима хоть какая-нибудь самостоятельность стандартного винтика, который по самой своей природе не может иметь собственное мнение, тем более протестовать. И бунт скоро заканчивается прозаическим расчетом: сколько еще остается ступеней до стула заместителя директора.

Герои рассказов Франсиско Кандела и Мауро Муньиса обитают в барселонских трущобах, они невежественны, нравы их дики, постоянная забота о хлебе насущном притупляет в них многие человеческие чувства, делает этих людей грубыми. И все-таки они непосредственны, отзывчивы, умеют не унывать вопреки всему, готовы постоять друг за друга, когда на них обрушивается беда. Но есть у Мауро Муньиса и другой герой — рабочий. И как правило, рабочий молодой. Обычно это независимые, уверенные в своих силах парни. И если такой парень остается без работы, его не столько пугает отсутствие денег, сколько угнетает необходимость унижаться перед кем-то («В поисках работы»). Когда же в его руках первые заработанные деньги («Получка»), он горд, преисполнен собственного достоинства, чувствует себя кормильцем семьи. И все же работает этот парень не на себя. Постепенно в нем нарастает протест против существующего порядка, появляется желание любой ценой, даже ценой увечья, хоть на несколько дней почувствовать себя свободным («Ожог»).

Более тридцати лет прошло с тех пор, как умолкли в Испании последние выстрелы гражданской войны, и среднее поколение писателей лишь смутно помнит ее, поскольку многие из пишущих сегодня были только свидетелями, которые далеко не всегда могли постичь смысл происходящего. Но с тем большим вниманием возвращаются они вновь и вновь к этой теме. «Романа о войне, разумеется, не создал никто из нас,— писала Ана Мария Матуте,— но трудно найти книгу моего поколения, где в той или иной форме, на той или другой странице не возникала бы война. Она оказалась нашим наследством...» *

В стремлении разобраться в прошлом без предвзятости, без предубеждения не только желание установить истину вопреки

* Ана Мария Матуте, Гражданская война и писатели моего поколения, «Иностранная литература», 1966, № 9.

официальной пропаганде: испанские писатели хотят постичь и художественно осмыслить ход событий на их родине за последнюю треть века.

В рассказах Хесуса Фернандеса Сантоса, Аны Марии Матуте, Антонио Рабинада, Антонио Пуньеса война дана глазами детей. «Гражданская война была глубокой раной, навсегда отметившей мою писательскую жизнь»*, — говорит Аня Мария Матуте. Война отняла у этих писателей, как и у их маленьких героев, детство, столкнула со злом и смертью, кровью и страданием. Тогда не каждый мог понять, на чьей стороне правда. Кос-кого могла пленить дробь барабанов, победные песни и знамена победителей. Но скорее чувством, чем разумом, многие начинали ненавидеть ложь, жестокость, бессмысленные убийства, открывали для себя, как это происходит с героем Антонио Рабинада («Женщина в трауре»), что война не кончилась, что она будет продолжаться, «пока сердце этой женщины будет полно горя».

Так началось неприятие франкистской действительности.

Некоторых писателей особенно интересует психология человека на войне, обнажающей прежде скрытые стороны его характера, побуждающей часто к поступкам, совершенно ему не свойственным. Для очень многих испанцев война была стихийным взрывом, который дал выход долгим годам копившемуся недовольству, возмущению, ненависти. К этим мрачным сторонам войны обращается Аня Мария Матуте в повелле «Учитель».

Для этого направления характерна и повелла «Машина» Рикардо Фернандеса де ла Регеры, уже известного советскому читателю по антивоенному роману «Ложись!». Сквозь аллегорическое изображение массовых убийств, ужасов и людских страданий (чем-то напоминающее «Капричос» Гоин) прорывается возмущение писателя бессмысленной бойней, в которую империалистические правители втягивают народы.

Других интересует не столько сама война, сколько ее последствия, они пишут о тех, кому война сломала жизнь, кто потерял своих близких; о детях, отцы которых томятся в тюрьмах и концентрационных лагерях; о матерях, сыновья которых не вернулись с войны. Таково «Первое свидание» Антонио Пуньеса, «Женщина в трауре», «Очередь» Антонио Рабинада.

Расправа над коммунистами, над теми, кто остался верен республике или был заподозрен в сочувствии к «красным» — одно из самых страшных преступлений в истории Испании, которое можно сравнить только с деланиями инквизиции. Франкистские застен-

* Там же.

ки предварили гитлеровские лагеря смерти. Рассказу о том, что там происходило, быть может, наиболее соответствует форма, избранная Мерседес Нуньес, писательницей, до сих пор находящейся в эмиграции. В своих новеллах («Тюрьма Вентас») она протокольно точно и немногословно воспроизводит быт мадридской жепской тюрьмы в первые годы после победы франкистов. Казни, зачастую без суда и следствия, истязания, бесконечное унижение человеческого достоинства, дети, умирающие на руках матерей, болезни, разлука с близкими; потерявшие человеческий облик надзиратели, палачи — и всему этому противопоставлена твердость духа, стойкость испанских женщин, взаимовыручка, убежденность в победе правого дела.

Испанские писатели много и охотно пишут о детях и молодежи. Далекие от идеализации, они показывают детей всякими: ласковыми и злыми, обидчивыми и нежными, веселыми и насмешливыми, легкомысленными и не по летам серьезными. В коротких неторопливых зарисовках Артуро дель Ойо мы видим детей наедине с природой. Они спокойно наблюдают окружающий мир, переживают маленькие радости и первые тревоги («Нора», «Первая охота»). Дети у других писателей, едва вступив в жизнь, познают жестокую реальность: лицемерие и ложь, обман и зависть. Долорес Медно вводит читателя во внутренний мир подростков, которым приходится решать серьезные нравственные проблемы, с юных лет становиться опорой семьи, бороться за ее благополучие («Андрес»), зарабатывать на жизнь, сталкиваясь с недоверием, высокомерием старших («Во второй раз», «Несправедливость»).

Неизбывной материнской любовью к детям, острой болью за их судьбы и поистине диккенсовской добротой проникнуты лаконичные, полные внутреннего драматизма новеллы Аны Марии Матуте. Только они не имеют, как у Диккенса, счастливого конца, да и не может его быть в мрачном и равнодушном мире, в котором живут маленькие герои писательницы. С детства отнято у них право на счастье, очень скоро сталкиваются они с эгоизмом и низостью, подлостью и грязью. Для многих из них жизнь начинается трагедией: на глазах у десятилетнего Ремо гибнут последние защитники республики, фашисты расстреливают его мать («Рассвет»). Не сбылась мечта увидеть цирк шестилетнего приютского воспитанника, прозванного Маленьким Циркачом («Рождество Маленького Циркача»). Он бежит из приюта в погоне за своей мечтой и замерзает на площади, где недавно останавливался бродячий цирк.

Рассказы о детях, быть может, с особой остротой подчеркивают, насколько чужд гуманизм капиталистическому обществу.

Современная испанская повелла очень современна и очень национальна. Это сказывается и в ее проблематике, и в эстетическом осмыслении действительности художниками, и в структуре образов, в мышлении героев. Но есть тема, сталкиваясь с которой мы ощущаем это в еще большей степени. Такова тема корриды, боя быков. Едва ли пужно говорить, что значит коррида для испанца и сегодня. Тореро издавна почитаются как национальные герои и более известны, чем выдающиеся писатели или политические деятели. Коррида в Испании — праздник и спорт, школа мужества и воспитания характера.

Вот почему на протяжении столетий воспевается в литературе тореро, до сих пор устраиваются конкурсы на лучшее произведение о корриде. Нет, очевидно, писателя, который не обратился бы когда-либо к этой теме. Некоторые из них целиком посвятили себя тауромахии. Но тема эта значительно шире ее названия. Она органично включает в себя традиционные для испанской литературы мотивы крови и смерти, безрассудного мужества и стойкости, силы и храбрости, терпения и выдержки.

О корриде пишут по-разному. Писатели-реалисты чаще видят в ней не только праздник, романтическое, захватывающее зрелище, но и тяжелый, связанный с риском для жизни труд.

Сегодня коррида в Испании — своего рода индустрия, с которой в той или иной мере связано значительное число людей, работающих на фермах, где выращиваются быки, обслуживающих само зрелище и, наконец, тех, кто непосредственно участвует в бое быков.

Бой быков становится средством делать деньги, и только деньги. Таким предстает он в повеллах Фернандо Кишьонеса. обстоятельно и спокойно, с некоторой долей грусти Кишьонес показывает нам непосильный труд тореро, целиком зависящего от предпринимателя. Усталость от ежедневных боев, бесконечный калейдоскоп городов, названия которых, как и имена товарищей по работе, невозможно запомнить; ушибы, рапы и выступления, выступления — болен ты или здоров. Тореро не принадлежит себе. «Я тебя сделал!» — кричит ему импресарио в повелле «Большой сезон», считающий идеальным того тореро, кому «зад быка нравятся больше, чем женское лицо».

Но и слава победителя мимолетна. Известный юморист Альваро Ланглесна с присущей ему мягкой усмешкой, добродушным юмором, к которому примешивается ирония, рассказывает о том, как восхищенные почитатели несут на руках в гостиницу очередного кумира («Энтузиазм»). Но идти-то чуть ли не через весь город, восторженный порыв гаснет, и незадачливый триумфатор вынуж-

деп плестись в гостиницу в своем нелепом на улицах делового города парадном наряде.

Миновали лучшие времена для опустившегося безработного бандерильеро, ставшего прихлебателем провинциального певца. Горькой судьбе этого человека посвящен рассказ недавно умершего Игнасио Альдекоа, одного из самых популярных новеллистов Испании, в творчестве которого органически сливаются трагедия и фарс, возвышенное и будничное. Рассказы Альдекоа, к чему бы он ни обращался, исполнены протеста против дикости и бессмысленности бытия во франкистской Испании.

Некоторые читатели, очевидно, полагают, будто литература Испании создается на одном языке. В действительности же на протяжении многих веков развивается тесно связанная с испанской, но самостоятельная литература Каталонии, одной из наиболее развитых в экономическом и культурном отношении областей страны с древними и богатыми традициями. В период республики, когда Каталония получила автономию, и во время гражданской войны литература на каталанском языке переживала период расцвета.

Франкизм, беспощадно душивший всякое проявление свободно-го слова, пытался заставить несколько миллионов жителей Каталонии и Балеарских островов забыть родной язык. Было запрещено преподавать его в школах, издавать на нем газеты и журналы. Многие прогрессивные писатели Каталонии эмигрировали, другим приходилось писать только на испанском. Под угрозой оказалась древняя самобытная культура, давшая не только Испании, но и всему миру ряд известных имен. Сложные миграционные процессы, происходившие в стране, массовые исходы крестьян в большие города, говорившие преимущественно на испанском, переселение в Каталонию более миллиона жителей южных провинций вызвали опасность постепенного исчезновения каталанского языка.

Но вопреки всему этому, вопреки гонениям и попыткам франкизма отлучить парод от родного языка он сохранился.

В сборнике впервые на русском языке публикуются рассказы двух писателей, переведенные с каталанского — Сальвадора Эсприу и Мануэля Педроло. Впрочем, каталонская литература представлена здесь несколько шире, потому что Хуан Себастьян Арбо и Франсиско Кандель (о которых упоминалось выше) пишут не только на испанском, но и на родном языке.

Естественно, что рассказы четырех писателей не могут дать сколько-нибудь законченного представления о литературе целого народа. Пока это первое мимолетное знакомство. Однако и оно дает представление о некоторых характерных чертах новой ката-

лонской литературы. Весьма значительное место занимает в ней Мануэль Педроло. Педроло, как и многих писателей, пишущих на испанском языке, интересуют взаимоотношения личности и общества, отчуждение человека, его обезличивание в современном капиталистическом мире. Внимание Мануэля Педроло привлекают самые заурядные люди, жизнь для них — цепь враждебных, непреодолимых обстоятельств, в столкновении с которыми они проникаются сознанием безысходности, тщетности всяких попыток изменить что-либо в своем жалком существовании. Стиль писателя лаконичен, временами грубоват, не лишен элементов гротеска.

В небольшой повелле «Бумаги» герой Педроло вынужден доказывать, что он существует. Но сделать это почти невозможно, ибо в бюрократическом государстве сам факт существования еще ничего не значит, если нет подтверждающего его документа. Когда же такой документ наконец готов, получить его уже некому, ибо тот, кто его добивался, отправился на тот свет.

«Летиция» Сальвadora Эсприу позволяет составить некоторое представление о творческой манере одного из наиболее известных каталонских писателей старшего поколения, его пролическом остроумии, изяществе. Пародируя «новеллы ужасов» Эдгара По, Эсприу всласть издевается над обществом, собравшимся после похорон Летиции, в том числе и над безутешным мужем, находящим успокоение в объятиях таинственной красавицы.

Даже короткое знакомство с новеллистами сегодняшней Испании позволяет нам лучше узнать ее народ, мысли и чувства рядового испанца, его радости и невзгоды, проблемы, которые еще предстоит ему решить в ходе все более успешной борьбы с диктаторским режимом, продолжающейся не одно десятилетие.

Привлекает нас в этих повеллах глубокое проникновение в сущность явлений испанской действительности, гуманизм авторов. Знакомясь с ними, мы вновь убеждаемся, что испанское литературное мастерство не умерло, не порвало связей с народными истоками. Поэтому хочется верить, сборник не оставит равнодушным советского читателя.

В. Ясный



ЛОШАДЬ ПИКАДОРА

Небо, взрезанное лезвиями стрех, истекало звездами. Тишину нарушали песни пирующих и стук палок ночных сторожей, которые спешили открыть дверь дома, услышав, как хлопает в ладоши кто-нибудь из жильцов. Худенький мужчина с гитарой в футляре под мышкой охранял веселье молодых сеньорито. В темноте какая-то женщина спорила со своим поклонником, спор иногда переходил в приглушенную брань, порой нецензурную. Свет из таверны в местном стиле едва просачивался на улицу.

Хуан Родриго — чванливый, как парикмахер, и обычно едва цедящий слова, выстукивал на столе своей аристократической рукой какую-то андалузскую мелодию и пил вино, строго выполняя классический ритуал. Превыше бога и богородицы хорошие андалузское вино. Он сидел, широко расставив ноги, и шар его живота словно парил в воздухе. Его прямо подбритые бакенбарды доходили до мочек ушей. С видом

мудреца Хуан Родриго изрекал афоризмы, давал лаконичные советы, и все это на андалузском наречии. Сейчас он что-то неторопливо разъяснял маленькому человечку за прилавком, который двигался проворно, как мышь, и певучим голоском благодарил клиентов за чаевые, рассеянно и в то же время почтительно.

— Ты, Маполийо *, говори все, что тебе угодно, но меня не собьешь с толку. Тот, кто пошел в монахи из поваров, встряпне разбирается.

— Знаю, Родриго, знаю.— Человечек изображал самую любезную улыбку, выдвигая ящик, чтобы положить туда деньги.— Большое спасибо, сеньор... Да, Родриго, и все же этот вопрос весьма запутанный.

— Что ты знаешь об этом и о том, как ты появился на свет, бестолочь! Ты слушай, а дела будут идти своим ходом.

Величественный бздельник вещал с ученым видом, торжественно поводя сигарой, обрезанной золотыми ножничками.

— Что ты мне можешь сказать? Разве я когда-нибудь грузил уголь? Или милостыню просил? Конечно, я не инженер, но по положению не ниже инженера. Я это дело знаю, потому что обязан знать.

Отрываясь от беседы с Хуаном Родриго, человечек за прилавком срывал злость на своих официантах.

— Вы плохо обслуживаете, Лупа, а если клиент поднимет скандал? Кто нам платит, по-вашему? Ведь вам сколько ни говори...

В таверну вошел посетитель, слегка навеселе. Хуан Родриго поздоровался с ним легким движением головы. Это был бандерильеро, из тех, которые выступают в деревенских корридах, белый от солнца, извести и морозов, высохший, словно скелет, брошенный в пустыне.

— Привет, Родриго! И ты еще разговариваешь с этим лихоймцем? После двенадцати ночи он продает вино по две песеты без закуски. Но бог с ним. Куда мы идем?

Не дожидаясь ответа, он повернулся в другую сторону.

— Ты был на сегодняшней корриде? Смотреть не на что! Зрелище для туристов! Любительский спектакль! Нашли себе манекен. Сопляк! Ему таблицу умножения учить, а он на пер-

* Андалузское произношение Маполийо, уменьшительного от Мапуэль.— *Прим. перса.*

вом месте в афише. Невежество умопомрачительное! Иначе чем все это объяснить? Чтобы выступать в Мадриде, нужно приобрести опыт, завоевать репутацию. Посмотрели бы вы в мое время... Вот это были быки! Какие упи, какие морды! Богородица пресвятая, если бы они вышли на арену сейчас!.. А в газетах завтра напишут, что это было восьмое чудо свста. Просто смешно, Родриго, просто смешно!.. Вы разрешите мне рюмочку? Как-то раз я выступал дублером, правда, в Сан-Фелисес... Всем ребятам в куадрилье было по двадцать лет. У всех борода и усы, треуголки. Настоящие боевые слоны.

Родриго прервал его речь, выплюнув окурок сигары:

— Выключи свой фонтан, дружок, а то мы захлебнемся. Тебе ли разглагольствовать, если ты сражался только с улитками в супе! Когда па тебя выпускали быка, у тебя в жилах останавливалась кровь и ты дергался, как в пляске святого Витта!

Несчастный бандерильеро делал вид, что принимает слова Родриго за шутку, ибо любой спор с ним кончался криком; завсегдатаи таверны часто подзадоривали бандерильеро, полагая, что он просто лопается от желания всех рассмешить.

— Вы разрешите рюмочку?

Старый тореро все сносил, довольствуясь рюмкой вина на чужой счет. Родриго откинулся назад, чтобы все видели брелоки, бряцавшие на его жилете.

— Все, что будет угодно нашему другу,— бросил он, обращаясь к хозяину.

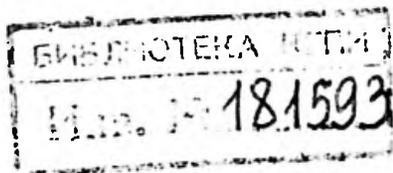
— Сразу видно, что ты богат, Родриго!

— Я? Богат?

— Как крез, Родриго. У тебя есть денежки и дом, а я,— бандерильеро немного играл, на этот раз роль бедняка из сентиментальной мелодрамы,— сам видишь, в моем возрасте — и без единого сентимо, существую благодаря помощи друзей, пока еще они находятся. Вообще-то у меня были друзья, и когда я только начинал и подавал большие надежды. К тому же я болен.— Он показал на грудь.— Одной ногой в могиле.

— Не говори мне о своих бедах. О бедах не надо,— замахал руками Родриго.— Хватит! Всем нелегко. Так что не рассказывай. Всему свое место. Для этого есть исповедальня. Угости сеньора чем-нибудь, Манольйо.

Тореро был одет бедно и чисто. Шею и залатанную манишку прикрывал платок. Хуан Родриго выпустил клуб дыма прямо ему в лицо, чтобы тот отодвинулся, и похлопал себя



по жирному бедру, туго обтянутому черными брюками, в каких щеголяют красавцы и танцоры. Тореро попытался отработать угощение.

— Сегодня, Родриго, как раз подходящий вечер, чтобы подловить сына нашего вельможи и его дружков. Только не надо женщин, с ними всегда выходит скандал.

Бандерильеро во всем поддакивал Родриго, терпя его злые шутки и выполняя его поручения. Для этого он и нужен был Родриго, который поднимал беднягу на смех, веселя собутыльников.

Тореро все выносил ради куска хлеба. Но иногда жаловался.

— Я не могу защитить свое достоинство, Родриго, и поэтому ты надо мной насмеяешься.

— Ну и бесстыдник! Прямо нахал!

— Нехорошо ты поступаешь, Родриго, нехорошо.

— А ты продашь прах своих предков за тарелку чечевичной похлебки.

— Нужда, Родриго.

— Ша-ло-пай-ство, — по слогам произнес тот.

Тореро взял рюмку вина и поднял тост за Хуана Родриго.

— За твое здоровье.

— Хотелось бы мне пожить подольше!

— Ты из железа сделан.

— К твоей же выгоде.

Хуан Родриго сдвинул шляпу на затылок и взял новую сигару.

— Было бы неплохо, если бы мы подцепили докторишку с его компанией.

— Олэ! Можно было бы спеть им, я сегодня в ударе.

— Да здравствуют настоящие мужчины!

Вошел подросток в белой курточке посыльного и обратился к Хуану Родриго:

— Добрый вечер дону Хуану и всему обществу.

— Добрый вечер.

— Меня прислали от Пако. Там в отдельном кабинете — сеньорито Альберто и его друзья.

— Что это за квадрилья, Родриго? — спросил тореро.

— Неплохая. А они очень навеселе?

— Не без этого, — ответил посыльный.

— Женщины есть?

— Нет, одни мужчины.

— Гитаристы?

— Перилья.

— Хорошо. — Он помолчал. — Ты на машине?

— Да, сеньор. На улице вас ждет такси.

— Мы сейчас идем, и возьми это на память о допе Хуане Родриго. — Он вытащил из жилетного кармана два дура.

— Премного благодарен, дон Хуан.

Сеньорито Альберто и его друзья приняли дону Хуана и тореро одобрительным свистом, радостными возгласами, тотчас предложили вина.

— А вот и чудо — Родриго со своим спутником.

Кто-то пел, подражая народной манере.

— А ну-ка покажите свое искусство. Посмотрим, как свищут щеглы по ночам.

Хуан Родриго, корректный и обаятельный, почтительно здоровался с юными почитателями андалузских традиций. Представив тореро, дон Хуан обратился к нему:

— Вот один из кабальеро, каких уже мало осталось, — дон Альберто, хозяин половины Толедо. Не так уж много, а как умеет жить! Вот человек!

Тореро счел нужным восхититься:

— Какое пиршество! Пепе Трепа всегда к вашим услугам, сеньор.

Компания была на взводе. Все сидели без пиджаков; в нос бил смешанный запах маисанильи, табака и пота. Перилья сидел немного в стороне, положив руки на гитару. Прополоскав рот вином, Родриго объяснил:

— Надо смочить голосовые связки.

— Родриго, милый, — обратился к нему сеньорито Альберто, — сегодня ты должен от души угостить нас своими песнями.

— С превеликим наслаждением. Я пришел с этой клячей, — он показал на тореро, — которую не берут даже никадором, и готов доставить вам удовольствие, насколько это в моих силах.

Положив за ухо сигарету, которую ему дали, тореро обратился к певцу:

— Посмотрим, Хуан, удастся ли тебе своим пением изгнать из наших тел муки, которые нас терзают.

Один из прихлебателей сеньорито Альберто нарушил эту церемонию злым замечанием:

— Если тебя терзают муки, иди прочь — нам нужны весельчаки, которые будут нас развлекать.

Тореро попытался сгладить свою оплошность.

— Я только хотел сказать...

Но прихлебатель не унимался.

— А мне наплевать на то, что ты хотел сказать. Почему это я должен слушать твою белиберду?

— По-моему, я веду себя прилично, и не надо меня оскорблять. Я держусь прилично, бываю в приличном обществе. Зачем же оскорблять человека?

С видом миротворца вмешался сеньорито Альберто:

— Ну что ты, Рамирич! К чему так кипятиться! Давайте-ка выпьем по рюмочке, а Родригито нам споет для начала фандапго.

Перилья стал подкручивать колки, а прихлебатель, выпив залпом мансанилью, зло сетовал другу:

— Этот дурак все настроение мне испортил своими муками.

— Да брось ты, Рамиро! — успокаивал его сеньорито Альберто.

Повсюду пустые бутылки. Стоит глубокая почь. Время от времени кто-нибудь выходит и возвращается бледный, вытирая платком губы. Жарко, накурено. Звучат кадисские песни и танцы. Новые блюда с ветчиной, новые бутылки. Один из весельчаков философствует:

— Если б мы жили в древнем Риме, ребята, прямо здесь разместили бы vomitorии! Жалко, что баб не позвали, была бы вакханалия первый сорт.

Потный Хуан Родриго, в расстегнутой па жирной безволосой груди рубашке, не переставая пел и пил. Но сеньорито Альберто мрачнел с каждым глотком.

— Спой аргентинское танго, Родригито, чтоб за душу взяло.

Свита изобразила ужас.

— Опомнись, Альберто! Если бы это сказал кто-нибудь другой, мы б его изгнали из храма.

Тореро то и дело скользил по замызанному полу, залитому мансанильей и покрытому окурками, но хмелю не поддавался и не падал.

— Смотрите, он сейчас свалится. Это не андалузец, а дерьмо.

Еще бутылки. Еще ломти окорока. Гитарист не пил.

— С меня хватит содовой.

— Так ты тоже дутый андалузец?!

Хуан Родриго тянул андалузскую песню, не находившую

отклика у сеньорито. Наступал момент, когда пробуждаются животные инстинкты. Кто-то смел со стола на пол бутылки и рюмки. Прихлебатель Рамирин порезал себе палец.

Хуан Родриго пел тихо — слишком много выпил. У прихлебателя появилась блестящая мысль, и он позвал официанта.

— Эй, послушай, принеси-ка нам воронку.

Хуан Родриго все тянул андалузскую песню, а Рамирин объявил свой план:

— Не умеет пить — не надо. Мы ему вставим воронку, и он панется так, как никогда в жизни не напивался. Вот посмотрите.

План был великолепный. Официант принес большую воронку, через которую разливают по бочкам и большим оплетенным бутылкам вино.

— Другой нет.

— Годится и эта.

Официант исчез.

— Подержите-ка тореро, он хочет как следует выпить, — сказал прихлебатель. — Ты принеси бутылку. А ты усади его, и пусть откроет рот.

Пепе Трепу, друга Хуана Родриго, бывшего тореро, страдающего грудью, усадили на стул.

— Открой рот.

Ничего не соображая, он повиновался. Прихлебатель Рамирин вставил ему в рот воронку и начал лить вино.

— Еще бутылку! Еще! Он панется так, как никогда в жизни не напивался.

Пепе Трепа, мужчина пятидесяти семи лет, без денег и без друзей, задыхался. Он стал брыкаться. Раздался смех. Он продолжал брыкаться.

— Как лошадь пикадора. Кляча протягивает ноги! Хватайте его за поги!

Всем было очень смешно.

Родриго запротестовал, когда уже было поздно. Глаза тореро остекленели, вылезли из орбит, он вдруг обмяк. Его отпустили, и он упал на пол. Золотая мансанилья смешалась с кровью Пепе. Все замолчали в изумлении и страхе, послышался только вздох, будто из мехов вышел воздух.

— Какая чепуха! — сказал Перилья.

— Не может быть! — сказал Хуан Родриго. — Так не шутят.

— Я пошел, — сказал сеньорито Альберто.

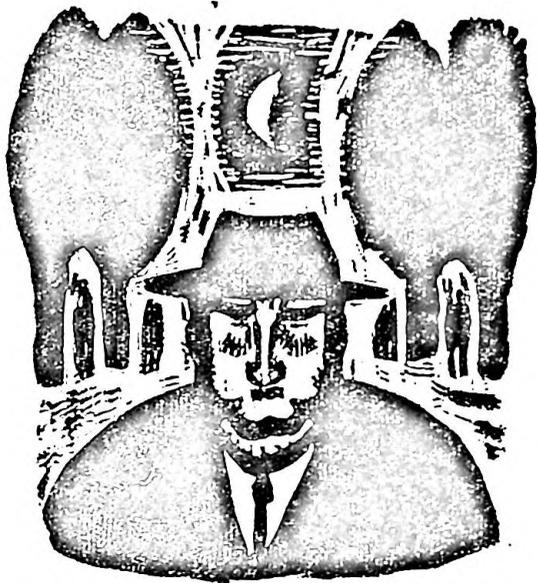
Утренний свет пропикал в комнату через щели в ставнях, прокладывая себе путь сквозь табачный дым.

— Его убили,— сказал Перилья.

Рот тореро был открыт, крупные желтые, как у лошадей пикадоров, зубы оскалены.

— Не может быть, не может.

Как у лошадей пикадоров.



ПЫЛАЮЩИЙ МЕЧ

Ему казалось, что он приклеился к гуттаперчевому сиденью своего кресла; и вода в стакане была теплая, и по кабинету летал с жужжащим слепень, и полуботинки страшно жали распухшие ноги. Он опустил мадридскую газету на стол, накрыв бумаги, ждавшие его подписи и тс, которые он уже подписал. Повернул голову к балкону, выходящему в поле, и посмотрел на горизонт, утопавший в светло-красном вине сумерек. Пшеница желтела как одержимая, по дороге брело стадо овец, поднимая пурпурное облако.

— Сеньор алькальд велел тебе подождать.

— И сегодня ждать?

— Каждую субботу, пока не придет зима или не наступит беда.

— Хоть бы до чего-нибудь хорошего додумался...

Алькальд протянул руку к колокольчику и даже тронул его. Он чуть было не позвонил швейцару и не сказал, что-

бы жапдарм отправлялся к дьяволу или в таверну, по подумал, что у него есть долг, что долг — самое важное для честного человека и что тот, кто находится на высокой должности и не выполняет своего долга, не заслуживает высокой должности. Стадо овец двигалось очень медленно, и облако, которое оно поднимало, становилось постепенно фиолетовым — смеркалось.

— Значит, не играть мне в домино, пока не пойдут дожди.

— Ничего не подслашь.

— Ну и угораздило же меня...

— Не пужно сердиться.

— А он не может придумать себе другое развлечение? Просто безобразия!

— Ты у него спроси...

Когда он поднимался со стула, у него было ощущение, будто он сдирает со спины пластырь величиной с одеяло. Он вышел на балкон. Дворики и скотные дворы превратились в черные колодцы. Побеленные фасады были цвета желчи. Четко вырисовывался бычий профиль холма. Пахло высохшим полем, жженым углем, а в роще стоял мрак — мрак, потворствующий греху. Он позвонил в колокольчик и снова уселся в кресло.

Швейцар, входя, отвернулся, чтобы выдохнуть дым последней затяжки.

— Что вам угодно, сеньор алькальд?

— Бенитес здесь?

— Да, сеньор алькальд.

— Пусть возьмет бумагу и карандаш...

— Да, сеньор алькальд.

— ...хотя вообще-то нужно было бы взять бич.

— Да, сеньор алькальд.

— Нет, сеньор алькальд; ведь мы живем не в средние века, и позорный столб сегодня — это печать, а современный бич — это штраф.

— Да, сеньор алькальд.

— Лампы зажгли?

— Нет, сеньор алькальд. До десяти станция не даст света.

— Почему?

— Потому что со вчерашнего дня стало светлее, сеньор алькальд.

— Поди на станцию и скажи, чтобы дали свет, а то я всех в кутузку засажу.

— Сегодня луна яркая, сеньор алькальд.

— Тем лучше.

Он встал с кресла и подошел к стойке для зонтиков. Взял свою латунную волшебную палочку, надел черную шляпу с широкими твердыми полями. Швейцар открыл перед ним дверь и согнулся в каком-то странном поклоне.

— Ты бы лучше стал смирно.

— Я не военный, сеньор алькальд.

— А я — военный.

— Да, сеньор алькальд.

— Военный, даже если оп и не на действительной, все равно военный, а тебе не нужно говорить, что ты не военный — это и так видно.

— Да, сеньор алькальд.

— Завтра после мессы я отправлюсь на кладбище, а потом ненадолго зайду в канцелярию.

— Завтра воскресенье, сеньор алькальд.

— Завтра я ненадолго зайду в канцелярию.

— Да, сеньор алькальд; только я хотел сходить с семьей половить раков.

— Обойдешься. К тому же ручей пересох.

— В том-то и дело, сеньор алькальд. Бенитес в прошлое воскресенье пятнадцать дюжин набрал.

— Бенитес? Что он смыслит в ловле раков?

— У него большая сноровка, сеньор алькальд.

— Глупости все это.

— Да, сеньор алькальд.

Он мог застегнуться только на первую пуговицу пиджака, поскольку брюки доходили ему до груди. Они были какого-то неопределенного, почти темно-коричневого цвета и пузырились на коленях. На левой руке он носил траурную повязку. Ботинки, носки, галстук тоже были черные. Сорочка белая в зеленую выцветшую полоску. Перстень с красным драгоценным камнем на безымянном пальце правой руки говорил о том, что он вдовеет во второй раз.

Он шагал быстро, насколько это позволяла ему грыжа. Бенитес, увидев его, встал и вытянулся в струнку.

— Хорошо, Бенитес.— Он сделал паузу.— Захвати бумагу и карандаш.

— Я взял.

— Хорошо, Бенитес. Сегодня ты изгонишь из рая всех адамов и ев, которых обнаружишь, и наложишь на каждого

штраф от десяти до пятнадцати песет, смотря по тому, кто из какой семьи. Понятно?

— Да, сеньор.

— Алькальд.

— Да, сеньор алькальд.

— Если увидишь, что кто-нибудь занимается свинством, запишешь обе фамилии *, сообщим их в столичную газету, пригвоздим к позорному столбу.

— А если я никого не обнаружу, сеньор алькальд?

— Обнаружишь, обнаружишь. Сегодня луна яркая. Я посижу на скамейке у фонтана, а ты принесешь мне список по крайней мере с десятью парочками. В этом Вавилоне я наведу порядок по-хорошему или по-плохому.

— А во время праздников, сеньор алькальд? — осведомился Бенитес.

— Во время праздников посмотрим. Если они будут не так похотливы, я проявлю снисхождение, а нет — мужчин посажу в кутузку до конца праздников, а женщин... Ну, насчет женщин я еще подумаю.

— Да, сеньор алькальд. А с какой стороны входить? Со стороны мостика, как всегда?

— Да. Так от нас никто не ускользнет. Ты их пригонишь к фонтану, а там буду ждать я. Еще есть вопросы?

— Сеньор алькальд! Я вот что думаю, — сказал Бенитес, — я мог бы сходить на ручей, потом прийти в канцелярию, пока вы будете там, а потом опять пойти на ручей. Как вам кажется, сеньор алькальд?

— Прежде всего долг.

— Да, сеньор алькальд.

— Пошли, Бенитес.

— К вашим услугам, сеньор алькальд.

В парке селения было семь деревьев, семь фонарей и семь скамеек. В парке селения в пыли играли дети и предавались воспоминаниям старики. Эти семь деревьев, семь скамеек и семь фонарей никогда не давали тени, пристанища и света для любовной идиллии. Когда на часах муниципалитета было десять, дети, перестав смеяться, уходили из парка. Когда на часах женского монастыря было половину одиннадцатого, со своими призрачными воспоминаниями парк покидали старики. После двенадцати в парке обычно оставался какой-нибудь

* У испанцев две фамилии — отца и матери.

пьяница, горлаливший песни, но это было запрещено приказом алькальда.

Бенитес шел за алькальдом, вырывая нитки из распоразавшихся обшлагов своего мундира. В спокойном глубоком небе мелькнула звезда, нарушив гармонию созвездий. Алькальд величественно постукивал своим жезлом, и его взгляд, устремленный вдаль, говорил, что он послушен велению долга.

— Бенитес! — позвал алькальд.

— Сеньор алькальд!

— С сегодняшнего дня нужно будет предусмотреть более суровые штрафы для тех, кто мочится по углам.

— Да, сеньор алькальд.

— Любого, кого ты застанешь стоящим лицом к стене, вздуешь.

— Да, сеньор алькальд.

— Если это будет пьяница, вздуешь покрепче. Надерешь ему уши. Понятно?

— Да, сеньор алькальд. А если мальчишка?

— Дашь щелчок.

— А если старик, сеньор алькальд?

— Опять ты со своими заковырками, Бенитес.

— Что же мне делать тогда, сеньор алькальд?

— Отчитаешь старика за такое поведение, конечно, почтительно, но твердо.

— А если это приезжий?

— Если ты застанешь приезжего... если ты застанешь приезжего в момент, когда он мочится... А по-твоему, что нужно сделать с приезжим, если он совершит это серьезное нарушение?

— Я пошлю его к такой-то матери, сеньор алькальд.

— И уронишь наш престиж. Дай ему нахлобучку, и в кутузку его, пока не заплатит приличный штраф.

— Да, сеньор алькальд; но он может оказаться иностранцем.

— Иностранцы цивилизованнее нас и не станут вести себя, как собаки.

— Да, сеньор алькальд.

Жандарму Бенитесу не нравилось связываться с парочками, это унижало его как мужчину; поэтому, входя в парк, он свистел, чтобы предупредить о своем появлении. Алькальд его наставлял:

— Иди тихо, будто охотишься на зайца, крадись, как

борзал, Бенитес, а не грохочи, как тяжелая артиллерия на параде.

— Да, сеньор алькальд.

— И не забывай, что нарушение нравственности начинается с объятий, а уж потом следует все остальное.

— Да, сеньор алькальд.

— Если кто сел, пусть встанет и ходит.

— А если кто лежит и не делает ничего плохого, сеньор алькальд?

— За это штраф.

— Да, сеньор алькальд.

Алькальд сел на скамейку у фонтанчика. Лупа взопла; серебристо мерцала струя воды. В траве квакала жаба, а звуки — все звуки в полях — сливались и напоминали шум кипящего котла.

Из парка вышла парочка; она направилась к алькальду, держась за руки.

— Добрый вечер, сеньор алькальд. Дышите свежим воздухом?

— Вы тоже? В парке?

— А куда нам идти, если такая жара? — пожаловался парень.

— Так-то оно так, но ведь это неприлично.

Молодые люди простились с алькальдом. Он положил правую руку на бедро, и в лучшем свете блеснул красный камень перстня. Алькальд попытался вновь найти луч, который заставил вспыхнуть камень, но ему это не удалось. Тут как раз появился Бенитес.

— Все спокойно, сеньор алькальд; по-моему, сейчас молодежь ходит в сторону шоссе.

— Значит, их предупреждают.

— Да, сеньор алькальд.

— В следующую субботу отправишься на шоссе, Бенитес.

— Это далековато, сеньор алькальд.

— Там увидим. А сейчас домой.

— Есть, сеньор алькальд.

— Интересно, что скажет завтра отец Эустасио.

— А что он может сказать, сеньор алькальд? Опять будет говорить о молодежи, о современной жизни, о парке... Я еще не поступал на службу, а уж слышал от него все это.

— Лучше предупреждать недуг, чем лечить его.

— Но ведь все женятся и только немногие отправляются бродить по свету.

— Правдивость, Бенитес,— это краеугольный камень нашего общества.

— Ясно, ясно, сеньор алькальд.

Мир был подсвечен луной, и алькальд долго всматривался в него. Затем он подумал: одиночество и близна подобны пантеону.

— Пойдем, Бенитес.

— Иду, сеньор алькальд.

— Как ты думаешь, можно разговаривать с мертвыми?

— Нет, сеньор алькальд; когда они сгниют, они уже не мертвы, а материя, а потом земля, самая обычная.

— Молчи, бестолковый.

— Конечно, сеньор алькальд.

Некоторое время они шли молча.

— Если сеньор алькальд больше ничего мне не прикажет, я пойду напрямиком.

— Ладно, Бенитес. В субботу пройдемся по шоссе, посмотрим, будет ли дичь.

— Они ускользнут от нас в парк, сеньор алькальд.

— Посмотрим, удастся ли им это.

— Как угодно сеньору алькальду.

Проходя через парк, он сел на одну из скамеек. Ботинки жали, и ему не хотелось возвращаться в свой пустой дом.



ПРОКЛЯТАЯ СМОКОВНИЦА

В нижней части города, за каналом, возвышалась ферма. Она стояла на развилке дорог у самого моря, окруженная деревьями.

Хозяином фермы был старый Нарро, человек мелочный, язвительный, брюзгливый и высокомерный. За весь день доброго слова от него не услышишь.

Старый Нарро родился в семье бедного крестьянина, однако трудолюбие и упорство помогли ему скопить кое-какие деньги и приобрести этот сад и ферму. Теперь он мог сидеть подолгу в тени, смотреть на море, которое было совсем рядом, на уходившие и приходившие корабли. Это не мешало ему следить за хозяйством, ругать сына, пререкаться с проходившими мимо покупателями и работниками, но прежде всего ругать сына:

— Ты намочил рис? А кукурузу полил? Чего ты ждешь? Когда рак свистнет?

Иногда, рассердившись, он вставал и брал мотыгу или же шел посмотреть, как продвигается та или иная рабста. Однако его мучил ревматизм, и вскоре он снова садился, крихтя и ругаясь.

— Ну что мне с ним делать? Один бог знает, чем все это кончится!

У Нарро был друг. Такой же старый, как и он, такой же, как он, хворый, но не такой спесивый. Спесивым он вовсе не был. Скорее, любил веселую шутку. Звали его Бони. Бони тоже жил неплохо и был, как говорят в тех краях, «устроен». Конечно, в этом смысле ему далеко было до Нарро, но о будущем думать не приходилось, если жить хоть немножко с умом. А ума у него было предостаточно.

Итак, как мы уже сказали, Бони любил шутку. Однако к серьезным делам относился совершенно серьезно.

Бони жил в верхней части города, на самой крайней улице, выходящей прямо в открытое поле, у подножия холма, против рожи и кладбища, видневшегося меж деревьями этой рожи, к которому все ближе и ближе подступали дома.

Из дома Бонп виднелись изгороди, побеленные известкой, и стройные кипарисы, восхитительно зеленые, с пирамидальными кронами, возвышавшимися над темной массой рожковых деревьев.

Сидя перед домом Бони, они могли видеть похороны. А когда похороны были оплачены, могли слышать, как священники отпевают усопших. Это неизменно вызывало у Нарро раздражение.

Дом принадлежал Бони. Он выстроил его несколько лет назад и теперь жил тут вместе с одной из своих дочерей, уже немолодой, которая осталась старой девои.

Бывало, что и старый Нарро, этот гордец, навещал Бони, но редко. Гораздо чаще Бони спускался на ферму. Старому Нарро не нравился дом друга. Глядя на кипарисы, он говорил Бони:

— Не нравится мне это.

— Нравится или нет, а ты тоже там будешь.

— Все равно не нравится. Зачем мне напоминать о том, что я и сам хорошо знаю? Никогда бы мне не пришло в голову построить здесь дом...

— Почему? Что тебе сделали бедные покойники? Меня больше пугают живые, особенно те, среди которых каждый...

— Я говорю не о них, а о нас...

С тех пор как старика стал мучить ревматизм, его неприязнь к кипарисам и к кладбищу возросла настолько, что он почти совсем перестал ходить к Бони. «Не нравятся мне эти кипарисы».

Да и верно, на ферме было куда лучше, особенно летом. Прямо перед ними простиралось море и виднелся другой берег. Чужой берег. Слева были соляные копи. Вечерами с моря всегда дул приятный свежий петерок, и они сидели в тени развесистых деревьев. Рядом стояла фляга с вином, которым они время от времени могли промочить горло, бутылка анисовой настойки или же водки. Крепкие напитки они смешивали с водой, поскольку оба были воздержанны, осторожны и любили полакомиться. Если им хотелось, они могли съесть что-нибудь вкусенькое — пирожки или кусочек домашнего кекса.

На ферме было хорошо, особенно старому Нарро; здесь ему не приходилось смотреть па кипарисы и слушать, как отпевают покойников: с тех пор как у него начался ревматизм, он их не выносил.

Оба друга были приблизительно одного возраста. Оба родились в бедных крестьянских семьях, вместе ходили в школу — правда, очень недолго. Вместе собирали зимой по утрам навоз, а это было в те времена, когда его жгли, и оба получали более или менее поровну шишек, ссадин, подзатыльников в результате драк, падений, палочных ударов, а также родительских взбучек.

Там, под сенью смоковницы, в приятной обстановке, освеженные морским бризом, они вспоминали былые дни, воскрешали в памяти прошлое и очень много смеялись. С каждым днем дружба между ними все больше крепла и становилась нежнее. Если им приходилось расставаться, они очень скуцали, особенно Нарро.

Однако не всегда между друзьями царили мир и согласие. Случалось, что они ссорились. Иногда даже не разговаривали по месяцам. Но старики не могли долго прожить друг без друга, и дело всегда кончалось примирением. Первым мириться неизменно приходил Бони: правда, и ссорились почти всегда из-за него, из-за его злых шуток.

Бони действительно любил шутить и часто шутил зло, не щадя даже собственного друга.

Из-за одной его шутки они чуть было не рассорились окончательно и бесповоротно — так она рассердила Нарро.

Вот как было дело.

Рядом с фермой, неподалеку от того места, где они обычно сидели, возвышалась смоковница, почти совсем высохшая, наполовину источенная червями. Как-то раз, когда Бони смотрел на дерево, ему в голову пришла дьявольская мысль. «А ну-ка,— сказал он себе,— заставляю я тебя помучиться».

И когда в разговоре наступила пауза, уставился на дерево. Он смотрел на него так пристально, что привлек внимание друга.

Именно в эти дни Нарро непрерывно жаловался на сына и певичку, особенно на сына: «Бестолочь, когда меня не станет, все пойдет прахом». — И на свой ревматизм:

— Дрянь мое дело, дружище Бони, совсем загибаюсь.

— Да, да,— поддакивал Бони,— ты очень плохо выглядишь. Вот так однажды, сидя здесь и ни о чем не подозревая...

— Ты опять за свос. Знаешь, что я тебе скажу?

— Можешь не говорить, я и так догадываюсь: чтобы я катился к чертям, но сначала послушай, что я тебе скажу...

Надо заметить, что у Нарро была привычка посылать всех к чертям. И он без конца это делал.

— Ты смеешься, ну погоди же...

Бони и вправду смеялся. Он не очень-то верил в домашние неурядицы Нарро, а тем более в его ревматизм и явно потешался над его страхами. Сын, конечно, был бестолочью, размазней и прочее, по своего не упустил. Он был бережлив, даже скуп, и ферма процветала. Так что с этой стороны опасность не грозила.

Так вот, Бони уставился на дерево и довольно долго смотрел на него. Разговаривал и снова смотрел. Нарро, не без удивления паблюдавший за ним, стал нервничать и наконец, не выдержав, спросил:

— Какого черта ты пялишь глаза на это дерево? Думаешь, с него ягоды посыплются?

— Знаешь, что мне пришло в голову?

— Какая-нибудь пакость! Во всяком случае, ничего путного.

— Вовсе не пакость. Я уже давно думаю: кончится тем, что ты повесишься на этой смоковнице. В прошлую ночь мне это даже приснилось.

— А знаешь, что думаю я? Что ты скотина! Я это тоже видел во сне. А теперь катись ко всем чертям!

Нарро с трудом поднялся и пошел прочь, ковыляя на

своих больных ревматических ногах. Если это и была шутка, то она совсем ему не понравилась.

Однако своим уходом Нарро ничего не добился. Бони с тех пор не унимался. Стоило ему застать Нарро в плохом настроении или услышать жалобу на сына, внука или на то, что упали цены на кукурузу и рис, что предстоят большие расходы или же что-нибудь вроде: «Хватает у меня забот», «И куда только мы катимся?», «Кто это может вынести?» — и так далее, Бони давал ему высказаться, а потом заключал:

— Я же говорю... Кончится тем, что ты повесишься на этой смоковнице...

Повод для этого, разумеется, был недостаточный, иначе шутка могла плохо кончиться, и сам Бони вряд ли стал бы тогда зубоскалить.

Однажды Бони пришел на ферму очень озабоченный, молча уселся и так, не говоря ни слова, просидел некоторое время. Нарро даже удивился про себя: «Что это с ним?» Наконец Бони поднял голову и печально посмотрел на смоковницу. «Опять за свое», — подумал Нарро и хотел было уйти, однако, не выдержав, спросил:

— Что с тобой?

— Сегодня ночью я видел сон.

— Сон? Ну и что же? Все видят сны.

— А знаешь, что я видел?

— Опять ты за свое? Ты, верно, думаешь, что я должен видеть во сне то же, что и ты! А тебе только и снится, что...

— Нет, ты послушай! Прихожу я навестить тебя, подхожу к изгороди и вдруг вижу... Что бы ты думал? Висящего на смоковнице человека.

— Знаешь, что я тебе скажу?

— Знаю, знаю. Чтобы я катился ко всем чертям. Я уже выучил это наизусть. Но клянусь тебе, это так же верно, как и то, что мы стоим тут. И ты, Мануэль, именно ты виснешь с веревкой на шее; голова свесилась, глаза выпучены, длинный язык вывалился наружу... Ужас!

Он не пожалел красок, чтобы как следует напугать Нарро. Бони не шадил друга.

— Знаешь, что...

Нарро махнул рукой, встал и через гумно пошел в сад. Бони последовал за ним.

— Ну ладно, дружище, не принимай это так близко к

сердцу. В конце концов, я рассказал тебе то, что мне приспилось. А сон и есть сон. Разве я виноват?

— Расскажи об этом своей тетке, а меня оставь в покое. Пошел ты!..

Но Бони не оставлял его в покое. Несколько дней они не касались этой темы. Бони как бы не замечал дерева, даже не смотрел в его сторону. Но когда Нарро меньше всего ждал, он вдруг задумчиво и озабоченно уставился на смоковницу и долго не отрывал от нее глаз.

Этого было достаточно, чтобы старший Нарро обеспокоился:

— Ты опять за свое.

Но Бони с певчим видом возразил:

— Да я же ничего не говорю.

Постепенно эта мысль засела в мозгу старого Нарро. Стоило ему взглянуть на дерево, как его прошибал пот и начинало сосать под ложечкой. Старик огибал дерево стороной, но смоковница не шла у него из головы. Наконец он не выдержал.

Накануне он провел кошмарную ночь. Ему снился странный, жуткий сон. Он видел себя висющим на смоковнице: веревка на шее, лицо перекошено страшной гримасой, язык вывалился наружу — все, как говорил Бони. Проклятое дерево не давало ему покоя. То он видел, как с его руки свисало чье-то тело; какой-то человек повесился на его руке и этим человеком... был он!

Нарро в волнении ходил по гумну и время от времени, сам того не желая, украдкой поглядывал на проклятое дерево.

Оно стояло угрожающее, злобное, с голыми ветвями, вытянутыми, точно перекладина виселицы. День выдался пасмурный. Старик постарался отвлечься: он взял мотыгу и пошел к картофельному полю по другую сторону гумна. Уже появились ростки, а в бороздах сорняки. Нарро принялся полоть, стараясь забыть за работой. Но сон не выходил из головы, и глаза старика то и дело невольно обращались к дереву. Сын с удивлением посмотрел на отца и сказал своей жене:

— Что это с ним? Какая муха укусила Нарро? — Он не называл его отцом.

— Просто ему скучно. Пусть себе работает.

Нарро ничего не замечал вокруг. Он только смотрел и смотрел на дерево, видел его, даже не глядя, вспоминал сон и снова оборачивался к смоковнице. Старик не мог отвести

от нее глаз. И вдруг швырнул мотыгу, словно припал какое-то решение.

— К чертям! — воскликнул он, сжав зубы. — Хватит! — И направился к дому.

Через минуту он вышел оттуда, держа в руке топор. Ковыляя на своих больных ногах, он с решительным видом направился к смоковнице и начал ее рубить. Он делал это с остервенением, словно расправлялся с несправедливым ему врагом. Сын и невестка испуганно смотрели на него.

— Послушай, что это на него пашло?

Через несколько минут Нарро взмок, словно кочегар, грудь его вздымалась, как кузнечные мехи. Зато смоковница валялась на земле.

— Хватит! — сказал он. — К чертям! Больше ты не будешь мозолить мне глаза. К чертям! — снова повторил он. — И облегченно вздохнул, будто сбросил с себя тяжелую ношу.

И вдруг совсем рядом раздался звонкий смех. Это смеялся Бони.

Бони пришел как раз вовремя. И, сразу же поняв, в чем дело, обрадовался. Однако он предусмотрительно спрятался за кустарником и оттуда следил за Нарро. Не спрячься он, ему дорого пришлось бы заплатить за свою шутку.

Оправившись от удивления, Нарро бросился к Бони с топором в руках.

Тот знал, что в спокойном состоянии его друг не был способен на такие вещи, по разве может отвечать за себя человек, когда он ослеплен яростью? Так или иначе, Бони поспешил ретироваться. Однако, отступая слишком стремительно для своих лет и своих старых суставов, как он говорил, «ржавых петель», Бони споткнулся и вычком рухнул в водосточную канаву.

Увидев его барахтающимся в грязной воде, с поднятыми вверх руками, Нарро почувствовал себя обезоруженным. Но не помог другу выбраться, а, повернувшись спиной, направился к гумпу, держа топор в руке и извергая проклятия.

К счастью, в этот момент сын Нарро находился поблизости; он подошел к Бони и, смеясь над испугом старика, помог ему вылезти из грязной канавы.

После этого друзья несколько дней не встречались.

— Я вижу, ты хотел, чтобы я утонул, — сказал потом Бони.

— Еще бы! Очень жаль, что тебя вытащили из канавы!..

На этом история не окончилась. Страсть к шутке жила у

Боли в крови, как говорил Нарро. И это было верно: Боли ничего не мог с собой поделать.

Он переждал только два дня.

Они сидели в тени и беседовали, ходили мимо того места, где росла смоковница, и каждый думал о том, что произошло, хотя и слова об этом не было сказано. Когда уже все как будто забылось, Боли опять принялся за свое. Ему все было мало.

Старики сидели на пороге дома. И вдруг, как бы невзначай, Боли спросил у друга:

— Послушай, Мануэль, а не осталось ли у тебя какой-нибудь щепки или полена от смоковницы? Ты хорошо проверил?

— Послушай, а не отправиться ли тебе...

— Хорошо, хорошо, отправлюсь... Но сначала послушай, что я тебе скажу. Ведь я о тебе беспокоюсь, о твоём же благе. Дело тут серьёзное.

Нарро снова послал его подалее, но с того как с гуся вода.

— Я хочу рассказать тебе одну историю...

— Оставь меня в покое, у меня сейчас другое в голове.

— Но эта история...

— Иди ты! Мне сейчас не до историй. Вчера приходил сборщик налогов. Знаешь, сколько я должен за это полугодие? Сам видишь, мне не до твоих сказок!

— Да забудь ты о налогах и послушай. Это и тебя касается. Надо прежде всего думать о здоровье.

При чем тут здоровье? Что хочет сказать эта скотина?

А Боли начал:

— Однажды, не помню в какой стране, жил очень богатый человек. У него было множество кораблей, и все — его собственные. Корабли плавали по морю и перевозили шелка, бархат и другие дорогие ткани из одной страны в другую. Человек этот назывался купцом и жил в великолепном дворце. Ему прислуживали темнокожие и разные придворные. Вокруг дворца рос огромный сад: там он гулял и спал после еды. В те времена богачи очень любили, чтобы им предсказывали судьбу, как будто не хватало неприятностей, о которых они уже знали. Впрочем, им виднее: «Осла продашь — хлопот не минешь». А раз у них были деньги и они хорошо платили, им нетрудно было найти человека, готового предсказать судьбу. Так уж истари ведется, и давно известен этот способ выманить деньги у дураков. Как-то раз предсказатель спросил у того богатого человека, пет ли у него в

саду такого дерева, и описал, как оно выглядит. Он якобы смотрел на звезды и прочел по ним, что это дерево может принести ему несчастье и даже смерть. Представляешь, по звездам прочел! А ведь как они далеко от земли, а все же он прочел.

Старый Нарро смотрел на друга с удивлением и испугом. «К чему он клонит? Где и от кого он это слышал?» Нарро начал догадываться, зачем Бони затеял этот рассказ, и уже собирался послать его в известном нам направлении, но хотелось узнать, чем же все кончится. «Что еще придумает эта скотина?»

И Нарро продолжал слушать историю о богатом сеньоре и о дереве, которое было у него в саду. Бони поведал ее один уличный торговец, продающий старые книги. Время от времени торговец проходил по городу, и Бони приглашал его посидеть с ним и пропустить рюмочку, чтобы послушать его рассказы.

Однако эту историю Бони переделал по-своему.

— Так вот, человек этот был очень богат, но очень глуп и не знал о своем саде ничего, кроме того, что он очень красив и что там можно посидеть в тени и прогуляться. Поэтому он велел позвать садовника и стал расспрашивать у него про дерево. Садовник ответил, что действительно оно растет у них в саду, и вспомнил, что подарил его один купец — враг хозяина, у которого тоже были корабли, но который не сумел разбогатеть и построить себе такой красивый дворец. Все зависть, все она, Мануэль. Предсказатель посоветовал купцу немедленно выкорчевать дерево с корнем. Тот последовал этому совету, и дерево вырвали из земли, как приказал хозяин. У этого дерева одна ветвь была очень прямой и очень гладкой, и садовник подумал, что из нее может выйти несколько кольев. Сказано — сделано. Он отнес ветвь плотнику и объявил, что ему надо. Тот взял рубанок и принялся строгать. Вышло четыре великолепных кола. Садовник взял их и вбил в саду вместо полусгнивших. Обычно эти колья служили для того, чтобы привязывать к ним веревки или же подпирать деревья, а может быть, и чтобы повеситься кому-нибудь.

Нарро беспокойно заерзал на месте. Бони сделал паузу, но, поскольку Нарро ничего не сказал, продолжал свой рассказ:

— Вбили, значит, новые колья, и они оказались как нельзя кстати. Даже хозяин, бедняга, похвалил садовника за удачную мысль. «Ты хорошо придумал. Хоть какая-то польза

от этого дерева», — сказал он, не подозревая о том, что колья сделаны из проклятого дерева и что в них таится для него опасность, даже прямая угроза, что они могут принести несчастье.

Однако у Нарро, который теперь уже попял, к чему клонит Бони, возникла мысль проучить друга.

— Так ты говоришь, в кольях таилась опасность? В кольях всегда таится опасность, нам-то это хорошо известно. Теперь послушай, что произошло дальше: потому что я тоже знаю эту историю. Хозяин, предупрежденный предсказателем, вырвал из земли один из кольев и переломал ребра садовнику, чтоб впредь был умней. Как видишь, опасность угрожала не богачу.

— Отлично, но дело было совсем не так. Опасность грозила вовсе не садовнику, а хозяину, против которого уже замышлялось злодейство. В те дни должны были прийти корабли, нагруженные шелками и прочими дорогими товарами, принадлежащими хозяину сада и составлявшими половину его богатства. И вдруг он получает известие, что корабли попали в страшную бурю, половина его состояния утонула, а он остался без кораблей и без товаров. На самом деле это была неправда. Этот ложный слух пустил все тот же купец — враг хозяина сада. Узнав о том, что его хитрость с деревом обнаружена, он придумал новую. На этот раз все получилось, как он задумал. И знаешь, с помощью все того же дерева! Хозяин сада впал в отчаяние. Он считал себя разоренным и почти лишился разума. Взяв веревку, он спустился в сад, накинул петлю себе на шею и повесился. И как ты думаешь, где? Как раз на одном из кольев. Каково? Случайность это или нет, но он повесился на одном из тех кольев, которые были сделаны из злополучного дерева. Видишь, как ни вертись, от судьбы не уйдешь.

— Особенно если ты дурак.

— Называй его как хочешь, но ты должен признать, что есть в жизни человека вещи, над которыми стоит призадуматься.

— Конечно, например, над тем, что ты...

— Это я знаю... Но он-то отправился на тот свет. Уже потом узнали, что сообщение было ложным, что его послал тот самый торговец — враг хозяина, но было поздно. Бедняга уже висел: голова набок, язык наружу, глаза выкатились, а на лице застыла такая гримаса, что смотреть жутко. — Бони подробно описал удушенника, зная, какое впечатление это про-

изводит на Нарро.— Вот видишь, как сбываются пророчества! Поэтому я и говорю: проверь хорошенько, не осталось ли веточки, щепки, а то занозишь себе ногу, как Хуан де Грос, получишь заражение крови и через пару дней отправишься богохульствовать на тот свет, потому что...

Старый Нарро не дал Бони договорить. Встал, трижды послал его, по известному нам обыкновению, ко всем чертям и оставил приятеля наедине с историей о глупом богаче, который повесился по чьей-то злой воле.

Однако, когда Бони ушел — даже не попрощавшись, — старый Нарро обыскал весь двор. А потом позвал невестку:

— Посмотри хорошенько, не осталось ли какой щепки от смоковницы. Если найдешь, подбери и брось в печь. Смотри как следует!



МОЙ КУЗЕН КИКО

Внизу, у самого берега моря среди садов и рисовых полей, стояла ферма. На ней жили мой дядя, моя тетя и трое их сыновей. Все они занимались земледелием.

В детстве я подолгу гостил у них. Мне нравилось на ферме — меня там баловали, как маленького, — и при всяком удобном случае я просился туда.

Судьба моей матери сложилась лучше, чем судьба ее сестры. Мать удачно вышла замуж, и я имел возможность учиться в школе, а потом завершить образование. Но я навсегда сохранил привязанность к ферме, к ее обитателям, особенно к своим двоюродным братьям, и никогда не забуду проведенных там дней. Я любил тетюшку, как родную мать, а своих двоюродных братьев, которые были старше меня, — как родных братьев. Они тоже любили меня и относились ко мне, как к младшему брату — чуть-чуть снисходительно, покровительственно.

Помимо этого, ферма означала для меня солнце, воздух, отдых от занятий и привольную жизнь.

Вот почему все свое свободное время я проводил на ферме, подолгу гостя там.

Гораздо позже, уже кончив учиться, я не раз навещал старый дом. При этом особое удовольствие мне доставляло воскрешать в памяти события прошлого и беседовать с теми, кто еще остался в живых. Ферма теперь мало походила на ту, которую я знал прежде и к которой был так привязан: она напоминала мне поле после сражения. Да и от тех, кто обитал в ней, кто пережил трагедию, остались лишь тени.

Именно в эти дни я больше всего думал о Кико: вспоминал его, особенно его трагическую смерть. И сквозь призму этих воспоминаний видел то, чего раньше никогда не замечал и от чего мне становилось очень грустно.

Один из моих двоюродных братьев отличался от всех остальных. Он был старшим, и звали его Кико. У нас на Эбро принято это сокращенное имя от Франсиско. Слабоумный Кико был неполноценным не только умственно, но и физически. Одна нога у него была короче, с вывороченной вытянутой ступней, словно дополнявшей недостающую длину, с чуть согнутыми пальцами, на которые он опирался при ходьбе.

Ступая, он как бы проваливался в яму, а потом вытаскивал оттуда ногу, словно падал на каждом шагу.

Кико был высоким, сильным, по грубым и неотесанным. Лицо его было изрыто оспинами, нижняя губа толстая и слегка отвислая. Иногда с нее тонкой нитью стекала слюна.

Мой кузен стойко переносил любое физическое страдание. Помню, однажды, срезая огромным серпом пучки риса, он порезал себе ногу до самой кости. И хотя рана была глубокой и из нее хлестала кровь, Кико не издал ни единого звука. Он не стонал ни когда пришел, истекая кровью, ни потом, когда рану обрабатывали солью и уксусом — так на ферме обычно лечили людей и животных.

Долгое время он волочил свою большую ногу. С открытой, незабинтованной раной влезал в грязную воду, а потом пальцем выковыривал из раны грязь.

Мой кузен был заядлым курильщиком. В этом состоял его единственный порок и, думаю, единственная радость, которая скрашивала ему жизнь. Он не выпускал трубки изо рта с той мищуты, как просыпался, и до самой ночи, откладывая

ее в сторону, только пока ел. Трубка висела на его толстой губе, с которой иногда тонкой нитью стекала слюна. Он вытирал ее рукой. Если же он забывал это сделать (особенно за едой), ему напоминал об этом суровый окрик отца или одного из братьев:

— Утрись, Кико!

Тогда Кико поспешно вытирал рот, словно стыдясь и вместе с тем обижаясь за напоминание, особенно за тон, каким оно было сделано. Несмотря на грубость и неотесанность, мой кузен, вероятно, был очень раним.

Когда у Кико кончался табак, он бесновался. Ничто больше не приводило его в такое отчаяние. Он мог не есть, не пить, но не курить не мог. Кико приходил в ярость: ругался, угрожал самым страшным и говорил, что повесится. Впрочем, этой последней угрозой он пользовался даже в тех случаях, когда бывал разъярен и не так сильно.

Не знаю, видел ли мой кузен удавленника или слышал об этом от кого-нибудь. Подобный способ самоубийства очень распространен в наших краях. Почему-то самоубийцы предпочитали именно такую смерть. Они всегда выбирали для этой цели одно и то же место на окраине городка — в роще у оврага (который называли и называют поныне Оврагом удавленников) — и вешались на одном и том же дереве.

Скорее всего, Кико видел одного из них. Как бы там ни было, но факт остается фактом: стоило Кико рассердиться, и он грозил повеситься. Я даже уверен, что он видел одного из удавленников. Овраг, как я уже сказал, находился на окраине городка. Стоило кому-нибудь повеситься, как эта новость сразу же становилась всем известна, и жители бежали посмотреть, а потом долго обсуждали происшествие.

Как я уже говорил, мой кузен был заядлым курильщиком и без конца курил. Его страсть к трубке была столь велика, что даже пустую, потухшую, он не выпускал ее изо рта. По крайней мере я не помню его без трубки. Когда у него кончался табак, он выходил из себя: набивал трубку сухими листьями ежевики или бобов, зажигал их и с остервенением дымил. В конце концов он швырял трубку на землю. Но через несколько минут поднимал и, набив чем попало, снова принимался дымить. Вид у него при этом был совершенно безумный и какой-то отчаянный, обращаться к нему было бесполезно. Чаще всего это происходило, если заболела его мать или же если ее не было дома. И только иногда по ее забывчивости. Она слишком хорошо понимала, что Кико

больше остальных нуждается в табаке, и всегда следила, чтобы табак был в доме.

Помню, однажды Кико в отчаянии убежал с фермы, разыскивая свою потерянную трубку. Он, словно шальной, бегал повсюду, всех расспрашивал, обыскивал каждый уголок и проклинал все на свете. Лицо его исказила яростная гримаса, на него жутко было смотреть. Кико бранился и так страшно угрожал нам, что нас бросало в дрожь. Правда, иногда мы нарочно прятали от него трубку, желая его позлить. Но на сей раз никто из нас ее не трогал.

Мы принялись помогать ему в поисках. И вдруг кто-то из нас рассмеялся, показывая на Кико. Взглянув на него, мы тоже покатались со смеху. Трубка торчала у него во рту. Даже он улыбнулся и ушел пристыженный.

С Кико я познакомился, когда тот был уже взрослым, — он был старше меня лет на десять.

До этого он жил в городке, и теперь я понимаю, что уже тогда дети всячески издевались над калекой. Издевались изощренно, как это умеют только дети.

Обычно черты лица Кико искажала горестная гримаса. И только когда его никто не обижал, особенно когда он находился среди братьев, лицо его становилось очень добрым. Больше других, казалось, он любил меня — за исключением матери, разумеется, — потому что я меньше остальных издевался над ним. Да и я любил его.

И тем не менее нередко я заодно с кузенами терзал его жестокими шутками, от которых он приходил в такую ярость, что мне становилось страшно, хотя, повторяю, он ни разу не причинил мне зла.

Вместе с Хоанетом, его младшим братом, мы не раз швыряли в Кико комья грязи, когда он работал на поле, а потом убегали, боясь, как бы он нас не догнал. Он бежал за нами, ковыляя на своей хромой ноге, высокий, огромный, с серпом в руках; его глаза сверкали от яростного гнева.

А разве мы не прятали от него трубку, чтобы потом посмеяться над ним и порадоваться его отчаянию? Возможно, мы издевались над ним и похуже. Иногда приходилось вмешиваться его матери или отцу, которого он очень боялся, особенно его тяжелой руки, хотя я не сомневаюсь, что Кико никогда бы нам ничего не сделал. И все же мы предпочитали держаться от него на почтительном расстоянии.

Мой кузен, как я уже говорил, любил меня нежной, братской любовью, вероятно смешанной с некоторым восхищением. Надо было видеть, например, как он заставлял меня читать в присутствии какого-нибудь родственника или знакомого. Как слушал, не сводя с меня глаз, и пускал слюну от удовольствия, явно восхищаясь «ученостью» своего маленького кузена. Если к ним заходил кто-нибудь из посторонних, он сам срывал с календаря листок и, протягивая мне, просил прочесть то, что напечатано на обороте...

— Прочти, Тонет,— говорил он, так произнося слова, что без привычки его трудно было понять.

Когда его обижали, он становился замкнутым и мрачным. Это длилось довольно долго, и в первое время к нему лучше было не подходить.

Мне, даже если я не был виноват, становилось его очень жаль, и я ждал момента, когда разглядятся хмурые морщины на его лбу и исчезнет с лица почти зверское выражение, чтобы подойти к нему и попросить прощения.

— Я больше не буду! Не сердись, Кико.

Он ничего не отвечал, иногда уходил, но я не сомневался, что мой поступок и мои слова трогали его.

Кико очень любил братьев, хотя никак не проявлял своих чувств. Вообще братья не очень-то нежничали друг с другом. Чаще всего они ссорились, спорили или же дрались так, что приходилось вмешиваться отцу. Но если кому-нибудь из них угрожала опасность или назревала драка с чужим, сразу же обнаруживалась глубокая любовь, которая их связывала. Тогда они готовы были биться друг за друга насмерть.

В этой связи мне вспоминается один примечательный случай. Произошло это намного позже, когда я с родителями переехал в соседний городок, где у моего отца было торговое дело.

Как-то раз к нам домой прибежал Кико, запыхавшийся, весь в пыли, взмокший от пота. Средний брат находился тогда на военной службе в Африке, и долгое время от него не было никаких известий. Это совпало с обострением обстановки в Марокко, и на ферме все были очень встревожены. У моего кузена, служившего в Марокко, в нашем городе была невеста. Ее дом находился поблизости от нашего, и она дружила с моей матерью — думаю, между прочим, что сватовство состоялось не без участия последней. Дядя с тетей послали Кико сюда, чтобы он разузнал у невесты, не получала ли она весточки от их сына.

Кико, как у них было заведено, прежде всего явился к нам. Прибежал, как я уже сказал, весь взмокший от пота. Моя мать была чем-то занята, и к невесте отвел его я. Именно в этот день она получила от своего жениха письмо и фотокарточку, где он был снят в солдатской форме. Кико взял фотокарточку в руки, и я с удивлением увидел, как лицо его от волнения исказила безобразная гримаса, на глаза навернулись слезы и крупными горошинами покатались по щекам. Я видел прежде своего кузена разгневанным, разъяренным, взбешенным, но плачущим — никогда.

Выслушав содержание письма — пока я читал, он не сводил с меня внимательных глаз, — Кико попросил разрешения взять с собой письмо и фотокарточку, пообещав их вернуть, и собрался уходить. Мы просили его остаться с нами пообедать, уговаривали, а моя мать даже немного рассердилась на него. Но все было тщетно: Кико торопился как можно скорее порадовать своих, показать письмо и фото. Он аккуратно, словно сокровище, спрятал их на груди под рубаху, застегнул ее и, не обращая внимания на наши уговоры, пошел вниз по улице, к дороге, ведущей на побережье.

Когда надо было послать кого-нибудь в город с поручением, посылали Кико. Ему это нравилось, невероятная физическая выносливость ни разу его не подвела. Хромота не мешала ему проделывать двадцать километров, отделявших наш городок от фермы, и, не передохнув, пускаться в обратный путь. Часто он возвращался, опоздав к обеду или ужину. Но его это мало заботило. Он брал остывшую еду и пожирал ее, точно голодный зверь: так он ел обычно.

Случалось, его посылали за лекарством или же с каким-нибудь срочным поручением среди ночи. И это его тоже мало заботило. Кико не знал страха. Больше того, казалось даже, он рад подобным поручениям. Должно быть, понимал, что делает доброе дело, приносит пользу своим. В такие минуты он, без сомнения, чувствовал себя человеком. Кико отправлялся в путь едва не бегом, не обращая внимания ни на поздний час, ни на плохую погоду. Хоть в ночь, хоть в бурю. И чем хуже была погода, тем больше, казалось, он радовался.

Как-то раз, когда маленькой Топнете, его младшей сестренке, которая заболела, стало хуже, Кико послали в город за лекарством — поздно ночью и в страшную непогоду. Дождь вместе с порывами ураганного ветра обрушивался на деревья, бушевало море. Кико, как обычно, аккуратно сунул рецепт за пазуху и, закутавшись в непромокаемый старый

плащ, вышел из дому. Мы видели его на дороге при вспышках молнии, огромного, бегущего вприпрыжку, но скоро он пропал в кромешной тьме.

Вернулся Кико в плачевном состоянии. Буря все еще бушевала, и слышно было, как шумят деревья. Он тяжело дышал, промок до нитки, несмотря на плащ, и был в грязи с головы до ног, так что мы его узнали с трудом. Мы поразились, как быстро он проделал этот путь, не иначе бежал всю дорогу, падая в лужи и снова поднимаясь. Но аккуратно завернутое лекарство осталось совершенно сухим, спрятанное на груди. Да, для моего кузена не существовало ни ночи, ни бури, ни плохих дорог: он думал только о здоровье сестренки и при этом испытывал радость и волнение оттого, что справился с порученным ему делом. В такие минуты Кико был счастлив.

Работать же Кико не любил. Работа утомляла его: он выполнял ее нехотя, без всякого удовольствия, и отец не раз наказывал его за это.

Еще одно воспоминание о моем кузене, до сих пор вызывающее у меня угрызения совести, связано с праздником святого Антония. Гвоздем этого праздника в нашем городе, помимо вечерних развлечений, были состязания мужчин на лошадях, мулах и ослах, а также в беге обычном и с мешком на ногах. Состязания устраивали в перерыве между танцами и другими увеселениями, чтобы позабавить народ.

Вечером накануне праздника дядя и тетя вместе с моими двоюродными братьями пришли в город, и мы все собрались на ужин в доме бабушки, стоявшем на берегу моря.

В том году, желая на славу повеселить зрителей, городские власти решили устроить соревнования по бегу среди хромых. Победителю была обещана большая денежная премия, не считая заслуженного приза: петуха, подвешенного у финиша. Это была одна из тех варварских шуток, которые приходят в голову городским властям накануне праздников и которые должны потешать их самих и публику. Вторая шутка разыгрывалась обычно на празднике Сантьяго: на улице вдруг выпускали разъяренного быка, будто бы сбежавшего. Происходило это в самый разгар веселья, когда люди и не помышляли об опасности. Алькальд, как глава города, зачастую был инициатором подобных забав, почти всегда кончавшихся несчастьем. А поздно вечером все развлекались,

рассказывая друг другу о пережитых страхах и о поднявшихся в городе нанике и смятении.

Итак, на этот раз, помимо прочих остроумных забав, городские власти решили устроить состязания хромых.

Мы все пришли в восторг, несколько не сомневаясь, что мой кузен одержит победу и получит приз. Мы заранее предвкушали, как будем лакомиться петухом и праздновать победу Кико. Я не видел в этом ничего плохого и простодушно восторгался будущим триумфом кузена, в котором не сомневался ни на секунду. Я забыл о его хромоте и о том, что он бежит, нелепо подпрыгивая, и что смотреть на него без смеха невозможно. Победа его мне представлялась такой же, как победа любого спортсмена, первым прибежавшего к финишу под приветственные крики и бурные аплодисменты, среди которых на этот раз раздадутся и мои восторженные возгласы: «Слава победителю!» А потом я пойду рядом с Кико, держась за его рубаху или штанину, чтобы все видели и знали, что тот, кто завоевал приз, мой кузен.

Но недолго длилась наша радость. Надежда увидеть Кико победителем, а потом съесть петуха быстро рухнула, потому что у него в отличие от нас оказалось самолюбие и чувство собственного достоинства. Он не пожелал принять участие в состязаниях. Ни уговоры родителей, ни ругань братьев, ни угрозы теток, которые почему-то проявляли особый интерес — думаю, их прельщала возможность полакомиться петухом, — не могли заставить его согласиться. К своему стыду, должен признаться, я тоже умолял его и, кажется, даже плакал, уткнувшись ему в колени. Но Кико с раздражением оттолкнул меня. Тогда мне казалось странным, что дядя настаивает меньше всех. Ему как будто тоже не нравилась эта затея. Теперь, зная его характер, я понимаю, что так оно и было.

Кико отказался наотрез. Он был рассержен, обижен на нас. И как он был прав! Он один, а не мы, жестокосердные или простодушные, заставлявшие его выйти на посмешище в праздник святого Антония.

Состязание сорвалось, потому что в городе было только двое хромых: мой кузен и еще один юноша, живший неподалеку от нас. И удивительное дело! В отличие от Кико он очень обрадовался возможности участвовать в соревновании. Вот вам доказательство того, как непохожи характеры у людей, даже если они калеки. Как бы там ни было, но состяза-

ние между хромыми не состоялось. Мы рассердились на Кико и весь день почти не разговаривали с ним.

Только один человек внушал Кико уважение. Это был его отец. Я уже говорил, что кузен в припадке ярости выкрикивал угрозы, от которых бросало в дрожь. Тогда вмешивался отец. Только он способен был обуздать ярость Кико. Кико очень уважал отца, а может быть, боялся его тяжелой руки.

Я не мог видеть, как Кико наказывают палкой или ремнем. Все мы, даже моя тетя, жалели его. Обычно после наказания Кико исчезал. Он уходил в поле, или прятался среди осоки, или же сидел у скирды на гумне. Он не плакал. Лицо его было искажено гневом, он остервенело курил трубку, сильно и часто затягиваясь, и вполголоса изрыгал страшные ругательства.

Часто, потихоньку от тети и дяди, я шел искать своего кузена, опасаясь, как бы он не совершил какого-нибудь безрассудства и не убил себя, осуществив свою вечную угрозу. И радовался, когда видел его живым и невредимым. В такие минуты я особенно ясно создавал, как люблю его. Я потихоньку приближался к нему, разумеется, очень осторожно, боясь вызвать у него раздражение. Он встречал меня молча, и когда я садился рядом, даже не смотрел в мою сторону, продолжая яростно курить.

Если его наказывал отец или же не было табака, Кико, как я говорил, грозил удавиться. Я часто слышал от него эту угрозу вперемежку со страшной бранью. Никакие увещания моей тетушки не могли его сдержать. Конечно, эта постоянная угроза, которую он повторял в минуты гнева, огорчала и печалила ее, но она делала вид, будто не придает этому значения, и спокойно отвечала, словно не принимая всерьез его слов:

— Да, да, сынок, на ветке тимьяна.

И столько раз, сколько он произносил эту угрозу — а я ее слышал, повторяю, очень часто, — столько раз моя тетушка отвечала ему так, и всегда спокойно, разве что с затеменной грустью. Кико еще больше злился оттого, что его слов не принимают всерьез, и снова и снова повторял свою угрозу.

Когда моей тетушке говорили про ее слабоумного сына, она всегда отвечала, что он — ее крест.

— Каждый несет свой крест, почему же я должна быть исключением? Мне бог дал этот, значит, такова его воля.

Так говорила тетя, которая была очень набожной и принимала горе с покорностью верующего человека. И все же судьба сына постоянно тревожила и печалила ее.

Помню, тетюшка не раз в беседе с моей матерью — особенно в последнее время, когда стала болеть, — говорила, что ее постоянно мучает мысль о сыне и она молит бога, чтобы он взял его раньше, чем ее. Я это не раз слышал. Однако бог не внял ее мольбам.

Тетюшка умерла, а дядя, следуя последней воле покойницы, женился на одной из ее сестер, тоже вдове с двумя ребятами.

Так тетя стала Кико мачехой, а кузены — братишками. В это время мы уже жили в другом городе. Я кончил учиться и через какое-то время потерял их из виду. После смерти тетюшки, занятый собственными делами, я перестал думать о ферме и почти совсем забыл о своем кузене. Но правда говоря, я вспомнил о нем только в тот день, когда мне сообщили о том, что с ним произошло. Весть была печальной. Едва я услышал об этом, в моей памяти сразу же всплыло все, что было связано с Кико. Кико наконец исполнил свою угрозу.

В тот день он встал очень рано и направился к рощу на склоне Монтеиа. Роща находилась на самой окраине городка, далеко от фермы.

Он захватил с собой подпругу, которая висела на телеге. Никто не обратил на это внимание, а может быть, просто не придавал этому никакого значения. Совершенно очевидно, что решение было им принято заранее, поэтому действовал он спокойно. С подпругой на плече Кико вышел из дому, чтобы никогда не вернуться. Все остальное происходило, по-видимому, так.

Придя в рощу, он выбрал дерево, которое, по его мнению, больше всего подходило для того, что он задумал, и с трудом вскарабкался на него — мешала хромота. Привязав один конец подпруги к ветке над головой, он — я не сомневаюсь — уселся на нижнюю ветку и выкурил свою последнюю трубку. Во всяком случае, это можно заключить по позе, в которой его нашли.

Выкурив трубку, он обмотал вокруг шеи другой конец подпруги и затянул петлю с помощью пряжки. Затем, не выпуская трубки изо рта, ринулся в пустоту. Подпруга, сделанная из прочной кожи, да еще обмотанная в два или три

раза, сжала его челюсти, поэтому рот Кико не в пример прочим удавленникам остался закрытым.

Его обнаружил крестьянин, владеец соседнего поля, и побежал сообщить о случившемся его родным. Печальная новость достигла и городка, ибо, как я уже сказал, это произошло на самой его окраине.

Уже смеркалось, когда явились стражники вместе с судьей и судебным исполнителем. Они увидели удавленника, болтавшегося на ремне, и содрогнулись от ужаса. До сих пор никому из них не приходилось видеть ничего подобного. Мне рассказали потом, что каждого, кто смотрел на Кико, сначала охватывал ужас, но стоило всмотреться повнимательней, и люди с трудом удерживались от смеха.

Я представляю себе Кико в нелепой позе висящим на дереве: громоздкий, с уродливой короткой ногой, голова отведена вбок, горло, словно ошейник, сдавила подруга, в зубах зажата трубка, словно он продолжал курить, отчего его губы как-то зловеще кривились. Воистину жуткое зрелище.

Бедный Кико! Он очень любил меня. Да и я тоже его любил, хотя не раз вместе с другими детьми причинял ему боль какой-нибудь жестокой шуткой: бросал в него комья грязи или распевал обидные песенки про хромых, впрочем стараясь держаться подальше. Я был еще слишком мал и не понимал, что заставляю его страдать. Но я любил его и часто после того, как отец его наказывал, искал, чтобы спросить, не больно ли ему, и, как мог, старался утешить.

Он очень злился на нас за наши шутки. Они жестоко ранили его, и, может быть, именно поэтому мы издевались над ним — таковы уж дети, а иногда и взрослые, что гораздо хуже. В такие минуты он, казалось, готов был на все, он угрожал и страшно бранился, но никогда не тронул никого из нас и не осуществил ни одной из своих угроз. И только в тот день, когда гнев его достиг предела — как я жалею, что не был тогда рядом с ним и не утешил его, как в детстве! — Кико обратил свой гнев против самого себя.

Часто после наказания он на несколько часов исчезал с фермы. Случалось, не приходил обедать и даже ночевать. Но в конце концов всегда возвращался. Не сомневаюсь, что он бродил тогда, словно зверь, заблудившийся в непроходимой топи, яростно куря трубку, и думал о том, что рано или поздно он это сделает. Но какая-то сила удерживала его, не давая уйти из жизни. Этой силой была его мать.

Теперь я часто вспоминаю Кико и вижу, как он любил меня. Помню его, когда тетя заставляла меня читать; помню его, когда, укрывшись от ненастья на ферме или в доме бабушки, я читал что-нибудь; родные, сидя вокруг, молча слушали. Самым внимательным слушателем всегда был Кико: он смотрел на меня, открыв рот, из которого тонкой нитью стекала слюна, восхищенный моими знаниями. Помню еще, как он срывал для меня листки с календаря и заставлял прочесть то, что было написано на обороте — «куплеты» и «шарады», как он говорил и смеялся при этом.

Бедный Кико! Если ты нашел себе место на небе среди страдавших в этом мире — а ты заслужил его по праву, — прости меня за то, что я, сам того не желая, тебя обижал. Что бросал в тебя комья грязи, пользуясь тем, что могу быстро бегать, что смеялся, когда ты бежал за мной по песчаной дороге, ковыляя на своей хромо́й ноге и ругаясь оттого, что не можешь меня догнать; что в праздник святого Антония я умолял тебя принять участие в состязаниях и рассердился, когда ты отказался выставить на посмешище свое несчастье. Прости меня. На своем пути я встретил столько вполне разумных мерзавцев, что теперь вспоминаю тебя с еще большим теплом,



В ОЖИДАНИИ НОСОРОГА

Звонок! Проклятый звонок! Сто раз он уже готов был оборвать тонкий провод, по которому пробежал этот ужасный прозаический звук, и сто раз отказывался от своего намерения. Он жил тогда в Мадриде и работал в одном из отделов министерства, где почти ничего не приходилось делать. К тому же и сама работа была довольно однообразной, так что вряд ли могла возникнуть какая-либо непредвиденная малоприятная ситуация. Располагался он в очень милой квартирке, предоставленной ему министерством, недорогой и удобной, имевшей целых двести метров. Не стоило, конечно, рисковать положением, которого он добивался много лет, и возможностью перехода в отдел провинции Альбасете только ради того, чтобы удовлетворить свою прихоть — оборвать провод.

Хотя звонок дребезжал достаточно противно, еще хуже были его последствия: звонил-то дон Андрес. И когда такое случалось, ему приходилось отрываться от дела (это могла

быть и закуска) и стремглав мчаться к его кабинету, стучаться в дверь, ждать ответа, входить и...

— Послушайте-ка, Перес...

Шеф всегда обращался к нему именно так — Перес. Ну что за манера! Дон Андрес просто выводил его из себя. Почему как раз непосредственный начальник единственный во всем министерстве называет его Перес?

— Я вас слушаю, дон Андрес,— пробормотал он, стараясь не обнаруживать кипевшего в нем возмущения и решив на всякий случай улыбнуться как можно шире.

— Раз уж вы писатель,— продолжал дон Андрес,— вам и карты в руки — займитесь редактированием доклада о выдате лицензий на ввоз органических удобрений для компании «МАРИСА».

Волна гнева, поднявшаяся у него в груди, подкатила к самому горлу и едва не заставила его вскрикнуть.

— Но я... — сдержался он вовремя.

И оттого, что он сделал усилие подавить столь неосторожно нараставший в нем бунт, его круглое, гладкое лицо покрылось красными пятнами.

— Вы что-то сказали? — спросил дон Андрес.

Он не сразу ответил, однако, чувствуя на себе строгий и укоризненный взгляд начальника, торопливо пролепетал:

— Да, но... ведь я пишу...

— Знаю, и очень недурно, сентиментальную прозу...

Он чуть не лопнул от злости, но снова сдержался. Все же в его голосе прозвучало что-то похожее на вызов, когда он спросил:

— Разве вы не читали мое последнее произведение, которое я вам принес?

— Читал, как же... Очень мило... в самом деле, мило... А сейчас ступайте и сегодня же принесите мне этот доклад на подпись.

И дон Андрес протянул ему объемистую папку с документами. Он взял документы и вышел из кабинета. При этом у него было сильное искушение со всего размаха хлопнуть стеклянной дверью. Но вместо этого он осторожно прикрыл ее за собой, стараясь сделать это как можно бесшумнее.

Возвратившись к себе, он бросил документы на стол и закурил сигарету, чтобы хоть немного успокоиться.

— Очень мило... в самом деле, мило,— передразнил он сердито дона Андреса.

Ну можно ли так говорить о его трагедии «Барабаны бьют по обнаженному черепу Мафусаила», трагедии жестокой, святотатственной и вместе с тем девственно целомудренной, со звукоподражанием, в шестнадцати актах и с эпилогом, написанным белыми стихами?

Он раскрыл папку с документами и стал приводить их в порядок, чувствуя, как слезы гнева застилают глаза. Чтобы хоть как-то разрядиться, он яростно принялся гасить в пепельнице сигарету и, зловеще поглядывая вокруг, процедил сквозь зубы:

— Сентиментальная проза... Да он просто дурак!

Ему вспомнился финал последнего акта трагедии.

НИСЕФОР. И зачем тебе эти тридцать ночных горшков?

НИКАНОРА. Чтобы класть туда для захоронения зародыши моих детей от Никодемо.

НИКОЛАСА *(с довольной улыбкой)*. От Никодемо, отца твоего брата Никасно, который убил свою жену, потому что застал ее в объятиях собственного отца?

Такие острые, сумбурные, насыщенные катастрофами пьесы могут нравиться, а могут и не нравиться, но пазывать их сентиментальной прозой — сущая ересь. Дон Андрес, наверно, даже не заметил, что имена всех персонажей начинаются со слога НИ. А если бы и заметил — что весьма сомнительно, — вряд ли бы ему удалось раскрыть значение подобного совпадения: абсолютное отрицание, ничего не значащие слова на тарабарском языке. Мог ли дон Андрес понять этот глубокий замысел, если его не уловил ни один из семидесяти четырех театральных антрепренеров Испании, которым автор разослал свое произведение?

Домой он вернулся в дурном настроении, прямо прошел в свой кабинет, даже не поздоровавшись с женой, уселся там за письменный стол и приготовился начать новое произведение. Однако, как не раз случалось в последние месяцы, вдохновение упорно не появлялось. В голову не шли нужные мысли — ни старые, ни новые, ни символические, ни реалистические. Его очень беспокоил доклад об одобрениях для «МАРИСА». Он никак не мог вспомнить, написал ли он «...в том, что касается данной компании...» или «...в том, что касается данную компанию...», и сомнения мешали ему спокойно думать о чем-нибудь другом.

За ужином он сидел молча, лишь изредка поглядывая на жену, к десерту даже не притронулся и снова удалился в кабинет. На мгновение ему показалось, что муза сжалась над ним — в голове зашевелились кое-какие мысли.

Он сел за стол, достал несколько листков бумаги, поспешно припаялся исписывать их, потом вдруг остановился и прочитал написанное. Ему не понравилось. Поэтому листки были скомканы и брошены в корзину. После этого он застрочил снова.

И тут дверь тихонько приотворилась, но он, казалось, ничего не замечал и только лихорадочно продолжал писать. Жена подошла к нему сзади и положила руки на его плечи.

— Эухенно...

Он вздрогнул, поднял голову и, обернувшись, угрюмо уставился на нее.

— Ты меня испугала. Я не слышал, как ты вошла.

— Прости,— ласкаясь к нему, замурлыкала Глория.— Разве не пора бай-бай? Ты ведь устал.

На Глории была прозрачная ночная рубашка. Поерзав на месте, он резко повернулся к столу, стараясь избежать ласк жены. Он знал, куда она клонит.

— Неужели не видишь, что я работаю? — буркнул он, пытаясь отвести от себя ее руку.

— Ты готов заниматься чем угодно, лишь бы не замечать меня,— всплила Глория, и голос ее звучал уже не ласково, а скорее презрительно.— Если бы ты хоть что-нибудь интересное сочинял, за что платят деньги... И ты еще называешь это работой.

Глория с презрением ткнула пальцем в исписанные листки. Эухенно даже не нашелся, что ответить, и только стыдливо прикрыл их руками. Тогда Глория решила снова изменить тактику — вернуться к ласке.

— Пойдем,— вкрадчиво заулыбалась она,— ляг в постельку. Мне пужно рассказать тебе о разных делах.

— Они меня не интересуют. Я хочу сегодня же начать эту вещь. У меня вдохновение.

Глория громко расхохоталась.

— Ну и оставайся со своей музой. Вряд ли только она...

— Что ты вообще понимаешь? — заревел он, уязвленный ее насмешливым тоном.— Ты, которая не смогла окончить и четырех классов... Еще наступит день, когда я, Эухенно Ионеско, прославлюсь на весь мир, и уж тогда посмеюсь я.

Глория, едва сдерживая негодование, двинулась к двери кабинета. Но прежде чем выйти, она все же выпалила с издевательской усмешкой:

— До завтра, Эухенно Перес... Лоренсо!

Последнее слово она произнесла медленно, с наслаждением чеканя каждый его слог.

Эухенно пренебрежительно вскинул руку — жест, который Глории так и не удалось увидеть, и снова взялся за перо. Покусав немного ручку, он зачеркнул все шесть строчек, которые успел написать, и, скомкав листок, швырнул его на пол. Потом закурил сигарету, поднялся и нервно зашагал по комнате.

Эухенно сидел, склонив голову над документами и пытаясь найти подходящую форму для редактирования дурацкого доклада, который дал ему дон Андрес, когда чья-то увесистая рука шлепнула его по плечу.

— Как дела, Ионеско? Сочиняешь гениальное произведение?

Больно ударившись грудью о край стола, Эухенно чуть было не ругнулся. Но, услышав, что его назвали Ионеско — а это был псевдоним, — и узнав по голосу Ромеро, он обернулся к приятелю и улыбнулся. Ромеро тоже служил в министерстве, а вдобавок считался еще и литератором. Но не этим снискал он себе уважение Эухенно. Ромеро сочинял всегонавсего слащавые рассказы да сценарии для детских фильмов, зато ввел среди сослуживцев моду величать его Эухенно Ионеско. И теперь уже никто даже не произносил его настоящего имени — Эухенно Перес Лоренсо. Поэтому-то он и улыбнулся приятелю.

— Что ты, старина! Разве тут можно творить? Дон Андрес поручил мне отредактировать доклад о перспективе сбыта пробок в Германию. А тебе, — спросил он несколько растерянно, — неужели тебе удастся сочинять что-нибудь здесь, в конторе?

— Конечно, — самодовольно ответил Ромеро. — Дома у меня просто нет времени. А кроме того, я вовсе не желаю зря тратить те восемь часов, которые нам приходится высидывать здесь. Уж не хочешь ли ты сказать, что весь день ни черта не делаешь?

— То есть как... — запинаясь проговорил Ионеско. — Я работаю...

— Так я и думал. У тебя тут столько написано...

— Ну да, я ведь редактирую документы...— робко поспешил Эухенно.

— Не будь дурачком, парень,— язвительно заметил Ромеро.— Это не называется работать, это называется тянуть время. Ладно, поїду к себе, посмотрю, может, еще удастся написать парочку глав до конца рабочего дня.

Не дожидаясь ответа, Ромеро удалился, оставив Эухенно в состоянии растерянности и душевного смятения. Эухенно упрямо отвергал возможность творить что-либо значительное в помещении, заваленном всякими делами и документами. И тем более это не место для создания тех произведений, которые он уже задумал написать; таких, например, как «Трагедия мира», в основу которой будет положена несовместимость человека с головастиком и постоянные волнения матери о преждевременной любовной связи ее восьмидесятилетнего сына с самцом бабочки.

— Нет, невозможно...— шепотом проговорил он, энергично замотав головой.— Невозможно!

Как только Эухенно окончательно отверг эту мысль, он снова склонился над докладом о перспективе сбыта пробок.

Но вот наступил долгожданный день. Получив премиальные, Эухенно вместе с женой отправился в одно из небольших горных селений, где собирался отдохнуть положенный ему месяц.

Как и каждое лето, Глория настойчиво убеждала мужа поехать куда-нибудь на взморье. Но ему просто необходимо было пожить в тихом, уединенном местечке, где он мог бы написать все то, что замышлял на протяжении долгого года, пока редактировал всякие доклады.

Как и в предыдущие годы, они, даже не споря, решили снять маленький домик в том горном селении. Селение было расположено недалеко от Мадрида, славилось своей целебной водой и поэтому привлекало к себе немало дачников.

Поездка прошла в полном молчании. Эухенно не мог говорить из-за охватившего его радостного волнения, а Глория так и не нашла повода завязать разговор, к тому же окружавший их пейзаж казался настолько знакомым, что не нуждался в комментариях.

Первые дни Эухенно провел в лихорадочном ожидании. Он не мог начать писать, потому что считал себя обязанным помочь жене разложить и расставить в домике всевозможные

вещички, навести там порядок. Между тем в голове непрестанно роились самые различные темы. Он уже представлял себе, какими должны быть наиболее значительные сцены, а иногда доходил даже до того, что отвечал жене целыми фразами персонажей, которые то и дело рождались в его воображении.

Наконец настал день, когда он освободился от домашних забот, но к вечеру неожиданно началась ужасная гроза, и дождь настолько его раздражал, что мешал сосредоточиться. Следующий день тоже оказался для него потерянным, и все по вине Глории: она предложила присоединиться к экскурсии, организованной для дачников со специальной целью — проверить, появились ли в лесу грибы после вчерашнего дождя. Правда, ему удалось остаться дома, но споры и пререкания с женой привели его в состояние, весьма далекое от столь необходимого душевного равновесия.

В последующие дни Эухенио тоже ничего не удалось написать: то он никак не мог решить, с какой темы следует начать, то бесцельно расточал время, стараясь доказать жене, что ему несколько не интересно ходить на семейные праздники к Родригесам, плавать в бассейне у Гонсалесов, совершать восхождения на Пико Туэрто, играть в капасту с Эмилией и ее мужем или тащиться со всей компанией на фильм с участием Марисоль. Когда же Глория уходила из дому одна, это его так злило, что он в бешепстве рвал все написанное на мелкие кусочки.

Только однажды выдался у него спокойный день, и он почувствовал прилив вдохновения и ту расслабленность, которая так необходима для творческого полета мыслей. Глория ушла неизвестно куда, неизвестно с кем, и он начал писать. Но вскоре внезапно погас свет, и все селение погрузилось в полный мрак до следующего дня. Эухенио, рыдая от бессильной ярости, улегся спать. До возвращения в Мадрид оставалась только одна неделя. Когда он проснулся утром, жены дома не было. Он вспомнил, что не видел ее со вчерашнего вечера, однако решил не беспокоиться — гораздо лучше воспользоваться ее отсутствием и приступить к созданию основного произведения. Ночью, во сне, он подсознательно выбрал наконец желанную тему.

Даже не позавтракав, прикуривая одну сигарету от другой, он начертил наверху чистого листка гениальное название — «В ожидании Носорога» — и описал декорацию первого действия.

В дверь постучали. Эухенио вскочил и, раздраженно взмахнув рукой, пошел открывать. На пороге стояла молочница, которая протягивала ему кувшин.

— Хорошо выспались, дов Эухенио?

— Да, спасибо, — коротко ответил Эухенио, думая только о том, как бы поскорее вернуться к своей работе.

— А ваша супруга?

Вопрос обычный, однако тон его показался ему несколько странным.

— Ее нет дома. Она вам завтра заплатит.

В этот момент до его слуха допеслись какие-то непонятные звуки. Он поднял голову и увидел приближавшуюся к дому ватагу мальчишек, вооруженных палками, которыми они непрерывно ударяли по пустым консервным банкам.

— Ну и сорванцы! — заворчала молочница. — Лучше бы в школу ходили.

Под этот невообразимый аккомпанемент мальчишки что-то еще и горланили. Эухенио невольно прислушался:

Стоит раку задремать,
Унесет его теченьем.
Стоит мужу задремать,
Хлоп — рога для украшения!

Затем, не переставая бить по жестянкам, они разбежались в разные стороны.

И тут показалась Глория; она спокойно направлялась к дому. Увидев жепу, Эухенио указал на нее молочнице.

— Вот и моя жена. Она вам заплатит. Извините, у меня дела.

— Да вы не беспокойтесь, сеньорито. Как-нибудь в другой раз... У вас и так достаточно неприятностей. Я всегда говорила: чем лучше муж, тем больше его обманывает жена.

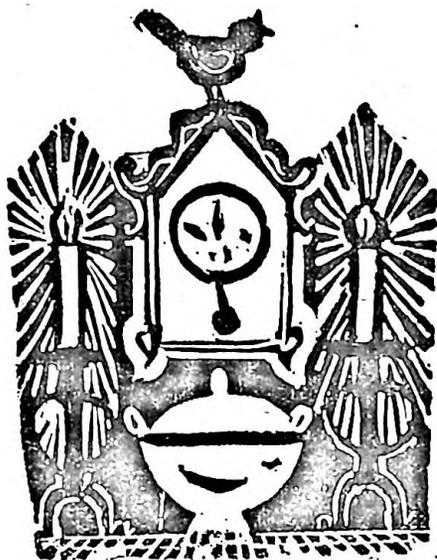
Сказав это, молочница поспешила удалиться. А Эухенио остался стоять, недвижно вцепившись в дверную ручку, с широко раскрытым ртом. Постепенно все становилось ясно. Когда Глория подошла к нему совсем близко, он пробормотал:

— Послушай... мне только что сказали...

Он не успел договорить, потому что Глория, перебив его, затрещала как пулемет:

— Ты сам во всем виноват. Моя мать была права, когда предупреждала меня: «Не выходи замуж за этого никчемного человека, доченька. Что может быть хуже смиренника и тихопи?»

В министерстве узнали обо всем спустя несколько месяцев. Но никто не позволил себе обсуждать случившееся или подтрунивать над товарищем. И никто, даже Ромеро, не пазывал его больше Иолеско. К этому времени автором лучших романов, автором самых популярных радиопередач стал не кто иной, как Эухенио Перес Лоренсо.



РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РАССКАЗ

Даниэль верил в чудодейственную силу имен, даже в судьбу каждого имени, способную сыграть с человеком любую шутку. Поэтому он всегда чувствовал себя в некотором роде пророком Даниилом, которого бросили, измученного и беззащитного, па съедение львам, и дожил до сорока лет, так и не избавившись от гнета какой-то смутной тревоги. Львы мало-помалу пожирали его. Они уже разорвали на куски его молодость, нанесли глубокие раны его мятущейся поэтической душе и грозили расправиться с ним окончательно, не оставив от него и следа. Он предпочел бы сколько угодно подвергаться физическим пыткам, лишь бы не быть жертвой духовного насилия. У него было такое ощущение, будто какой-то чудовищный обман оболакивает его со всех сторон, а неспособность людей понять его и их презрение причиняли ему невыносимую боль и не давали выйти из тупика. И вот он, поэт, проживший юность в лирическом полусне, бодрст-

вудя обычно до зари под чарами нового сонета, рождавшегося в его душе, попал в ловушку к самой что ни на есть обыденной жизни.

Вместо муз его чрезмерно часто посещали свояченицы, рассказывавшие о нотариусе — отце семейства, который умер, «взяв с собою ключ от кладовки». Он чувствовал себя жалким, ничем не примечательным человеком, отождествлявшим смерть уже не с тревожно-патетическими представлениями о потустороннем мире, не со страстными порывами в стиле Бодлера, а со злополучным ключом от кладовки. И он перестал сочинять стихи.

Вот так, постепенно, его и искалечили, превратив в чужого человека в собственном доме. И все потому, что (он в этом не сомневался) его не любили. А может, и любили, по-своему, как любят непризнанного отца семейства, и даже немного побаивались. Он не знал, почему все так случилось. Возможно, потому, что жена, когда дети были совсем маленькими, уже тогда напускалась на них с угрозой: «Вот расскажу все отцу». Или же потому, что, упиваясь своими произведениями, произведениями поэта-неудачника, и позволяя взрослым постоянно говорить детям: «Оставьте отца в покое», «Не мешайте отцу», он утратил потребность в общении с ними. Так все больше и больше он отдалялся от семьи, пока наконец не стал в ней чужим.

Дети, по мере того как они росли, теряли внешнее сходство с его родней. Все дочери становились похожи на тетю Асунсьон, на эту проклятую тетку Асунсьон по материнской линии, вообразившую себя красавицей вульгарную женщину, которой жена очень гордилась. Сыновья же все больше превращались в живой портрет дядюшки Амбросио Видаля, еще здравствующего эгоистичного старикашки, у которого денег куры не клюют. И у Даниэля сложилось впечатление, что его дети, его кровь и плоть, всячески стараются угодить старому Амбросио Видалю ради его наследства.

«Имена, — думал Даниэль, — это наша путеводная пать, наша судьба».

Думая так, он пытался прочитать имена на бирках, привязанных к чемоданам его попутчиков. В купе, кроме него, ехали еще два пассажира. Бирку сеньора, спавшего напротив него, он прочесть не мог, так как она оказалась перевернутой. Вид у этого пассажира был несколько странный: коротенький, полный, он носил спорту, белый жилет и широкий фуляр вокруг шеи. Он спал безмятежно и, казалось, улыбался

Незнакомец ласково обеими руками погладил свой пакет и продолжал:

— Я лично терпеть не могу пошляков. Если говорить конкретно, я имею в виду людей, которые недовольны своей жизнью, этих бедняг, этих жалких созданий...

Даниэль насторожился. Уж не собирается ли этот толстяк наговорить ему дерзостей? Что хотел он этим сказать? Возможно, притворившись спящим, он подслушал его разговор с Флавией? Однако, заметив благодушное выражение лица и мягкий, участливый взгляд своего странного попутчика, Даниэль не стал перебивать его.

— ...этих жалких созданий, которые, не умея жить и ценить жизнь, поворачиваются к ней спиной. Они, подобно Тantalу, тоскуют о недостижимом благе, и это потому, что они — наивные горемыки! — не понимают одного: пет большего блага, чем то, что находится рядом с нами. За пределами нашего бытия пет ничего, кроме пустоты, мрака и отчаяния.

Немного помолчав, он улыбнулся и продолжал:

— Критический ум разрушает все, к чему прикасается. Потому, что такой ум немилосерден и жесток. Критика, которую мы находим в книгах, — штука занятная, но в жизни... Если мы критикуем собственную жизнь, то тем самым уподобляемся обиженным, оказавшимся в пустыне. И наоборот, если мы умеем ценить самые обычные повседневные мелочи, если в пужную минуту у нас достает мужества увидеть поэзию в традициях нашего дома, в корзине с чистым бельем, ожидающим, когда его выгладят...

Тут Даниэль не выдержал и перебил собеседника:

— И у вас хватает смелости называть это поэзией?

— Конечно! — ответил тот с улыбкой человека, разговаривающего с ребенком. — Такая поэзия самая значительная, самая доступная, потому что она наша, собственная. Мебель в нашем доме, дымящийся супник посреди стола...

Он опять помолчал, а потом вдруг спросил:

— Неужели вы не чувствуете себя счастливым, когда заводите часы в вашей столовой?

Даниэль тупо уставился на пего. Он вспомнил, что в столовой его дома действительно висят старые часы, которые давно уже никто не заводит. Он даже не знал, пригодны они еще или нет.

— Часы — это все равно что сердце в твоём доме, — заключил любезный пассажир и, слегка наклонив голову, вышел в коридор.

Когда Флавия вернулась в купе, она заметила, что Даниэль мрачен и чем-то расстроен.

— Что с вами?

— Ничего. Этот тип испортил мне настроение.

— Какой тип?

— Тот, что сидел здесь. Он только что вышел.

— Я никого не видела, — удивилась Флавия. — Мне казалось, мы едем одни.

Так или иначе, им уже не удавалось настроить беседу на прежний душевный тон. Быть может, именно поэтому Даниэль решил проехать мимо своего города, с тем чтобы попытаться вернуть чудесные мгновения.

Когда поезд подошел к станции, у него отчаянно заколотилось сердце. Так бывало с ним лишь в детстве, когда он сбегал с уроков в парк, чтобы половить там бабочек.

Поезд резко затормозил, как следует потрянув пассажиров и их багаж. Бирка на чемодане низенького сеньора выпала из рамки на пол. Даниэль нагнулся, чтобы поднять ее. Но как раз в этот момент в купе вошел ее владелец, и Даниэлю, чтобы скрыть свое любопытство, ничего другого не оставалось, как сунуть в карман белый кусочек картона, надпись на котором он не успел прочитать.

Паровоз уже набирал пары, готовясь двинуться дальше, когда странный пассажир неожиданно схватил Даниэля с такой силой, какую трудно было предположить в его коротких руках, вытолкнул в коридор и буквально вышвырнул из вагона на платформу. Еще секунда, и из окна вылетел чемодан. Описав в воздухе дугу, он шлепнулся рядом со своим хозяином. Даниэль, который чудом не сломал себе ногу при падении, разразился сердитой бранью, увы, потонувшей в оглушительном реве паровозного гудка.

На скатерти, расшитой памятным датами — ведь это был сочельник, — торжественно дымился супник, все члены семьи болтали без умолку, и все то же, что Даниэль слышал на протяжении пятнадцати лет. Он внимательно смотрел на своих детей, медленно переводя взгляд с одного на другого.

— Что с тобой? — спросил один из них. — Почему ты на нас так смотришь? Ты не заболел?

— Нет, нет. Я просто заметил, что вы все похожи на меня.

— Я это всегда говорила, — подтвердила жена.

И ведь правда, она всегда это говорила, но он никогда не

верил. На Даниэля внезапно нахлынул неудержимый прилив нежности к этим юным созданиям, в которых так явственно угадывались его черты.

После ужина дети окружили его, щедро выказывая небывалые до того пылкие чувства. А может, они всегда были такими, но он заметил это только сейчас? В одном из уголков гостиной сверкал зажженными свечами самодельный «Вифлеем».

— Вы что, сами его сделали?

— Реку смастерил я.

— А я — этот луг.

— Тебе нравится пещера?

— А мама сделала горы.

Даниэль взглянул на жену. Она не была красивой, не была стройной, не была обворожительной, но зато умела делать горы!

— Ой, свечи погасли! — закричал вдруг один из малышей. — Папа, дай спички.

И он сунул руку в карман Даниэля. Вместе со спичками малыш извлек оттуда и бирку загадочного незнакомца.

— Что здесь написано, папа?

Даниэль прочел бирку. На ней было два слова: «Чарльз Диккенс».

Даниэль не смутился. И даже не удивился. Тем не менее он направился в столовую, подошел к старым часам и принялся их заводить.

— Часы, — сказал он, — это все равно что сердце в твоём доме.



ЦВЕТНИК

Он направился было к повороту, за которым они исчезли. Грузовик, полный толстых досок, гудел за его спиной, но Доминго, казалось, не слышал ни сигнала, ни крика водителя: «Берегись, дед!» — который взял влево, чтобы не задеть его. Испачканные известкой рабочие, подпрыгивая в кузове на досках, помахали оставшемуся позади старику. Доминго остановился, борясь с ветром, рвавшим на нем одежду. Потом вернулся обратно и, наморщив лоб, будто сился вспомнить что-то, перешел придорожную канаву и сел на краю среди деревьев. Он смотрел на это место, на следы шин, на пятно, похожее на мазок кистью. Грузовик, уменьшаясь, катил по дороге среди платанов. Их голые стволы, почти без побегов на северной стороне, четко вырисовывались на фоне неба.

Было ясное и холодное утро ранней весны. Лес, мокрая земля, зеленые поля, громадный серый город, растянувший-

ся до моря, — все блестело па солнце, омытое ночным дождем. Ветер гнал по небу клочковатые облака, и казалось, что первые стрижи охотятся за ними, поднимаясь и в упоении падая вниз. Сначала Доминго шел по залитому солнцем тротуару, потом по дороге, засунув руки в карманы и спрятав подбородок в складки шарфа, шел навстречу резкому ледяному ветру. На некотором расстоянии от него, почти вплотную к платанам, с трудом двигалась Амелия, незаметная на фоне толстых, окрашенных в белое стволов.

Это утро начиналось так же, как остальные. Едва они позавтракали, Доминго пошел на площадь ждать, пока Амелия кончит наводить чистоту. Сидя на скамье, он загорал, не обращая внимания на женщин, сновавших мимо него за покупками, и взгляд его черных, глубоко сидящих глаз, как всегда, казался неподвижным. Если дул сильный ветер, он пристраивался у южной стороны дома, рядом с дурачком, который продавал табак, спички, камни для зажигалок и черные, перекрученные, как корни, сигары. Здесь же стояли двое полицейских, предпочитавших находиться на этом углу, а не у подъезда Пенсионных касс, который был еще в тени. Потом, когда приходила Амелия, они шли гулять. С площади они выходили вместе, но у Амелии были опухшие ноги и она сразу же отставала. Расстояние между ними постепенно увеличивалось. Он не ждал ее, и она не просила его об этом и никогда не останавливалась на полдороге. Сжав зубы, медленно, упрямо шла она к намеченному месту, которое было ей так же безразлично, как любое другое, и которое успевало надоесть ее мужу прежде, чем она туда добиралась. Доминго спрашивал: «Вернемся?» Она же упрямо шла дальше. Они добирались до поворота дороги, откуда было видно здание, строящееся на том месте, где раньше был цветник. Посмотрев на стройку, они возвращались обратно. Еще год назад Доминго ухаживал за этим цветником, пока управляющий дона Виктора не сказал, что здесь начнется строительство и чтобы он уходил.

На обратном пути они сворачивали к источнику с ледяной водой, которую люди считали целебной. Он находился в ложбине, среди тесно стоящих стройных тополей. У источника всегда толпились люди, наполнявшие водой графины, кувшины и бутылки. Доминго и Амелия садились на солнце, молча слушали, что говорилось — разные старые истории. Немного спустя жена уходила готовить обед. Старик оставался сидеть под тополями. Иногда его одолевал сон

и он дремал, открыв рот, черный и круглый, папоминавший отверстие цветочного горшка. Кошки окружали его и засыпали у него на коленях. Когда наступал час обеда, он возвращался домой.

Они снимали комнату в темном полуразвалившемся доме, в районе, который когда-то был деревней, а теперь превратился в пригород. Их квартирную хозяйку, толстую, растрепанную старуху, всегда одетую в черное, все пазывали Вдовой. Семьи у нее не было, и, казалось, она только и делала, что следила за жильцами. Хозяйка не желала, чтобы Амелия готовила на кухне в одно время с ней, говоря, что та мешает ей своей медлительностью. Кроме того, они не должны были утром вставать раньше нее, открывать двери, предварительно не поставив ее в известность, так как она боялась сквозняков, а также пользоваться уборной в те часы, когда пользовалась она. Вдова подсматривала за ними в замочную скважину, а столкнувшись, заявляла, что не может держать жильцов за такую низкую плату, и угрожала, что попросит в конце-концов монахинь забрать стариков в какой-нибудь приют.

Поэтому они проводили большую часть времени вне дома. Вечером опять шли прогуляться. Когда смеркалось, Доминго отправлялся в местный бар, а Амелия возвращалась к себе в комнату, шила или занималась починкой. Заведенный порядок никогда не менялся. Они строго придерживались его, малейшее отклонение выбивало их из колеи, и тогда они чувствовали себя так, словно изменили своему долгу; привычка превратилась в обязанность.

В кабачке можно было, заплатив лишь за стаканчик вина, сидеть сколько угодно, наблюдая за парнями, играющими на бильярде, в настольный футбол, шахматы или домино. Ровно в девять, когда били часы на углу, Доминго подзывал официанта, расплачивался и шел домой ужинать; ужинали они остатками от завтрака, которые Амелия не разогревала, чтобы не беспокоить хозяйку. Потом сразу же укладывались спать, каждый на своей стороне кровати, не разговаривая, словно другого здесь и не было. Хозяйка не любила, чтобы жгли свет без крайней необходимости.

Они вообще говорили мало, а спорили и того меньше. Иногда он ворчал, что она, когда готовит, наверное, съедает лучшие куски, при этом он не кричал, не бранился, он просто высказывал предположение. Она лишь отрицательно качала головой, на том дело и кончалось. Они редко обме-

нивались фразами, если не надо было попросить, или предложить что-нибудь, или же рассказать что-то необычайное, что видел либо слышал один из них. С посторонними они говорили еще меньше. Почтальон не знал их. Они никогда не получали писем от родных или друзей. Ходил слух, что у них был сын, сильный белокурый юноша с открытым, приятным лицом. Он погиб во время бомбежки, за несколько дней до призыва в армию.

Стрижи взмывали ввысь, пикировали и проносились, почти касаясь земли, как пули па излете. По дороге шла открытая машина, длинная, цвета сливок, шла мягко и медленно, производя не больше шума, чем рвущийся шелк. Мужчипа вел машину одной рукой — другая обнимала прислонившуюся к нему белокурую женщину в темных очках. А вторая блондинка, стюардесса в сером, улыбалась ему. «В любую часть света па самолетах нашей авиакомпании». Какого света? Самолеты, самолеты... раз! — и на тот свет, ах, сыночек, сыночек... Стиснув зубы, наморщив лоб и не вынимая из карманов сжатых кулаков, он смотрел па город, па зеленые поля и наступающие на них дома окраин, разбросанные, как игральные кости па зеленом сукне. Серые каркасы в строительных лесах росли день ото дня среди рокота моторов снующих туда и обратно грузовиков, стука молотков, мешков с цементом, балок и известкового раствора. Две линии простого каменного бордюра на траве, по обе стороны — дома, между ними асфальтированные тротуары с цепочкой фонарей, а там уже люди. Здесь был его цветник. Однажды утром, одиннадцать месяцев назад, джип дона Игнасио, управляющего, остановился перед изгородью из колючего кустарника и сухих пальм. Дон Игнасио, крупный моложавый мужчина, втиснутый в куртку из густого и мягкого меха, подошел к нему, дун в усы, с покрасневшим от холода лицом. Он сказал старику, который слушал его, опершись на свою мотыгу, что тот должен уйти отсюда не позже чем через месяц. И это весной, когда почки лопались, как хорошо прогретые яйца в инкубаторе, когда клумбы были полны свежих, упругих цветов, а сад походил па улей, столько там летало пчел и больших мух. И Амелия, которая говорила мало, а спорила и того меньше, которая всюду безропотно следовала за ним, сказала ему тогда:

— Пойди к допу Виктору.

— Нет.

— Пойди. Ты должен повидать его. Сходи к нему.

— Нет. Не пойду.

И она заплакала, кажется, в первый раз. Ох, пет, господи, кажется, во второй. А Доминго вырвал, срезал и продал не торгуясь все, что мог, вручил половину доу Игнасио и через двадцать семь дней в последний раз закрыл за собой калитку в ограде из колючего кустарника, теперь уже ненужную, потому что за пей не оставалось ничего, кроме сорняков да пустой, развороченной, как после бомбежки, земли.

Вскоре прибыли первые бригады рабочих. Доминго приходил каждое утро, наблюдая издали, как постепенно раз-
вертываются работы. Отвес, несколько метров бечевки, кирки и лопаты, экскаватор; на груде мешков двое одетых в светлое мужчии сверялись с чертежами и руководили работами, словно генералы, указывая вытянутой вперед рукой. Потом все это огородили кирпичным забором с широкими задвигающимися воротами, которые открывались только для того, чтобы пропустить грузовики, да с дверцей, в которую каждый день заглядывал Доминго. Отсюда он наблюдал, как в его маленьком пруду дымилась негашеная известь, как засыпали глубокие ямы, вырытые на его полях, и как ставили первые столбы из армированного цемента, пока однажды прораб не спросил его, не потерял ли он здесь что-нибудь.

А одиннадцать месяцев спустя опять была весна, и снова, как в прошлом году, стрижи падали сверкающими серпами на пшеничные поля. Но наверное, птицы были другие и трава другая, а на месте его цветника теперь возвышались семь этажей наполовину закопченного здания. Был март, и недавние всходы на окрестных полях, мягкие и нежные, дрожали от палатавшего ветра. Доминго смотрел на них с дороги. А однажды, не выдержав, зашагал по посевам, и Амелия пошла за ним, погружая ноги в рыхлую красную землю, прогретую солнцем. В этот день они обедали позже обычного.

Доминго происходил из крестьянской семьи. Родился в Ла Ногере, усадьбе, имевшей около двухсот гектаров по-
се-
вов и леса, основными арендаторами там были его родители. Летом он не разлучался с Аугусто, сыном владельца усадьбы, мальчиком приблизительно его возраста. Аугусто был очень слабый и болезненный, поэтому отец все три месяца капикул держал его в деревне. Осенью Аугусто воз-

вращался в город, а Доминго начинал работать в поле со своими родителями. Это было так же неизбежно, как смена дня ночью. Потом опять наступало лето, и дети, у которых впереди было три месяца — целая вечность! — ловили в канавах головастиков, играли в войну, выращивали на лесных опушках пшеницу, маис и фасоль. В октябре, когда Аугусто уже не было, Доминго приходил туда поливать растения, но делал это нерегулярно, без всякой охоты, пока они не погибали от первых заморозков.

Однажды Аугусто приехал с ружьем 24-го калибра — подарком отца, и время, когда они сидели в засаде в вересковых зарослях, сдерживая дыхание, с бьющимся сердцем, было, наверное, самым счастливым. Потом все изменилось. Аугусто проводил в Ла Ногере уже не все лето, а лишь несколько дней в сентябре. Отец возил его на модные пляжи и курорты принимать морские ванны. «Он у меня становится дикарем. Да и раньше был нелюдимым... Поэтому я и вожу его в Ситхес. Хочу, чтоб повидал людей, познакомился с девушками да пообтесался немного», — говорил он крестьянам. Аугусто теперь был длинным грубоватым юношей с прыщавым лицом, ломающимся голосом и невыразительным взглядом. Он приезжал в Ла Ногеру вместе с приятелем, толстым и злым, который гонял кур, колотил свиней и пинками разбивал кроличьи клетки. Когда они отправлялись на охоту, загонщиком брали с собой Доминго. Он пробирался по канавам, заросшим бурьяном, натравливал собак, а приятели ждали наверху с ружьями. Остальное время Аугусто и его друг проводили в саду, развалившись в шезлонгах, поглощая пирожные и прохладительные напитки, шушукаясь и хихикая. Потом два года подряд Аугусто не показывался в Ла Ногере. Он окончил школу и изучал языки за границей... Вернулся уже взрослым мужчиной, и Доминго впервые обратился к нему на «вы». С этого времени Аугусто бывал в Ла Ногере только наездами, всегда с друзьями и приятельницами. Встретившись с Доминго, хлопал его по спине, сердечно улыбался и предлагал сигареты, каждый раз забывал, что Доминго не курит. А потом спрашивал: «Помнишь, как мы вместе играли?» Однажды, уже женившись на донье Магдалене, он предложил Доминго уехать с ним в Барселону. Доминго согласился. Ему дали строптивую лошадку и легкую лакированную коляску, чтобы он каждый день возил на прогулку сеньору и маленького Виктора. Доминго нравились лошадь и коляска,

город и их дом с огромным тенистым садом. Дом был выстроен под средние века: с высокой башней и островерхой крышей; в башне был балкон с разноцветными стеклами, где Доминго проводил почти все свое свободное время, разглядывая улицу через цветные витражи.

Он быстро освоился в городе. Ему удалось преодолеть страх, который он и его лошадь питали к автомобилям и трамваям, причем лошадь, пожалуй, справилась с этим быстрее его. По утрам он возил на прогулку сеньору и мальчика. Донья Магдалена была женщина добрая и очень любила животных. «Не бей ее, Доминго, не бей,— часто говорила она Доминго, поглаживая круп лошади.— У лошадей невеселая жизнь. То направо, то налево, то стой, то иди... Она слушается, а получает за это горстку сладких рожков. Так и идет, сама не зная куда, пока однажды не сможет подняться или же свалится посреди дороги у обочины». Хорошая, очень хорошая была сеньора.

Вскоре Доминго женился на Амелии, кухарке. Дон Аугусто сказал, что оплатит им двухнедельное свадебное путешествие в любое место, которое они выберут. Доминго выбрал Ла Ногеру. Тогда дон Аугусто хлопнул его по спине и спросил: «А помнишь, как мы играли вместе?» И подарил ему две гаванские сигары.

Сын родился ровно через девять месяцев. Все шло хорошо до того дня, когда во время прогулки лошадь повела и коляска перевернулась. Ни донья Магдалена, ни дети не пострадали, и Доминго никто не ругал. Но дон Аугусто продал лошадь и поручил Доминго ухаживать за садом. Иногда вечером, после работы, Доминго, взглянув на свои сухие, жилистые, чуть дрожащие руки, шел па копытошню, где все еще стояла сломанная коляска, покрытая пылью и паутиной. Он проработал в саду несколько лет. Сын уже поступил учеником в столярную мастерскую.

Потом им пришлось оставить этот дом. Дон Аугусто сказал, что думает продать его и снять квартиру в центре города. Там для Доминго не было места. «У меня есть цветник в пригороде,— сказал дон Аугусто.— Если хочешь, сдам его тебе в аренду. Это хорошее занятие, на цветах можно неплохо заработать». Доминго согласился и снял пока комнату для жены и сына, который уже стал юношей и работал на лесопилке. А потом мальчик, сильный и белокурый, погиб, почти в двадцать лет. Во время бомбежки. В те времена дон Аугусто часто приглашал его к себе. Он потол-

вращался в город, а Доминго начинал работать в поле со своими родителями. Это было так же неизбежно, как смена дня ночью. Потом опять наступало лето, и дети, у которых впереди было три месяца — целая вечность! — ловили в кацавах головастика, играли в войну, выращивали на лесных опушках пшеницу, манс и фасоль. В октябре, когда Аугусто уже не было, Доминго приходил туда поливать растения, но делал это нерегулярно, без всякой охоты, пока они не погибали от первых заморозков.

Однажды Аугусто приехал с ружьем 24-го калибра — подарком отца, и время, когда они сидели в засаде в вересковых зарослях, сдерживая дыхание, с бьющимся сердцем, было, наверное, самым счастливым. Потом все изменилось. Аугусто проводил в Ла Ногере уже не все лето, а лишь несколько дней в сентябре. Отец возил его на модные пляжи и курорты принимать морские ванны. «Он у меня становится дикарем. Да и раньше был нелюдимым... Поэтому я и вожу его в Ситхес. Хочу, чтоб повидал людей, познакомился с девушками да пообтесался немного», — говорил он крестьянам. Аугусто теперь был длинным грубоватым юношей с прыщавым лицом, ломающимся голосом и невыразительным взглядом. Он приезжал в Ла Ногеру вместе с приятелем, толстым и злым, который гонял кур, колотил свиней и пинками разбивал кроличьи клетки. Когда они отправлялись на охоту, загонщиком брали с собой Доминго. Он пробирался по канавам, заросшим бурьяном, натравливал собак, а приятели ждали наверху с ружьями. Остальное время Аугусто и его друг проводили в саду, развалившись в шезлонгах, поглощая пирожные и прохладительные напитки, шушукаясь и хихикая. Потом два года подряд Аугусто не показывался в Ла Ногере. Он окончил школу и изучал языки за границей... Вернулся уже взрослым мужчиной, и Доминго впервые обратился к нему па «вы». С этого времени Аугусто бывал в Ла Ногере только наездами, всегда с друзьями и приятельницами. Встретившись с Доминго, хлопал его по спине, сердечно улыбался и предлагал сигареты, каждый раз забывая, что Доминго не курит. А потом спрашивал: «Помнишь, как мы вместе играли?» Однажды, уже женившись на долье Магдалене, он предложил Доминго уехать с ним в Барселону. Доминго согласился. Ему дали строптивую лошадку и легкую лакированную коляску, чтобы он каждый день возил на прогулку сеньору и маленького Виктора. Доминго ввалился лошадью и коляска,

город и их дом с огромным тенистым садом. Дом был выстроен под средние века: с высокой башней и островерхой крышей; в башне был балкон с разноцветными стеклами, где Доминго проводил почти все свое свободное время, разглядывая улицу через цветные витражи.

Он быстро освоился в городе. Ему удалось преодолеть страх, который он и его лошадь питали к автомобилям и трамваям, причем лошадь, пожалуй, справилась с этим быстрее его. По утрам он возил на прогулку сеньору и мальчика. Донья Магдалена была женщина добрая и очень любила животных. «Не бей ее, Доминго, не бей,— часто говорила она Доминго, поглаживая круп лошади.— У лошадей невеселая жизнь. То направо, то налево, то стой, то иди... Она слушается, а получает за это горстку сладких рожков. Так и идет, сама не зная куда, пока однажды не сможет подняться или же свалится посреди дороги у обочины». Хорошая, очень хорошая была сеньора.

Вскоре Доминго женился на Амелли, кухарке. Дон Аугусто сказал, что оплатит им двухнедельное свадебное путешествие в любое место, которое они выберут. Доминго выбрал Ла Ногеру. Тогда дон Аугусто хлопнул его по спине и спросил: «А помнишь, как мы играли вместе?» И подарил ему две гаванские сигары.

Сын родился ровно через девять месяцев. Все шло хорошо до того дня, когда во время прогулки лошадь понесла и коляска перевернулась. Ни донья Магдалена, ни дети не пострадали, и Доминго никто не ругал. Но дон Аугусто продал лошадь и поручил Доминго ухаживать за садом. Иногда вечером, после работы, Доминго, взглянув на свои сухие, жилистые, чуть дрожащие руки, шел на копышню, где все еще стояла сломанная коляска, покрытая пылью и паутиной. Он проработал в саду несколько лет. Сын уже поступил учеником в столярную мастерскую.

Потом им пришлось оставить этот дом. Дон Аугусто сказал, что думает продать его и снять квартиру в центре города. Там для Доминго не было места. «У меня есть цветник в пригороде,— сказал дон Аугусто.— Если хочешь, сдам его тебе в аренду. Это хорошее занятие, на цветах можно неплохо заработать». Доминго согласился и снял пока комнату для жены и сына, который уже стал юношей и работал на лесопилке. А потом мальчик, сильный и белокурый, погиб, почти в двадцать лет. Во время бомбежки. В те времена дон Аугусто часто приглашал его к себе. Он потол-

стел, у него появился второй подбородок, морщины, вид у дона Аугусто был усталый. «Мы ведь играли вместе, помнишь? Когда были детьми, играли вместе», — говорил он и бросал на Доминго быстрый, беспокойный взгляд из-под набрякших век. Дон Аугусто отправился с семьей в Ниццу, а когда вернулся, Доминго представил ему полный отчет о продаже. Только вместо цветов он посадил картофель и капусту, а теперь снова собирался приняться за цветы.

Цветник был тщательно возделан и приносил неплохой доход. Земля была хорошая, воды достаточно, так что цветы вырастали сочные и пышные. Доминго срезал их вечером, а продавал на Лас Рамблас рано утром, когда просыпались воробьи. Казалось, он был доволен работой. Только иногда, весной, становился печальным. Март был словно боль, утихавшая с наступлением дождей, от которых успокаивались нервы и пробуждались корни в темноте сухой, промерзшей земли, а почки на деревьях медленно раскрывались, как туго сжатые кулаки. Они все еще жили в комнате, спятой несколько лет назад: от сада недалеко, плата небольшая, словом, старикам, какими стали он и его жена, это вполне подходило.

Три раза в год он навещал дона Аугусто — на Новый год, на пасху и в день его ангела, в октябре. И приносил ему цветы. Дон Аугусто принимал Доминго в зале, положив ногу на диванную подушку. Рядом всегда стоял горшочек с медом, время от времени дон Аугусто макал туда деревянную палочку и облизывал ее. Вокруг суетились родственники и слуги, присматривавшие за ним. Завидев Доминго, он опускал руку в карман и вынимал несколько сигар. Но теперь уже не улыбался, а смотрел левым глазом, внимательным, круглым и быстрым, как у петуха, правый же был постоянно прищурен. «Помнишь, как мы играли вместе?» И, словно удивляясь, поворачивался к присутствующим: «У нас был огород. Мы сеяли фасоль и пшеницу». А на лице дона Аугусто были усталость и боль, И страх.

О его смерти Доминго узнал из газет. Он пришел, когда дона Аугусто уже выносили. Гроб поставили среди вежков и лент на повозку, которую тащили четыре изможденные клячи. Он шел за вереницей автомобилей и экипажей. Во время церемонии на кладбище Доминго встал в стороне, под кипарисами. И ушел последним.

Потом все пошло по-прежнему. Только теперь он имел дело с управляющим и сеньора навещал, кроме Нового года и пасхи, в день святого Виктора, а не святого Августина. Дверь ему открывала новая горничная, брала букет и вручала двадцать дура от сеньора. Первые два раза он взял деньги. «Наверное, он меня не помнит,— говорил Доминго девушке.— А я носил его на руках, когда он и «папа»-то не умел сказать. Возил их с матерью на прогулку в коляске по утрам...» Потом он спрашивал о сеньоре и доне Альварито, ее сыне, который, наверное, уже стал большим, и о донье Магдалене. Но донья Магдалены, хорошей и доброй, не было дома, или она была больна, или у нее была мигрень и она не могла его принять. Уже с третьего раза Доминго перестал дожидаться ответа — вручал цветы и уходил. В день святого Августина он шел на кладбище и оставлял букет у дверей склепа. В последний раз, когда наступил этот день, его уже выставили из сада, и цветов у него не было. Но стоял октябрь, он пошел на гору и набрал почти целую корзину маленьких белых цветов, пахнущих медом.

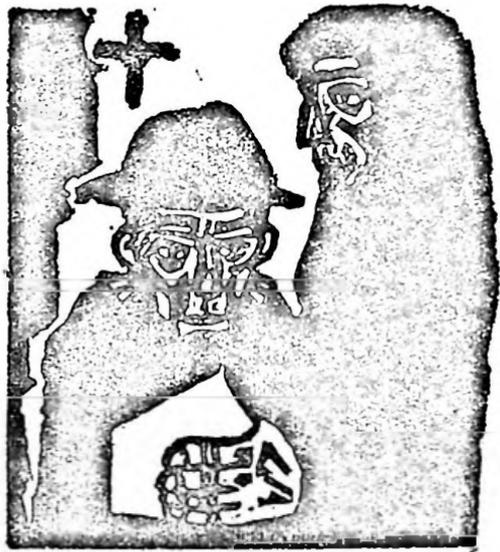
Дон Игнасио объяснил ему, что он должен уйти. Она сказала: «Пойди к нему»,— а он ответил: — «Нет». И не пошел. Вместо этого обошел нескольких хозяев поблизости, предлагая обрабатывать их землю, и повсюду получил отказ; некоторые даже и не спрашивали, сколько ему лет. Тогда Доминго хорошенько наточил свои инструменты, тщательно смазал их и спрятал в шкаф, завернув в старые тряпки.

Он и теперь еще продолжал просыпаться на рассвете, но поднимался только через два часа, потому что хозяйки раздражало его хождение, словно он был сумасшедший. Едва дождавшись поджаренного на оливковом масле хлеба с чесноком да стаканчика вина, он торопился уйти из дому, как будто у него было множество дел. А сам сидел на солнце, читая газету, взятую у приятеля, или прогуливался в сопровождении все время отстававшей Амелии до того места, где раньше был цветник. Затем до обеда сидел у источника. Вечером снова грелся на солнце, опять немного гулял, потом ужинал в местном баре, выпивал немного вина. Если Амелии удавалось сэкономить немного, они шли в местное кино, открытое по средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

В воскресенье, после мессы, он шел на небольшой пу-

том собрался было пойти следом, но грузовик с досками проехал мимо, чуть не задев его. Рабочие, сидевшие на досках, дружески помахали ему. Он присел на камень под деревьями. «Участки, приобретенные для повой городской богадельни», — где-то прочел он однажды. «Добро пожаловать в...» Он смотрел на следы шин, на лужицу, застывшую, словно густая красная глина.

Мальчик на велосипеде остановился у края дороги и что-то прокричал ему. Старик, не шелохнувшись, поднял на него непонимающий взгляд. Мальчик снова крикнул. Он спрашивал, куда попадет, если будет ехать все время прямо.



ПИСЬМО

«...И возьмите отца вашего и семейства ваши, и придите ко мне; я дам вам лучшее в земле Египетской, и вы будете есть тук земли».

(Бытие, глава 45)

«...В этой тесной земле мы не сможем прожить».

(Песнь о Сиде, ч. 1)

I

По тропе, с трудом одолевая подъем, ползет велосипедист. На никеле руля вспыхивает еще невысокое солнце. В листве тополей с обеих сторон по-утреннему бойко гомонят птицы. Высоко в небе повисли жаворочки. Ветер ворошит занпдевелую хвою сосен. Кажется, рассвет растолкал гору ото сна, и вот теперь она потягивается всем своим исполненным телом.

Велосипедист подскакивает на камнях. Он пригнулся к рулю, тяжело дышит, бараньего меха шапка сползла на уши, вельветовая куртка задралась на спине, ходуном ходит в такт движению.

С вершины горы, где среди камней притулилась лачуга Габриэля, казалось, что велосипедист вертит педали на месте. Во всяком случае, так казалось Габриэлю. Он сидел на ступеньке, привалясь спиной к двери, слезящиеся глаза его неотрывно следили за медленно ползущей вверх фигуркой велосипедиста. Внизу под ним по склону лепились домики с красными черепичными крышами, ярко белели в утренних лучах мазанные известкою стены, шурились из-за створок ставен подслеповатые оконца. Тонкий шпиль церкви, как мачта, воззаялся в небо. Уже звонили к заутрене: удары колокола, сливаясь с эхом, точно гигантское покрывало, окутывали долину и, возносясь кверху, гулко отдавались в ушах Габриэля.

Звон оборвался. Велосипедист был уже совсем рядом. Перед домом тропинка поднималась так круто, что дальше ехать было невозможно. Человек слез с велосипеда и, пыхтя как паровоз, побрел к хижине. Буркнув что-то себе под нос, «день добрый» вроде, он стал рыться в коричневой сумке, переброшенной через плечо.

— Письмо тебе,— сказал он.

Габриэль настороженно следил за движениями почтальона, как тот извлекает письмо из сумки. Дрожащей рукой он взял конверт и тупо на него уставился.

— Ну и дорога!

— Дорога-то? Да...— рассеянно отозвался Габриэль, не отрывая глаз от письма.

Почтальон утер с лица пот, постоял немного и, развернувши велосипед, покатила восвояси. Почтальон давно уже скрылся из виду, а Габриэль все стоял и почтительно глядел на конверт, он был, по-видимому, чем-то доволен, но из почтения не решался надорвать бумагу. Насмотревшись всласть, он сложил пакет пополам и сунул в карман куртки. Потом снова присел на крылечко и, привалясь к двери хижины, задремал: глаза закрылись, губы чуть тронула улыбка, голова приятно закружилась, блаженное ощущение тишины и покоя охватило все его существо. То, что мгновение назад было Габриэлем, теперь плавко и сладко растворилось в блаженной дремоте.

Два дня пролежало письмо в кармане у Габриэля. Он то и дело ощупывал его сквозь овечий мех куртки, а иной раз, оставшись один, вытаскивал на свет и тихонько поглаживал кончиками пальцев, словно хотел узнать, что внутри. Он, не переставая, думал о письме, его разбирало любопытство: что же такое в нем написано? Но он так и не вскрыл конверта и никому ничего не сказал.

На третий день Габриэль не выдержал. Он лежал на топчанине в углу хижины, утреннее солнце бросало на него сквозь узкое окно полоску света. Дети куда-то подевались, Паскуала, жена, стирала, пагнувшись над корытом.

— От парня письмо пришло, — невозмутимо молвил Габриэль, подняв голову от подушки.

— Когда? — резко оборотилась Паскуала.

— Два дня будет.

Паскуалу даже затрясло:

— Два дня! И что за человек ты бесчувственный. Два дня! Рыбью кровь в тебя влил господь бог, чтоб тебе ни дна ни покрышки!

Габриэль зажмурился, ему показалось, будто на него рушится скала. Ну и глотка у Паскуалы, ну и ручищи — ни дать ни взять мельничные крылья.

— Все ей вынь да положи, — ворчал он, протягивая разъяренной супруге письмо.

Паскуала, не удостоив мужа ответом, выхватила конверт и, надорвав, дрожащими пальцами извлекла из него сложенный вдвое листок бумаги. Развернув и осмотрев его с обеих сторон, она повернулась к мужу и решительно заявила:

— Надо б кому-то дать прочесть.

— А я что говорю?

— Чтоб сию минуту прочесть!

И такой грозный был у супруги голос, что Габриэль попял: хочешь не хочешь, а подымайся и тащись вниз. Он сел и несчастными глазами воззрился на Паскуалу, потом стал нехотя натягивать штаны. Паскуала сняла фартук, подошла к старому зеркалу в облупленной раме и пригладила рукой растрепавшиеся волосы. Движения ее были уверенны и энергичны.

— Письмо может прочесть сеньор священник. Сейчас он свободный. Чего же лучше.

Габриэль помалкивал. Паскуала распахнула дверь, а он все еще возился со своими штанами.

— Да шевелись ты! О господи, он еще копается.

И Габриэль поплелся за женой, ворча себе под нос:

— Все ей вынь да положи, будь оно неладно...

III

Дон Франсиско Иррасальде, приходский священник в Лас-Кольменасе, невысокий коренастый мужчина с рыжей бородкой и эпергичным лицом, покачиваясь в качалке, читал вполголоса утренние молитвы.

Робкий стук в дверь, прозвучавший в этот неподходящий момент, возвратил его с небес на землю. Дон Франсиско поднялся, размашисто прошаркал к двери и отодвинул засов.

— Проходите в обитель раба божьего, дети мои. Чем могу вам служить?

— Мы пришли просить вас о большом одолжении, святой отец, — отвечала Паскуала.

— Ну что же, посмотрим, посмотрим...

Они прошли следом за хозяином. Дон Франсиско придвинул к камину три стула и жестом пригласил гостей садиться. Габриэль с женой робко присели каждый на краешек стула. Пастырь сел тоже, прямой и несколько торжественный. Мельком окинув посетителей взглядом, он благосклонно спросил:

— Итак, дети мои, чем могу служить вам?

Паскуала протянула ему письмо и повесела-забормотала что-то несвязное:

— Сынок наш, знаете, сеньор? — говорила она, то и дело запинаясь. — Сынок наш, Паскуаль, в городе который, он вот и отписал нам, значит... А мы, как получили весточку, так сразу и сказали себе: «Наш-то сеньор священник умеет грамоте», вот мы, значит, и сказали себе: «Он уж точно грамоте умеет...»

Святой отец принял из рук Паскуалы письмо, водрузил на нос очки и, страдая в душе, взялся распутывать каракули и загогулины. Он долго шевелил губами, дочел наконец до последней строки и устремил задумчивый взгляд поверх очков на притихшую чету. Габриэль с Паскуалой беспокойно заерзали на стульях в ожидании. Тут дон Франсиско снял очки и стал разглядывать мыски собственных башмаков и пощипывать рукою рыжую свою бородачку. Паскуала не удержалась:

— Что он пишет-то, сеньор священник?

— Что пишет? — начал дон Франсиско. — А пишет, что надеется, мол, вы милостью божией пребываете все в добром здравии, что самое позднее на исходе сей недели ждет вас к себе. Пишет тож, что зарабатывает на фабрике вчетверо более того, что вы здесь зарабатываете, даже когда у вас есть работа, что работа в городе, коли повезет, имеется всегда и что выгнать человека на улицу с фабрики не так просто, как здесь. Еще пишет, к лету женится на этой самой Бальдомере-андалузке, о какой он вам рассказывал прежде. Она в прислугах у важных господ, но собирается уходить и поступать на фабрику. А там и родители ее тоже переберутся в город. Под конец в другой раз пишет: мол, жду вас всех не позже этой недели к себе, что в городе всем будет лучше, а детишкам тем паче, писать-де-считать выучатся, а потом и хорошему ремеслу. Собственно, вот и все. Это и пишет.

— И боле ничего?

— Ничего.

Дон Франсиско возвратил письмо Паскуале, и та, тщателью сложив, упрятала его в конверт. Священник, подавив зевоту, равнодушно глянул на своих прихожан.

— Так что, значит, в город поедете? — спросил он, соблюдая приличие.

Габриэль и Паскуала усталились друг на друга, разинув рот. Точно им до той минуты и в голову не приходило, что придется как-то отвечать на письмо. Будто смысл письма дошел до них лишь после вопроса священника. Поедут ли они в город? Как громом пораженные смотрели они друг на друга, не ведал, что и сказать.

— Сеньор священник, дровосек я, а в страду так напишусь батрачить. Отродясь отсюда мы никуда не уезжали...

— Кабы и вправду все так, как сын описывает, так надо бы ехать, — прервала мужа Паскуала. — Верно ведь, сеньор священник? Ребята выучатся читать-писать, ремеслу какому. Паскуаль-то, старший, там всему и научился.

— Вот только все ль так просто в городе, как он пишет? — с сомнением проговорил Габриэль.

— Вот что надобно нам разузнать.

— Кто не удовольствуется долей своей, в том говорит гордыня, — наставительно заметил дон Франсиско.

— Доля-то паша хуже собачьей, святой отец.

— Все в руках господ, сын мой.

— Все-то все, а лучше, когда полегче,

— Ну, как знаете, дело, в конце концов, ваше.

Дон Франсиско проводил Габриэля и Паскуалу до порога. Перейдя улочку, те молча поплелись к дому. Полуденный зной давил на плечи, и они шли медленно, низко опустив головы, и в который раз безмолвно задавали себе один и тот же вопрос: ехать или не ехать. Ибо самое трудное было — принять решение, и в этом, хоть и не ведая, были они друг с другом согласны.

Паскуала пихнула дощатую дверь. Дети мал мала меньше, все пятеро, сидели на полу, ждали, когда придут отец с матерью и дадут им поесть. Вялые, безжизненные взгляды выражали только голод, сторбившиеся фигурки в жалких ломотьях словно олицетворяли собой извечную народную беду. Валентину — пять лет, Ремедьос — семь, Бернардо — восемь, Габриэле — одиннадцать и Руфо — пятнадцать. Дети, единственное, что у них было, обрели в их глазах некую новую ценность, обернулись живым воплощением безвозвратно минувшего времени. Все переменялось вокруг Габриэля и Паскуалы: четыре эти стены, крыша над головой и сами они стали другие. Что-то сотворилось в их жизни, отчего все кругом стало иное. Они поняли вдруг, что никогда уж им не жить по-старому. Само смирение их перед судьбой, перед горькою долей враз поколебалось. Откуда-то издалека их манила к себе новая жизнь, и они с замиранием сердца прислушивались к могучему и требовательному зову ее.

IV

Габриэль и Паскуала еще ломали голову над тем, что делать, а уж в деревне знали побольше их. Слухи о письме, передаваясь из дома в дом, точно воздушный шар, набухали от подробностей. Толстые и крикливые бабы, тощие и пронырливые старые девы, одетые в траур вдовы, парни и девушки, дровосеки и батраки — все вдруг взялись прорицать, и каждый твердил свое. Одни доказывали, что Габриэлева природная лень возьмет верх над интересами семьи, и все-де останется по-прежнему. Другие уверяли, что Паскуала все равно уйдет, возьмет с собою старших и уйдет — деревенские кумушки к такой возможности отнеслись особо неодобрительно. Кто-то говорил обратное: мол, в город, как пить дать, поедет Габриэль, по такое предположение было отвергнуто напрочь. Словом, судили-рядили долго и наконец порешили: поедут Габриэль с Паскуалой в город всем семейством.

Габриэль как-то показал письмо приятелям в кабачке, а Паскуала нет-нет да и обмолвится о нем в церкви либо в булочной, так что и муж и жена знали, что думают об их переезде обитатели Лас-Кольмепаса. Прежде Габриэль с Паскуалой жили довольно замкнуто в своей уединенной хижине наверху. Теперь же в хижину к ним началось паломничество: каждый почитал своим долгом помочь ближнему единственно верным советом.

— Собирайтесь-ка и езжайте!

— Живите, где жили, и не гневите господа.

— Думаю, так оно будет получше...

— Хорошо там, где нас нет.

Письмо переполошило всю деревню. Когда года два назад в город подался Паскуаль, и то сколько разговоров было. А теперь собралась вся семья. Невеликая вроде бы разница. Но для односельчан Габриэля уход целой семьи был событием исключительным, пугающим, таящим соблазн в себе. Это был первый шаг. И они могли вот так же сняться в один прекрасный день с насиженных мест и уйти в город. Полные тревоги и смутной надежды, спешили они к Габриэлю и Паскуале, чтобы узнать, как те порешили, чтобы дать совет,— они и не подозревали, что гонят-то их к соседям свои собственные сомнения. И то, что первоначально казалось заботой одной лишь семьи, обернулось заботой и думой для всех и каждого.

А Габриэль и Паскуала все ткнули с решительным разговором. О письме не упоминали, словно его и не было, только украдкой поглядывали друг на друга, понимая, что проклятое это письмо не выходит из головы ни у того, ни у другого.

Как и ожидала Паскуала, первым раскрыл рот Габриэль. Как-то вечером — она обдирала к ужищу кукурузу,— войдя в хижину, Габриэль молча остановился на пороге. Паскуала покосилась на него уголком глаза. Но промолчала. Габриэль подошел ближе.

— Я вот все об этом письме думаю,— наморщив лоб, начал он.— И никак не могу придумать.

Паскуала ничего не ответила.

— И вот что неладно,— продолжал он, с трудом подыскивая слова,— откуда нам знать, правда ли, о чем он пишет, или нет. Ему что — молодой, а в наши-то годы сниматься с места, менять дело, ехать куда глаза глядят нелегко. Мы ведь отродясь отсюда не уезжали, а коли куда съездили, так

на жатву только, в соседнюю деревню. А ведь город-то, он за тридевять земель отсюда.

Паскуала согласно кивнула головой.

— А теперь смотри,— говорил Габриэль,— вдруг в городе все, как он пишет. Вот славно было бы. И для нас с тобой, и для ребят. Они бы там научились уму-разуму, а? И еще какому стоящему ремеслу.

Паскуала снова согласно кивнула головой. И Габриэль, набравшись духу, выпалил:

— А в общем, скажу тебе так: надобно ехать. Хуже, чем тут, нигде нет и не будет, пропадай все пропадом...

Паскуала поглядела на мужа, и глаза ее засветились радостью, потому что и она думала так же.

Габриэль поймал ее взгляд, облегченно вздохнул и, пройдя в свой угол, повалился на лежанку, точно речь эта лишила его последних, самых последних сил.

Паскуалу же, напротив, обула жажда деятельности. Она мигом разделалась с кукурузными початками и начала метаться по хижине, перекладывая вещи с места на место, натываясь на них, размахивая руками и болтая без умолку:

— Чего медлить, собираться так собираться. Отобрать вот только, что с собой берем. А из дому выйдем чуть свет.— И, помолчав с минуту, решительно объявила: — Послезавтра и едем.

— Послезавтра едут,— сей же миг поведала своим приятельницам — двум дородным и крикливым соседкам — некая вездесущая кумушка.

V

Наступил день отъезда. В лачуге, что на горе, заканчивались последние приготовления. Габриэль утягивал и перевязывал здоровенный тюк с одеждой, Паскуала складывала в старый, латаный-перелатаный мешок разную утварь: сковородку, горшок, миски, деревянные ложки. Руфо помогал отцу, а Габриэла — матери. В стороне от них Бернардо и Ремедьос, сидя на полу, возбужденно спорили о том, какой из себя этот город, и где он может быть, и что увидят они по дороге; Валентин же, самый младший, только удивленно таращил на всех любопытные черные глазки.

Наступил тот особенный момент, когда размеренное и однообразное доселе существование вдруг приобретает новый, ускоренный ритм. Все сразу забеспокоилось, засуетилось —

скорее в дорогу, впереди новая жизнь. Они сделали выбор, и остановить их или вернуть назад было уже невозможно.

— Давай, давай, пора отправляться, — торопил Габриэль, и его голос, хриплый, резкий, словно уже и не принадлежал ему, звучал, как команда, требующая безоговорочного подчинения. Бернардо и Ремедьос вскочили на ноги. Паскуала сунула в мешок последнюю миску. Руфо подхватил узел с едой на дорогу — хлеб, сыр, фасоль, кусок копченого мяса, связку-другую лука и чесноку, соль, перец и пару бутылок масла. Бернардо взял несколько узелков поменьше, а Ремедьос перекинула через плечо две связанные меж собой фляги — с водой и вином. Все готово. Все глядят на Габриэля, ожидая от него распоряжений.

— Ну, с богом, — наконец произносит он. И семья трогается в путь.

Габриэль и Паскуала вышли последними. Не в силах противиться охватившему их чувству, они на миг остановились на дороге и оглянулись назад. Большой сосновый стол и камышовые стулья удалось продать, и опустевшее жилище теперь выглядело просторнее, в углу чернел остов старого топчана без матраса, на полу — консервные банки, порожние бутылки, корыто, разбитый кувшин, какое-то тряпье, обрывки бумаги — никому не нужный хлам. Перед глазами закружились причудливые, бредовые видения прошлого, а сами они уже точно жили в другом мире, хотя еще и не знали, в каком. И поэтому, прощаясь теперь с той, прежней жизнью, они как будто прощались и с собой.

— Знаешь, ведь мы здесь прожили двадцать шесть лет...

Габриэль не глядел на жену, словно не слышал ее слов, и выражение его лица не изменилось. Он только пробормотал сквозь зубы: «Двадцать шесть лет...» Двадцать шесть лет — не шутка. Двадцать шесть лет — не год и не два. А что осталось от этих двадцати шести лет? Ломаный топчан, который никто не захотел купить, груда порожних бутылок и банок, корыто, битый кувшин, рвань и клочки. И это за двадцать-то шесть лет...

— Письмо у тебя? — нарушила вдруг молчание Паскуала.

Тревога, в ее словах прозвучавшая, вывела Габриэля из оцепенения. Он начал судорожно рыться в карманах.

— Вот оно, — протянул он жене помятый голубой конверт.

Оба долго разглядывали его. Письмо — это все, что у них было, единственная их надежда. Пустота, образовавшаяся на

месте той, прежней жизни, должна быть чем-то заполнена. Им надо было верить во что-то, иметь осязаемое доказательство реальности новой, где-то ждущей их жизни. Доказательством этим стало для них письмо сына, в их глазах оно приобрело магическую силу. Они будут хранить его как зеницу ока, как талисман, способный творить чудеса и вызволять из самых затруднительных положений. Оно будет исцелять их от сомнений, от неуверенности, от тоски. Когда они спросят себя, куда ж это их занесло, что ожидает их впереди, письмо все объяснит им, и в душе вновь затеплится огонек надежды. Увидев, что письмо на месте, они почувствовали себя лучше и уверенней.

— Ну вот, пора и в путь. Тут больше делать нечего, — сказал Габриэль, и казалось, он говорит не свои слова, а читает письмо.

Муж взвалил на плечо тюк с одеждой, жена ухватила мешок с посудой, и они зашагали сбегающей в долину тропой.

Дети были уже далеко, и Габриэль с Паскуалой прибавили шагу.

VI

Вдали пел угод. С вершины прохладой подувал ветерок, он нес запахи лаванды и мяты. Заросли дрока и вереска то и дело вздрагивали от его порывов. Вниз по косогору сбегали сосны, а еще ниже тянулись тополя. Тропа змеилась среди камней и кустарников, потом пропадала под зелеными кронами сосен и, вынырнув, опять исчезала меж двумя рядами тополей. Добегала до деревни, попетляв там, появлялась уже на другом конце ее, ровной лентой пересекала долину и терялась из глаз где-то совсем далеко...

У околицы, повинувшись невнятному, но властному зову, собрались обитатели Лас-Кольменаса. Взгляды были прикованы к сбегавшей со склона тропе.

Они пришли проститься с Габриэлем и Паскуалой, посмотреть, как те будут уходить. Пришли, чтоб последний раз заглянуть в их лица, узнать, остались ли они теми же Габриэлем и Паскуалой, что прежде. Они должны были удостовериться, что происходит действительно что-то для них очень важное, что и в их жизни может случиться перемена. Вот они и пришли сюда — кто мог в такой день усидеть дома?

Каждый, в меру своего воображения, представлял себя на месте дровосека и его жены, в их шкуре. Каждый во все-

услышание хотел поведать, что он думает об этом, или же кто никого ни о чем и не спрашивал. Совершившаяся катастрофа кровно касалась всех.

— Город-то отсюда далече. Им бы дойти до Лос-Рейбаса, там на поезд.

— Как же они на поезд-то сядут без гроша в кармане?

— Так ведь город-то больно далече.

— Оно, конечно, не близко, только на поезд им яничем не сесть.

Когда наверху среди камней и зарослей кустарника показались Руфо, Габриэла, Ремедьос, Бернардо и Валентин. волнение в толпе усилилось, голоса стали громче. Фигурки детей снова скрылись в густом сосняке, а Габриэль с Паскуалой все еще не появлялись. Прошло несколько секунд — не секунд, а лет. Наконец все увидали Габриэла с Паскуалой — те вышли из хижин и зашпешили вниз по тропе. Толпа в ожидании притихла. Нервы напряглись. Уста были сомкнуты, глаза не отрываясь следили за семейством дровосека.

Мать с отцом догнали ребят внизу, где кончались тополя. Односельчане расступились, освобождая проход. Габриэль, Паскуала, их дети шли, ни на кого не глядя, точно никого не узнавали.

— Счастливого пути, — произнес кто-то.

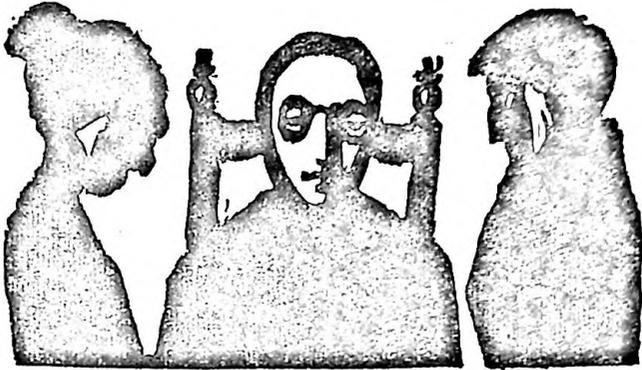
Паскуала улыбнулась, заулыбался и Габриэль. Провожающие наперебой закричали: «Счастливого пути, счастливого пути!» Габриэль правой рукой держал перекинутый через плечо узел, а левой оглаживал в кармане голубой помятый конверт. Он шел и улыбался. И Паскуала улыбалась. Улыбались они по-новому, загадочно. Никто никогда не видел, чтобы они так улыбались. Они переменились, это ясно. Но что же произошло с ними? Что в них переменялось?

Пропустив дровосека с семьей, толпа вновь сомкнулась. Тесная, плотная масса людей заколебалась и двинулась вслед за уходящими. Топот множества ног отзывался в ушах, как дробный бой барабана, но ни Габриэль, ни Паскуала уже ничего не слышали.

Миновав долину, они подошли к подножию соседнего холма. Провожающие остановились, а дровосек со своими, не оглядываясь, стали подниматься вверх по косогору. Скоро силуэты их обрисовались на гребне, затем исчезли, а люди все стояли и смотрели им в спину, словно ожидая, не произойдет ли еще что.

Сомнение, растерянность понемпогу сменились неудержимым желанием уйти, уйти за Габриэлем в певедомый город.

Больше ожидать было нечего. Все разом зашептали, заговорили, заспорили. Жужжащий пчелиный рой медленно повернул, покотился к деревне и вскорости распался. Долина опустея. Над долом, над зарослями ивняка, над высокими свечками тополей, точно дальний колокольчик, названивал, выпевал свое удов.



ПРИХОДСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Сеньора приходского vicaria зовут Хорхе Льоверас Эсприу. Самые близкие ему люди называют его мосен * Льоверас, мосен Хорхе, а то мосен Хорди — кто как. Но остальные прихожане, а их великое множество, зовут его, разумеется между собой, «молодой попик». Сеньора же ректора — «старый поп». Таков их способ — неопределенный и двусмысленный, по, в общем, не хуже любого другого — отличать людей друг от друга. За глаза его зовут «молодой попик», а когда обращаются к нему, говорят: «Послушайте, падре». Так удобнее и проще, а с этими именами того и гляди попадешь впросак. Многие вообще говорят только: «...шайте, падре». Это быстрее, экономней. А те, которые все-таки хотят называть его по имени, путают обращение «мосен» с другим, бо-

* Мосен — обращение к священнику.

лее пышным и величественным, и говорят: «Сан-Хорхе». Звучит это хорошо, и, по нашему скромному мнению, сеньор викарый заслуживает такого обращения. Другие говорят «сеньор Сан-Хорхе». Может быть, и смешно, но произносится это с любовью и уважением. Однако вернемся к нашему рассказу.

В канцелярии молодого священника работает юноша, паренек, который помогает ему вести дела канцелярии, сложные дела приходской канцелярии. Выдает брачные свидетельства, регистрирует крестины, похороны, оформляет метрики, пишет письма... Словом, что-то вроде секретаря. Этот паренек тоже молодой, как и священник, и даже немного помоложе его и очки носит, как тот. Поэтому их иногда путают, а то принимают за братьев.

Это смешит обоих — и священника, и этого, так сказать, секретаря, а впрочем, и нравится обоим, особенно этому, так сказать, секретарю.

— А брат ваш здесь? — спрашивали каждого из них не меньше тысячи раз, если поблизости не было другого.

— Его преподобие мне не брат.

Или:

— Этот молодой человек вовсе не брат мне.

Задавший вопрос немного смущается.

— Не брат? А ведь так похожи... Даже очки у обоих.

Насчет очков еще никто не забыл упомянуть.

Впрочем, иногда священник и его, так сказать, секретарь не возражают против того, что их принимают за братьев. А молчание — знак согласия. Тогда тот, кто спрашивал, решает, что они братья. Самое печальное или самое смешное бывает, когда убежденный в этом встречается с тем, кому сказали, что они вовсе не братья.

С сеньором ректором, который был здесь до нынешнего ректора — лет восемь тому назад, — происходило что-то подобное, тоже что-то в этом роде. И с ним была путаница, только похуже.

Когда стучали в дверь и выходила отворять ключница, пышная, краснощекая и рослая матрона, ее робко спрашивали:

— Ваш муж дома?

Как-то раз сеньор ректор услышал это. А был он толстый, даже тучный, и вспыльчивый. Недолго думая, сеньор ректор набросился на пришельца, вернее, на пришельцу, тщедушную, в трауре, и, толкнув ее три-четыре раза, да еще пихнув своим феноменальным брюхом, выставил за дверь.

С нынешним ректором этого не случается. Он живет с двумя сестрами. И прихожане обычно спрашивают:

— Ваш брат дома?

И все же некоторые осведомлялись у сеньора ректора, не отец ли он молодого священника. Это дало сеньору ректору повод остроумно пошутить над темнотой и невежеством своих прихожан.

У прежнего ректора викарий тоже был молодой — тот самый, что теперь; правда, до него были другие — один из них молодой и худой, как и все викарии. Тогда не говорили «молодой попик» и «старый поп», но «толстый поп» и «худой поп». Станный способ различать людей! Что это? Проницательность? Наблюдательность? Во всяком случае, дипломатии здесь явно не хватает. (Некоторые, правда, звали священника «тонкий поп». Хе-хе!)

Знакомство с приходской канцелярией и ее делами помогло нам разобраться в одном вопросе: мы выяснили, почему у служащих, сидящих за окошками официальных учреждений, как правило, дурной, раздражительный характер: почему они так грубы с посетителями, злы и невоспитанны. Здесь ничего нет удивительного, если те, что подходят к этим окошечкам, похожи на посетителей приходской канцелярии.

Как правило, все они ужасные путаники, эти посетители приходской канцелярии. На самые невинные вопросы они отвечают так, будто их вызвали для допроса в полицию.

— Сколько тебе лет (или вам, когда как)?

Возраст и элегантность костюма для священника не играют первостепенной роли. Он руководствуется инстинктом, и говорит «ты» тем из своих сыновей, которые ему ближе; самых несчастных — может быть, даже не отдавая себе отчета — он любит больше остальных.

— Ты когда родился?

— Да я, падре, не знаю.

— Не знаешь? Когда у тебя день рождения?

— Тогда-то.

— И ты не знаешь, когда родился?

— Правда, не знаю, падре.

Но иногда знают.

— Когда ты родился?

— Седьмого числа.

— А какого месяца?

— Апреля.

Ответы из них приходится вытягивать по одному, клещами.

— В каком году?

— Вот этого я не знаю.

— Сколько тебе исполнилось в апреле?

— Двадцать четыре, падре.

— И ты не знаешь, в каком году родился? Ну и ну!

— Правда, падре, не знаю, честное слово.

Священник подсчитывает и говорит:

— Так вот, ты родился в тридцать втором году. Теперь запомнишь?

— Да, падре, конечно, запомню!

Но он ничего не запоминает.

Есть такие, которые знают, как их зовут и как зовут их родителей, но как звали дедов и бабок, не помнят.

— Ведь когда женишься, об этом не спрашивают.

Когда у них требуют бумаги, необходимые для того, чтобы выдать свидетельство о браке, они еще больше удивляются.

— Официальное свидетельство о крещении. Официальное, попятно?

— Венчальное?

— Да нет, боже мой, официальное. О-фи-ци-аль-но-е.

— А это что такое, как его получить?

— Очень просто. Его выдадут в епископате, где ты родился.

— А вы, падре, не попросите у них эту штуку? Разве в таких делах разберешься?

— Ну ладно, бог с тобой.

Если вместе с молодыми приходит старик, он обязательно брюзжит:

— В наше время ничего не просили. Плати три реала — и дело с концом.

— В ваше время, дедушка! Сколько воды утекло...

— Да, да, падре. Годы идут. Тогда кило картошки стоило десять сентимо.

Когда бумажная волокита усложняется — не присылают свидетельства о крещении или удостоверения в том, что жених или невеста в браке не состоят, или нет еще справки о согласии родителей на брак, — посетители начинают подозревать, что их водят за нос и дело не улаживается потому, что этого кто-то не хочет.

— Мы вам дадим сколько нужно, падре, только пожените нас. Ведь мы уже и гостей пригласили; откладывать нельзя. Подумаешь, какие-то там бумажки. Если вы захотите, вы все сделаете. Моя сестра выходила замуж, так у ней никаких бумажек не спрашивали.

— Твоя сестра? И она венчалась в нашем приходе?

— Да с вами же и венчалась.

— Ну, знаешь ли! Со мной она не венчалась!

Посетитель смущенно улыбается:

— Ну ладно, вы ее венчали.

— Вот как? Тогда скажи сестре, чтобы она ко мне зашла. Это даже интересно, как ей удалось выйти замуж без бумаг...

— Да, да, падре. Можете нам поверить. С какой стати мы стали бы врать?

— Да нет, я вам верю, только пусть придет.

Посетители переводят разговор на другую тему.

— Итак, падре, вы все уладите. А мы вам дадим побольше. На расходы. Десять или двадцать дуро.

— Э, нет! Так не пойдет. Нужно послать телеграмму, сообщить, что дело срочное. Они пришлют свидетельство или что там нужно — и все будет в порядке.

— Да, но мы не можем терять целое утро — работать нужно, жизнь-то, сами знаете, дорогая.

— Ну и смешной вы народ. Неужели вы действительно думаете, что на отправку телеграммы у вас уйдет целое утро? И что за утро вы заработаете больше десяти или двадцати дуро, которые хотите мне дать, чтобы я все уладил?

— Но ведь...

— Никаких «ведь», дело проще простого. Я составлю телеграмму, а на почте вам помогут ее отправить.

Посетителям словно солнышко засияло сквозь тучи. Они уходят довольные. Но в глубине души по-прежнему уверены, что дело не улаживается потому, что этого не хотят те, что наверху, непосредственные начальники. Это укоренившееся испанское зло, вернее, укоренившееся мнение. И все потому, что такая уверенность не раз оправдывалась. Так-то вот!

Если является парочка, которой срочно надо пожениться, которой надо все уладить за неделю, безошибочно можно сказать: невеста беременна. Священник не задает нескромных вопросов и устраняет все наилучшим образом. Некото-

рые невесты приходят чуть ли не на спосях. Такие предоставляют договариваться жениху, а сами тихонько хихикают, немного смущенные, но не слишком.

— Падре, ей рожать через два месяца, и мы хотели бы...

— Боже мой, что ж вы так поздно спохватились?

— Мы хотим, чтобы ребенок был законный.

— Так почему же вы вспомнили об этом только сейчас?

Они не знают, что сказать. Опускают глаза. Ухмыляются.

— Ну ладно, это мы уладим. Как вас зовут? Где вы родились? Принесите такую-то справку и такую-то.

Если с парочкой приходят родители, они делают вид, будто возмущены. Особенно мать невесты.

— Какой позор для нас! А ведь мы ее так воспитывали! Уж так смотрели за ней, так смотрели...

Священник замечает:

— Наверно, все же недостаточно. По ней видно.

Мать плачет.

— Да нет, падре. У нас в семье все женились как полагается.

Священник, хоть и молод, самообладания не теряет. Он уже свыкся с этим чудовищным мурсийским обычаем, похожим на обряд, когда жених соединяется с невестой далеко до свадьбы.

Как-то раз в приходскую канцелярию пришли три женщины среднего возраста, скорее даже пожилые. Они все время пересмеивались, обсуждая что-то, видимо очень забавное. Когда наступила их очередь, они вошли в комнату и заявили — не переставая смеяться, — что хотели бы узнать, какие бумаги нужны для бракосочетания. Наш, так сказать, секретарь спросил, где жених и невеста. Они расхохотались еще пуще. Наконец заговорила одна из них, кривая, с зеленовато-желтым лицом, с испия-черпными волосами, облежавшими голову, как шлем или парик, с пробором посередине, на котором виднелась чешуйки перхоти.

— Жених — это мой сын, а невеста — ее дочь, — сказала она. И показала на толстуху, у которой колыхался живот, когда она смеялась.

— Отлично. — Так называемый секретарь не стал возражать. — Только они сами должны прийти. Так будет лучше.

Кривая опять закаркала:

— Они, наверно, сейчас и женятся, как раз в эту минуту. Священник, сидевший за столом, поднял на нее глаза.

— Мы их оставили вдвоем у меня дома,— пояснила толстуха,— заперли на ключ в комнате, а постель там мягкая.— Она захохотала и показала ключ.

— Им не удастся выйти, даже если они захотят.

Остальные так и покатались со смеху.

— Да они и не подумают,— пролетела третья.

Самой развязной была кривая.

— Немножко стыдно им было, но небось теперь уже прошло. Сначала они совсем ошалели, пришлось их подбодрить.

Священнику хотелось крикнуть: «Скоты!» — и еще что-нибудь добавить. Но он не стал этого делать. Он вмешался в разговор:

— Перестаньте хохотать, прошу вас, и уходите. Пусть они придут, будет лучше, если они придут сами, что бы там ни было. Ну, всего хорошего!

Женщины уходят, продолжая смеяться. Должно быть, считают себя ужасно хитроумными.

— С богом, ваше преподобие.

— Всего хорошего, сеньор Сан-Хорхе, вам и всем остальным.

— Всего хорошего, всего хорошего.

Некоторые, когда документы оформляются не так быстро, как им хотелось бы, когда возникают затруднения и неясности, когда вопросы разрешаются слишком медленно, как говорится, рвут и мечут. Такой посетитель, скривив физиономию и повысив голос, чтобы всем слышно было, заявляет:

— Мне уже надоело ходить взад и вперед, надоело выправлять все эти бумаги.— Он обращается к священнику и к его, так сказать, секретарю.— Дело не улаживается потому, что вы этого не хотите. Верните мне бумаги, что я вам давал. Обойдусь без церкви.— И добавляет патетически: — А вина на вас ляжет!

Священник не терпит спокойствия. Он немного раздосадован, но совсем немного. Секретарь — так называемый секретарь — смотрит на священника вопрошающе.

— Да, да, отдай ему бумаги, все бумаги, пусть их забирает и больше сюда не показывается.

Священник молод — мы уже упоминали об этом раза три, если не больше,— но о нем можно сказать то же, что и о хорошем враче: он знает людей, вернее, эти кварталы заставили его их узнать. У него больше опыта, чем у пятидесяти епископов, вместе взятых.

Он смотрит на нахального парня, на молодого нахально-го жениха.

— Слушай, ты, красавец,— чтобы внушить уважение этим людям, им нужно говорить «ты»,— ты думал испугать священника; думал, что, едва ты скажешь, что женишься без церкви, он сразу задрожит и будет на коленях умолять: «Не делай этого, сын мой, это грех! Не делай этого и не сердись, не обижайся, священник в одну минуту все уладит!» Так вот, ты ошибаешься, очень ошибаешься. Я не уладил твое дело, потому что не мог; тебе не хватает бумаги, о которой ты сам не очень заботишься, не можешь попросить как следует, чтобы тебе ее прислали. А без нее ничего не выйдет.

— Да я ведь писал целых три раза и...

— Напиши еще раз, будет четыре. Если тебе не присылают бумагу, пусть ответят, почему. Вы думаете, стоит вам сказать, что вы обойдетесь без церкви, и священник умрет от страха. Но в этом квартале из ста человек восемьдесят так и женятся. Отдай ему бумаги и пусть отправляется!

Жених опускает глаза, словно идет что-то на полу. Сказать ему нечего. Вмешивается невеста:

— Ладно уж, падре, вы на него не сердитесь. Ведь этот,— она презрительно толкает жениха локтем, окончательно уничтожая его,— ведь этот... не умеет вести себя прилично.

— Это я-то, я?

— Да, ты! Помолчал бы лучше! Падре, мы сделаем так, как вы велите, но не могли бы вы написать за нас — они вас скорее послушают.

Священник смягчается. Он говорит своему вроде бы секретарю:

— Напиши-ка им.— А потом, обращаясь к жениху и невесте: — Сами увидите, как скоро все уладится. Немножко терпения, хорошо?

— Да, да, падре.

Они соглашаются, все улаживается, и они венчаются, как велит господь бог, в церкви.

Молодой священник дипломатичнее старого, как говорится, у него больше такта. Он старается ничем не возмущаться, приспосабливается к обстановке, предупреждает, бранит в нужную минуту, помогает, когда представляется случай. У него больше опыта в таких делах, потому что он ближе

соприкасается с этими диковинными прихожанами. Старый священник появился в приходе гораздо позже молодого, кроме того, с ним труднее иметь дело: у него свое понятие о морали, религии, жизни. Если старый священник по той или иной причине сидит вместо молодого в канцелярии, все дела становятся сразу сложными, уже не идут как по маслу, а скрипят, будто несмазанная телега.

Однажды, когда старый священник занял место молодого, в канцелярию пришел Диего Мартинес Серавиа по прозвищу Морковка. Волосы у него были рыжие — да они и сейчас рыжие, а лицо все в веснушках. Так что понятно, почему его так прозвали.

У Морковки был полторагодовалый сын, и другого вот-вот ожидали. Он хотел жениться, потому что пособие увеличили. Раньше ради пособия жениться не стоило. Теперь, когда на двадцать пять процентов повысили, — другое дело. Будут давать на жену, на сына и еще на того, кто появится, правильно? Так что, пожалуй, стоит. Получается больше, чем он зарабатывает за неделю. Так рассуждал Морковка и другие вроде него. Увеличение пособия вызвало волну, устрашающую волну браков между парами, которые прежде жили без забот, как бог на душу положит.

Морковка родился в Хумилье, провинция Мурсия. Во время войны там были сожжены приходские архивы, поэтому, когда запросили свидетельство о его крещении, ответа не получили, но он продолжал наведываться.

— Жене и мне надоело ждать. Ведь мы уже месяц, как могли бы получать пособие...

Молодой священник советовал им немного потерпеть. Если нет свидетельства, нужно, чтобы приходский священник из Хумильи письменно подтвердил, что архив сгорел. Одних слов Морковки мало. Отсюда уже написано два письма, и, если в ближайшие дни ответ не придет, можно будет удостоверить крещение свидетельскими показаниями под присягой.

— Да-да, потому что нам уже надоело.

— Раньше нужно было думать.

— Конечно, конечно, — бормотал Морковка, не очень довольный этим разговором.

Старый священник не был дипломатом. Поэтому, когда Морковка заявил, как обычно, что жене и ему уже надоело, тот обрезал:

— Вашей жене? Какой это жене?

— Вот еще, какой! Моей! — отвечал Морковка.

Старый священник любил ставить точки над і и все раскладывать по полочкам.

— Она будет вашей женой, когда вы на ней женитесь, а пока что дело обстоит иначе.

— Иначе? Вот как! Кто же тогда спит с ней?

Тот, кого мы называем секретарем, сидел как на горячих угольях — оно и понятно.

— Они ведь живут вместе, ваше преподобие.

— Ну и что? — Священник был человек жесткий. — Она его любовница, сожительница, кто угодно, только не жена.

Прищурившись, Морковка хитро смотрел на священника сквозь свои рыжие ресницы.

— Значит, не жена? Хорошо! Тогда от кого у нее наш мальчишка? И кто ей сделал того, которого она еще носит?

Так ни к чему и не пришли. Покричали, а толку никакого не получилось. Потом Морковка рассказывал молодому священнику, когда тот совершил обряд венчания:

— Послушать его, так выходило, будто не я отец детей, а кто-то другой.

— Ни в коем случае! Просто он хотел сказать, что только теперь вы муж и жена перед богом и перед законом. А раньше дело обстояло иначе. Вот тебе доказательство: раньше ты не мог получить пособие, а теперь можешь. Ясно?

Морковка размышлял одно мгновение, никак не дольше:

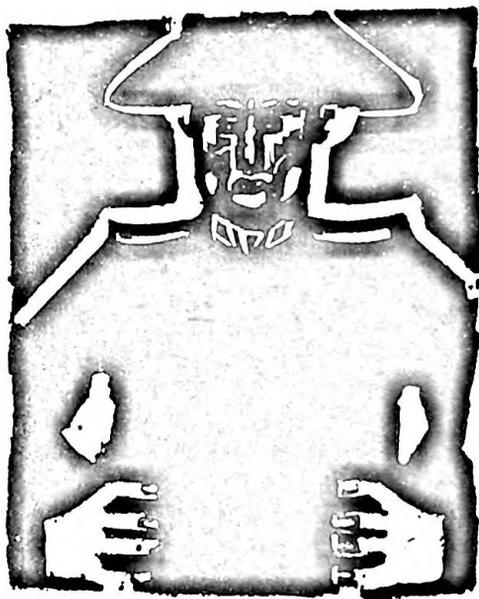
— Конечно, ясно, так оно и есть.

Аргумент священника мог убедить любого упряма. Еще бы!

Про Морковку один из его братьев — самый старший — сложил песню. Ее распевал весь приход.

Наш Морковка — красная головка,
Он с ослом связался и не испугался...

Это была грязная, неприличная песня. Но удивляться тут нечему.



ТОРЕГАНО, КОНОПАТЫЙ И ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР

Торегано был из полиции, из тайной. Служил в комиссариате квартала Каса Антунес. Выпивал — дай бог. Даже на службе выпивал. Некоторые уверяли, что он не просто выпивал, а горькую пил, глотал стакан за стаканом. Попробуй угадай, сколько тут правды!

Торегано дал что-то вроде обета. Решил очистить от хулиганов и жуликов Дешевые Дома. А это все равно что вычерпать море решетом. То есть невозможно.

Жителей Дешевых Домов Торегано звал не только хулиганами и жуликами, он звал их также красными свиньями, подлыми или грязными, когда как, потому что не мог решить, что больше им подходит: подлые или грязные.

Он — конечно, Торегано — бродил по разным дорогам, тропинкам, шоссе или перекресткам округи, или округа, что одно и то же. Бродил он ночью, когда все кошки серы, как

и дети соседа. У всякого, кто ему попадался павстречу, он спрашивал:

— Эй, послушайте, куда вы идете?

— Туда-то.

— Откуда?

— Оттуда-то.

— Разве вы не знаете, что, встретившись с представителем власти, нужно его приветствовать? А я представитель власти.— Он отворачивал лацкан и показывал жетон.

Прохожий говорил:

— Здравствуйте.

— Громче, черт возьми, я вас не слышу!

— Здравствуйте!

— Вот так. А ну, где вы живете?

— Там-то.

— Документы.

Просмотрев документы, он отпускал беднягу. Но прежде заставлял его говорить: «Воспрянь, Испания!» *

Если задержанный утверждал, что живет в Дешевых Домах, он подводил его к фонарю — тут нельзя было обойтись одной спичкой, как для проверки документов, — хватал за подбородок, поднимал кверху лицо и пристально вглядывался.

— Да, тебя я знаю. Ты такой-то.— Торегано говорил с кем как придется, с кем на «ты», с кем на «вы».

Случалось, он не знал задержанного.

— Ты из Дешевых Домов? Ты? Смотри-ка, я знаю в лицо всех, кто там живет, а тебя не помню.

— Да я работаю целый день. Утром на работу, вечером домой. И ни в какие истории не ввязываюсь.

— Хорошо, так и надо. Ладно, отправляйся. Воспрянь, Испания!

— Воспрянь, Испания! — говорит задержанный и облегченно вздыхает.

Если Торегано сопровождала пара ребят из Вооруженной Полиции, полицейские обязательно нервничали. Мало ли что может натворить человек, когда он под мухой.

Как-то Торегано задержал Каталá, сейчас он работает пожарником. Дело было вечером, и Катала шел с курсов, которые посещал после работы; был он в кожаной куртке,

* Лозунг фалянгистов.

небрит, руки засунул в карманы. Ни дать ни взять коммунист, во всяком случае, такими их изображают в испанских и американских фильмах.

— Послушайте! Разве вы не знаете, что, когда проходят мимо представителя власти, полагается говорить «Здравствуйте!» А я — представитель власти.— Он, Торегано то есть, отвернул лацкан и показал свой значок.

— Здравствуйте.

— Громче, черт возьми, я вас не слышу.

— Здравствуйте!

— Вот теперь слышу. А ну-ка, откуда вы идете?

— С курсов.

— Откуда?

— Учусь я.

— Где вы живете?

— В Дешевых Домах.

Он подвел беднягу к фонарю.

— Ты из Дешевых Домов? — Мы уже говорили, что Торегано обращался к людям когда на «ты», когда на «вы». — Ты? Смотри-ка, я знаю всех в лицо...

— Да я работаю целый день. Утром на работу, вечером...

Торегано обратил внимание на то, что Катала не вынимает рук из карманов.

— Послушайте, когда вы говорите с представителем власти, а я — представитель власти,— он опять показал значок,— будьте добры вынуть руки из карманов, ибо кто поручится, что у вас там не спрятана бомба? Но прежде чем вы ее бросите, я...

Он вытащил пистолет и дулом, словно пальцем, тыкал в грудь Катала.

— Прежде чем вы ее бросите, я...

В тот вечер Торегано был пьянее обычного. А на Катала от удивления словно столбняк нашел. Оба полицейских, которые сопровождали Торегано, отошли в сторону. Ну, думают, когда человек под мухой, он может глупостей павторить.

— ...и прежде, чем вы ее бросите, я, так и знайте...

Он по-прежнему упирался дулом в грудь Катала и тыкал пистолетом, как иногда дружелюбно тыкают указательным пальцем. Мало-помалу Торегано успокоился и спрятал оружие.

— Ладно, можешь идти. Воспрянь, Испания!

Только тогда Катала вытащил одну руку из кармана и отсалютовал. Его голос был тоньше ниточки.

— Воспрянь, Испания!

С Торегано вечно что-нибудь приключалось. Как-то вечером... Сами убедитесь.

В Дешевых Домах женщины развешивают белье после стирки, натягивая веревки и проволоку между теми немногими деревьями, которые сохранились на Четвертой и Седьмой улицах (Тортоса и Ульдекона), между теми немногими деревьями, которые орды вандалов, то есть их дети, еще не уничтожили. Это акации. Впрочем, что это за деревья, не так важно.

Веревки и проволоку женщины привязывают к стволам акаций. И Торегано как-то вечером, когда он, как обычно, заложил за галстук, натолкнулся на одну такую проволоку. Он ударился об нее шеей. Если бы Торегано двигался с большей скоростью — например, ехал на мотоцикле, — ему наверняка отрезало бы голову или сломало шею. А так ничего страшного не произошло. И все-таки он стал кричать.

— Ах, мать вашу! Убийцы, убийцы! Свины! Вы меня ужокошить хотели! Вы мне ловушку устроили! Ко мне! На помощь, на помощь!

Он вытащил пистолет и выпустил целую обойму в воздух. Потом Торегано не раз рассказывал товарищам по службе, какую ловушку ему устроили. Друзья над ним смеялись. А он клялся истребить всех красных в Дешевых Домах.

Со временем Торегано перевели в другое место. Рассказывали, будто его отправили на Мальорку. И еще рассказывали, будто там он в один прекрасный вечер затеял драку в таверне и его пристукнули.

И все же Торегано был неплохой человек.

Конопатый же явился — то есть стал — вторым изданием Торегано, исправленным и дополненным, впрочем, скорее дополненным, чем исправленным, и это правда, святая правда. У Конопатого, как видно из его имени — впрочем, это не совсем имя, скорее прозвище, — лицо было такое, словно по нему прошлись катком. Знаете, бывают такие катки, с помощью которых ставят метку на цементных тротуарах, пока цемент еще не затвердел. Из-за этого лица — оно было все в оспинах — он всегда смотрел так, будто выпил уксусу. Лицо Конопатого и впрямь было зеркалом души. Ведь он был суццая собака, с этим все соглашались.

Он служил не в полиции, этот Конопатый, а в Городской Охране, в бригаде, что ходит по площадям и рынкам и гоняется за женщинами, продающими чеснок и лимоны — по песете кучка! — и за теми, кто продает сигареты, — контрабандистками; у них на голове тарелка, а в руках дубинка, они не такие симпатяги, как регулировщики, что ходят в белых касках. У Конопатого был еще и пистолет; говорили, что во всей барселонской Городской Охране у него одного был пистолет. Он послал его на всякий случай, потому что кто-то пообещал рассчитаться с ним. Ну и насолил он, видно, кому-то!

Конопатый ревностно выполнял свой долг. Есть городские стражники, которые, увидев, как старик продает камни для зажигалок: «Камни! На песету четыре штуки!» — сделают вид, будто ничего не замечают. Конопатый не из них. Конопатый, даже если в этот момент и не находится при исполнении служебных обязанностей, непременно задержит старика. Такой уж он был. Долг прежде всего. Да к тому же дело это было ему по душе. Вот так-то!

У него всегда стоял наготове грузовичок, а значит, он мог задержать не одного человека, а сразу десять. В грузовичок он сажал людей и клал их товары.

Иногда он одевался в штатское, чтобы легче было устраивать облаву. Но его рябое лицо невозможно было спрятать.

К штатскому платью он надевал черный галстук и выглядел в штатском очень неказистым и плюгавым. Но и в штатские брюки, в задний карман, он клал пистолет — на всякий случай. Конопатый никому не верил.

Раз он, Конопатый, застучал продавщицу помидоров. Продавщица расстроилась — дальше некуда. Конопатый забрал у нее целый ящик помидоров — ужин для ее детишек. А у нее их было четверо. Она стала взывать к добрым чувствам Конопатого и обратилась к нему самым учтивым образом:

— Сеньор Конопатый...

— Сеньор дерьмо! — отвечал он.

Конопатый не терпел, когда его звали Конопатым, даже если прибавляли при этом «сеньор».

— В грузовик ее! — кивнул он.

Ее отправили в Мисьонес и подстригли «под ноль».

Некоторыми своими подвигами Конопатый прямо-таки прославился. За один вечер он очистил Барселону от про-

давщиц гвоздик — уличных продавщиц, которые не платили налогов, от контрабандисток, которые за одну песету — «Букет за песету! Такие свежие, такие красивые!» — дают тебе в два раза больше, чем любой цветочный магазин, честное слово, в два раза. Весь грузовик забили гвоздиками, они даже падали на мостовую. Их отвезли — гвоздики то есть — в приют, что в Порте. Монахини из приюта не знали, что делать с этой массой гвоздики, и забили ими всю часовню.

— Какая красота! Какой аромат!

Конопатый блаженно улыбался, чего нельзя было сказать о господе боге.

Гвоздики набралось столько — и красной, и белой, и пестрой китайской, и пуцовой, — что несколько полных корзин послали в приходскую церковь, чтобы сестры священника засыпали ею все алтари — все до одного.

Гвоздики хватило и на столы приходской канцелярии, и на приютские школы, и на домик швейцара, и выбрасывали ее, и букет отнес Конопатый своей жене, и свиньям бы дали, если б только свиньи жрали гвоздику!

Молодой священник, сеньор викарий, мосен Хорхе Льоверас Эсприу, говорил:

— Неужели у таких людей есть жена, дети, дом, семейный очаг? Неужели это возможно?

Конечно, возможно. Правда, Конопатый дрался со своей женой, колотил ее палкой. Этого священник, вероятно, не знал. Но он, священник, думал о продавщицах, об их детях, об их мужьях, которые, наверное — и в этом не было бы ничего удивительного, — пропивали свой заработок, и поэтому женам приходилось торговать цветами. Словом... Неужели это возможно?

В другой раз Конопатый прочесал шоссе Порт — а оно ведь очень длинное — с одного конца до другого. Облава была не такая успешная, как он ожидал. Старуха, торговавшая салатом, старик, продававший леденцы на палочках: «Эй, молодцы, вот гаванские леденцы!», женщина с лотком перца и баклажанов, другая, продававшая неизвестно что, еще одна... В общем, улов небогатый. Товары кидали в грузовик, а торговцев Конопатый отпускал.

— Прошу вас, сеньор, я потратил все, что у меня было, на этот ящик, который купил сегодня утром в Борне...

Конопатый толкал их.

— Идите! Идите! Нечего тут канитель разводить!

Торговка перцем и баклажанами не хотела уходить.

— Я заплатила за это свои кровные деньги, я...

Опа была назойливее других, и Конопатый посадил ее в грузовик.

— Отправьте ее в Мисьонес! Пусть ей промоют желудок и остригут!

— Не надо, не надо! Я не скажу больше ни слова! Только не надо! Нет!

— Хватит, довольно! В Мисьонес!

Узнав, что происходит с ее матерью, прибежала дочь торговки и вцепилась в грузовик, стараясь открыть заднюю дверцу, чтобы выпустить мать. Говорили, что у нее случались припадки безумия. Тогда она дико орала и не соображала, что делает.

Заднюю дверцу ей не удалось открыть, и она накинулась на Конопатого с каким-то гортанным, странным криком.

Конопатый недолго думая дал ей дубинкой по голове и сбил ее на мостовую, как кеглю. Несколько мужчин, которые сидели в баре Ремендо и наблюдали эту сцену, возмутившись, набросились на Конопатого или сделали вид, что хотят наброситься. Конопатый вытащил пистолет.

— Кто тут мужчина, выходи!

Мужчин не оказалось. Еще бы! Грузовик тронулся, а дочь торговки перцем осталась на мостовой, она колотила ногами и выла, волосы у нее растрепались, изо рта шла пена.

Вот какой был Конопатый!

Когда вышел приказ, что продовольственные палатки не имеют права расширять торговую площадь дальше дверей — то есть запрещается наваливать мешки и устраивать витрины на тротуарах, — Конопатый радостно потирал руки. С грузовиком и помощниками он решил прогуляться по улицам. «Посмотрим, посмотрим».

Они, конечно, посмотрели. Однако увидели, что приказ выполняется: тротуары около палаток были пусты. Конопатого это не обескуражило. Кто ищет, тот найдет. И он нашел.

Даже не предупредив, молча — хоть бы крикнули, хоть бы выругались — они стали забирать товары. Конопатый поторапливал своих людей:

— Давай, давай!

А они, его люди — давай, давай! — валили в грузовик мешки, ящики, в общем, все, что попадалось под руку.

— Давай, давай!

Только Конопатому перепало еще кое-что — хозяин палатки засветил ему палкой, которой опускают железные шторы на дверях. Как он увидел, что его товары так спокойно переносят в грузовик, он — и откуда он только взялся — выскочил, словно чудище какое. Станешь чудищем, коль тебя разозлят! Выскочил, а сам уже держал свою палку наперевес, и первым, кого он увидел, был человек, изъеденный оспой, при черном галстуке — Конопатый был в штатском — и совсем невзрачный, не подумаешь, что он власть.

— Давай, давай!

Хозяин его огрел — ну и огрел же! — не задумавшись ни на секунду. Голова у Конопатого — трах! — словно дыня, треснула. Из глаз посыпались искры, ну и, конечно, он потерял сознание. А когда пришел в себя, голова у него была перевязана, будто у человека-невидимки из кинокартины, а под повязкой — штук семь скобок. Конопатый ощупывал свою шевелюру и бинты на голове.

— Как это случилось, как?

Когда ему рассказали, как было дело, Конопатый остался недоволен.

— А этот человек где?

— Засадил голубчика.

— Дайте мне на него посмотреть.

Как только он увидел несчастного хозяина палатки за решеткой, он почувствовал себя окрепшим, словно запово родился, словно у него и не было скобок, бинтов и всего прочего на голове.

— Давай, давай!

После того как в Китайском квартале и в окрестностях Атарасанаса запретили торговлю с лотков по воскресеньям, лоточники облюбовали Дешевые Дома — квартал, в котором не было закона или куда закон не простирался, другого объяснения тут не найдешь. Они расположились вдоль всей улицы Тортоса (раньше Четвертая улица), вдоль улицы Совельес (раньше Двадцать Первая) и у входа в этот квартал, на дороге Прат Вермель.

В квартале Дешевых Домов раньше по субботам бывал рынок, но не такой многолюдный и не такой оживленный, как теперь, когда вышло запрещение торговать в Китайском квар-

тале и Атарасанасе. Сейчас этот рынок — вроде Растро в Мадриде, только поменьше, как считают одни, только немного побольше, как считают другие. Люди зовут этот ряд ларьков и лотков Рыночком, Франсиско же Кандель — поэт, писатель, мечтатель, сновидец и сумасшедший, все это о нем говорят, — называет рынок Восточным базаром — почему, мы не знаем.

Как войдешь в квартал Дешевых Домов со стороны автобусной остановки, разумеется в воскресенье, сразу наткнешься на Рыночек, или Восточный базар, по выражению Франсиско Канделя. Там сидит старуха в лохмотьях, лзвах и чесотке — это бабушка Пикаора; от старости и нищеты ее глаза сделались белыми, радужная оболочка выпела и бабушка ослепла. «Пусть святая Лусия сохранит вам зрение!» — гнусавит она, и прохожие бросают ей мелочь или не бросают, кто как. Рядом сидят другие нищие, их много. Молодой парень с деревянной ногой; старик, у которого рука словно ничка и вся в бинтах — некоторые утверждают, что на самом деле рука здоровая; безногий калека, разложивший на мостовой газету для мелочи. Прохожие помогают первому, кто попадется на глаза, остальным, как правило, — нет. Подадут одному и думают, что выполнили свой долг. А подавать всем утомительно, да и мотовство это. Поэтому больше всего перепадает тем, кто сидит с краю. По воскресеньям нищие встают ни свет ни заря, чтобы захватить стратегически выгодные позиции. А как же иначе!

На Восточном базаре есть все. Иногда подумаешь, а чего же тут нет? И о чем бы ни подумал, сразу увидишь. Обязательно. Ну, скажем, подумаешь: «А свины тут есть?» И сразу же увидишь цыганку с поросятами на руках, держит она их, словно ребятшек.

Товары там разложены как-то не по-христиански, если так можно выразиться, или, выражаясь иначе, на анархистский манер. Они лежат на мостовой, на газетах, рядом с лужами зимой, в пыли летом, в дуплах деревьев, на пнях, этих своеобразных цоколях, на которых когда-то возвышались деревья, а сейчас лишь валяется мусор и рыбы головы, на столах, на лотках: прохожие хватают товар руками, ходят по товару, если он разложен на мостовой и т. д. Стоит крик, жужжание, как в улье. Продавцы выкрикивают только округленные цены. «Один дура за килограмм!», «Дюжина на песету!», «По реалу, по реалу!», «Всего одна песета!»

Продают очки. Целый ящик очков. Они разложены на земле — в роговой, жестяной, металлической, латунной оправе и различных диоптрий. Покупатели примеряют очки, смотрят в газету. Очки нужны для усталых глаз, так что не беда, если не очень подходят.

Кто примеряет очки, а кто пиджак — поди угадай, чей он был. Или ботинки. Или...

Продают мороженое. И булочки. Булочки с кремом и со сливками. Крем сухой, уже потрескавшийся, к сливкам пристала уличная пыль. Две булочки — одна песета. По булочкам ползают мухи и осы, но хозяин не потрудится их согнать.

Вообще продают все. Упряжь для осла, велосипедные цепи, патефоны, инструменты, простыни, пишущую бумагу, тарелки, кастрюли, новое и старое — конечно, старого здесь больше, чем нового.

Чинят часы.

В нижней части рынка торгуют съестным. Вперемежку с одеждой. Маслины, рыба, апельсины, кролики, сосиски, артишоки, капуста. Пахнет здесь хорошо — немного гнилью, немного черт знает чем, и все же хорошо.

— Хорошо воняет, ты хотел сказать. Хуже, чем в уборной — там хоть за цепочку можешь дернуть.

Шарлатаны расхваливают свои снадобья:

— Если у вас жирные волосы, перхоть, вы...

У одного шарлатана волосы, как у женщины. Даже с гребнем. Им он все время расчесывает свои длинные шелковистые волосы.

— Взгляните на меня! Взгляните внимательнее! Каждое утро несколько капель...

У шарлатана волосы, как у женщины, даже длиннее, чем у женщины. Да, мода нынче такая. К тому же у него есть выцветшие фотографии с изображением лысых — до того, как они стали употреблять его лосьон, и густоволосых — после употребления этого лосьона. Фотографии очень напоминают снимки конца прошлого века, на них изображен шарлатан с его шевелюрой и чудесными флаконами, к фотографиям приклеены вырезки из газет, удостоверяющие эти чудеса. Но покупатели, несмотря на рекламу, на крючок не попадаются. Разве какой-нибудь лопух время от времени. В эти фокусы с лысиной, от которой якобы можно избавиться, уже никто не верит. Еще бы! Наконец мошенник устает, садится, приглаживает свои длинные волосы, бранит

ребят, осаждающих его со всех сторон, ругает своего сынишку, который ковыряет в носу и просит отпустить его поиграть.

Рядом с ним — знахарка. Рыжеватая толстуха в голубом платье. Она продает травы. Будто бы лекарственные.

— Сеньоры и кабальеро, если я вам скажу неправду, назовите меня лгуньей. Вы, сеньора, шьете, у вас падает паперсток, вы нагибаетесь, чтобы его поднять — смотрите, вот так, как я сейчас нагибаюсь, и если это неправда, назовите меня лгуньей, — по, когда вы хотите разогнуться — ай! — ваши почки... Ну, правду я говорю?..

Слушатели утвердительно кивают. Толстуха забавна. Она хорошо подражает движениям пожилых женщин.

— Обратите внимание, это случилось с вами не раз и не два. Вы, сеньора, идете на кухню за чем-нибудь — если я говорю неправду, назовите меня лгуньей, — вы идете на кухню, а когда приходите туда, уже не помните, зачем вы пришли. Правду я говорю?

Слушатели кивают.

— Я не буду вам докучать, у вас свои дела, у меня свои. Я кончаю, дамы и господа, но прежде я хочу сказать вам вот что: как-то один кабальеро здесь, на рынке, воскликнул: «К черту эти травы! Я в них не верю!» Слушайте меня внимательно, и если это неправда, назовите меня лгуньей. Собака объестся, у нее заболит живот, ей нужно прочистить желудок — что она делает? Бежит в поле и ест траву. Какую? Пырей. В этой траве есть вещества, которые действуют, как рвотное. Природа мудра. Правду я говорю?

Слушатели кивают.

— Травы лечат от боли в почках, от головной боли, укрепляют память, они...

Люди покупают. Знахарке известны психология публики, ее маленькие повседневные заботы.

Но вот она все распродала. Теперь женщины рассказывают ей о детях, потерявших аппетит. Толстуха слушает с интересом. Она угадывает малейшие признаки этой болезни и дает другие травы, объясняя, как приготовить из них отвар. Давать три стаканчика одного отвара, потом три стаканчика другого. Женщины все это тщательно запоминают. Народ верит травам и природе больше, чем врачам и лекарствам. И знахарке это известно. Она знает также, что ее травы, может, и не излечат, но и вреда не причинят. Знахарка..

Мужчина в фуражке продает резинку для трусов. Он говорит по-каталаански, время от времени вставляя испанские слова. Расхваливая эластичность своей резинки, он широко разводит руки и на руках же отмеряет товар. Он режет резинку. Песета за метр. Опять мерит. Еще метр. И еще. Женщины покупают.

— Когда резинка не годится, чтобы трусы стянуть, надо потрудиться.

Он показывает, как это получается, делает судорожные движения. Все смеются.

— А с этой резинкой — сами посмотрите...

Он обвивает резинку вокруг талии и растягивает ее, словно снимает с себя трусы.

— Видите? В один момент спускаете и можете делать все, что угодно...

Публика смеется. Ха-ха! Люди просто лопаются от смеха. Метр. Еще метр. Все покупают. Этот тоже знает психологию публики.

Какая-то женщина под зонтом — от солнца, конечно, — поместив свою огромную тушу на рахитичном раскладном стульчике, осматривает детей. Она дает им в руки стеклянную трубочку с красной жидкостью. От тепла ладони жидкость расширяется и поднимается по стеклянной трубочке.

— У этого ребенка высокое давление.

Мать напугана.

— Но он же ест сколько хочет, ни в чем не знает отказа!

— Давайте ему эти порошки. Чайную ложку на стакан воды перед едой. В следующее воскресенье вы мне его покажете.

Мать дает знахарке дуро и обещает прийти на следующей неделе.

— Если мальчику станет хуже, принесете его ко мне домой. Да, я принимаю каждый день. Это недалеко отсюда, улица такая-то, номер дома такой-то. На площади Испании, сразу за Бойшей. Найти легко. Спросите, меня на улице все знают.

Мужчина продает шары. Другой разыгрывает в лотерею громадные связки конфет, которые висят у него на шее, как гавайские гирлянды, — по песете билет. Под открытым небом жарятся крендельки — чуррос. Есть тир, карусель. Это не только рынок, но и что-то вроде ярмарки.

На площадке около бездействующего фонтана торгуют обувью — она лежит, как дыни на бахче.

Покупатели примеряют туфли. А там, где продают поношенное платье, примеряют пиджаки и брюки прямо на улице, без ложного стыда.

Продают простыни, кролика, которого вам и зарежут тут же на месте.

Рыночек, или Восточный базар, — это настоящее вавилонское столпотворение.

— Сюда скорее! Беспроигрышная лотерея!

Это рулетка-лотерея, за билет песета. Всегда что-нибудь вытащишь. В крайнем случае — ничего. Или какую-нибудь безделицу, которая и реала не стоит. Самое большее — сигару, как уверяет хозяин, за шесть песет. Поверим ему!

На другой рулетке, цветной, играют на деньги. Цвета четыре — красный, желтый, зеленый и синий. Хозяйка рулетки, невозмутимая, как сфинкс, тетка, собирает деньги с желтого, красного и синего и ставит на зеленый. Или собирает с желтого, красного и зеленого и ставит на синий — как когда. Но она никогда не проигрывает и смазывает маслом ось рулетки, чтобы лучше крутилась.

Существуют различные игры на деньги. На все вкусы. Играют в волчки, грани которых с числами, как игральные кости. На одном маленькие числа — 2, 3, 4, 5, 6, на другом большие — 8, 9, 10, 11, 12. На одной грани выходит четверка, на другой — пятерка, всего девять. Допустим, выигрывают большие номера — платит хозяин заведения, теми деньгами, что поставлены на маленькие номера. Бывает наоборот. Существует и семерка для тех, кто хочет играть один. Если выиграют, им платят вдвойне. Но на семерку редко кто ставит. Больше остальных играют мальчишки, особенно цыганята — самая увлекающаяся, самая отчаянная публика. Есть и такие, кто играет для приманки.

Существуют различные игры на деньги: в волчок, в рулетку, в три карты, в три ореховые скорлупки.

Под открытым небом ремонтируют радиоприемники, керосинки, шариковые ручки, часы, швейные машины.

— Сюда скорее! Беспроигрышная лотерея!

— По песете, по песете!

— Всего реал, всего реал!

— Эй, молодцы! Вот гаванские леденцы!

— На дуру килограмм, на дуру!

— Нейлоновые чулки и носки!

Металлической щеткой продавец проводит по чулку или носку. Не рвется. Вы видите? Ну, прямо фокус. Не рвутся, да и только. Покупатели попадают на удочку и покупают. Как всегда. Кто-то пытается их разубедить.

— Давай поспорим! Через два дня они у тебя поедут.

— Это у вас поедут, у вас, наверно, ноги потеют.

— Ноги у меня не потеют. Но этого мошенника я выведу на чистую воду!

Люди продолжают покупать. Люди верят в счастливые покупки. Им нужно верить в счастливые покупки.

Рыночек — это муравейник, осиное гнездо, целый мир.

И когда Конопатый напал на эту толкучку, на этот муравейник, на это осиное гнездо, на этот мир, эта толкучка, этот муравейник, это осиное гнездо, этот мир закипели, стали кусаться, жалить, бить, колотить, бесноваться.

На заре существования Рыночка — ведь не полагается торговать по воскресеньям, когда все магазины закрыты, — послали туда несколько полицейских из Городской Охраны. Послать-то послали, да... Как только кто завидит на горизонте полицейского, поднимает крик: «Тревога, тревога! Фараоны!» А что тут оставалось делать? И начиналось столпотворение. Лотки опрокинуты, товары на земле, крик, беготня. Жители Дешевых Домов солидаризовались с продавцами и помогали им прятать товары в коридорах своих домов. В мгновение ока товары исчезали, оставались только пустые лотки. Полицейские носились по всей улице. Приходилось выпускать одного, чтобы схватить другого, и кончалось тем, что продавцы ускользали из их рук. Тогда решили послать Конопатого. Если с этим не справится Конопатый, значит, и сам черт не справится. И Конопатый не справился. Да и разве мог он покончить с Рыночком, когда его самого чуть не прикончили?

Конопатый прибыл с грузовичком, одетый в штатское, с пистолетом, с помощниками. Люди уже не кричали: «Тревога, тревога! Фараоны!» Они кричали: «Конопатый! Конопатый!» И кинулись прятать товары в коридорах ближних домов.

Конопатый не торопился и не терял спокойствия. Он не собирался сразу покончить с Рыночком. Он знал, что многие товары проскользнут у него между пальцами, но многие попадут в грузовик. Он набьет грузовик доверху.

И помощники набивали грузовик — смотреть любо-дорого.

— В грузовик! В грузовик!

А кто упирался, того Конопатый трескал дубинкой изо всех сил. Грузовик ехал медленно: пужно было его набить доверху. Некоторые лотки были уже полностью опустошены. Полицейские пошли по домам. Хватали тюки. Отбирали силой. Били. Нагружали грузовик. И грузовик снова двигался вперед. Конопатый стоял на задней лесенке. Кое-кто кричал:

— Вор!

— Рогоносец!

Конопатый только ухмылялся. Подумаешь, чем хотят взять!

— Ах ты такой-то!

— Ах ты разэдакий!

Конопатый не выходил из себя. Его помощники тоже. Посыпался град камней неизвестно откуда. Конопатый вытащил пистолет.

— Ах, мать твою так!

— Ух, мать твою разэдак!

Кирпич разбил ветровое стекло, шофер потерял управление и врезался в стену. Конопатый целился то в одного, то в другого. Связкой бананов ему дали под ребра. Он в бешенстве зарычал и прыгнул туда, откуда, по его мнению, бросили бананы. Но тут ему залепили капустной кочерыжкой. В лицо.

Теперь уже бранился Конопатый.

— Ах, мать вашу!..

Помощники носились за ним из стороны в сторону как оголтелые, молотили дубинками направо и налево и все дальше отходили от грузовика. А торговцы не зевали и растаскивали свои товары.

Когда Конопатый и его люди, устав от беготни, вернулись к грузовику, он был пуст.

Конопатый почернел от злости. К тому же грузовик был сломан и ехать на нем было нельзя. Позвонили — приехала машина, взяла грузовик на буксир. Конопатый ругался на чем свет стоит и едва не плакал. А окружающие злорадствовали.

— Пусть он лопнет, пусть сдохнет, бандит проклятый!

На Рыночек, или Восточный базар, он больше не возвратился.

Сейчас, когда мы пишем эти строки, канун Иванова дня, ночное веселье: мальчишки валят в кучу дрова и солому, через несколько минут, как совсем стемнеет, они подожгут

эту кучу. Красивый будет костер. На вершине костра они поместили куклу в кителе, в фуражке и с надписью на груди. Эта надпись — и поэма, и учение, и требование, и...

ПРИНИМАЮЩА ДРОВА НА КОНОПАТЫЙ КАНАПАТОМУ

Соседи дают дрова, чтобы Конопатый лучше горел. Никто не отказывает. Если бы могли, его сожгли бы живьем. Так что...



КАК УМЕР ДЯДЮШКА СЕРРАЛЬТО

Дядюшка Серральто приехал в Барселону во время диктатуры Примо де Риверы, когда для строительства выставки требовались рабочие руки. Он привез с собой жену и троих детей. Четверо родилось здесь. Он был одним из первых жителей Дешевых Домов в районе Эдуардо Ауноса. Дети выросли, а жена, пышпотелая и красивая, несколько не мучаясь, умерла от сердечного приступа, словно уже не была им нужна. Что ж, такова жизнь!

Дети — три дочери и четыре сына, мы забыли об этом сказать — вышли замуж и женились молодыми и разъехались по соседним кварталам. Никто не поехал в Барселону — так у нас называют центр города и вообще любое его место начиная с площади Испании, словно мы живем в Китае, или стратосфере, или где-то еще. Итак, никто не поехал в Барселону. Дети поселились кто где — кто в Каптунесе, то есть в Доме Антунеса, кто в Порте, кто в Плюс Ультре или Понт де лос

Гососе, кто в Колонии Сантивери, кто в Колонии Баусили, Колонии Капти, и, наконец, самая младшая, выйдя замуж, осталась в Дешевых Домах. Дядюшка Серральто поселился с нею. Он работал на строительстве, каждую неделю отдавал свою получку дочери, дочь о нем заботилась, и он был доволен и даже счастлив. Дядюшка Серральто всегда отзывался о своих семерых детях с гордостью — какие они у него вышли работящие и честные, и добавлял: хоть и жили в квартале жуликов. Рассказывал, как он вывел их в люди, как заботился о том, чтобы у них все было, несмотря на бедность. Он очень гордился своими семерыми детьми — «Вот если б ваша мать была жива!» — и даже находил некоторые удивительные совпадения: у него было семеро детей, в районе было семь кварталов и в каждом из этих кварталов жил кто-нибудь из них. «Вот если б ваша мать была жива!»

Теперь кварталов стало больше, а некоторые, вроде Колонии Капти, наполовину исчезли. Два-три квартала прибавились: дома СЕАТ; Полицейские Корпуса рядом с Пороховым Погребом; Корпуса Проезда Клос, за фабрикой КАПА. Жители по-своему окрестили некоторые из этих новых кварталов. Должно быть, своего рода кинематографическая муза посетила их, потому что Полицейские Корпуса, расположенные на вырубленном склоне и обращенные фасадом на запад, они называли Голым Городом. Несколько корпусов, окрашенных в яркую охру, и примыкающих к Полицейским, получили название Желтого Города. А корпуса, прячущиеся среди холмов, что за КАПА, — Сокровенного Города. Группу барачков по соседству с домиками Налогового Управления, которые были построены в начале проспекта Пуэрто Франко, рядом с Гран Виа, а теперь уже исчезли, называли Пограничным Городом: «Даллас, бах, бах!» — восклицали наиболее экзальтированные граждане. Дядюшка Серральто так и не узнал об этих новых кварталах. Для него их было по-прежнему только семь, столько же, сколько у него детей. («Вот если б ваша мать была жива!»)

Когда дядюшке Серральто исполнилось шестьдесят пять, он вышел на пенсию и стал давать дочери двадцать дуо в месяц вместо тридцати или сорока, которые приносил прежде каждую неделю. Она начала кривить рот и говорить, что из семерых братьев и сестер только она одна гнет спину, чтобы содержать отца. Она созвала остальных на совещание и после пререканий: «Ты молчала, пока он приносил зарплату каждую неделю!» — «Еще бы! Вы, конечно, думаете, что я на

нем наживалась, а он проедал вдвое против того, что приносил!» — итак, после пререканий дети решили, что отец будет жить у каждого по месяцу. «Вот если б ваша мать была жива!»

Так дядюшка Серральто вступил в период жизни, через который проходят почти все бедняки и который можно назвать своего рода изгнанием: месяц у одного, месяц у другого, ругань с невестками, укоры детей, проказы внуков и любовь к ним. В конце каждого месяца он собирал свои пожитки, то есть то, что на нем было, кисет и футляр для очков, подаренный ему монахинями, и уходил к сыну или дочери, согласно заранее определенной очередности. Рушились мечты о завтрашнем дне, надежды, которые он возлагал на своих детей, заблуждаясь, как все родители, самым роковым образом. Где вы, прежние времена? «Вот если б ваша мать была жива!»

Дядюшка Серральто стал угрюмым и желчным брюзгой. «Еще бы, я же ни па что не годеи!», «Еще бы, я же не приношу получку каждую неделю!», «Еще бы, я же не...» Он рассказывал о своих горестях приятелям, гревшимся с ним па солнышке, таким же старикам, как и он, с теми же заботами — хотя каждый из них считал себя самым несчастным. «Мне и па сигареты не дают. Только зять — всегда существует щедрый зять — меня спасает, дает иногда пачку!..» «Вот если б мать была жива!»

А дети рассуждали о том, каким странным стал отец, как он изменился к старости, говорили, что лучше умереть, чем дожить до этих лет, что у отца появились причуды и что его просто узнать нельзя. «Вот если б мать была жива!»

Между тем дядюшка Серральто жил только собою, своими бедами, своей нищетой, своим крошечным миром окурков и жалких грошей, завязанных в уголок платка. «Вот если б была жива...»

Он становился неряшливым, ходил небритым, редко мылся, одевался неаккуратно. Невестки и дочери, которые всегда хвалились своей опрятностью, негодовали: «Ну что я могу поделать с этим стариком! Я ведь такая чистюля, а он... нет, вы только посмотрите на него! Неужели нельзя умыться как следует? Или воды не хватает, или мыло нам не по карману? Вот если б мать была жива!»

Он подбирал окурки, просил милостыню, когда думал, что его не видят. Пенсию у него забирал тот из детей, у кого он жил. А ведь раньше у него в бумажнике всегда было дуру

двадцать на всякий случай! «Вот если б ваша мать была жива!»

«Он нас позорит! А я вот что скажу: разве он не ест все, что хочет, что душеньке его угодно? Разве ему чего-нибудь не хватает? У него есть кровать, и за столом всегда ему находится место. Иногда мы даем ему дуру па сигареты. Чего ему еще надо, не понимаю! Вот если б мать была жива! Она бы не узнала его!»

Когда дядюшка Серральто почувствовал себя плохо — у него побаливала правая лопатка, так что было трудно дышать, — он отправился в диспансер, чтобы его там посмотрели. Ему сказали, что у них есть доктор, который в этом разбирается, но он берет две песеты за визит... Однако привратник, хорошо знавший дядюшку Серральто, денег с него не взял.

Доктор сделал просвечивание, потом какие-то уколы, дал таблетки и велел время от времени показываться.

Боли постепенно прошли, но, когда дядюшка Серральто перестал принимать лекарство, начались опять. Он снова отправился в диспансер, а так как доктор, кроме новых лекарств, дал ему пять дуру, он стал ходить туда даже чаще, чем советовал доктор.

Тот в конце концов решил положить дядюшку Серральто в клинику. Говорили, будто он не надеялся, что может что-нибудь сделать. Рак в этом возрасте... Но все-таки там за стариком был уход.

Из больницы дядюшка Серральто бежал.

«Я знаю, что поступил плохо, доктор, но ничего не мог с собой поделать. Это как-то само собой получилось, доктор! А ведь для меня лучше быть где угодно, только бы к детям не возвращаться, так они со мной обращаются... Но я ничего не мог с собой поделать, доктор! Палаты такие большие, а люди все в белых халатах. Я знаю, что поступил нехорошо, доктор! Но это вышло как-то само собой. А ведь для меня лучше быть где угодно, только бы к детям не возвращаться...»

И так каждый раз: приходя в диспансер, дядюшка Серральто прокручивал все ту же пластинку. Доктор давал ему пять дуру, делал уколы и смотрел на него с состраданием.

Короче говоря, однажды, совершив свое ежемесячное переселение из одной семьи в другую, дядюшка Серральто свалился. Так часто бывает: человеку то лучше, то хуже, и вдруг он меняется до неузнаваемости. За пять дней дядюшка Сер-

ральто страшно похудел, еще через пять не вставал с постели, а еще через пятнадцать жизнь едва теплилась в нем. В это время он был у сына, который жил в Порте. Невестка почернела от злости: «Что это с вами, черт подери?» — «У меня вот тут болит и вот тут». — «Вы просто распустились, вам нужно подняться, а так, лежа в постели, вы и помереть можете: постель губит человека».

Дядюшка Серральто хотел бы подняться, хотел бы. Но он даже в уборную не мог ходить. Невестка, вынужденная убирать за ним, выходила из себя и жаловалась мужу: «Твой отец свинья. К тому же я ему не дочь и не обязана это делать». Сын был рохлей и вообще не любил торопиться. «Подожди, кончится месяц — отведем его к сестре, ее очередь. Вот если б мать была жива!»

Дядюшка Серральто не думал, что умирает. Он думал, что его убивают сыновья. С ним просто плохо обращаются, и все. Он мечтал о больницах с большими палатами, о людях в белых халатах. Мечтал о богадельнях, где спокойно посиживают старики в синих блузах. И еще мечтал об Антонии, с которой ему так хорошо жилось с первого до последнего дня, у которой были такие проворные руки. «Вот если б она была жива!»

Когда месяц кончился, ему сказали, чтобы он перебирался к дочери. Его оденут и потихоньку-полегоньку... В общем, прогуляется до Дешевых Домов. А ему было страшно. Очень страшно... Ведь он не мог ходить. Ну и что ж. Его оденут и поведут под руки. Да-да, под руки... Не на закорках же его тащить...

Невестке пришла блестящая мысль. Почему бы не попросить тележку у носильщика, их доброго приятеля? Так на отца никто не обратит внимания, совсем другое дело, нежели тащить его под руки или, того хуже, на руках. Да и для него будет удобнее, покойнее.

Когда дядюшку Серральто одевали, ему казалось, что его укутывают в саван. Положили его в тележку лицом к небу, ногами вперед, совсем как покойника. Небо было белесое, печальное, сырое. Но сына все это мало трогало. Жена не раз ему говорила: «Твои братья и сестры тоже обязаны ходить за ним, не одному же тебе с ним возиться». А сыну это надоело. Лучше бы отец умер вместе с матерью. Чтобы успокоить совесть, он дал отцу дуру. На сигареты. Дядюшка Серральто не мог даже взять монету. Пришлось положить ее в жилетный карман.

В Дешевых Домах состоялся короткий разговор. «Я привез тебе отца». — «Где он?» — «Там, на улице, на тележке». — «Как на тележке?» — «Да он заболел через несколько дней после того, как пришел, — наверно, у брата начал болеть». — «А больной он мне не нужен». — «Что?» — «Да, не нужен». — «Но твоя очередь». — «Когда он от меня ушел, он был здоров как бык, а вы мне возвращаете развалину, такой он мне не нужен!»

Неподвижно лежа в тележке, с широко открытыми глазами, дядюшка Серральто услышал последние слова — они были сказаны на улице. «Когда он от меня ушел, он был здоров как бык». Это говорила младшая дочь, которую он любил больше остальных. «Мне его уже таким привели, а через два дня он слег в постель». Это говорил его сын, которого он тоже любил. «А ты бы лучше смотрел». Это опять та дочь, которую он любил больше остальных. «В следующий раз буду знать, хотя я и теперь вижу, как все вы прячетесь в кусты». Это снова говорил сын, которого он тоже любил. Вечерело. Падали редкие капли дождя.

Сын отправился с тележкой в Колонию Баусили. Другому брату отец тоже был не нужен. А невестка прямо взбесилась. Их очередь не в этом месяце и не в следующем, а только через месяц. Отца повезли к сыну, что жил в Колонии Сант-верри, хотели ему всучить. Но и тот запротестовал. Он кормил отца, когда была его очередь. А у сестры из Дешевых Домов просто каменное сердце. Она всегда была такой. Даже в детстве. А ведь, в конце-то концов, именно она больше других обязана отцу: когда он был здоров и хорошо зарабатывал, она не возражала против того, чтобы он жил у нее. Правильно мама о ней говорила, что она выродок.

Дядюшка Серральто лежал в тележке, закрыв глаза, чтобы брызги воды не попали в них. Он ни о чем или почти ни о чем не думал. Вся его жизнь не проходила перед ним. Ему хотелось быть где-нибудь в другом месте, где было бы удобнее, чем в этой тележке. Старик в приюте ходит по воскресеньям на прогулку, заглядывают в закусную, пьют, курят окурки, вспоминают свои былые подвиги.

Опять тележка тронулась, подпрыгивая на ухабах, на этот раз в Дом Антунеса, где жила одна из сестер. Хотя пока только накрапывало, сын сжалился и накинул на отца свой пиджак. По брусчатке тележка катилась с грохотом. Когда они добрались до Дома Антунеса, дядюшка Серральто лежал

ничком, а не лицом кверху, как раньше. Ему уже ничего не было нужно, он думал только: «Они меня убивают».

Сестра из Дома Антунеса стала кричать, не жалея легких. Почему это сестра из Дешевых Домов не хочет его держать? К ней уже приводили отца, когда ему сильно нездоровилось. С тех пор как он вышел на пенсию, ему всегда нездоровится. Она села в тележку рядом с отцом, и они отправились в Колонию Сантимери, где жил один из братьев. Потом в Колонию Канти — этот квартал находился у станции, почти за городом, — к третьей сестре: нужно было все уладить сегодня же вечером, пока дождь не начнет хлестать вовсю. Дочь из Дома Антунеса, у которой было доброе сердце — как она сама говорила, — положила голову дядюшки Серральто себе на колени. Но дядюшке Серральто уже было все равно. К брату из Колонии Бауспли, хотя это и недалеко от Дешевых Домов, решили не заходить. «Все равно никакого толка не будет, — сказала сестра из Дома Антунеса, — он тряпка». За братом из Плюс Ультры послали мужа сестры из Дома Антунеса. Пусть передаст, что все они встретятся в Дешевых Домах.

В Дешевых Домах состоялась ассамблея, или консилиум. Дядюшка Серральто лежал в тележке один, пока братья и сестры спорили. Каждый хотел доказать свою правоту. И доброту. Каждый сделал для отца больше, чем остальные. Вспомнили старые обиды и набросились друг на друга с упреками и оскорблениями. Стали собираться соседи. Дождь усилился. Решили вытащить дядюшку Серральто из тележки, чтобы он не промок. «Только не ко мне», — заявила сестра из Дешевых Домов. Один из соседей не вытерпел: «Тогда давайте ко мне, нельзя же так». — «Вот и идите к себе, — сказала сестра из Дешевых Домов, — говорить-то вы мастер, а своего сына выгнали на улицу». — «Мой сын был прощельюга, поэтому я его и выгнал», — ответил сосед. Поругались и с соседом. Дождь продолжал лить — невозмутимо, упорно. А дядюшке Серральто все было пипочем — дождь, крики, попадет он к дочери или нет. Когда подошли к тележке, чтобы на время отнести его в квартиру, дядюшка Серральто был мертв. Он умер, лежа лицом к звездам, но в тот вечер звезд не было. Он умер — не от сердечного приступа, хотя тоже не мучился. Однако сердце у него было — сморщенное, малюсенькое, как кончик булавки. Он умер... Как бездомный пес — да, да! А дочери принялись безутешно рыдать, вопить, истерически всхлипывать. Сыновья держались спокойно, с достоинством.

Потом стали оспаривать друг у друга честь похоронить отца, ибо каждый заранее — песетой больше, песетой меньше, какая разница — присмотрел для отца место на кладбище Окасо или на Мальоркине. Купили громадный венок с лентой, на которой было написано: «От любящих детей». И устроили очень хорошие похороны, чтобы не было стыдно перед людьми.



ВЕШАЛКА И КОЛОВОРОТ

Как-то раз,— а дело было к вечеру — Вешалка продырявил коловоротом стенку, которая отделяла его комнату от патио, поглядел в эту дырочку и, к своему величайшему удовольствию, словно попав в чудесную сказку «Тысячи и одной ночи», увидел несколько обнаженных одалисок, несколько резвых обнаженных одалисок. Но давайте по порядку.

Густо населенный квартал Дешевых Домов в районе Эдуардо Ауноса, что звучит гораздо лучше, состоит из двадцати одной улицы. И если их расположение изобразить на рисунке, получится очень похоже на решетку. Вроде дворца Эскориал, только поменьше. Ведь и тот сделан в форме решетки, на которой жарили святого Лоренсо.

Раньше улицы были нумерованные. Первая улица, Вторая, Третья, Четвертая — вплоть до Двадцать Первой. Было в этих

номерах что-то от тюрьмы или от Нью-Йорка. Теперь улицам дали названия. Каталанские, язык на них сломаешь, особенно они трудны для ленивых мурсийских языков жителей квартала. Сейчас улицы называются так: Ульдекона, Пинатель, Сискер, Понтильс, Роджалъс, Трагурá, Ариэс, Аскó, Мотриль, Рнудомс и т. п. А мурсийцы произносят: Урдекона, Пинатей, Сиркэ, Понти́с, Рочаль, Трагира́, Арне́, Аско (с ударением на а!), Мотриль, Рудон и т. д. А некоторые цыганки еще больше портят дело. Улицу Трагура они зовут Трасхира: «Трасхира́, мородец, Трасхира́». — «Что придумар этот прохтак?» Улицу Ульдекона они зовут Урдеконья, «чехт-ное хлово», — и т. д.

Квартал со своими дверями и окнами — такими симметричными, такими одинаковыми — похож на сыр «грюйер» с множеством дырочек или на любой другой сыр, в котором крошечные мышки выели себе гнезда.

Теперь, когда весь Юг переселился в Каталонию, квартал утратил свою симметрию. Теперь по его краям громоздятся бараки и какие-то нелепые лачуги, так что квартал как бы растолстел. Но от этого вид у него стал не здоровый, а болезненный. Толстяк с язвами, струпьями, болячками и свищами. Бараки сами размножались и плодились как грибы, но это не были прекрасные грибы из волшебных сказок, скорее, клейкие, белесые, ядовитые поганки, растущие в дуплах и отнимающие у деревьев соки и здоровье.

На этих симметрично расположенных улицах соседи знают друг друга, может быть, слишком близко и живут довольно дружно. Всего шаг отделяет дверь одного дома от двери другого. Сегодня женщины шьют и болтают в подъезде одного дома, завтра — в подъезде другого. Они одалживают друг другу — бывает, правда, не очень охотно — посуду, кухонную утварь, немножко соли, щепотку перца. Радио включают на полную мощность, чтобы можно было слышать с улицы, пока они сидят на солнышке или в тени, как когда. Женщины ищут друг у друга вшей, а мужчины курят, передавая друг другу сигареты, бережно и неторопливо. В общем, здесь царит дух товарищества и равенства, что-то вроде коммунизма, когда все принадлежит всем, и что-то вроде вавилонского столпотворения; время от времени возникают разногласия, которые мужчины разрешают криком и тумаками, женщины, поссорившись, тоже кричат и вцепляются друг другу в волосы, иногда — для разнообразия — мужчины хватаются за ножи.

Во дворе своего дома Вешалка установил душ. Казалось бы, чего проще: присоединил резиновый шланг — попробуй узнай, откуда он его достал — к крану в кухне, к другому концу шланга прикрепил консервную банку с дырками наподобие лейки, а получилось великолепно. Так рассказывала всем, кто хотел ее слушать, его тумба-жена, которая несколько дней подряд мылась и принимала душ — может быть, слишком часто по сравнению с прежними временами, когда она вовсе не мылась. Потом ей надоело и она уже не мылась, но по-прежнему рассказывала всем о душе, да и Вешалка не переставая хвастался своим изобретением.

В конце концов кое-кто из соседок поддался искушению и тоже решил попробовать помыться под душем. Жена Вешалки, женщина не жадная, даже щедрая — такая же щедрая, как и толстая, то есть слишком, — пригласила их. Соседки пришли.

Это были: Хосефа, мать Эприке; Кандида, пезамужняя бабенка; Бука — сестра Буки, потому ее так и прозвали, и еще несколько замужних и пезамужних женщин, молоденьких, с пышными грудями и толстыми задками, на которые смотреть было радостно или страшно — кому как покажется.

Жена Вешалки не мылась. Она предпочитала сидеть с другими соседками в тени, сплетничать, обмахиваться газетой. Вешалка из своей комнаты, где он делал вешалки, слышал, как льется вода, как женщины прыгают и кричат, как они шлепают друг друга по ягодицам, а когда он прикладывал ухо к тонкой перегородке, слышал такое, от чего у него тепло в глазах и дух захватывало.

— Смотри, увидит тебя муженек такой чистенькой...

— И на части развалится.

— Как бы с ним не случилось того, что с моим; пока он возился, богу душу отдал.

— Осторожней, здесь девушки!

— Девушки? Да им побольше нашего перепадает!

— Чего это нам перепадает?

— Еще спрашивают! Того самого...

Такие диалоги, становившиеся все более откровенными, Вешалка слушал каждый день и наконец однажды не долго думая схватил колоторот и — трр-трр-трр — просверлил дырку, приложил к ней глаз и увидел — как в чудесной сказке «Тысячи и одной ночи», мы уже говорили — одалисок, если не слишком изящных и стройных, так по крайней мере

резвых и шумных, которые плескались под душем, не скрывая своих прелестей, и весьма смело острили.

Однако, на беду, самая младшая дочь Вешалки вошла в это время в комнату и сразу же выбежала на улицу.

— Мама, посмотри, там пана...

Жена Вешалки неохотно подняла со скамейки свою огромную тушу и вошла в дом. Увидев мужа, который был так поглощен своим занятием, что даже не услышал ее шагов, она без лишних колебаний схватила вешалку и дала ему как следует по голове. И лишь потом стала кричать на мужа, требуя объяснений. Вешалка был сконфужен, напуган, весь съезился.

— Сама виновата, ты же пригласила их мыться.

— Вот как! Ну и негодай!

Она снова набросилась на Вешалку.

Услышав шум драки, прибежали одалиски, полуодетые, с мокрыми волосами, и помогли подруге.

— Прощелыга!

— Если мой муж узнает, он тебя убьет!

Его вытащили на улицу и стали всем скопом дергать за волосы, трясти. Вешалка вырывался, хотел отбиться, но тщетно.

— Убить его — и все! — кричала жена.

— Убьем, убьем!

И давай тузить, колошматить, дубасить. Вешалка чуть умом не тронулся.

Ребятишки выли и прыгали вокруг. Встревоженные шумом, залаяли собаки. Должно быть, решили, что дерутся животные. Одна из собак была чесоточная, с большой болячкой на спине. На болячку садились мухи. Соляце палило. И т. д.



КИНО «КАСАС»

Пригород

В приходе Богородицы Портской (30 тысяч душ) есть только два кино. Одно находится в Порте, другое — в Дешевых Домах. Теперь строят новое кино рядом с домами СЕАТ, этими маленькими небоскребами, которые, как по волшебству, выросли, словно из-под земли, рядом с проспектом Пуэрто-Франко. Но когда еще его кончат.

Кино в Порте называется «Касас» («Дома»). Кино в Дешевых Домах — без названия. Или пет, с названием. Это — «Новое кино», если мы не ошибаемся. Оно находится там, где был знаменитый танцевальный зал «Семерка треф», который открыл Гальярдо, чтобы составить конкуренцию «Сапогу» — другому танцзалу. Скоро Гальярдо пришлось закрыть свой зал и сделать кино — довольно маленькое. Кино «Касас» зовут кино в Порте, а кино Гальярдо — кино в Дешевых Домах, надо же их как-то различать. Жители друг друга по-

нимают; нам кажется, мы тоже разбираемся, где какое кино.

Кинотеатр в Порте, он же «Касас», — большой, по всегда полов, даже переполнен, так что многим приходится стоять.

В кино «Касас» есть места первого и второго класса, как во всех кинотеатрах, по второй класс в «Касас» находится внизу, а первый — вверху. Те, что сидят внизу, всегда во власти тех, кто вверху, — это извечный закон: верхние бросают вниз окурки, плюют, отпускают пахальные шуточки, понятно? Второй класс в кино «Касас» стоит пять песет, первый — шесть. По средам и четвергам соответственно четыре и пять песет. В кино «Касас» крутят фильмы только по субботам и воскресеньям, средам и четвергам. Кроме того, в праздники и накануне праздников. Иногда получается, что фильмы крутят всю неделю. Смотрите, мол, и не жалуйтесь.

В кино «Касас» запрещено курить. На экране, в перерыве между программами, появляется такая надпись на испанском языке. Но зрители курят. И плюются. Что поделаешь?

В летние месяцы работает вентилятор — в кино «Касас», конечно. Он заглушает звук.

В кино «Касас» на афишах пишется: «Ближайшая премьера». Но всегда дают, что называется, старье.

Зрители грызут орехи, как обезьяны, — арахис, миндаль, пьют газированную воду; некоторые берут с собой ужин и смотрят картину по три раза, особенно зимой, потому что в кино тепло, а дома холодно. Весь пол покрыт шелухой, которая трещит, когда на нее наступают — тр, хр-р, и это тоже мешает слушать. Детишки писают, и робкие ручейки разливаются по полу. Некоторые пачкают сиденье, и тот, кто садится на него потом, пачкает одежду, а заметив это, начинает громко орать, словом, поднимает такой шум — хоть святых выноси.

Влюбленные обнимаются, целуются, ведут себя неприлично, точно так же, как во всех других кино.

Летом многие сидят в майках, а некоторые вообще голые по пояс. Это зависит от воспитания и от жары.

Посетители кино «Касас» занимают места для друзей, для родственников, для знакомых, которые придут потом. А этот друг, родственник или знакомый, войдя в зал, в котором темно и ничего не видно, кричит:

— Пепе? Ты где?

Пепе же, Перико, яли как там его, рвет:

— Зде-е-е-есь! Скорее-е-ей, я тебе занял местечко!

Эти крики тоже мешают слушать. Некоторые начинают

шикать, чтобы заставить крикунов замолчать, и тогда уже совсем ничего не слышно.

Но, должно быть, зрителям в кино «Касас», тамошней публике, этот звук не очень пужен, потому что они все равно понимают картинку, и смеются, и плачут, и кричат, когда появляется бандит, и аплодируют, когда появляется герой, по отзывам, совсем как за границей, или когда интересный эпизод. И объясняют друг другу:

— Смотри-ка, его связывают.

— Смотри, он ее целует.

— Смотри, его окружают.

Как будто один слепой, а другой — зрячий.

Картина до такой степени их захватывает, что, когда на экране целуются, они подзадоривают: «Давай, давай!», а когда на экране драка, начинают тузить друг друга, так что приходится зажигать свет.

В кино «Касас» часто показывают картины из андалузской жизни, с пением и танцами, потому что публика их обожает. «Лола-Насмешница», «Кармен из Трианы», «Андалузский кабальеро», «Мечта Андалузии». Когда давали «Горегорюшко-горе», были такие очереди и такие ссоры, что пришлось вмешаться полиции и разогнать толпу. Когда показывали «Марию де ла О», зрители отплясывали чечетку в проходе между стульями. Когда давали «Цыганочку», все распевали:

Идут цыгане,
лерé-лерé.
Ах, да, ах, нет! —

и т. д.

И били по спинкам стульев, и щелкали пальцами, и стучали погами, но в такт. Когда...

Если тебе придется выбирать между адом и кино «Касас», ты выберешь ад — там поспокойней. Честное слово!

Ему правилось кино. Очень. Но в Испании священникам не полагалось ходить в кино. На это смотрели косо. Его преподобие Хорхе Льоверас Эсприу иногда ходил в кино при духовном училище.

В воскресенье он пошел в кино «Касас», смотрел «Пригород» Адольфо Марсильяча. Ему говорили, что это очень хорошая картина. Главный герой там священник.

Мосен Льоверас и раньше несколько раз бывал в кино — но довольно редко. Видел «Пеппино и Виолетта», «Занон мол-

чапия», «Весельчак», некоторые другие фильмы, названия которых уже не помнил. Он ходил с Эрике, Пакирри, Пако — Франсиско Канделем — и некоторыми другими. Один он ходить не любил. И причина для этого была. Все на тебя косятся, косятся. Потом шепчут что-то друг другу. «Поп, поп пришел», — говорят; наверное, говорят.

А когда он был с Пакирри, Эрике, Пако или с кем-нибудь еще и разговаривал с ними, он переставал обращать внимание на все эти перешептывания и взгляды. Переставал замечать все это или делал вид, будто не замечает. В том числе и влюбленную парочку через три ряда от него, которая забыла обо всем на свете. И ругательства, и озорные возгласы, раздающиеся в зале.

В это воскресенье мосен Льоверас отправился в кино один. Он не нашел ни Эрике, ни Пакирри, ни Пако Канделя, ни кого-либо еще, он их нигде не видел, они не проходили мимо его канцелярии. Он решил пойти, потому что ему сказали: «Это замечательная картина, там выведен священник, очень похожий на вас». Мосен Льоверас решил вопрос просто: он посмотрел картину из будки механика, потому что у него были очень хорошие отношения с владельцем кинотеатра. В общем, получилось так, что он смотрел картину как бы снаружи.

Картина ему понравилась. Понравилась и не понравилась. Скажем так: того, что ему понравилось, было больше, чем того, что ему не понравилось. Больше было «за», чем «против». Понятно?

В картине был выведен священник. Священник, который не носил очков, потому что не корпел над книгами в семинарии. Его назначили в пригород. Как мосена Хорхе. Правда, приход у мосена Хорхе был больше. В два раза больше, в три, в пять раз. По воскресеньям у него всегда было четыре, пять, иногда десять свадеб; один раз, когда повесили пособия, двенадцать. Это по утрам. А по вечерам — пятнадцать-двадцать крестин. Так что переваривать пищу в приятной беседе за столом, прилечь на часок после обеда в воскресенье было невозможно. Нужно было бегать. В его приходе всегда нужно было бегать. Каждый день по три часа он принимал в приходской канцелярии посетителей, которые шли бесконечным потоком. Утром месса, посещение больных: потом нужно было сходить в одно место, сходить в другое, заниматься своими обязанностями: похоронами, ведением приходских бумаг, так что не оставалось времени на прихожан, бед-

няков, труженников, больных, в общем, как говорится, на апостольскую деятельность, чтобы посвятить себя ей, как хотел бы, как желал бы, как мог отдаваться ей священник в картине. На такой приход нужно было не двух священников, а десять. Кино — это одно, а жизнь — совсем другое. Повседневные обязанности не оставляли места для сердца и призвания. Вечером он бросался в постель, как голодающий бросается на кусок хлеба. Но обычно нужно было молиться, как и сейчас. А священник в фильме никогда не молился — то есть по требнику, конечно.

С молитвами вообще нужно было что-то делать. Столько молиться невозможно. В средние века и позднее, да и теперь в деревнях у священника было время, даже с избытком, он не знал, куда девать столько времени. В городе — иное дело; а в пригороде — еще хуже. Даже скучать некогда и поддаваться искушениям тоже. А дела — это в большей степени молитвы, чем слова, думал он.

Теперь он молился, час был уже поздний, и молитва была запоздалая, он хотел скорее кончить, чтобы идти спать, но отвлекался, думая о картине и еще о чем-то.

Священник в картине пил в таверне с обездоленными. Он тоже. Но у него не было такого выражения лица. Ни у кого не бывает такого выражения. Просто нет напитка, от которого появилось бы такое выражение. Ни от джина, ни от рома, ни от касалья *. И уж, конечно, не от барречи, которую пили в тавернах его прихожане. Он и курил с ними. Он угощал, они угощали. «Идеалес», «Пакетилья», «Бисопте» — все, что было под рукой. Ему нравилось курить. Это было приятно. Успокаивало нервы. Если бы он сейчас не молился, он закурил бы. Люди иногда говорили: «Смотри, поп курит». Или — «пьет». Некоторые удивлялись этому, как и тому, что он ходит в кино. Прихожане были необразованны, а потому их взгляд на священника был или слишком узок, или слишком широк. Одни хотели видеть в нем аскета. А те, кто выступал в его защиту, несколько усложняли дело. «Разве он не человек, как все? — говорили они. — Он тоже может делать все, что делаешь ты». И в доказательство приводили женщин. Убивать надо таких защитников.

Священник привык к своему кварталу, к соседним кварталам, к округе. Ему не хотелось уезжать отсюда. Он не собирался уезжать. Он наладил здесь дела и не представлял себе

* Касалья — сорт вина.

жизни без этого пригорода. Но теперь он видел, что, судя по всему, уехать придется. Он начал ощущать враждебность к себе. За четыре, пять, шесть лет ему удалось стать необходимым для людей, обитающих на этих улицах, для жителей квартала, всех кварталов, семи или десяти кварталов, которые составляли его приход. Теперь он боялся, что это не так, что его перестали любить и что его присутствие стало для них невыносимым.

Сегодня к нему в гости пришел Кандель.

— Мосен Хорхе, чем кончился суд над Хуаном де Диосом?

— Не знаю. А в чем дело?

— Говорят, вы дали показания в его пользу.

— Я? Я даже не был на суде. Мне прислали повестку, но я не пошел. Предпочитаю заплатить штраф.

— Но вы подписали бумагу, в которой удостоверялось хорошее поведение Хуана де Диоса.

— Никакой бумаги я не подписывал. Я просто показал, что ко мне приходили два свидетеля и они так говорили.

— По-моему, адвокат основывал свою защиту на этой бумажке.

— Ну и что? Это его дело. Моя совесть спокойна.

— Но ведь дело не в том, спокойна ли ваша совесть. Нужно, чтобы все знали об этом. Чтобы годы вашей работы у нас в кварталах не пропали даром из-за недоразумения.

— А что мне делать?

— Что-нибудь.

Мосен Льоверас продолжает молиться. Он не может отвлекаться надолго. Он должен закончить молитву. Завтра ему нужно рано вставать. Завтра в шесть утра месса. Заупокойная, а семья усопшего будет торопиться на работу.

— Это правда, что сегодня утром в Дешевых Домах вас бранили и оскорбляли? — спросил Кандель.

— Нет. А кто тебе сказал?

— Рыжий.

Его не ругали и не оскорбляли. Он ходил исповедовать больного, носил ему причастие. И что-то заметил. Что-то странное даже в воздухе. Но не знал, что именно, хотя что-то заметил. Какую-то напряженность, словно электричество в атмосфере, какую-то тревогу, которую улавливаешь шестым чувством. На него не напали. Просто он поздоровался с женщинами, которые мели тротуар перед своими домами, а они ему не ответили. Просто мальчик поцеловал ему руку,

а мать дала мальчику подзатыльник. Просто несколько человек повернулись к нему спиной. Но никто его не ругал.

— По-вашему, этого мало?

В этот вечер Франсиско Капдель побывал в Дешевых Домах, чтобы узнать настроенные людей, вообще обстановку.

Он прошел по Седьмой улице, или улице Ульдскопа, потом по Восьмой, или Альбарка, потом по Первой (Арпес), потом по Тринадцатой (Серрат) и, наконец, по Четвертой (Тортоса). Всюду стояли группы людей. Можно было понять, что все говорят об одном и том же. Некоторые держали в руках газеты, потому что об этом уже писали, как правило, в разделе «Судебная хроника», а «Соли» и «Касо» преподнесли дело как что-то сенсационное и ужасное. В некоторых газетах упоминалось имя священника.

На улице Пинатель Франсиско Капдель задержался на несколько минут. Хосе и Вешалка крикнули ему:

— Как тебе правится твой дружок поп?

И сунули ему газету под нос.

— Вот и верь попам. Покажется, что есть один хороший, а потом выходит, что все они одинаковы.

Франсиско Капдель хотел бы схватиться с этими типами. С Вешалкой он бы справился наверняка. Но Хосе был парень крепкий, здоровый. Так что Капделю пришлось сдерживать себя.

— На процессию,— добавил Хосе,— никто не пойдет. И алтари не будут строить. А если построят, мы ломаем.

Священник продолжал молиться. Он думал, что все это козни дьявола. Каждый год процессия проходила по разным кварталам. В прошлом году — по кварталу Дом Аптунеса, в позапрошлом — по Колонии Сантимери, Порту и Плюс Ультра; в этом году она должна была пройти по кварталу Дешевые Дома. Об этом уже было объявлено. Сеньор ректор говорил, что нужно вызвать побольше жандармов для охраны, больше, чем вызывали обычно. Однако викарию не нравилась эта идея. Между тем времени уже оставалось совсем немного: всего четыре дня; нет — пять; нет-нет — четыре. Процессия состоится в воскресенье. А сейчас...

Сеньор ректор посмел даже упрекнуть его:

— Вы очень молоды. Вам еще не хватает опыта.

Но разве это неопытность — взвешивать все обстоятельства и беспристрастно принимать их со всеми последствиями?

Капдель говорил ему:

— Вы должны что-нибудь сделать.

— Что? Не подниматься же мне на трибуну и не кричать, что это неверно, что я поступил так, потому что...

— А неплохо было бы именно так и поступить, раз случай представляется. На улице Тортоса как раз есть эстрада, микрофон, громкоговорители.

Потом Кандель ему сказал:

— У вас шурии случайно не адвокат?

— Да.

— Поговорите-ка с ним.

Он поговорил. По телефону. Незадолго до начала молитвы.

Его шурии был шутник.

— Ну и впутался же ты в историю!

— Но этот защитник не имеет права на меня клеветать.

— Он имеет право делать что угодно, только бы защитить своего клиента.

— Вот так так!

— А ты не знаешь, есть ли со стороны потерпевшего частное обвинение?

— Не знаю. Кажется, да.

— Тогда свяжись с обвинителем.

Он стал искать в газетах, кто ведет дело по частному обвинению. Оказалось, какал-то женщина, юристка. В телефонной книге он нашел номер ее телефона. Позвонил — нет дома. Завтра опять позвонит. Эта мысль его успокоила. Он кончил молиться. Пошел спать. Завтра вставать в шесть. Боже, если бы все кончилось, как в кино,— хорошо!



СВАДЬБА

«Она любит солнце,— сказала дама-американка.— И теперь уже скоро запоет».

Эрнест Хемингуэй

Она тоже была не очень молода, и помолвка их длилась недолго.

Как-то мартовским вечером он встретил ее у входа в метро, что недалеко от улиц Ареналь и Майор; на белых кафельных стенах тоннеля лежал красноватый отблеск, который у верхних ступеней лестницы становился гуще из-за большой рекламы, только что вспыхнувшей над меховым магазином. Широкий черный пояс подчеркивал непринужденное покачивание ее бедер. Сантосу было нужно на улице Ареналь, но он ускорил шаги и свернул на Майор, желая рассмотреть ее; она почувствовала интерес к себе и, полуобернувшись так, что стало видно ее свежее лицо с полным под-

бородком, крупным ртом и простоватыми глазами, еще больше выпрямилась в своем хорошо отглаженном синем пальто. Ему ничего не удалось сказать ей. В тех редких случаях, когда он останавливался посмотреть на понравившуюся ему женщину, он всегда говорил что-нибудь, а на этот раз промолчал. Встав на углу, он смотрел ей вслед, и, по мере того как она удалялась, в нем росло сожаление. Два раза его остроносые, когда-то серого цвета ботинки с дырочками, потускневшие от холостяцкого небрежения, поворачивали следом за ней и оба раза отступали, а он все смотрел из-под тяжелых век на эту женщину с застывшим на лице выражением горечи и вызывающе поднятым подбородком. «Должно быть, она из Андалузии», — подумал он.

Вечером в кафе Регуло он, держа в руке погасшую сигарету, уже в который раз говорил о женщинах с Хименесом Луной и Матнасом. Вдруг вспомнил о ней и замолчал, легонько покачиваясь на каблучках. Потом приподвинулся на пюпки, словно, вспомнив эту женщину, захотел стать выше ростом; на завтра и на следующий день он тоже думал о ней — горько и безрадостно. Он видел ее во вторник, а в субботу, в одном из баров на улице Ла Крус, рассказал о ней Хименесу Лупе. Ему было необходимо это сделать, но, как только Хименес заговорил о ней в легкомысленном тоне, он замолчал. Хименес Лупа не понял его. Он вообще никого не понимал — ни людей, ни быков.

— Если ты не пошел за ней, значит, не очень-то она тебя заинтересовала, — сказал Хименес.

— Ну почему же... — прервал он приятеля, рассеянно глядя на горлышко винной бутылки. И добавил: — Дело не в этом. Может, это и странно, не знаю, но что-то мне помешало.

Их представили друг другу через две недели. Случилось это в Постас, недалеко от того места, где он впервые увидел ее; Сантос молча пожал ей руку, угадав по выражению ее лица, что и она узнала своего мимолетного поклонника. Ее звали Мария де лос Сантос, и то, что ее фамилия и его имя были одинаковые, показалось ему волнующим предзнаменованием. Он не угадал: она родилась в Мадриде. После смерти родителей жила с теткой, седой доброй женщиной, похожей на тех старушек, которых обычно изображают на картинках. У Марии была угольная лавка на Пласуэла де ла Паха, куда она неделями не заглядывала; управляющий, толстый мужчина в очках с черепаховой оправой, удрученный своими

многочисленными обязанностями, а также тем, что хозяйка имела над ним двойную власть — как женщина и как владелица лавки, приносил ей счета домой или в кафе. Мария немного презирала его — ах, этот управляющий! — и, несмотря на видимое безразличие, не выпускала лавку из поля зрения: всегда была в курсе угольных дел, текущих и сезонных, поддерживала пужные знакомства, папосила визиты, что позволяло ей держать под контролем свою собственность, не пачкаясь при этом угольной пылью. Во время встреч с управляющим, а случалось это раза два в неделю, Мария возражала, проверяла счета, возмущалась, уступала, вновь возвращалась к уже выясненным вопросам — и так до тех пор, пока у управляющего не начинали дрожать руки, а цифры на бумагах плясать. Она была добрая, только чуть взбалмошная и фантазерка, в общем, незамужняя женщина, не получившая достаточного воспитания, немного черствая, как многие рано оставшиеся без родителей люди, которые никому не доверят ключи от кладовой. Все свое время эта тридцатидвухлетняя женщина распределяла между торговлей, визитами, долгим послеобеденным спом, сеансами в кинотеатрах «Плейель» и «Соль» да старательным приготовлением жаркого и каши. На улице на нее часто обращали внимание, а толстый управляющий не мог без волнения смотреть на ее высокую пышную грудь; эта грудь, а также великолепное жаркое из телятины, которое, как он знал, она отлично готовила, представлялись ему величайшим и недостижимым чудом: ведь иллюзии — это последнее, что мы теряем. Правда, тоску по жаркому он утолял раз в году, в день ангела хозяйки, сидя вместе со счетоводом за ее столом напротив тетки, тощей, улыбающейся и бледной словно смерть.

Мария влюблялась дважды: последний раз — когда ей было двадцать два, то есть десять лет назад; первый раз — в двадцать лет — она влюбилась в мужчину лет на двадцать старше себя, по однажды он появился у них в доме с молодой женой (это было еще при жизни отца Марии), и, пока все их поздравляли, ее маленькое сердце сжалось и перед глазами закружились он и его жена, отец, компата, весь мир. Вторая и последняя ее любовь была к инженеру по имени Эсекьель, высокому, худому, почти лысому молодому человеку, с которым она познакомилась случайно и которого потом видела всего шесть раз, да и то всегда в окружении людей, стоящих гораздо выше ее по общественному положению; он же хотел просто немного повеселиться. Из этих двух

неудачных увлечений Мария, и так пессимистка по натуре, вынесла неколебимое и горькое представление о любви, которое презрительной ноткой проскальзывало в ее отнюдь не сентиментальных разговорах с иными тоже незамужними приятельницами, угадывалось в скептической улыбке, с которой она наблюдала за финальными поцелуями в кино, да еще в мстительной привычке — позволить заинтересовавшемуся ею мужчине подойти к ней, чтобы потом резко и с ледяным равнодушием его оттолкнуть. Но Мария была женщиной, да к тому же в годах, а поэтому вопреки всему была готова еще раз склониться перед любовью, если она придет, и принять ее всем своим существом. Она верила, что наступит праздник ее любви и она его встретит, как встречают блудного сына, который сам натерпелся и заставил страдать других: смехом и слезами, великолепными кусками жаркого и самыми лучшими домашними сладостями, замешанными на прежних разочарованиях.

Сантос, мужчина со смуглыми спокойными руками, пришелся ей по душе. Для нее он прежде всего был выходом из положения. К тому же он ей нравился. С самого начала что-то влекло ее к Сантосу и в то же время вдруг отталкивало, властно и неожиданно. Этот бывший тореро был невысок ростом, Мария была выше его сантиметров на десять. Но она чувствовала, что ни его рост, ни зрелый возраст тут ни при чем. И держалась с ним рассеянно, неприветливо, словно повинуюсь суровой обязанности.

Сантосу было сорок шесть лет. Родился он в Ронде и уже восемнадцатилетним юношей в совершенстве владел искусством подбегать к быку с двумя деревянными палочками, украшенными цветами, и, склонившись к рогам, втыкать в загривок животного бандериллы — прямо или наклонно, но обязательно, чтобы их острые концы очутились совсем рядом, — а потом бежать со всех ног, чувствуя дыхание быка у себя за спиной. Удар рогами, полученный двенадцать лет назад в Боготе, а затем, спустя семь лет, еще один в Барселоне сильно подорвали его здоровье. Со времени последней операции он иногда, особенно по почам, чувствовал резкую боль в животе, равномерно вспыхивающую и угасающую, словно колебание маятника, который кто-то пускал в ход, дернув за тонкую прочную бечевку, по когда он ложился, если был на ногах, или, наоборот, вставал среди ночи, боль вскоре проходила. Только две раны — в Боготе и Барселоне — были тяжелыми, остальные удерживали его в по-

стели от двух до пяти дней, по и они постепенно делали свое дело, неотвратимое, как и потеря ловкости с годами. После второго ранения ни один матадор не взял себе Сантоса постоянным бандерильеро. Он жил в Мадриде и выступал когда придется; это составляло примерно пятнадцать коррид на обеих городских площадях за сезон, а за год — двадцать или двадцать три; и всего лишь семь за последний год, когда в его жизни появились грузовики.

Грузовики совершали рейсы в Галисию и Астурию, об этом ему рассказал Хименес Луна. Сантос хотел поместить свои сбережения в какое-нибудь предприятие, которое позволило бы ему окончательно порвать с корридой, поэтому сразу же заинтересовался грузовиками, хотя сердце его по-прежнему принадлежало корриде. Среди профессиональных тореро Мадрида он всегда будет считаться своим, пусть крошечной, но все-таки частицей этого особого мира. До самой смерти он будет интересоваться ярмарками и всем, что связано с боем быков. Выступив в предпоследний сезон семь раз, он уже больше не надевал костюма тореро, хотя в прошлом году и мог бы провести шесть, а то и восемь боев. То есть опять, уже в который раз бежать навстречу быку с бандерильями в руках, затем ощутить легкий удар при столкновении с животным, воткнуть бандерильи и улетывать со всех ног от наступающих тебя рогов туда, где быка ожидают с плащом. Зачем? Ведь его дела с грузовиками шли успешно, на компаньона Сантос не жаловался, правда, месяцев пять тому назад они схватили друг друга за грудки, но это случилось не столько из-за денег или грузовиков, сколько из-за того, что слишком много было выпито и сказано сгоряча. Именно в это время ему встретилась Мария, ровно через двадцать шесть лет, как он стал тореро, и ровно через год, как он перестал им быть; теперь уже страх, злость, напряжение, мечты о славе, удары рогов, ожидание работы — все осталось позади, и, вероятно, навсегда. Хотя Сантос не намеревался больше выступать, мысль о том, что он уже не тореро, пробуждала в нем какую-то болезненную тоску о прошлом, и в то же время он испытывал удовлетворение, правда довольно горькое, оттого что оставил эту профессию. Временами ему невыносимо было слышать, когда о нем говорили как о тореро, и он приходил в негодование; о грузовиках же он говорил с удовольствием, хотя и умеренным, и не желал, чтобы о нем упоминали как о бывшем или даже еще выступающем тореро. Для Марии это был маленький

смуглый мужчина со шрамом возле левого уха, серьезный и подтянутый, временами грубый и нетерпимый, который раньше был тореро, а сейчас имел три грузовика, совершавших рейсы в северных провинциях; правда, два из них принадлежали его компаньону, а третий, маленький, — ему, но доходы делились поровну. Марию сразу же привлек его суровый и пристальный взгляд. Она всегда мечтала о мужчине видном, молодом, деловом и энергичном, словом, о таком, который был полной противоположностью Саптосу, и все же была уверена, что именно в нем найдет то, что заставит ее сердце — сердце девочки, девушки и зрелой женщины — раскрыться и довериться ему, как доверится лист водам реки, которые унесут его за собой, едва он их коснется. Такие порывы охватывали Марию внезапно и обычно в отсутствие Саптоса, а не тогда, когда он сидел рядом, держа в руке сигарету, или когда обнимал ее в пустом поезде — «Ах, оставь меня, мы же не дети!» — по возвращении из кино или кафе: что ж, мужчина всегда остается мужчиной. И пожалуй, уже можно было сказать, что Мария любит его, хотя он и не соответствовал ее представлению об идеальном мужчине.

Саптос со своей стороны понимал, чего не хватает ее любви, он видел также, что недостаток страсти она пытается возместить благосклонностью и уважением.

Порой Мария вдруг превращалась в капризную девочку либо подростка, каким была когда-то, влюбленного без взаимности, по словно отравленного предубеждениями зрелого возраста и разочарованиями прожитых лет. Однако, несмотря ни на что, Мария видела в Саптосе верную опору, преданного друга и возлюбленного, который рассеял все тьмы и наполнил новым содержанием ее жизнь, состоявшую прежде из накладных, хлопот по хозяйству, кино и визитов; с ним же она связывала свои мечты о детях.

За одну неделю они условились о помолвке и решили, что свадьба будет через четыре месяца. Все началось с того вечера в кафе, на пятый день их знакомства, когда он взял ее руку, а она, почувствовав одновременно нежность и влечение к нему, сухо сказала:

— Нам это уже не к лицу: если намерения серьезные, то и действовать надо соответственно, как положено.

Саптос крепче уперся ногами в деревянный пол, чтобы унять дрожь в коленях, и ничего не ответил. А когда наконец заговорил, упрямо тряхнув головой и не поднимая

глаз от мраморной доски стола, его едва можно было слышать:

— Да, да, конечно, как ты скажешь: если хочешь, чтобы мы условились обо всем как можно скорее, а потом поженились, так и сделаем.

Ее знакомство с Хименесом Луной и остальной своей холостой компанией Сантос обставил по всем правилам. Он пригласил друзей в кафе «Леванте», и, когда они оба, она — в изящном платье, он — в новом пиджаке, прибыли туда, все уже были в сборе, потому что Мария слишком долго одевалась.

— Вот Хименес Луна, это Хуан Саласар, Эль Авила, Антолинес, его брат Антонио, — представлял приятелей Сантос.

Мария протягивала руку, робко наклоняя голову. Им отвели почетное место в центре плюшевого дивана. Пока все усаживались, гремя стульями, Мария завела оживленный разговор с Антонио Антолинесом, очень красивым юношей, и с Саласаром. Она перескакивала с одной темы на другую и все время улыбалась. Изредка бросая взгляд на Сантоса, Мария замечала, что он страдает, и на какое-то время принимала серьезный и виноватый вид, как девочка, которую перед банкетом учили, как себя держать, а она все позабыла. Но очень скоро Мария снова заговаривала с Антонио Антолинесом или Саласаром так, что и Антонио стал тревожиться, поглядывая на жениха, да и все остальные чувствовали себя пеловко от создавшегося положения и непривычного для них присутствия порядочной женщины.

Когда они вышли и распрощались со всеми, Сантос повел ее домой, крепко сжав руку Марии. Он шумно дышал, а потом вдруг разразился язвительными упреками:

— В следующий раз проделывай это с кем-нибудь другим, а надо мной еще никто так не шутил.

— О чем ты говоришь? — Мария притворилась удивленной, хотя все прекрасно понимала и приготовилась к защите.

— О том, что если ты еще раз издумаешь выкинуть такое, то не увидишь меня как своих ушей. Ты просто плохо воспитана.

Мария вдруг рассердилась и выпалила:

— Со своими грузовиками ты совсем голову потерял. Наверное, когда ты был тореро, ты больше был похож...

— На кого?

— На мужчину.

Сантос выпустил ее руку, повернулся и зашагал в сторону улицы Карретас. Потом тетка гладила ее по волосам, а Мария плакала, положив голову на стол: «Зачем я это ему сказала, зачем?..» Набросив на плечи пальто, она побежала в кафе Регуло.

— Нет, сегодня они не приходили,— ответил Регуло, осматривая ее с ног до головы.

Опустив голову, Мария медленно побрела домой по людным вечерним улицам. Почти одновременно атаковав ее с двух сторон, какой-то мальчишка и мужчина шепнули ей что-то; потом она столкнулась с супружеской парой, и пальто съехало у нее с плеча, открыв полную белую руку, складку возле подмышки и обтянутую черным высокую крепкую грудь. Перекинув пальто через руку, Мария шла, привлекая взгляды мужчин, и от этого чувствовала себя еще более одинокой. «Я хуже собаки, хуже собаки, зачем я это сказала, дура, зачем вообще расстроила его?» У дверей своего дома Мария увидела Сантоса. Спокойно и твердо смотрел он, как она приближается; кровь отлила от щек Марии. Сантос сделал шаг ей навстречу, но смотрел теперь куда-то в конец улицы. На Пласа Майор слышались беготня и крики детей, совсем близко раздался резкий свисток полицейского, иглою возвышшийся в вечернюю тишину, в дальнем баре начали зажигать огни.

— Я пришел, чтобы покончить с этим, ничего у нас не выйдет. Возвращаю тебе твою фотографию, а ты верни мою.— Он поднес руку к карману.

— Хорошо,— с трудом произнесла она. И вдруг расплакалась.— Прости меня, прости. Я хотела знать, как ты себя поведешь.

— Да неужели?

— Клянусь тебе.

— Ну, знаешь...

Видя, что Сантос колеблется, она воспрянула духом:

— Уж и пошутить пельзя...

— Хорошенькие шутки! — слова вскипел он.— Ты еще слишком мало знаешь меня. Так что поосторожнее, а лучше найди себе кого-нибудь другого. Я ни о ком плакать не стану. Мне сорок шесть, дорогая.

— Но...

— Так что имей в виду...

— Почему бы тебе не зайти на минутку? — Мария умоляюще смотрела на Сантоса.— Я сварю кофе. Поидем!

Они поднялись. Мария была недовольна собой, а как держался Сантос, ей понравилось. Он был мужчина. Настоящий мужчина и любил ее.

Но совсем незадолго до свадьбы, когда все необходимые документы были оформлены и сделано оглашение, Сантос снова стал казаться ей (и она с этим ничего не могла поделать, хотя уже устала от борьбы с собой) лишь маленьким, добрым человеком, добрым и сдержанным, погруженным в свои дела да воспоминания о том времени, когда семь прыжков — шесть, пять, четыре, три, два, вот он, бык, есть! — возвращали его к жизни и он мчался, преследуемый рогами. Мария уже не понимала, что же ей нравится в Сантосе и что отталкивает; в юные и зрелые годы у нее сложился идеал мужчины, и Мария невольно отождествляла его с Сантосом, хотя тот не соответствовал этому идеалу ни фигурой, ни разговором, ни положением, словом, ничем и ни в чем. Она долго ждала, и сейчас он был здесь, перед ней, чтобы вознаградить это ожидание. Мария с нежностью и беспокойством думала о совместной жизни, которая представлялась ей смутно, но всегда в виде одной и той же сцены: тонкая сорочка, шелковое одеяло, полумрак, рядом мужчина, и от этого первого раза зависит, понравится он тебе или нет. Но этого она еще не знала. И вдруг, охваченная раскаянием либо досадой на себя, она брала Сантоса за руку, как бы спрашивая у него, а Сантоса переполняло счастье, немного отдающее печалью.

Они уже наметили маршрут свадебного путешествия: Севовия, Авила, Саламанка, Бургос, а под конец Сантандер. Они прогуляются по Сардинеро, если будет хорошая погода, а потом вернутся в Мадрид. И всюду будут вести себя, как молодожены, ведь она еще не старая.

— Разве я старая?

— Что ты, глупышка! Сантандер — прекрасное место,— отвечал он.

— Тогда будем ходить танцевать.

— Обязательно. Сантандер мне нравится, там такие пляжи...

— А мы пойдем на танцы.

В церкви Сан-Висенте был только Авила, а вечером на званый обед в ресторан «Бомбия» у реки пришли Саласар и Хименес Луа. Со стороны Марии было много гостей, потому что Сантос пригласил лишь шестерых. Во время венчания и потом Мария казалась очень красивой со своей высокой грудью и покорными глазами. Сантос же был серьезен и

печален, хотя на званом обеде обнимал гостей за плечи, с важной любезностью предлагая сигары. Мария выпила несколько рюмочек и уже ни о чем не думала, ей хотелось только, чтобы обед длился как можно дольше. Марии было хорошо, словно девочке, которой дали немного вина, а потом вдруг исполнили самое заветное ее желание на глазах у всех, и она ни от кого не собиралась скрывать свое счастье. Танцы открыли жених и невеста; Мария не прижималась к нему и смотрела в сторону, хотя была полна любви, а он был печален, почти мрачен, что выглядело немного смешным в такой момент. Но танго кончилось, Сантос тоже улыбнулся и, откинувшись назад, бросил через головы танцующих пачку «честерфилд» прямо на стол, за которым сидел Хименес Луна.

Поезд отошел в пять и в Сеговии был в восемь, так что им как раз осталось время, чтобы переодеться, поужинать и подняться к себе. Второй по величине отель города, очень комфортабельный, был почти пуст. К ужину они едва прикоснулись, разговаривали мало и лишь изредка взглядывали друг на друга. Когда подали десерт, за окнами совсем стемнело, только горный хребет еще кое-где освещало солнце. Ужин подходил к концу, скоро надо будет идти к себе, а Мария бледнела все больше и все чаще умолкала. После кофе она, чтобы побороть смущение, выпила четыре рюмки коньяку; он тоже, повторяя: «Что ж, такое не каждый вечер бывает, еще рюмочку». Никто в ресторане, — ни официанты, ни четверо дельцов, уживавших неподалеку от них, ни пожилая супружеская чета, сидевшая напротив, — не подозревал, что они молодожены. Сантос чувствовал, что Мария нервничает все сильнее.

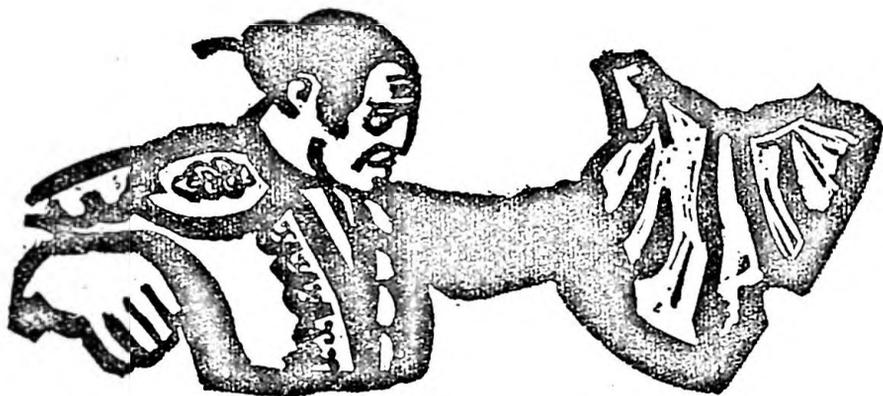
Уже наверху, в комнате, где стоял большой раскрытый чемодан, а на стульях и в распахнутом настежь шкафу висели их вещи, он попытался успокоить ее:

— Это все нервы, дорогая, но если ты не хочешь, я к тебе не прикоснусь.

Они действительно порядком выпили, и сейчас их больше всего интересовало, широка ли кровать и чисты ли постеленные простыни, а друг на друга они смотрели с робостью и лишь тогда, когда этого нельзя было избежать. Для Марии кровать означала отдых. Она была совершенно разбита после суматошного дня и выпитого коньяка и хотела поскорее лечь, но догадывалась, что предстоял ей отнюдь не отдых. Сантос прошел в ванную.

— Ложись,— сказал он,— я сейчас вернусь. Не бойся меня и ни о чем не тревожься.

Потом она, не отрывая головы от подушки, приподняла тяжелые веки и увидела его. Он был в одних пижамных брюках и опять казался печальным. Все удары рогов, свидетельства того, что семь его прыжков — четыре, три, два, есть! — завершились неудачей в те времена, когда, возможно, ее еще и на свете не было, сейчас были ясно видны: глубокие и длинные, вертикальные и поперечные, три вверху и три внизу, синеватые, белые и бледно-розовые, и он их показывал Марии, подняв лицо кверху, словно ожидая, оправдают его или приговорят к смерти; освещенный светом почника, он стоял, чуть отведя руки назад, чтобы она могла рассмотреть все шрамы и не надо было бы поворачиваться, а Мария привстала, охваченная мучительным желанием поцеловать те, что были на груди, потому что он заслуживал этого; он же застыл в победной и горькой неподвижности, ибо раны эти принадлежали не низенькому человеку, занятому накладными и грузовиками, а тому, кто знал, что такое пятьсот боев с быками и что такое больничная койка, знал не только умом, но и телом, не скрывающим сейчас своей худобы и своих не похожих ни на какие другие шрамов.



КОРРИДА В МАДРИДЕ

«Я — тореро. И моя душа должна пройти через все».

Хосе Ортега-и-Гассет

Апрельскими вечерами террасы портовых баров в Мар-русе заполняются людьми в зависимости от дня недели. В субботу или накануне праздника нет ни одного свободного стола, и неторопливый разговор посетителей сопровождается беспокойным позвякиванием тарелок, стаканов и бутылок. Погода стоит хорошая, поэтому даже днем в понедельник или во вторник занято большинство столиков, а начиная с восьми вечера — все. По воскресеньям и по праздникам, да еще в летнее время свободное место невозможно найти уже после четырех. И так всегда, за исключением тех дней, когда дует сильный восточный ветер, совершенно преобра-

жающий пляж. Глубокое небо сверкает, и кажется, будто огромная чаша опрокинута над портом и заливом; по газонам, отделенным от прикрытых брезентом пароводных грузов и старых вагонов высокой железной решеткой, бегают дети, гоняются друг за другом, выходя из воды, купальщички. С наступлением вечера от воды веет прохладой; в трамваях, что, скрежеща, останавливаются рядом с кафе, робко мигая, зажигаются огни. Теперь за решеткой и портовыми складами почти не заметны трубы и корабельные снасти и едва можно различить кружащихся вдали часк. А днем казалось, что море плещется у самых столиков, и было видно, как при каждом взмахе весел на них играют солнечные блики.

Однажды вечером, в апреле 1946 года, на террасе «Ла мэзон доре» сидел с двумя приятелями бандерильеро Пепорро. Они пытались было обосноваться в кафе «Эспаньол», но там не оказалось ни одного свободного места, и поэтому они расположились под маркизой соседнего бара. Из-за дамбы королевы Викторнии выглядывали мачты большого торгового судна, а на террасе кафе «Ла мэзон доре» перед стаканом лимонада, номером поэтического журнала и парой вульгарных мелких раков красовался местный журналист, молодой Висенте К. Монтеро. Пепорро с друзьями, войдя в кафе, поздоровался с ним кивком головы. Оба его спутника — владелец недавно открытой маленькой фотографии и невысокий толстяк, которого Висенте раньше не видел, — подождали, пока сядет Пепорро, и только после этого разместились по обе стороны от него. Разговор шел о быках, причем Пепорро ограничивался краткими «да» и «нет» и лишь иногда вступал в разговор, горячо объясняя что-то своим хриплым голосом. Это был мужчина лет пятидесяти, лысый и грузный, живот у него начинался почти от груди и причудливо выпирал вперед, словно существовал сам по себе, как это иногда кажется, когда смотришь на беременных женщин. Но в нижней своей части живот Пепорро сходил на нет, поэтому походка его была легкой и изящной. Из-за большого живота, низкого двойного подбородка да лысины Пепорро казался толстым, хотя в действительности, если судить по всей его фигуре, это было не так. И все же молодой Висенте уже не в первый раз представил себе, как нелегко было тореро заставить публику забыть о его животе, когда он бежал к быку с высоко поднятыми бандерильями, и подумал, что этот живот был хорошей мишенью для рогов. Вместо того

чтобы заняться стихами Франсуа Вийона, молодой Висенте направил все свое внимание на бандерильеро Хосе Фрапкоса Пепорро и узпал о нем в тот вечер гораздо больше, чем было известно местным любителям корриды.

В то время Пепорро обычно участвовал во всех городских и окружных корридах и новильядах, что за сезон составляло примерно пятнадцать или двадцать боев; кроме того, он занимался поставкой бойцовых петухов в Венесуэлу и получал кое-какие комиссионные от продажи табака и иностранных товаров. Именно эти поступления, а не быки заложили основу благосостояния Пепорро. Участие в корридах, приносящих 400, 1000 или 1200 песет за вечер, материально служило для него лишь подспорьем и было прежде всего способом проявить свою индивидуальность; ведь благодаря корридам и пока еще сопутствующей ему славе опытного тореро, единственного в этом приморском городе со ста тысячами жителей, он позволял себе непринужденно судить обо всем, уверенно рубя рукой воздух и выставив вперед ногу в двухцветном летисм ботинке, который выглядывал из-под белой, оливковой или цвета электрик штаны.

На местных корридах зрители довольно шумели, едва узнавали в бандерильеро своего земляка, его простые и сдержанные движения, всегдашний синий с черным, почти траурный костюм и затянутый пояс, но все же выпирающий живот. А когда Пепорро короткими, резкими криками начинал звать быка и кружить около него, все приближаясь, зрители, сидевшие на солнечной стороне, казалось, только и ждали этих минут, чтобы веселыми, дружными возгласами выразить свое одобрение. И наконец, настоящая овация потрясала воздух, когда Пепорро втыкал бандерильи в спину быка. Потом народ уставал и Пепорро припимали уже не так горячо, да и матадоры пользовались гораздо меньшим успехом, чем в начале корриды.

Когда в город приехал Манолете и в день корриды у его помощника Кантимпласа поднялась температура, Пепорро предложили выступить вместо него. Пепорро немедленно согласился, ибо, не говоря уже о трех тысячах песет, он удаивался чести работать (пусть и случайно) со знаменитым тореро, да еще в своем родном городе. Его первую пару бандерильи зрители-крестьяне, как обычно, встретили неистовыми аплодисментами, тут же перешедшими в громовую овацию; Манолете в это время споласкивал лицо водой; рас-

сеянный и безразличный ко всему, что происходило на арене в его отсутствие, он замер, так как знал, что между его выступлениями ничего особенного не могло произойти, и спросил Пепорро, который только что вернулся к барьеру и улыбался сидевшим неподалеку знакомым, что там случилось.

— Ничего, маэстро, просто я — местный, — объяснил бандерильеро.

И всегда мрачный Маполете едва удержался от улыбки, взглянув на Пепорро.

Сегодня, в кафе «Ла мэзон доре» Пепорро хрипел больше обычного, и, когда он в сердцах принимался доказывать что-то, до юного К. Монтеро долетало лишь глухое сипение, а его «да» и «нет» можно было распознать только по движению головы.

— Без денег ничего не добьешься, — сказал незнакомый Висепте толстый молодой человек. — Возьми, к примеру, Нагера. Кто он такой? Ведь он и плащ-то толком держать не умеет. Но за ним стояли деньги, он и выдвинулся, а теперь выступает всюю.

Толстяк казался возмущенным до глубины души.

— Да, — задумчиво согласился Пепорро.

— Давай говорить серьезно, Пепе, — снова обратился к нему толстяк. — Ну что представляет собой Нагера?

Пепорро, зажмурив глаза, энергично помотал головой и, когда собеседник уже собирался продолжить, вдруг принялся яростно жестиковать, что-то объясняя. Висепте К. Монтеро мало что понял из этого разговора, кроме разве нескольких слов вначале, которые ему очень понравились. Почти ничего не было слышно.

Однако по отдельным долетавшим до него словам и речи, сквозившей во взгляде Пепорро, Висепте понял, как утомили этого уже немолодого человека беспокойство, страх и обида за своего сына, который, как он верил, станет торо, но пока эти светлые надежды были далеки от осуществления.

Наверное, уже было около восьми. Маленький допотопный пароходик, который трижды в день пересекал залив, загудел так, словно переплывал Миссисипи (кстати, он был точной копией пароходов тех романтических времен). Под столиками кафе, прижимаясь к каменному полу, куда-то пробирался черный кот; девушка, вероятно, шедшая с вокзала, у памятника дону Сигизмунду Море ускорила шаги и

бросилась в объятия поджидавшего ее пожилого мужчины в темных очках. Дневная жара понемногу спадала, снова наступал великолепный тихий вечер; официант, подойдя к Пепорро, тронул его за плечо.

Тореро, вахмурившись, выслушал официанта. Его лицо выразило замешательство, и он мгновенно сжался, словно улитка, уходящая в свою раковину.

— Мевя?

— Да, — ответил официант. — Позвонили в кафе «Эспаньол», а там сказали, что вы здесь.

— Кажется, меня вызывают к телефону. Я скоро вернусь.

Тореро, привстав, смотрел на друзей в каком-то радостном ожидании, словно ждал от них подтверждения того, что разговор будет приятный.

Висенте все слышал. Какое-то время он еще продолжал сидеть, любясь золотым пламенем, охватившим южную часть неба, но потом не выдержал и направился внутрь кафе вслед за тореро. Пепорро и корриды вообще много значили для юноши. Возможно, его вызвал к телефону сам Бьенвенида. Или какой-нибудь торговец скотом хочет известить о пробных боях. Как бы то ни было, сейчас любая мелочь была важна для Висенте, поэтому он подошел к прилавку и стал рядом с кабиной, изо всех сил изображая безразличие. Потом, решив, что Пепорро может заметить его бесцельное хождение перед кабиной (ведь до этого он и не думал покидать свой столик), юноша направился к двери, ведущей на улицу Лас Фламенкас, и купил газету, прочитанную им часа три назад. Делая вид, что просматривает ее, он устроился у открытой двери кабины и прислушался. Теперь тореро хрипел меньше и старался отчетливо выговаривать каждое слово.

— Сан-Фернандо? — спросил он.

Жестокое разочарование сразу сменило недавнее любопытство Висенте К. Монтеро, начинающего поэта и редактора еженедельника «Эко дель Сур». Звонили из соседнего городка, расположенного в двенадцати километрах отсюда. Наверное, насчет петухов для Америки. Или па таможене крохотного Эквадора задержали несколько ящиков с табаком... И вдруг одно слово, произнесенное тореро, все изменило.

— Мадрид? Да, да, с Рафаэлем я всегда готов, — жестикулируя, говорил Пепорро. — Но когда?

Его живот показался из кабины, и Висенте стремительно отступил назад, к дверям кафе. Однако все в нем, даже то, как он держал газету, говорило, что он весь превратился в слух, поняв, что Рафаэль Ортега, считающийся одним из лучших матадоров, обратился за помощью к Пепорро. Судя по его внятому и взволнованному голосу, его лицо сейчас, должно быть, сияло. Висенте даже удалось услышать прерывистое стрекотание у самого уха Пепорро.

— Хорошо, скажи Рафаэлю, что мы договорились, — сказал тореро. — Или лучше позвони мне вечером, и тогда я точно скажу. — Пепорро как будто заколебался. — Впрочем, не надо, договорились. Завтра я приеду и все уточним. Говоришь, в следующий четверг? Ясно, не послезавтра... Не останусь ли я с ним? Нет, нет, обговорим все завтра! В «Ла Мальоркине» в одиннадцать или в полдвенадцатого. Пока.

Сияя до ушей, Пепорро вышел из кабины и направился к своему столику. Но вдруг повернул назад и подошел к Висенте.

— По-моему, не очень хорошо подслушивать чужие разговоры.

— Я... Я...

— А как твои дела?

Пепорро только что узнал чрезвычайно приятную новость. Но к радости, которую выражало его лицо, примешивалось недовольство оттого, что его подслушивали, и неловкость, вызванная смущением Висенте.

— Я... — начал было молодой редактор.

— Ладно. Забудем об этом. Уж таковы журналисты, — произнес Пепорро с небрежной инисходительной миной, словно само собой разумелось, что вскоре десятки газетчиков будут подслушивать его телефонные разговоры.

Он опять улыбнулся своей особенной улыбкой:

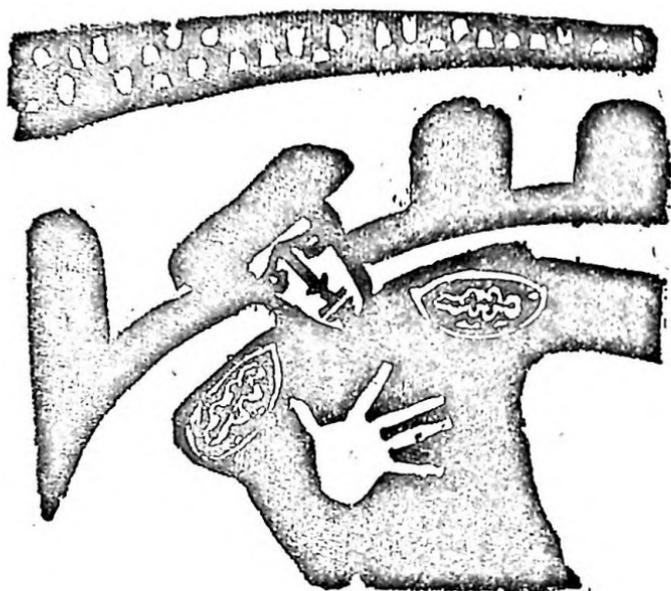
— Пойдем, выпьешь рюмочку с нами. Мне звонил Рафаэль Ортега, чтобы узнать, не выступлю ли я с ним в Мадриде. В следующий четверг.

И, легонько подталкивая Висенте, направился с ним к террасе.

— Итак, в Мадрид, — прикрыв глаза, проговорил Пепорро, теперь обращаясь только к себе. — Очень хорошо!

И устремил глаза в вечернее небо, которое за несколько минут из ярко-розового стало бледно-фиолетовым.

Но вот проходит тридцать лет, мы стареем, не в силах ни понять, ни принять этого; время незаметно обкрадывает нас, и нет уже больше тореро, сидевшего вечерами у моря, ни раков с лимонадом, ни матери, хлопотавшей в доме, ни газеты под названием «Эко дель Сур» — ничего нет, будь оно проклято.



БОЛЬШОЙ СЕЗОН

«И хотя еще была ночь, с приходом твоим
заснял на горизонте венец господний».

*Ибн Хазм из Кордовы
(X—XI века)*

Три лебедя в крошечном, с несколькими кувшинками пруду отеля медленно отплыли к противоположному берегу, обеспокоенные присутствием людей в темноте. Из танцевального зала по временам доносились звуки оркестра, и пигде не было спасения от зноя. Он достиг высоких башен, опустился в самые низкие подвалы, вытаскивая людей из жарких постелей и бросая их в толпу на площадях и улицах. Мануэль знал, что от Трианы до Пасео Колон весь берег заполнен бурлящей толпой. Парочки, затянувшие со свадьбой, одинокие мужчины и женщины, безымянные, словно волки, целые семейства спуют в раскаленной темноте, поглощая га-

зпированную воду и пиво, а то и просто воду, если не хватает денег. Мануэль подумал, что, может быть, там гуляет и тетя Рафаэла с его двоюродной сестрой Эпкарнасьон, в которую он был влюблен три года назад, когда ему было шестнадцать. Наверное, как всегда, Эпкарна говорит одновременно с матерью, не раньше и не позже, а только одновременно, и смеется резким смехом, который обрушивается на окружающих, как удар бича. Несколько лет назад Мануэль тоже ходил к реке, иногда со своей матерью и шестью младшими братьями. Они брали с собой дыню или арбуз и, сидя на свежем воздухе в баре «Робустиана», смотрели на гуляющих. Мануэль предавался мечтам о корриде, и от улыбки Эпкарнасьон сердце его сжималось больно и радостно, а в пыли под деревьями возились ребяташки, и кричали женщины:

— Что ты там делаешь?! Иди сюда-а-а!

Сейчас у Мануэля все по-другому. Он сидел в парке отеля «Сельвия палас», на нем был костюм за 3000 песет и галстук за 50. О ранах на голове он не думал. Рядом с ним была девушка, и она смотрела на него. Несколько недель подряд он лишь мечтал о пей по ночам, а сейчас это было не нужно, да и невозможно, потому что она сидела рядом. То, что он чувствовал к Эпкарнасьон, ни в какое сравнение не шло с тем, что было сейчас, и огорчало его лишь одно — упорство дон Рафаэля, полагавшего почему-то своей обязанностью сопровождать его на свидание. Какая-то птичка пискнула два раза в глубине парка. Мануэль снова потрогал повязку на голове. Да, об этом не стоило думать, сейчас это было не важно. Нежный аромат духов долетел до него. Он вообще не хотел больше думать. «В твоём возрасте пашишки не стоит обращать внимания», — говорил дон Рафаэль. Ужин прошёл спокойно, а сейчас раны снова заболели. Вернее, это была не боль, а сильное жжение. «Да ведь все уже зажило, дурачок». Он знал, что это так, что жгло потому, что они заживали, как и говорил дон Рафаэль. Но он не знал, не вспорет ли бык эти раны завтра вечером, как это случилось в Пальме с его раненым коленом. За два месяца он не отрезал ни одного уха, а самому ему крепко досталось, но сейчас рядом сидела она, и все было по-другому. Каждый вечер быки, большие и маленькие, наступали на него — это был его большой сезон. «Только подумай, какой это год в твоей жизни, а ведь тебе всего девятнадцать», — говорил ему дон Рафаэль каждый вечер перед одеванием.

Внезапно она заговорила, взяв его за руку, словно не могла больше противиться своему чувству и обаянию ночи.

— Я тебя очень люблю, понимаешь, — сказала она низким, глубоким голосом. — Понимаешь, очень.

Глаза ее светились трогательной и таинственной радостью. Когда они поцеловались, вдалеке, за изгородью, послышалось резкое, как удар, слово. Они расслышали только последний слог «...ещ», — должно быть, развлекалась какая-то компания, — и тот же мужской голос запел, умело подражая модному певцу и сильно растягивая концы фраз. Но она скоро перестала улыбаться, положила голову ему на плечо, подняла руку и погладила прядь волос между битами, потом нежно дотронулась до ссадины на носу.

— Ты не должен был приезжать, — снова заговорила она, — даже если я все устроила и предупредила тебя.

— А где бы я тогда тебя увидел?

— Да, конечно. Но скажи мне, в тот вечер в Утрере что-то случилось?

Мануэль молчал. Опустив глаза, смотрел в землю, словно шестилетний ребенок. Словно раненый шестилетний ребенок.

— Не верь тому, что завтра напишут в газетах, — сказал он. — Наверно, напишут, что мне здорово досталось, но я тебе говорю: бык лишь опрокинул меня. И удар был не сильный. Под конец все шло хорошо, и я бы отрезал ему ухо, а то и два, если бы не упал. Но я упал.

Это был тот самый бык, которого он посвятил отцам-селезнякам. Когда вечером его везли вниз на мулах, он вспоминал конец боя, аплодисменты селезняков и разочарованный вид расходящейся публики. Желток вечернего солнца приклеился к крышам на площади, и он видел, как длинными рядами люди направляются к выходу, а детишки бегают по пустой теперь арене: люди смотрели на него без участия и словно думали, что он был не так плох, во всяком случае, оправдал их надежды и был лучшим среди остальных. Самые важные люди Севильи заполнили первые ряды, и, когда открыли выход на арену, его появление публика встретила аплодисментами, а он, Мануэль Кантеро, опять провел бой ниже своих возможностей, кроме разве первых ударов и нескольких удачных фигур в конце. Он вспомнил, как третий бык, зацепив рогом за туфлю, рывками потащил его по арене; кричали сидевшие близко женщины, он слышал эти крики и, посылая проклятия в песок, пытался защитить забинтованную голову.

— Мне сказали, что по тебе с ума сходит один из этих Росси,— взорвался он вдруг.— Один из этой важной знати, что тебя окружает.

Иногда он не мог сдерживать себя, и она смотрела на него широко открытыми глазами. Потом опустила их и снова подняла.

— Армандито Росси,— ответила она.— Он мне несколько не симпатичен, уверяю тебя.

И вдруг улыбнулась, словно успокаивая его:

— Ведь он ребенок, у него на уме вечно какие-нибудь глупости, всякие мамбы. Думаешь, мне это может править-ся? Вообще, с тех пор, как я познакомилась с тобой...

Впервые она увидела его на обложке журнала. На фото он казался маленьким мальчиком по сравнению со стоящим позади него высоким тореро, который, как и он, наблюдал за корридой из запасного выхода. Вверху большими белыми буквами на коричневом фоне было написано: «Мануэль Кантеро!» — а внизу помельче: «Солнце Севильи». Какое-то время она его разглядывала, а потом завернула в эту обложку провод от починика. Несколько дней спустя к отцу пришел с визитом некий сеньор Фоптибри из Мадрида, и она, беседуя с его дочерью, услышала, как он мимоходом упомянул имя Кантеро. «Да, он хороший тореро», — сказал Фоптибри. И ей припомнилось острепькое личико с обложки иллюстрированного журнала, пелерина плаща, стянутая у подбородка, и затененные беретом глаза, обращенные к арене.

— Не верь тому, что напишут завтра, — настаивал Мануэль.— Ни хорошему, ни плохому. Журналисты сочиняют быстрее, чем бегают, а бегают они быстрее поезда. Они так ловко умеют расставить слова, подбавить поэзии и прочей ерунды, что па их удочку попадают не только тореро, но даже политики, даже самые умные люди.

— По-моему, у отца есть друг, директор почтамта в Севилье, — сказала она.— Потом, если наши дела уладятся, он, вероятно, сможет чем-нибудь помочь.

— В этом нет необходимости. Дон Рафаэль прекрасно со всем справляется. Он берет журналистов на себя и всегда меня выручает во время трудного интервью. В Мадриде всего два или три журналиста, с которыми нельзя договориться. Хотя каждый по-своему, но все они говорят правду и очень часто попадают в самую точку.

Он вспомнил недавнюю статью в газете, озаглавленную «Кантеро сходит со сцены». Газету ему подсунули под дверь

номера в одном из отелей Овьедо, открытую на странице, посвященной корриде, и слова «Кантеро сходит со сцены» были жирно обведены красным карандашом. Еще оглушенный криками болельщиков, он смотрел с кровати, как тремя толчками подсунули газету, но предпочел не выходить в корридор, хотя и слышал, как уходил на цыпочках тот, кто это сделал. Не важно, кто он был. Может, и доп Рафаэль. Это было на него похоже. Газета была мадридская, а статья — о корриде в Толедо, одной из многих его неудач в последнее время, когда ему опять не удалось убить быка. Но сейчас статью он помнил лучше, чем корриду. «Кантеро начал довольно хорошо, но затем последовало несколько нечетко выполненных движений. Проведенный с чисто севильским темпераментом пасо дель пecho позволил было зрителям надеяться на интересный финал, но их ожидания были обмануты». Любопытно, в школе у него была плохая память, а сейчас он помнил все отзывы о своих корридах. Иногда целыми абзацами. А может, раньше, когда он был маленьким и видел, как отец взобрался на серый грузовик, подталкиваемый приехавшими за ним вооруженными людьми, голод не давал ему много думать.

Звуки оркестра в тапцевальном зале, вдруг вспыхнув, снова угасли, и почти тотчас они услышали позади себя чей-то голос. Это был доп Рафаэль, направлявшийся к ним через парк. Он старался говорить как можно мягче:

— Извините нас, сеньорита, но Мануэлю пора уходить. Тореро многим придется жертвовать. Пошли, мальчик.

Назавтра, воскресным утром, они выехали из Севильи. Впервые за полмесяца Мануэль спал в своей кровати и поэтому, проснувшись, позволил себе полежать около часа, прислушиваясь к движению в своей недавно купленной квартире. Ночью он думал о девушке. Садясь в машину, тоже думал о ней. Как всегда, за рулем был Эфраня, подручный, а он сидел сзади с доном Рафаэлем. Пеоны и пикадоры выехали прошлым вечером девятичасовым скорым, чтобы встретиться с ним в отеле перед самой корридой. Вечером, одетый в фиолетовый с золотом костюм, он в сопровождении неонов ехал на площадь. Мануэль смотрел на море, то появлявшееся, то исчезающее за вилами, которые тянулись вдоль побережья. Пригнувшись к ветровому стеклу, он издали увидел, как трепетали распрямленные сильным ветром вымпелы на площади. Фигурас, его лучший пеон, арагонец с лицом, как

из старого дерева, тоже увидел это и, повернувшись, бросил:
— Скверно.

Когда они входили в загон для лошадей, один из пеонов был вынужден обеими руками придерживать берет, чтобы его не унесло ветром. Дон Рафаэль знакомым жестом положил ему на плечо свою большую, жирную руку и сказал:

— Здесь всегда одно и то же. Поэтому и прогорают все импресарно. Ветер.— Понизив голос, он добавил: — Сегодня не возись долго. Поработай немного для виду, да ты сам знаешь. Парочку фигур — и довольно.

Мануэль слушал, не глядя на него.

Во время парада тореро в амфитеатре оставалось много свободных мест, и Мануэль, обежав глазами первый ряд, гадал, удалось ли ей приехать на воскресенье в Маррус позгорать на здешнем пляже и посмотреть бои быков. Всего три часа езды на машине, из Севильи сюда многие приезжают. Но вот запели трубы, и он почти испугался, снова услышав надоедливый голос дона Рафаэля, который, встав по другую сторону прохода, давал ему наставления. Он всегда появлялся неожиданно, всегда был рядом с ним, этот страдающий одышкой человек с седым ежиком волос над красным крестьянским лицом. Он смотрел на него, Мануэля, как на вещь, но вещь, дающую большую прибыль. И все же только этот человек мог заставить его выступить за год в ста, а то и больше корридах. Только он был способен довести его до финала большого сезона. Может быть, и другие сделали бы это, думал иногда Мануэль, но он никого не знал, кроме дона Рафаэля, который два года назад сделал из него тореро после стольких неудач, насмешек и отрезанных впускую ушей молодых бычков.

— Послушай моего совета, Манолито, — медленно и настойчиво говорил дон Рафаэль. — Сегодня не затягивай бой. Тогда выйдешь из положения без лишних волнений. К завтрашнему дню ты должен отдохнуть, а в Виторнию мы выедем сразу же.

После парада часть публики из первых рядов осталась стоять, аплодируя, овация ширилась, захватывая амфитеатр, и скоро вновь аплодировал весь стадион, освещенный вечерним солнцем. Мануэль знал, кому предназначались эти аплодисменты, знал, хотя вначале, когда он вышел с забинтованной головой и беретом в руке, публика приняла его холодно, — но теперь все эти люди хлопали ему, и маленький матадор сделал два шага вперед и остановился, скромно склонив го-

лову, а овация все усиливалась. Потом Мануэль стремительно отступил назад, к товарищам, и взял их за руки, чтобы и они разделили с ним успех. Во взгляде первого матадора, мексиканца Сальдивии, он уловил какое-то мимолетное и странное выражение, не то униженное, не то высокомерное, но не снял своей руки с его плеча, продолжая подталкивать обоих матадоров вперед. Когда, чуть приотстав от остальных, он покидал арену, среди публики вновь вспыхнули аплодисменты, уже немного вялые, но предназначавшиеся только ему. Зрители помнили прошлое лето, когда он, после посвящения в матадоры, почти в каждой корриде отрезал оба уха у своих быков. Мануэль же помнил не только свои безукоризненные тогда пасо натурале и заключительные удары шпаги, входившей в тело быка по самую рукоятку, но и товарищей по корриде, цвета костюмов, масть быков. Теперь иное дело, он почти никогда не знал, какой породы быки, которых он убивает, спрашивал лишь, из Андалузии они или из Саламанки, и то на ходу, в загоне для лошадей или у барьера, когда наверху уже пел рожок. Он выступал каждый день, но в двадцати корридах ему не удалось отрезать ни одного уха, словно быки сговорились его обманывать. А тут еще эта страшная усталость, бесконечные переезды с места на место, покровительственные похлопывания дон Рафаэля, его пронзительный взгляд и скрывающая снисхождение улыбка, с которой он сообщал о новом контракте: «Через три дня начнешь выступать, я договорился на весь август и еще кое-что наклеивается, так что будем заняты по горло». Да, уж кто-кто, а Мануэль всегда был занят по горло. Занят и запродан, весь в ушибах и синяках, пропахший быками и не имеющий времени подумать даже о том, сколько денег заработает он и сколько получит дон Рафаэль, вечно спешащий, не помнящий ни городов, где он выступал, ни товарищей по корриде, сегодня Аранхуэс, завтра Барселона, послезавтра Малага, потом Валенсия или Ла Корунья. Если два дня подряд случилось выступать с одним и тем же тореро, к которому он дружески относился, то, пока на арене действовали пикадоры, они продолжали отрывистый разговор, начатый на вчерашней корриде.

— Ну, как доехали?

— На этот раз плохо. У нас спустила шина в Мансанаресе.

— А я еле па ногах держусь.

За последние два месяца с небольшим Мануэль провел

тридцать шесть коррид, и почти каждый раз бык сбивал его с ног. Он чувствовал себя подавленным. И кое-кто прекрасно знал об этом.

— Здорово тебе досталось.

Тогда он сжимал губы и делал вид, будто поглощен происходящим на арене.

Едва были сняты барьеры, публика окружила его. И все из-за прошлогоднего успеха. Все из-за него — и сорок шесть проведенных коррид, и контракт на август, и гром аплодисментов. А потом — разочарованные лица зрителей.

— Ну и красавчик! — крикнул кто-то на солнечной стороне амфитеатра. — Посмотрим, каков ты в деле!

А какой-то мальчишка провизжал:

— Водички попей, водички!

Перед Мануэлем выступал тореро, который был еще моложе его, — Муньос из Логроньо, хороший матадор, по и только. Матадором он стал всего неделю назад, и поэтому из шести быков, участвующих в корриде, Мануэлю выпал второй и пятый вместо третьего и шестого, которые прежде полагались бы ему как самому молодому и которые на этот раз достались Муньосу. Его огорчало то, что не он заканчивает корриду. А может быть, и то, что уже появились матадоры моложе его.

Его первый бык был очень плохой, и Мануэлю пришлось манипулировать пладом и мулетой перед самой его мордой. Публика молчала, некоторые даже хлопали. Больше он ничего не мог сделать. Убив быка, Мануэль, недовольно раскачивая шпагу кончиками пальцев, направился через арену за полотенцем, которое Эфраип уже протягивал ему из-за барьера; он был доволен, что публика молчала, раздалось лишь несколько свистков, да кое-кто зашикал.

Когда Муньос дразнил мулетой третьего быка, Мануэлю показалось, что какая-то женщина из первых рядов кивнула ему. Это была ее подруга, а рядом с ней мужчина, которого он видел тогда в толедском отеле. В тот раз, перед неудачной для него корридой, Мануэль только и делал, что говорил и спрашивал о ней, а подруга смеялась. Сейчас он дважды поднял руку, приветствуя их, и увидел, что женщина отрицательно покачала головой и развела руками. «Может быть, она все-таки приехала, — подумал Мануэль, — просто подруга ее не видела». И обернулся к арене посмотреть, что там делается. «Во всяком случае, сегодня бык меня не тронет и меня не освистают. Сегодня я отрежу ухо».

Мексиканец Сальдивия отрезал ухо у четвертого быка, прекрасно справившись с бандерильями и изящно проделав трудный и долгий ритуал с мулетой.

Второй бык Мануэля и предпоследний в этой корриде, был маленький, упитанный, пестрый и в чулках. Публика шикала на тех, кто разговаривал, а Мануэль размахивал плащом перед быком, все еще смотревшим на пеона, который его дразнил:

— Хехе, хехе! Хня! — кричал Мануэль тонким, детским голосом.

Пестрый бык яростно бросился на него и промчался под плащом. Мануэль побежал за ним вдоль барьера, развернув плащ напрягшимися руками. Плащ почти полностью закрыл его; публика начала возбужденно переговариваться в предвкушении интересного зрелища и с симпатией следила за маленьким быстрым тореро с забинтованной головой.

— Хехе, хехе!

Бык опять кинулся на него, и Мануэль, плотно сдвинув ноги, встретил его двумя стремительными верониками. И когда он быстрыми взмахами плаща снова вынудил быка к наступлению, а сам грациозно, каким-то неуловимым движением увернулся от рогов, в публике раздались аплодисменты. Но следующую фигуру — ките — он не мог завершить, потому что бык напал на него, и ему пришлось упереться рукой в его шею, чтобы избежать удара; так окончилась его короткая работа с плащом, но зрители все-таки поаплодировали, подбадривая его перед выступлением с мулетой. То, что не удалось Мануэлю, прекрасно выполнил Сальдивия, и вновь разразилась овация, совсем такая же, какая была, когда он отрезал ухо, а четко выполненным фигурам Мупьоса аплодировали гораздо сдержаннее.

Во время работы с бандерильями бык все время поровил остановиться и приподнять голову, однако все сошло гладко: просто бык попался очень вялый. Мануэль взял шпагу и мулету из рук Эфраипа.

— Бычок недурен, — сказал Эфраив. — Заставь его опустить голову — и он твой.

Мануэль искоса взглянул на Эфраипа. Он знал, что тот едва сдерживается, чтобы не крикнуть: «Да справься ты ради бога с этим быком и начни наконец отрезать уши! Чего ты ждешь?» Мануэль направился к ложе алькальда, которую ему показал доп Рафаэль, а тот шел рядом с ним, только по

другую сторону барьера, и озабоченно говорил, но так, чтобы никто, кроме Мануэля, не слышал:

— Сделай четыре фигуры и кончай с ним, понятно? Для нас важнее завтрашняя встреча в Витории. Там ты обязательно должен отрезать хотя бы одно ухо. А сейчас не рискуй, понял?

Мануэль прекрасно его понял и все же подумал: «Нет, я сделаю все, что смогу». После посвящения быка алькальду он повернулся и поискал глазами ее друзей, им он тоже хотел оказать эту честь. И пока Мануэль неторопливо шел к ним, кинув взгляд туда, где, набираясь сил, стоял бык, он услышал, как зрители перешептываются о том, какой он маленький, а женщины в первом ряду с почти материнским состраданием говорят о его забитованной голове.

— Ну, что у тебя новенького?

— Мария Лунса?

На другом конце провода послышался смех, и Мария Лунса заговорила в своей обычной манере: начинала спокойно, а потом выпаливала все сразу и тут же сыпала торопливыми и настойчивыми вопросами.

— Я просто так, милая. Вчера смотрели бой быков в Маррусе. Ты ведь не приезжала? Кстати, что у тебя с Маноло, этим маленьким тореро? Знаешь, он вчера посвятил нам быка. Страшно симпатичный.

Она не видела утренних газет, и сейчас голос ее прозвучал еле слышно.

— Ну и как?

— Неплохо, совсем неплохо. В конце было немного хуже, он никак не мог убить быка. Но кое-что он проделал просто великолепно.

Крепко прижав телефонную трубку к уху, она смотрела на покрытый цветами дворик, освещенный ярким утренним солнцем.

— Я так испугалась, когда бык сбил его с ног. Тот самый, которого он нам посвятил. А он ничего, поднялся, весь забитованный, в ссадинах, и хоть бы что. Нет, серьезно, кое-что он делал прекрасно, просто мастерски. А вот когда убивал... Просто досадно! Наверное, он сильно ударился.

Она уже не смотрела во двор.

— Да, я слушаю, говори.

— Как-то мы были в Толедо с мужем и Макукой, она ведь прехорошенькая, верно? В отеле, перед самой корридой,

Хавьер нам представил этого тореро со всеми его друзьями и помощниками. И едва я, сама не знаю почему, упомянула твое имя, он принялся расспрашивать о тебе так, словно он от тебя без ума, сказал, что познакомился с тобой на празднике у Гонсалесов и что ты самая милая и самая хорошая. Да что я тебе рассказываю! Я ушам своим не верила.

Оглушенная этим потоком слов, она немного отвела телефонную трубку от уха. Под самым окном раздавались певучие голоса торговцев.

— А этот тореро премильный, и знаешь, он не показался мне неотсанным. И работает прекрасно. Но ты и он? Неужели это возможно?

— Да мы просто знакомы, и все. Мне он тоже кажется симпатичным.

Она уже знала, как держаться — сдержанно и непринужденно, это хороший тон. А только о хорошем тоне все и беспокоятся. Беспокоятся всегда, при любых обстоятельствах. Надо всегда улыбаться, говоришь ли ты о любви, о сагардельской посуде, о летнем отдыхе в Сан-Себастьяне, марке автомобиля или о рождении долгожданного ребенка. Факты не имели значения в таких разговорах. Достаточно было легко и изящно скользить по поверхности. Как бы тебе ни было больно и тяжело, об этом не стоило говорить с окружающими. И по-видимому, ничего не стоило принимать близко к сердцу. Она не умела притворяться, ей было двадцать три года, и она с каждым днем все острее чувствовала, как она далека от этих людей. В обществе, к которому принадлежала ее семья, как и в любом другом, встречались люди благородные и ограниченные, некоторых интересовала настоящая жизнь во всей ее полноте, но ею жили в другом мире. Барьер благополучия словно мешал им проникнуть в сущность явлений, понять их глубину, и это всех уравнивало — умных и глупых, приветливых и высокомерных. А ее интересовали все люди. Неважно, тореро ты или конструктор, лишь бы ты любил свое дело, а не работал ради денег или громкого имени; и она втайне думала, что, вероятно, нет особой разницы между ее преподавателем английского языка и ее отцом. «Все мы страдаем и испытываем страх». А может быть, хороший тон — это никогда не говорить неприятной правды и относиться к жизни как к воскресной партии в карты. «И все же все мы страдаем».

В голосе Марии Луисы послышались детские, просящие нотки:

— Ну, а что ты еще о нем знаешь?

— Что я могу знать? Нас недавно познакомили, мы поговорили, и я прониклась к нему симпатией.

Она видела, как дрожал ее указательный палец на трубке.

— Послушай, он с ума по тебе сходит, этот мальчик,— продолжала Мария Луиса.— Он и вправду еще мальчик. Ему не то девятнадцать, не то восемнадцать.

— Девятнад... в общем, по-моему, девятнадцать,— уточнила она.

— Гм... тебя беспокоит его возраст, я вижу.

— Вовсе нет.

— Хорошо, хорошо, будь умницей и не делай глупостей.

— Ладно. Как ты думаешь, не сходить ли нам в «Льоренс»,— переменяла она разговор.— Сегодня там «Знамение креста», кажется, неплохой фильм, хотя старый.

— Нет, я не пойду, это что-то про римских христиан. про то, как их мучают и все такое. Идти в кино, чтобы переживать,— нет уж, уволь! Я видела «Малыша», очень приятная картина, хотя малыш умирает. Ты видела? Ну, пока, у меня еще уйма всяких дел. А что до Манолито Кантеро, то мне показалось, что он без ума от тебя, девочка. И по-настоящему! Жаль этих ребят, влюбляются всерьез, да не в тех, кто им под стать.— Приятный голосок Марии Луисы стал серьезным.— Ты ведь, наверно, знаешь, что его семья... словом, я думаю, что она совсем простая.

Небо было серым. Он сделал два шага и остановился. Чуть повернул голову в сторону товарища, шедшего слева, как бы поджидая его, а на самом деле его вдруг оставили силы. Полная народу площадь и серое небо закружились у него перед глазами. Сквозь мелкий морозящий дождь едва были видны ряды амфитеатра с темными пятнами раскрытых зонтов. Шел все тот же неторопливый, нескончаемый дождь, который он видел из окна отеля, когда отдыхал в постели перед одеванием. В дороге он чувствовал себя неважно, и по приезде в Виторию у него начался жар. Когда он ложился, температура была тридцать восемь, а потом, уже после разговора с доном Рафаэлем и перед тем, как ехать на площадь, снизилась до тридцати семи с половиной. Сразу после приезда к нему зашел импресарио, и когда он уже лежал и через балконную дверь смотрел на темное небо, услышал, как тот за дверью сказал дону Рафаэлю:

— Господи, хоть бы он не расхворался, и так дождь льет не переставая, а ведь это первая коррида ярмарки. Тогда народ не пойдет на вторую корриду, да и на новильяду тоже.

— Не беспокойтесь, я поговорю с ним,— сказал дон Рафаэль.

Теперь, на площади, костюм казался ему таким тяжелым, словно был сделан из железа. Сальдивия стоял здесь же, слева от него. И хотя мексиканец проделал тот же утомительный путь из Марруса в Виторию, он не выглядел усталым.

Третьим должен был выступить местный торсеро, Эчанис.

Сначала Эйзенхауэр поздоровался за руку с генералами и произнес несколько слов перед микрофоном; потом показали наводнение в Мексиканском заливе, людей, спасающихся на крышах домов, и уже в конце хроники появился титр: «Благотворительная коррида»; она замерла в кресле, увидев лицо Мануэля, показанное крупным планом, потом он наблюдал за корридой из-за барьера, совсем как на обложке того журнала, затем камера, помещенная почти у его ног, показала, как он дразнил быка плащом, а диктор в это время комментировал действия матадоров и сыпал шуточками вроде: «Посмотрите-ка на этих красавчиков-зрителей», «Эй, друг, сейчас проглотить свою сигару». Но вот на экране остались бык и Мануэль, и, едва она заметила, как беспокойно переступают его ноги, огромная черная голова ринулась на Мануэля и опрокинула его на землю; он прикрыл лицо руками, а бапдерильеро, окутанные облаком легкой пыли, окружили быка. «Но Кантеро поднимается,— говорил комментатор, пока она сидела, зажмурив глаза,— и, с завидным мужеством окончив бой, пробегает круг почета».

Ее случайный спутник, Фелине Исарсуц, наклонился к ней и сказал:

— А все-таки ухо ему не досталось. Вообще для хроники всегда выбирают самые интересные моменты корриды.

По его голосу она поняла, что все уже знают о ее отношениях с Мануэлем. Но сейчас она думала только о том, что коррида, показанная в хронике, состоялась вскоре после того, как ей попалась на глаза фотография Мануэля, и незадолго до праздника в Уэльве, когда она впервые увидела его, хмурого и усталого, с мальчишеской фигурой и густыми белокурыми волосами, причесанными на косой пробор. В Уэльву она присехала с отцом и братом Антонио и даже вечером, во время танцев, ни на минуту не могла забыть, как рыжий

бык, словно тряпку, швырнул Мануэля к противоположному краю арены, а тот руками защищал лицо от острых рогов; вихрь плащей и пыли, распростертое тело Мануэля — все было точно как в хронике. «Господи, дай мне снова все вспомнить, пока не началась картина». И пока Плуту и Гуфи тасовали события, происходящие в мире, она торопливо и напряженно вспоминала, как сначала увидела его па обложке мадридского журнала, а потом в Уэльве, на песке арены, под нависшей мордой быка; вечером, во время танцев, она думала о нем с каким-то странным чувством восхищения и жалости, которое потом, в тишине спальни, уже было не только страданием. И все же тогда она очень его жалела и лишь спустя шесть дней, когда во время сельского праздника у Гонсалесов ей представили его и неизменно следовавшего за ним толстого мужчину, уже собиравшихся уезжать, она почувствовала нечто другое: одновременно нежность и уважение, которое всегда питала к дяде Лукасу, почти не общавшемуся с ее семьей; да, это были нежность и восхищение, но совсем иные и гораздо более сильные; потом, на следующий день после праздника у Гонсалесов, во время мессы в церкви святой Магдалены, она плакала, вспоминая вчерашний вечер и то, как он прощался с ней и как она, кусая подушку, думала о нем ночью, а он в это время ехал навстречу новым корридам, навстречу смерти; она тогда пыталась припомнить свои прежние увлечения и не могла, кроме разве первой влюбленности в шестнадцать лет, но представить, что она когда-нибудь испытывала нечто похожее на теперешнее свое чувство, было невозможно, и она лишь хотела увидеть его еще раз, а из памяти не шел его последний взгляд, долгий и печальный, который позволял ей думать, что и она ему понравилась, хотя и была старше его на четыре года. Потом, слушая, как бьет четыре, а затем и пять часов, она нарисовала себе все трудности, которые возникнут, если из этого получится что-нибудь серьезное, и почти с ненавистью подумала о тете Лауре, умершей старой девой и подавившей в себе многолетнюю любовь к человеку, который считался ниже ее по общественному положению, она вспомнила, как однажды за обедом все посмотрели на нее, когда она заявила, что не понимает такого самопожертвования. А дальше началась борьба с пожаром, горевшим внутри нее, долгая борьба, потому что погасить этот пожар никак не удавалось; что-то заставляло ее тут же опровергать все доводы, которые она себе приводила. Она стала тайком покупать журналы, пишу-

щие о корридах, просматривать утренние газеты и слушать вечерние известия по радио.

Она вспомнила, как у нее упало сердце, когда утром, через три дня после их знакомства, двое рассыльных принесли ей ящик и визитную карточку: «Рафаэль Мартинес — доверенный тореро — Мануэль Сильвела, 6, Мадрид и Консепсьон, 21, Севилья». Типографский текст был небрежно зачеркнут чернилами и под ним написано: «Мануэль Кантеро». В ящике оказалась целая охапка роз и гвоздик, и Хосефа, старшая горничная, взяв цветы, испуганно улыбнулась: «Ох, сеньорита, наверно, от кавалеров», — а мать целый час выжидала случая, чтобы сказать ей: «Ради бога, девочка, поменьше подарков от тореро и поосторожнее со всем этим, каждый есть то, что он есть, и в нашем доме все должны знать свое место, цветы же, прошу тебя, верни как можно скорее». Он в это время ехал по следующую корриду, потом по другую, потом на третью, четвертую и спал в машине, которую вел его подручный.

Арена в Витории была мокрая. Мануэль заметил, что стоящий у служебного входа Эчанис волнуется, но пытается казаться спокойным и, искоса поглядывая на Мануэля, как на равного, все же не может скрыть своего восторженного любопытства. В последнее время ни один тореро не смотрел на него так — похоже, что Эчанис нечасто читает газеты. Эчанис провел всего четыре корриды, он был посвящен всего три года назад и, кроме того, в последний раз в Мадриде выступил не очень удачно. Арена на площади в Витории была мокрая, но без луж. А хотя бы и с лужами — Мануэлю было все равно. Совершенно все равно, даже если бы лил настоящий ливень. Ему хотелось одного: лечь в постель, хоть несколько минут побыть одному, дать отдохнуть мышцам и немного подумать о ней. Костюм уже казался ему невыносимо тяжелым. Немного подумать о ней, лежа в постели. Как они будут переписываться? Ей домой писать нельзя. А ему, куда ему можно писать? Ведь пройдет полмесяца, месяц или даже полтора, прежде чем он попадет домой, а она в августе вместе с семьей уедет отдыхать, и не известно, на сколько. Дон Рафаэль как во время сезона, так и после, зимой, не позволял ему ничем заниматься. Да и сам Мануэль не представлял, как он может что-нибудь сделать, чего-нибудь добиться самостоятельно.

— Пока я тобой занимаюсь, тебя в твои годы ничто не

должно интересоваться — ни женщины, ни все остальное. Только быки. Для тебя существуют только быки и еще я. Хоселито Тетух был настоящим мужчиной, но и он говорил, что зад быка ему нравится больше, чем женское лицо. А ведь был настоящим мужчиной. Но прежде всего он был тореро, тореро до мозга костей. Я тебя создал и не позволю, чтобы ты все испортил.

Группа болельщиков из Бильбао старалась вовсю: размахивала беретами, пела, поднимая над головой бутылки с вином и потрясая плакатом, на одном конце которого был грубо нарисован черной и синей краской паром, а от него начиналась красная надпись, шедшая через весь плакат: «Давай, Эчанис. Мы — за тебя!» Сегодня впереди будет Эчанис либо Сальдивия. Мануэль не сможет. Да он и не хочет. Единственное, чего он хотел, — так это плюнуть на все, как когда-то в детстве, когда он жил в одном из переулков Трианы. Он с удовольствием плюнул бы на плащ, на зрителей, на дона Рафаэля, а особенно на самого себя. «Потому что я обезьяна. Обезьяна дона Рафаэля, и все. Измученная, выжатая как лимон обезьяна, которую и быки и люди бросают, будто мяч, с арены на арену, из отеля в отель». У него болела голова, острая боль пульсировала в левом виске. Бинты сняли вчера вечером, но сейчас опять началось. Мануэль знал, что у него температура — горели губы, шея, руки. Они будто повисли в воздухе, отделившись от тела, и не было ни кровати с простынями, ни темноты, где бы они могли успокоиться. Шумная группа болельщиков образовала круг и танцевала около одного из входов в амфитеатр.

Когда вышел его первый бык, Мануэль прислонился к барьеру запасного выхода. Сальдивия, как и прошлым вечером, уже отрезал одно ухо. Мануэль плохо видел своего быка. Бык показался ему большим, но он не стал приглядываться и медленно направился к выходу, где, прячась от солнца, стояли Фигурас и Матео. Медленно падал дождь, до Мануэля смутно долетал разговор зрителей в первых рядах. Здесь его любили меньше, чем на юге. Публика хотела видеть настоящий бой, искусный и рискованный, а не слушать разговоры о волшебном плаще и Солнце Севильи. Именно из-за него так дорого стоили билеты.

Бык бросился на плащ и вместе с ним рванул руки Мануэля вперед, потом, тряхнув головой, ничего не видя, ткнулся направо. Сквозь пелену дождя с последних рядов амфитеатра плащ, развевающийся в руках Мануэля, казался непро-

порционально большим по сравнению с его одетой в красное фигуркой, скользившей то по одну, то по другую сторону от быка.

Вечерний воздух прорезали свистки.

Бык смело ринулся на пикадоров, получил три раны, и тут же, пока Эфраин бежал вдоль барьера, раздавая бандерильи, прекратился дождь.

Когда Мануэль принимал из рук Эфраина шпагу и другие свои принадлежности, подошел дон Рафаэль.

— Дай ему деревянную шпагу,— сказал он Эфраину.

— Он мне сказал, чтобы я дал ту, которой убивают,— ответил тот рассеянно.

— Дай деревянную. Должен же он показать хоть что-нибудь,— нахмурился дон Рафаэль.

Он нервно потирал руки, словно старался унять их дрожь, и Эфраин пожал плечами.

— Ну хорошо, бери ту, которой убивают,— обратился дон Рафаэль к Мануэлю.— Если хочешь, можешь долго не тянуть, но отрежь у него ухо. Бык не так уж плох, а нам сегодня это просто необходимо. И вчера, и вообще уже не раз я говорил тебе, чтобы ты не особенно старался. Но у этого отрежь. От него зависят наши дела в Бильбао. Ты спокойно можешь покончить с ним в два приема.

Мануэль молчал, опустив глаза. Перекинув мулету через руку, он проверял гибкость шпаги, уперев ее конец в барьер.

— Ты меня слышишь?

Мануэль резко поднял голову.

— Да, сеньор, слышу. Потом мы с вами сочтемся.

Никогда еще он не говорил так с доном Рафаэлем, да, вероятно, никогда они и не будут сводить никаких счетов. Это была минутная вспышка тореро, бунт ребенка против взрослого.

— Он тебя грабит и убивает, уж поверь мне,— сказал кто-то Мануэлю в Мадриде.

Дон Рафаэль ничего не ответил. Просто устало опустил голову, словно признал себя побежденным. Мануэлю же его маленькая победа представлялась огромной. И пока он больше ни о чем не хотел думать, да и времени для этого не оставалось. Глаза у него горели, и он с удовольствием накричал бы теперь на дон Рафаэля и ушел бы с арены, как Рейна в прошлом году, который потом отсидел в тюрьме и заплатил тридцать тысяч песет штрафа. Сжав губы, Мануэль напра-

вился к председателю, чтобы посвятить быка. Он едва поднял берет и, повернувшись на каблуках, осторожно снял его и положил на песок у своих ног, посвящая быка публике. Единственное, что он мог для нее сделать. Импресарио и дон Рафаэль облокотились на барьер.

— Ну, сейчас он покажет,— сказал дон Рафаэль.— Смотрите хорошенько.

Мануэль отослал помощников и, подпяв шпагу, двинулся на быка. Спрятав мулету за спиной, он, покачиваясь, медленно приближался.

— Хехе! Хехе!

Его мальчишеский голос слабо отдавался под сводами трибун.

— Хехе! Хехе!

Бык бросился издалека, а Мануэль прыгнул на мулету. Когда бык оказался на мулету, он опустил одно колено и стал водить ее вправо и влево. В это время рывком поднимая ее, Мануэль принимал, но повернувшись в другую сторону, он слышал, как хрустят кости быка, вращающегося головой. Мануэль вынул мулету вперед, чтобы бык не мог приблизиться к нему.

— Хехе! Хехе!

Бык, еще полный сил, яростно бросился на Мануэля, и Мануэлю удалось лишь обвести его вокруг себя. Мануэль так поддал рогами мулету, что она отлетела к самому барьеру. Мануэль, не торопясь, подошел, чтобы взять другую, которую ему уже протягивал Эфрани.

— Ну как? — спросил он.

— Будь все проклято,— ответил Мануэль.

Сальдивия, кутивший за барьером, взглянул на него и улыбнулся. Он не мог сдержать улыбку, да особенно и не пытался. За последние десять дней он уже четыре раза видел это: злое лицо Мануэля и мулета, летящая по воздуху. И уже знал, что будет дальше. Но он также знал, что если Мануэль начнет хорошо, то и потом у него все пойдет хорошо. И чтобы добиться успеха, ему не нужно делать сорок пасов, как Сальдивии. Но сейчас Мануэль напоминал бабочку, придавленную камнем.

Снова подойдя к быку, он впервые посмотрел ему в глаза. Мануэль всегда приглядывался к глазам быков и к тому, как они двигают ушами,— это очень важно, но сейчас ему все было безразлично. Он думал только о пей, думал о пей, даже

когда после двух пасо пор ла кара встал па цыпочки и, подняв эфес шпаги к глазам, направил лезвие на быка, так что оно показалось ему блестящей точкой на фоне черной шкуры животного. Площадь разразилась бурей свистков и насмешек. Мануэль не обращал на них внимания, они отдавались у него в ушах не громче шума раковины. «Если бы я смог», — подумал он. Бык стоял прямо перед ним, с нетерпением ожидая новой схватки, и смотрел на неподвижную мулету. И только Мануэль поставил ногу потверже, чтобы нанести удар, в лицо ему пахнуло резким запахом бросившегося на него животного. Вонзив шпагу, он попытался увернуться от рогов, но тут все смешалось у него перед глазами. Он снова кусал мокрый песок арены, лежа на боку и прикрывая руками голову, а на шее чувствовал влажное дыхание быка и прикосновение его холодного носа. Он продолжал лежать, не отнимая рук от головы, и видел перед собой часть публики, мелькание красных и желтых плащей, взмахи хвоста. Мануэль с трудом сел, и в этот момент бык, повернувшись к нему задом, ударил его по ноге. Сзади кто-то невидимый пытался поднять его, покровительственно и властно схватив за рукав. Наконец ему удалось встать на ноги; кто-то дал ему мулету. Шпага, лежавшая на песке, не была окровавлена. Фигурас поднял ее и дал Мануэлю. Он уже знал, что не ранен, но голова гудела как котел, словно его чем-то тяжелым ударили по затылку, напрягшееся тело болело. Сморщившись, он несколько раз повел головой из стороны в сторону и, прихрамывая на ушибленную ногу, под свист зрителей сделал несколько шагов навстречу быку, проклиная мокрый песок, свое одиночество и лихорадку. Ему вдруг захотелось воткнуть шпагу в живот дону Рафаэлю. Он снова отослал помощников, но увидел, что они остановились поблизости. Мануэль шел ковыляя, а боль в шее и затылке становилась все сильнее. И по мере того, как она росла, казалось, росли и шансы быка остаться в живых. Мануэль расправил складки мулеты и снова шагнул навстречу быку.

Трепетные блики мелькали в темных ручьях, свет луны заливал равнину и невысокие голые холмы. Вместе с мягким, непрерывным рокотом мотора в машину порой врывались и другие звуки, приглушенные расстоянием, которые тотчас гасли, отброшенные назад, — лай собак, шум ветра в роше, колокольчик, эхо голосов в полутемной придорожной гостинице. Едва шевеля губами, Эфрани пел, стараясь побо-

ротъ сон. Они уже миновали горы. Его темные узловатые пальцы отбивали на руле такт фанданго.

Через полчаса покажутся огни Мадрида. Он хорошо знал эти места. Протянув руку к щитку, Эфраин посмотрел на часы: без двадцати пять. Они приедут в Мадрид на рассвете и до четверга останутся на месте — целых два дня. Был вторник. И только в четверг начнется очередная коррида. Значит, среда свободная, да и в четверг коррида будет в самом Мадриде. Он радовался за Мануэля, который лежал сейчас на заднем сиденье. Провести день в постели — вот что нужно парню. А ему, Эфраину, все равно — работать днем больше или днем меньше. Уже все или почти все было ему безразлично. Он должен был только вести машину, ночью ли, днем ли, покупать билеты на самолет, беспокоиться о всяких мелочах в отеле, дежурить у загона для быков, отвечать по телефону, а там, на арене, бегать за барьером, подавая все, что понадобится. Двенадцать лет был он подручным и из них третий год работал с Мануэлем Кантеро. Двадцать шесть лет назад его имя можно было увидеть даже на афишах, извещавших о новиллядах с лошадьми, развешапы они были повсюду — в тавернах Альмагро, Кастильеха де ла Куэсты, Мерида, Санта Крус де Моделы. Эфраин предпочитал не вспоминать об этом. Теперь ему все было безразлично. Много почей провел он за рулем, прислушиваясь к неясному шуму полей, в вечном страхе перед аварией. Ипогда рядом с ним сидел дон Рафаэль, но на заднем сиденье всегда спал Мануэль, прикрытый простыней. Днем его машина прокладывала себе дорогу среди толпы, направлявшейся, так же как и они, на площадь; они обгоняли похожих друг на друга, одинаково одетых людей, подъезжали к загону для лошадей и видели неизменно стоящего у входа туда дона Рафаэля. И именно там, в этих загонах, он встречал старых друзей.

— А ты молодцом, Эфраин.

Всюду у него были друзья. В Эль Руэрто — Мантека, в Бильбао — Пабло Лопес и Малагельо, в Ла Корупье — Эль Луити, в Вальядолиде — Рикардо Аптунес, совсем уже старый, в Барселоне — Маэра и Сальвадор Сакристан, в Линаресе — Саптибаньес, Баск, который был боксером, а потом два сезона — тореро, пока какой-то бык не покалечил ему погу, в Уэльве — Исидор Флорес.

— А ты молодцом, Эфраин.

Да еще те, с кем он встречался зимой в Мадриде, когда ничего не делал, лишь раз в три-четыре дня навещал дона

Рафаэля и Мануэля, чтобы справиться, нет ли новостей об их поездке в Америку, да слонялся из угла в угол по своей холостяцкой комнатке в пансионате, играл на бильярде, ходил по тавернам, собирая слухи о тореро, или распивал с друзьями бутылочку-другую за партней в домино. Изредка приходилось выезжать на пробные бои или на какой-нибудь зимний праздник.

— А ты молодцом, Эфрани.

И никто не спрашивал его, не устает ли он. Его всегда видели веселым, в компании Харильи, хромого цыгана-таяццовщика. В одну из последних встреч Харилья рассказал ему о фильме, в котором рыбак-малаец сражается под водой с гигантским осьминогом.

— Сначала он пырлял за губками, а потом, из жадности, полез за жемчугом, но воздуха уже не хватало, он начал пускать пузыри да еще попал в какую-то пещеру, там на него и навалился этот спрут.

Но это было зимой, а сейчас, в разгаре сезона, нужно было ни в чем не промахнуться и, не слушая дон Рафаэля, постараться хоть чем-нибудь помочь Мануэлю, хотя это и не входило в его обязанности. Парнишке и так туго пришлось — сплошное невезение, и к тому же устал Мануэль. Всегда он возит его в машине. То молчаливого, в костюме тореро, зажатого между пышно одетыми помощниками; то разбитого усталостью, спящего, как сейчас, на заднем сиденье перед очередной корридой; и всегда он под наблюдением дон Рафаэля, который поставил его на ноги и сделал богатым, но при этом подчинил себе и выжимает из него все, что можно; он ведет переговоры и ловчит, а Мануэль платит ему за это кровью и здоровьем. Сто коррид за четыре месяца — это слишком для такого хрупкого и слабого паренька, спящего сейчас беспокойным, тяжелым сном на заднем сиденье машины, а в каком-нибудь шикарном отеле Бильбао — «Карлтопе» или «Гран Вия» — толстый дон Рафаэль тоже, наверно, спит или закапчивает проведенный на свежем воздухе вечер чашечкой кофе и гаванской сигарой. Дон Рафаэль вылетит в Мадрид утренним самолетом, а утро уже начиналось. Он остался в Бильбао по делам и, возможно, договорится об одном-двух выступлениях для Мануэля во время ярмарки, хотя в Витории не все было удачно. Дон Рафаэль знал свое дело. Эфрани признавал это, как и то, что все они существовали благодаря ему, хотя себя дон Рафаэль не обижал.

Слева от дороги, на горизонте, медленно разгоралась свет-

лая полоса. Мануэль заворочался, потом Эфраин услышал, как он потянулся. Темное и сухое лицо земли покрыла роса.

— Ну как, поспал?

— Немного. Долго еще ехать?

— Нет, полчаса. Как ты себя чувствуешь?

— Плохо.

— Ну, вчерашний удар — пустяки.

Эфраин не знал, какого тона ему держаться, он вообще не понимал, как это шуплое тело могло вынести столько ударов. Он ожидал услышать обычное «Не понимаю, как это случилось!», «Зря я подошел к нему слева» или «А ведь был такой смиренный бык». Но пауза затлнулась, и потом Мануэль сказал, ни к кому не обращаясь:

— Я уже не тот.

Эфраин старался подбодрить его:

— Может быть, ты еще поспишь, мальчик, сон тебе нужен всего. А если будешь киснуть, я опрокину тебя в какую-нибудь лужу или канаву, чтобы ты образумился.

Эфраин знал, что даже звук его голоса способен рассмешить Мануэла. Что бы он ни говорил, пусть вещи самые рискованные, он умел облечь их в такую форму, что никогда никого не задевал. Поэтому и с Мануэлем он позволял себе разговаривать подобным образом.

— И не вздумай заявить, что тебе неудобно, — продолжал он. — Ты поместишься и в наперстке. Или, может, нервы расшатались?

Мануэль не отвечал. В полутьме машины Эфраин увидел, что он сидит в своей полосатой пижаме на сбившихся простынях, опустив голову на грудь.

— Ты бы привел себя в порядок, скоро приедем. А уж в Мадриде выспишься.

Где-то совсем близко прокричал козодой.

— Может быть, у тебя болит голова?

Мануэль опять не ответил. Вдалеке, на черно-синем небе, у самого горизонта, словно сквозь туман замерцало созвездие, которое то исчезало, то появлялось вновь за поворотом дороги.

— Смотри, Мадрид, — объявил Эфраин и почувствовал, как Мануэль положил руку ему на плечо.

— Ты влюблялся когда-нибудь, Эфраин?

— Я? Тысячу раз. Это очень приятно, хотя и страдаешь. Почему тебя это интересует? Влюбился в сеньориту из Севильи?

— Думаешь, у меня что-нибудь получится? — спросил Мануэль.— Мне бы хотелось не выступать месяц или два. Я совсем разбит.

— Смотри. А дон Рафаэль?

— Я верю, что она меня любит, понимаешь?

Эфран воспользовался моментом.

— Так возьми себя в руки и начни хотя бы ради нее опять отрезать у быков уши. Другого выхода нет. Я узнал, кто она.

— Ты сильно влюблялся, Эфра? Она очень хорошая и так много знает. К тому же отлично воспитана.

— Отрежь для нее ухо в четверг, это все, что тебе надо сделать.

— Не знаю, смогу ли. Я совсем разбит.

— Возьми себя в руки. Почему ты так говоришь?

— Я удивляюсь, как это бык до сих пор не убил меня.

Эфран нахмурился. В горле у него стоял комок.

— Потому что ты тореро, — ответил он. — Это единственное, что я могу сказать. Я знаю тебя с пятнадцати лет. Потому что ты тореро, даже если бык тебя тащит по песку. Вот почему.

— Да будет тебе.

— Я это сделаю.

Ее голос звучал негромко, но твердо.

— Я это сделаю.

Высокий мужчина был растерян, однако держал себя в руках и пытался овладеть положением. Сначала ему казалось, что он справится с ней очень скоро. Но уже через пять минут он понял, что ошибся. И теперь старался лишь уладить все по возможности, а дальше будет видно. Он снова посмотрел на сидящую перед ним девушку. На другом краю дивана, положив подбородок на правую руку, печально и неуверенно улыбался худенький юноша в сером костюме. Время от времени он трогал свои густые усики, медленно поднимал глаза и смотрел на сидящую рядом с ним девушку влюбленным и в то же время боязливым взглядом.

— Я хочу сделать это и сделаю.

Тут она заплакала еще сильнее. С самого начала она не переставала плакать, и мужчина, убеждая ее, тщательно взвешивал каждое слово, однако его медленная речь плохо скрывала неуверенность.

— Хорошо, девочка, ты этого хочешь, — говорил он, — но ты должна прежде всего помнить о двух вещах. Только о двух. Говорю тебе как отец и как друг. Ты уже в том возрасте, когда я не могу запретить тебе делать, что ты хочешь. И даже устроить скандал...

— Скандал уже был, — прервал его юноша в сером костюме. — Вся Севилья теперь знает о сеньорите и тореро. Во всяком случае, многие.

Откуда-то издали радио донесло до них звуки гитары.

— Ты не должна забывать, кто ты и из какой ты семьи, — продолжал мужчина. — Надо уметь жертвовать собой — это во-первых. А во-вторых, подумай, что ты делаешь. Кто этот юноша? Равен ли он тебе по положению? Бедный тореро, отец которого расстрелян, а его семья?..

Он старался не причинять ей боли, а она плакала, откинув назад голову. Большая лампа, висевшая над ними, мигнула несколько раз и погасла. Слышалось лишь глубокое, прерывистое дыхание девушки. С другого конца дивана донесся дрожащий голос юноши в сером костюме, старавшегося говорить медленно и спокойно:

— Если ты слушаешься, больше на меня ни в чем не рассчитывай. Ни в чем.

Когда снова загорелся свет, девушка сидела в другой позе, и настроение ее изменилось. Придвинувшись к самому краю дивана, положив руку на колено, она спокойно смотрела на мужчину. Ее отец стоя доставал сигарету из портсигара. Было видно, что ему тяжело. Но девушка знала, что больше он никогда не вернется к этому разговору, никогда не скажет «подумай». Ей тоже нечего было добавить. И все же отец был уверен, что она не пренебрежет его словами, а также мнением семьи.

Этим утром вестибюль отеля казался чопорным и скучным, в особенности тому, кто входил туда с оживленной и шумной Гран Вия, поэтому четыре журналиста, тихо беседовавшие у левого крыла лестницы, встрепнулись, увидев человека в широком красном галстуке, спускавшегося со всем проворством, на которое он был способен при своих ста двух килограммах.

К нему подошел Антонио Гранада, из «Эль тореро»:

— Добрый день, дон Рафаэль. Как матадор?

Дон Рафаэль, пожимая руки окружившим его газетчикам, ответил с сосредоточенным видом:

— Очень жаль, друзья. Но сейчас к нему нельзя, он слишком устал.

В разговор вступил Исаак Мартинес из «Ла тарде»:

— Но мне необходимо взять интервью для сегодняшнего выпуска. Если не у него, так у вас.

— Это — пожалуйста, в любое время.

— Я хотел задать Маноло только два вопроса, — ответил Колладо, носивший темные очки. — Двух или трех мне было бы достаточно.

— Но это невозможно, приятель. Завтра — все, что угодно, но только завтра. Вы все можете сообщить, что Маноло в превосходной форме. И что Мадриду он обязан всем, этого, конечно, нельзя забывать.

— Какой-нибудь интересный случай?

Мглистая тихая ночь стояла за опущенными шторами, ночь, которая наступала для всех — спящих и бодрствующих, для тех, кто принял ее, и тех, кто не хотел с ней примириться. Шум автомобилей и стук палки ночного сторожа по тротуару смутным эхом долетали до десятого этажа. Мануэль спрашивал себя, зачем он звонил.

На пустынной ночной улице билетные кассы и киоски, расположенные в нескольких кварталах от гостиницы, выглядели совсем иначе, чем вечером и чем будут выглядеть завтра, осаждаемые шумной толпой желающих купить билеты. Заспанный кот прошел по освещенному месту и исчез в темноте. По Пуэрта дель Соль, преследуя друг друга, на полной скорости промчались два такси. Часы на высокой башне меланхолично, словно через силу, пробили четыре и, более глухо, половину.

Эфрани еще раз хлопнул в ладоши. Швейцар все не появился; наконец, прибежав, он смущенно проговорил:

— Извините, я был очень занят.

После объяснения с зевающим швейцаром он вошел в лифт, который мягко, словно по воздуху, поднял его; и, пока Эфрани пытался нащупать выключатель, сухо щелкнув, зажглась лампочка, включенная швейцаром внизу. Под дверью номера 314 было темно. Эфрани стукнул костяшками пальцев и вошел, не ожидая ответа.

Мануэль сидел на кровати, не успев отнять руку от лампы, которую только что зажег. Встревоженный Эфрани подошел к нему, не вынимая рук из карманов.

— Что случилось?

Мануэль потер глаза.

— Я хотел поговорить с тобой, Эфра. Ты мне сказал, что не можешь спать... Я тоже. Смотри, какая ночь. Ведь ты потом можешь спать до одиннадцати.

— Это ты так считаешь. В девять я должен быть на ногах. Можно подумать, нам завтра делать нечего! Надо же, разбудил меня... Ну давай, говори.

— Я хотел поговорить с тобой, как вчера ночью, в дороге. Ничего особенного у меня не случилось, просто мне нужно с кем-нибудь поговорить, понимаешь?

Эфранн немного успокоился, но все еще продолжал стоять.

— Завтра я должен что-то сделать. Обязательно должен. Но я совсем расклеился. Какные быки?

— Знаю только, что андалузские. И все.

— От Уркихо?

— Кажется. Или от Карлоса Нуньеса.

— А кто еще выступает? — безразличным тоном спросил Мануэль. — Рейна и этот эстремадурец?

— Да.

— Тогда я должен что-то сделать. Но мне ничто не помогает. Я совсем без сил.

Эфранн сел к нему на кровать.

— Это все она.

— Она и вообще все на свете, — согласился Мануэль. — И то, что я не дома. Ты ведь сам видишь, что я не могу, будь все проклято.

— Но завтра ты должен отрезать ухо. Я не дон Рафаэль, но говорю так, потому что знаю. Другого выхода нет, дружище.

Он покачал головой и, взглянув на Мануэля из-под седых бровей, повторил:

— Другого выхода нет.

— Если мне попадется бык от Уркихо и у меня хватит сил, я сделаю восемь натурале и два хороших корте. А если и бык мне подыграет — тем лучше. В Мадриде меня любят, правда? Ведь любят? И завтра все может кончиться, правда?

— Ну конечно. Решайся.

— Ты настоящий друг и знаешь всю правду. Знаешь, что я совсем раскис, что я ничего не могу, дунь — и я свалюсь; даже когда я стою перед быком и у меня нет сил поднять голову, я остаюсь равнодушным. Я равнодушен и к деньгам, меня не трогает дон Рафаэль, удары быка. И даже

она. Если кто-то хочет тебе помочь, получается только хуже, ведь в твою шкуру он не влезет.

— Конечно...

— Если бы я завтра смог... Если я его не увижу да почувствую себя лучше, кто знает, может быть... Надо, чтобы хоть что-то меня поддерживало, мечта или еще что-нибудь... Почему в прошлом году у меня все было хорошо, а теперь нет? Ничего себе большой сезон, как говорит дон Рафаэль, каждый вечер неприятности.

— А я тебе говорю, что ты — тореро. Меньше рассуждай и больше делай. И не думай столько.

— Да, да, в прошлом году я не думал и все шло хорошо,— согласился Мануэль.— Но сейчас мне кажется, я больше не выдержу. Разве только бык будет от Уркихо и я выйду третьим. Тогда я, наверное, что-нибудь сделаю.

— А ты встряхнись.

— Сколько я заработал в этом году, Эфранн, и сколько дон Рафаэль? Знает это кто-нибудь, кроме него? Никто не знает. Я только подписываю да работаю.

Эфранн избегал смотреть на Мануэля.

— Все хорошие матадоры так делают,— уклончиво проговорил он.— Возьми себя в руки.

— Быки-то будут от Уркихо, это тебе не что-нибудь.

— Ладно, я ухожу,— сказал Эфранн.

Несколько любопытных, увидев принадлежности тореро, сложенные в автомобиле, толпились на тротуаре, ожидая выхода куадрилы.

— Манолито Кантеро.

— Нет, должно быть, Рейна.

А на другом конце города вокруг арены для боя быков уже бурлила толпа, кричали торговцы, гудели подъезжавшие со всех сторон машины. Работала только одна касса, на других висели объявления: «Билеты проданы». Маленькие кноски, где билеты перепродавались, были облеплены людьми, как дохлые мухи муравьями. По мостовой гарцевал конный полицейский, повсюду расположились продавцы воды со своими старинными кувшинами, а дальше, уже за городской чертой, виднелось поле, манившее своей свежей травой, спокойные холмы, мачты высоковольтных линий.

Из окна отеля можно было увидеть только клочки голой желтой земли между тесно стоящими домами. Дон Рафаэль только что уехал на площадь. Мануэль остался с пеонами,

тремя друзьями и Эфраном. Друзья собрались уходить, и подручный открыл перед ними дверь. Направляясь к выходу, один из друзей уронил миниатюрный алтарь с горящей свечой; подняв алтарь, он поцеловал его и с размаху поставил на стол.

— Ну, до свидания. Желаю удачи.

— До свидания.

Кто-то, столкнувшись с друзьями, робко остановился у порога.

— Опять он здесь,— сказал Мануэль.

Это был невысокий мужчина лет пятидесяти, одетый в замызганный белый пиджак, на измученном лице застыли печальные рыбы глаза. Эфран подтолкнул его к дверям, вышел вместе с ним и закрыл за собой дверь. Он положил одну руку на плечо мужчины, словно и отталкивая его и удерживая в то же время, а другой достал из кармана куртки билет.

— Бери и ступай с богом.

Человечек внушал ему жалость. Увидев у себя в руке билет, он заморгал повлажневшими глазами и попытался изобразить улыбку.

— Спа... Спасибо. Большое спасибо.

— Пока.

Вернувшись, Эфран глазами указал пеонам на дверь.

— Хорошо,— сказал Матео,— мы подождем внизу.

Мануэль швырнул окурок в окно. С балкона напротив три мальчика и девочка, не шевелясь, смотрели на него словно зачарованные. Пепел с сигареты упал на белый с золотом костюм. Эфран сдул пепел и, встав перед Мануэлем, вопросительно и настойчиво посмотрел на него.

— Ну как?

— Пс-с-с-с...

— Что пс-с-с?

— Нехорошо мне.

— Ладно, главное, не думай об этом.

Пока ожидали лифт, пожилая чета иностранцев, глупо улыбаясь, гладела на них.

— Наверное, шведы или англичане,— сказал Эфран.

В вестибюле Мануэль задержался, его окружили, прося дать автограф, четыре девушки и мальчик в ливрее, который протянул ему журнал, где на обложке Мануэль был сфотографирован молящимся у статуи богородицы, поэтому надпись получилась совсем незаметной. Выглядел Мануэль на снимке

подавленным. При его появлении любопытные, собравшиеся на тротуаре, сразу оживились.

— Я говорил, что Мануэль Кантеро.

— Ему здорово досталось: неудача за неудачей. А ведь отличный тореро.

Уже включили мотор, но шедший позади всех Эфрани, увидев, что портье делает ему знаки, вернулся и исчез за вращающейся дверью. Мануэль втиснулся между пеолами. Лучезарное небо над Гран Вия казалось необъятным. Машину сегодня вел не Эфрани, и мужчина, сидевший за рулем, нетерпеливо посигналил ему, хотя Эфрани уже сбегал по лестнице отеля. Привычным движением он забросил внутрь плетеную корзину со шпагами и сел на свое место рядом с водителем. Все смотрели на него, а он, повернув возбужденное и радостное лицо к Мануэлю, протянул ему что-то. Потом потрепал его по колену и, блестя глазами, словно десятилетний мальчишка, сказал:

— Бери, это тебе. Срочное письмо из Севильи.



БАШНЯ МРАКА

Появление ребенка на свет было прекрасным, как рождение каждой новой жизни. Роды прошли обычно. Младенца искупали и положили около матери, совсем еще молодой женщины с необыкновенно красивыми глазами и высоким лбом.

— Мальчик.

— Мальчик? — устало переспросила мать и заснула глубоким сном.

Вначале ребенок ничем не отличался от других детей. Женщина все больше привязывалась к сыну. Материнство принесло покой ее душе. Она кормила сына на воздухе, и от солнечных лучей грудь ее стала еще более прекрасной и женственной. Но как бы ярок ни был свет, на большие глаза ребенка никогда не наворачивались слезы. Мир отражался в них, как в глубоких чистых озерах. Мать напряженно вглядывалась в эти глаза и всякий раз словно проваливалась в

бездну. Она смущенно отводила взгляд — ребенок не отвечал на ее немой вопрос. Темные глаза мальчика были открыты, но, казалось, спали.

Впервые ребенок улыбнулся, услышав музыку, и с тех пор звуки фортепьяно неизменно вызывали у него радостную улыбку.

У мальчика был тонкий слух. Если отец, на лице которого лежала горькая печать одиночества, направлялся к его колыбели, сын тянул к нему ручонки. В семье малыша боготворили, да и все вокруг были без ума от него. Только мать томилась какой-то смутной неудовлетворенностью и тревогой. Проводя бессонные ночи у колыбели сына, она в страхе спрашивала себя: «Неужели я люблю его меньше, чем другие матери любят своих детей?»

Мы уже говорили, что у этой женщины был высокий лоб — признак талантливой и страстной природы. Однако вся ее жизнь была подчинена разуму, она не знала, что такое безрассудные порывы сердца или трагическая власть плоти. Стыдясь проявлять слишком пылкие чувства, она подавляла в себе все желания. И в любви она подчинялась рассудку, видя высший ее смысл в материнстве. Грустила она или радовалась, глаза ее всегда смотрели прямо, губы улыбались. Внешне она была неизменно спокойна. И это спокойствие, такое полное и невозмутимое, тоже казалось следствием ее рассудочности.

И все же ее часто пугала мысль, что чрезмерная сдержанность не даст ей испытать и беззаветной материнской любви.

Но жизнь решила по-другому.

Очень скоро, теплым солнечным днем, она поняла причину своей тревоги, к которой примешивалась какая-то неудовлетворенность.

Лежа голышом в саду, малыш слушал доносившуюся из дома музыку и смеялся. Широко открытыми глазами, не мигая, он смотрел на яркое солнце. Мать похолодела от страшной догадки: ее сын не видит! Солнечный свет и прохладная тень для него одно и то же!

Мальчик слеп, он не видит прекрасного, сияющего утра, напоенного музыкой! И только она, эта музыка, может его радовать.

Одиночество отца нарушили стоны отчаяния. И тогда все, словно по молчаливому уговору, стали воспитывать малыша так, чтобы он узнавал мир через иные органы чувств, не подозревая о своей слепоте.

Когда мальчик стал говорить, мать сказала на семейном совете:

— Он не должен знать о своем несчастье. И мы всегда будем помнить об этом. Пусть он думает, что ничем не отличается от других. Слово «свет» не должно для него существовать.

Это был тяжелый разговор. Все сочли намерение матери невыполнимым, но она первая подала пример.

Мальчик жил на своей половине под неусыпным надзором матери. Несмотря на слепоту, он двигался легко и свободно. Он узнавал окружающий мир, как все дети, только об одном он не догадывался: о своей слепоте.

При нем никогда не произносили слова «свет», хотя это было очень трудно.

Настала пора отрочества.

Дом звенел веселыми голосами, был полон запаха цветов. Мальчику подавали изысканные блюда, его окружали вниманием, заботой и лаской. Он вдыхал аромат цветов, слушал музыку, но глаза его видели мир только во сне.

— Мама, зачем даны человеку глаза?

— Чтобы спать, мой мальчик.

За что он так наказан, за что обречен па вечный мрак?

Как-то летним днем, когда мальчик прислушивался к плеску ручья, доносившемуся с поля, к нему подошла девочка. Маленькая, хрупкая. Играя, она выбежала из своего сада и теперь стояла перед слепым.

— Какой ты красивый! — сказала она грустно.

Он услышал звонкий детский голосок, и сладкая дрожь пробежала по его телу. Девочка ласково погладила его волосы.

— Ты здесь один? Ты видел, как я подошла? Ой, что я! Ведь ты не видишь!

Незнакомое слово, дважды повторенное девочкой, удивило его.

— Ты меня знаешь? — спросил он взволнованно.

— Конечно. Я много раз видела тебя. Когда моя мама играет на пианино, ты высовываешься из окна и слушаешь.

— Видела? А что значит «видеть»?

Девочка смутилась. Она не знала, как ему ответить.

— Что значит «видеть»? Что значит «видеть»? — пронзительный нестерпимой болью, кричал он. К нему подбежала мать, такая близкая и такая чужая, потому что не могла спасти его от этого кошмара.

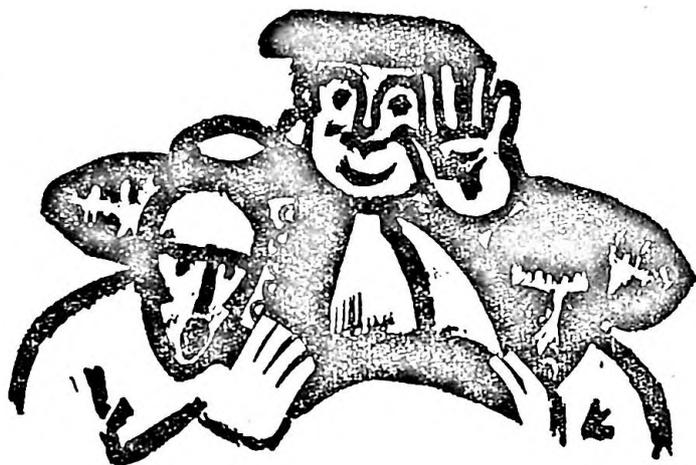
— Я не знаю... Я не слепая... Я вижу, вот и все,— сказала девочка.

Мать прижала сына к груди, словно хотела впитать в себя его тоску, его боль.

— Мама! Что значит «видеть»?

О горе! Есть ли у тебя границы?

— Это значит видеть сны, мой мальчик... Видеть сны.



ЭНТУЗИАЗМ

Овации захлестнули арену грохочущим звонким потоком. Тысячи ладоней и глоток, одновременно пустив в ход всю свою шумную силу, вызвали акустический эффект, слышимый в радиусе километра.

Это было могучее «браво», достойное быть записанным на пластинку для хранения в музее Тауромахии.

На арене неподвижные, как статуи, застыли два персонажа, вызвавшие этот смерч энтузиазма: одного звали Толстячок — это был тореро; другого звали Сопливый — это был бык.

Первый был неподвижен потому, что, широко раскинув руки, благодарил за овацию. Второй был неподвижен потому, что лежал мертвый, ногами вверх.

Сопливый был последним быком этого дня. Толстячок отправил его на тот свет, предварительно завернув в свой плащ,

как почтовую посылку. Каждый из них по-своему совершил в борьбе друг с другом несколько выдающихся подвигов.

Зрители, присутствовавшие при этой достопамятной битве, которую со счетом один ноль выиграл Толстячок, рассказывали о ней так.

Первым напал Сопливый: выйдя из загона, он применил свой излюбленный прием, к которому с успехом прибегал, когда пасся на родном лугу. Этот опасный прием состоял в следующем: приближаясь к красному плащу в руках тореро, он грациозно поворачивал рога и бил в туловище, а не в плащ. Но туловище на этот раз ускользнуло, потому что принадлежало Толстячку, одному из самых проворных тореро, которые когда-либо выступали на иберийских аренах.

И с этого момента инициатива перешла к тореро. Пока бык озадаченно поворачивался, он с помощью пикадоров очень чисто заставил его сделать несколько великолепных пасо. Потом, также с помощью пикадоров, парализовал волю быка и блеснул своим умением работать с плащом.

Не было сомнений, что Сопливый проиграет. Он и проиграл — когда Толстячок решил, что настало время, он проткнул его, словно бабочку, большой стальной булавкой. Теперь быку оставалось только умереть.

Именно в этот момент публика разразилась единодушной и оглушительной овацией.

Платки, которыми все яростно размахивали, будто снежной пеленой покрыли трибуны, и распорядитель, разгоряченный не менее любого другого зрителя, отдал великому матадору ухо его жертвы.

Однако публика, всегда великодушная, когда дело касается чужих ушей, потребовала, чтобы победителю дали два уха. Распорядитель с удовольствием согласился, понимая, что подвиг Толстячка должен быть вознагражден достойно.

Снова рев поднялся над толпой, которая отказывалась покидать трибуны, хотя коррида уже окончилась.

— Чего они хотят теперь? — спросил распорядитель советника, сидевшего рядом с ним. Распорядитель был глуховат и ничего не понимал, когда говорило сразу несколько человек.

— Хвост, — перевел советник.

— Ладно, пусть ему дадут и хвост.

Получив этот грязный придаток, измазанный кровью и навозом, Толстячок гордо поднял его в правой руке, чтобы

любители могли созерцать в свое удовольствие эту почетную гадость.

Жест Толстячка сыграл роль охапки дров, подкинутой в костер энтузиазма.

Глотки разверзлись в новом вопле, еще более оглушительном и опять требовательном. Головы повернулись к ложе распорядителя, глаза впились в его лысину.

— Так они все педовольны? — спросил советника распорядитель. — Чего же они еще хотят?

— Копыта, — ответил помощник, расшифровывая невнятные крики.

— Копыта? — озабоченно переспросил распорядитель. — Сколько же?

— Все.

— А может, хватит пары?

— К чему такая скарედность?

— В конце концов, все четыре одинаковы. Но если у этого быка отрубят все, что можно, его не купит ни одна бойня.

Зрители, слава богу, удовлетворились тем, что Толстячку были отданы копыта с двух передних ног. И распорядитель с облегчением вздохнул, заметив своему помощнику:

— Это еще куда ни шло. А я уж решил, что меня заставят резать быка на куски, пока я его всего не отдам матадору.

Трибуны начали пустеть, хотя матадор еще обходил арену, нагруженный тремя килограммами парного бычьего мяса.

Однако энтузиазм толпы, который так трудно зажечь, нелегко и погасить. Значительная часть публики уже успокоилась и покинула трибуны, но толпа восторженных поклонников Толстячка оставалась на местах, приветствуя своего кумира. Несколько смельчаков из этой толпы, нарушая всяческие предписания, перепрыгнули через барьер и вышли на арену.

— Вынесем его на плечах через главный выход! — кричали они, подбегая к Толстячку.

Поклонники окружили победителя и дружно подняли его в воздух.

Толстячка немного потрясли, так как все оспаривали друг у друга честь подпирать его славные ягодицы. Наконец он устроился на этой своеобразной платформе, которая торжественно двинулась к главному выходу.

Тореро довольно улыбался, демонстрируя трофей, отрезание у быка, которого он так блестяще победил. Успех заставлял его забыть о том, что он сидит в неудобной позе, да еще

на плече одного из своих поклонников, которое было очень тощим и больно врезалось в его седалище. Но так как слава — это наркотик, притупляющий любую боль, он дарил обожателям все более и более лучезарные улыбки.

Публика, уже вышедшая наружу, толпилась у главного выхода, чтобы присутствовать при появлении победоносного тореро.

Даже солнце, уходившее из Мадрида весьма поспешно, ибо и так уже запоздало, глядя на корриду, задержалось на крыше ближайшего дома. Оно тоже не хотело упустить такое зрелище.

И вот под аркой больших ворот, над толпой, блеснуло золото парадного убора тореро.

Треск аплодисментов, как пулеметная очередь, прошил черную тишину. Тореро приветствовал толпу, крутясь, как вихрь, вокруг своего врага. А толпа, так же как и тореро, приветствие восторженно принимала.

Это было явление преданности народа по отношению к божкам, которых он сам же и создает, венчая славой. Низенькие просили тех, кто повыше, приподнять их, чтобы увидеть тореро, который торжественно плыл над толпой, как фигура святого во время процессии. Ловкие мальчишки и неповоротливые дядьки взбирались на столбы и фонари, чтобы лучше рассмотреть Толстячка.

Хвала, воздаваемая с акцентом всех областей полуострова, от андалузского до баскского, как фамиям, кружила ему голову. Поклонники, несшие матадора, продвигались с трудом.

Даже бородатый Монсей не проложил бы себе дороги в этом густом людском море.

Юные девушки, едва достигшие брачного возраста, осаждали кумира, чтобы вырвать у него реликвию — автограф. Детишки, недавно отнятые от груди, которые учились тауромахнии на картонном быке, схватив вместо плаща материнскую юбку, протягивали ручки, прося ухо настоящего быка.

— Большое спасибо, большое спасибо, — повторял Толстячок, как заезженная пластинка, отвечая на изъявления народной любви.

Потратив немало усилий и изрядно потолкавшись, эта языческая процессия все же расколола толпу верных таурифиллов и достигла более свободного пространства.

— Большое спасибо, — повторил тореро, обращаясь на

этот раз к энтузиастам, которые несли его.— Я думаю, что меня уже можно опустить на землю.

— Никоним образом, маэстро! — возмутился тот, кто играл главную роль в этой церемонии, крепкий, коренастый мужчина со сросшимися бровями, на плече которого покоилась одна из ног матадора.— Мы понесем вас до гостиницы!

— Да! Да! До гостиницы! — горячо поддержали другие поклонники, между которыми был распределен вес победителя.

— Пожалуйста, не беспокойтесь,— умолял Толстячок, подавленный этим проявлением восторга.

— Какое тут беспокойство, дорогой! — возражал носильщик, которому было поручено правое бедро.— Для нас честь — пронести по Мадриду славу пацни!

— Большая честь! — подтвердил костлявый.— Вперед, ребята!

И под крики «Да здравствует Толстячок!» они направились со своей драгоценной ношей по улице Алькала.

— В какой гостинице вы живете? — спросил матадора крепыш, который командовал группой.

— В «Эступендо».

— А где находится эта гостиница? — осведомился андалузец, который во всем Мадриде знал только улицу Севийя.

— Довольно далеко,— отвечал Толстячок.— Надо спуститься по улице Алькала, потом подняться по Гран Виа...

— Спустимся и поднимемся, сколько будет нужно,— прервал его поклонник.

— Разумеется! — подхватили товарищи.— Подумаешь, большое дело! Пошли!..

— Предупреждаю, что это расстояние порядочное,— настаивал тореро.— Когда наша куадрилья ехала на арену, счетчик такси показал три дура...

— Хоть на край света! — завопил сухопарый.— Вперед, ребята! В гостиницу «Эступендо»!

— Пошли, пошли! — поддержали остальные.— Да здравствует первая шпага!

— Да здравствует! — отвечала толпа на тротуаре, раступаясь, чтобы пропустить их.

Так они прошли квартала два — под гром рукоплесканий и радостные возгласы.

На террасах кафе, расположенных поблизости от арены,

сидели многие из зрителей, которые были на достопамятной корриде; при виде Толстячка они вставали и раздражались возторженными криками.

В красноватых вечерних сумерках фасады домов приобретали цвет обожженной глины. На улице было тепло; швейцары вытаскивали на тротуары свои стулья, чтобы посидеть на воздухе.

По широкому проспекту от Монументальной площади к центру устремлялся поток автомобилей.

— Вон наш герой! — восклицали водители. Проезжая, они замедляли ход и приветствовали тореро резкими сигналами клаксонов. — Всего хорошего, герой!

Толстячок сердечно отвечал им, размахивая, словно платком, хвостом быка. Это был единственный трофей, который остался от подвига: оба уха он подарил при выходе, а от копыт отделался тайком, спустив их на землю по спине одного из поклонников.

Он улыбался уже не так, как вначале, потому что боль, которую причиняли острые кости сухопарого, подпиравшие его южный полюс, становилась невыносимой.

— Вам не кажется, что меня стоит опустить на минутку, а вы отдохнули бы? — робко намекнул он.

— Да мы несколько не устали! — с оскорбленным видом возразил крепыш, который хотя и запыхался немного, но достоинство сохранял.

— Несколько! — поддержали его остальные.

И для того, чтобы доказать своему кумиру, что они полны сил, поклонники пробежались до следующего угла.

— Видите? — гордо заявили они, снова замедля шаг.

— Вижу, вижу, — польстил им тореро с мрачным выражением лица, потому что во время галопа кости худощавого порядком намяли ему ягоды. — Вы очень сильные.

— Это сущие пустяки, — отмахнулся андалузец, вытирая пот со лба. — У меня хутор неподалеку от Севильи, и, когда мне приходит на ум заняться спортом, я взваливаю на спину брова, который весит вдвое больше вас.

— В таком случае... — уныло вздохнул Толстячок, с тоской думая о мягком сиденье автомобиля, на котором его антрепренер, должно быть, уже подъезжал к гостинице.

Хотя было еще светло, в некоторых витринах зажглись огни. Иссякал поток автомобилей, по мере того как пустела арена. Арьергард группы, эскортировавшей тореро и его живой пьедестал, сочтя, что в достаточной мере исполнил свой

долг венстовых почитателей Толстячка, растекался по переулкам, направляясь домой.

Иные прохожие, попадавшие навстречу, останавливались при виде уже небольшой процессии и с любопытством спрашивали:

— Кто это?

— Неужели вы не знаете, несчастный? — возмущались поклонники. — Самый великий тореро в мире!

— Что он тореро, это я по костюму вижу, — настаивал прохожий. — А как его зовут?

— Если мы говорим «самый великий в мире», значит, речь идет о Толстячке.

Один из этих бестолочей имел смелость заметить:

— Какое забавное прозвище!

— Еще скажите, что вы в первый раз его слышите, — оскорбились поклонники Толстячка.

— Так оно и есть. Представьте, я за футболистов болею.

Участники процессии прикусили губы до крови. И не убили прохожего лишь потому, что у них под рукой не было рапиры.

Они уже были далеко от арены, и до квартала, по которому они сейчас проходили, не донесся взрыв энтузиазма, вызванный матадором час назад. На этом участке улицы Алькала жили равнодушные, они проводили время, греясь на солнышке, или же посещали зрелища другого рода.

Когда кортеж проходил мимо скамы, на которой отдыхала пожилая супружеская пара, жена сказала мужу:

— Смотри, что они несут, Рамон!

— Это, должно быть, манекен.

— А вдруг настоящий тореро?

— Не будь наивной, — наставительно проговорил он, — наверное, какой-нибудь озорник вырядился, чтобы повеселиться с приятелями.

— А может быть, это что-нибудь рекламируют? — предположила жена.

Когда проходили мимо кинотеатра, кумиру вместе с пьедесталом пришлось остановиться, потому что очередь в кассу выстроилась поперек тротуара.

— Дорогу Толстячку! — потребовал мужчина со сросшимися бровями, раскалывая локтями и коленями стену очереди.

— Ни за что! — отвечали оттуда, прижимаясь друг к другу и еще теснее смыкая ряды. — Вы просто хотите втереться.

— Неужели вы не видите, что мы несем матадора? — попытался уговорить их худошавый.

— Знаем мы эти трюки, — защищалась очередь, следя, чтобы не образовалось ни малейшей щели. — Женщины тоже часто приходят с ребенком на руках в надежде, что мы разнюнимся и пропустим их вперед.

Не в силах убедить неверующих, процессия была выпущена обойти препятствие, довольно неуклюже опустившись на мостовую.

— Далеко еще до гостиницы? — спросил андалузец, истекавший потом.

— Порядочно, — сообщил мужчина со сросшимися бровями и шумно вздохнул. — А в чем дело?

— Да ни в чем, — с притворным равнодушием отозвался его товарищ по процессии. — Просто любопытно.

— Полагаю, ваш вопрос вызван не усталостью? — поинтересовался худой, душа которого уже готовилась отлететь.

— Конечно, нет! — Севийский энтузиаст принял обиженный вид. — По сравнению с боровом, которого я ношу по своему двору, этот мальчик просто перышко.

— Преуменьшать не стоит, куманек, — счел нужным уточнить корепастый. — Не знаю, сколько весят ваши боровы, однако наш груз вовсе не перышко.

Худой воспользовался моментом, чтобы внести свою лепту в этот поток искренних признаний.

— Недаром его зовут Толстячком, — проворчал он, вытирая льющийся градом пот.

— А по-моему, это не совсем точно, — скептически вставил коренастый, энтузиазм которого словно испарялся вместе с потом. — Правильнее было бы звать его Тушей.

— Ну уж и Туша... — запротестовал энтузиаст, который шел с процессией, но не принимал участия в переносе матадора.

— Станьте на мое место, и увидите, что я прав, — коварно предложил мужчина со сросшимися бровями, решив сменить-ся таким изящным способом.

— Благодарю вас, — ответил энтузиаст, который был не так глуп, как могло показаться с первого взгляда.

— Неужто вам не хочется хотя бы минутку понести нашего кумира? — настаивал первый, пытаясь воздействовать на самолюбие.

— Это было бы большой честью, — увернулся его собеседник, — но я очень неловок и боюсь уронить Толстячка.

— Об этом, дружок, не заботьтесь,— подбодрил его коренастый.— Я посажу его вам на плечи, и вы увидите, что он не упадет.

— Не беспокойтесь. Вы посете отлично. Кроме того, я вспомнил, у меня дело здесь неподалеку... — С этими словами энтузиаст отделился от группы и зашпешил прочь.

— Ну и свинья! — воскликнул коренастый, с завистью глядя вслед дезертиру.

— Вы что-то сказали? — спросил сверху скупающий Толстячок, который примирился со своей неудобной позой и не протестовал, боясь рапнуть чувства поклонников.

— Ничего особенного,— ответил коренастый, слизывая языком пот, капавший с верхней губы.— Мы говорили, что вы несколько полнее, чем кажетесь.

— За те месяцы, что я отдыхаю, я всегда немного поправляюсь,— извиняющимся голосом произнес тореро.— Но когда начинается сезон, я теряю несколько килограммов и возвращаюсь к своему весу.

— А каков ваш вес, если вы не сочтете наше любопытство нескромным? — спросил худощавый, стараясь дышать потише.

— Семьдесят четыре килограмма.

— Я же говорил! — вздохнув, произнес мужчина со сросшимися бровями.

— Что? — поинтересовался Толстячок.

— Что ваше прозвище вполне оправдывается вашим весом.

Андалузец, не знавший Мадрида и не привыкший к его большим расстояниям, вмешался в разговор, который верховые лошади вели со своим всадником.

— Далеко еще до этой проклятой гостипицы?

— Если вы перейдете на рысь,— прикинул тореро,— через полчаса будем на месте.

— Ого!

— Мы должны еще немного пройти вниз по улице Алькала, потом подняться по Гран Виа... потом свернуть направо...

— Это мы должны,— возразил андалузец, возмущенный первым лицом местоимения, которое употребил тореро.— Вы-то восседаете себе, как какой-нибудь султан.

— Мне, конечно, неплохо,— признал Толстячок, в свою очередь рассердившись,— и все же не преувеличивайте: я уверен, что у султанов более мягкие кресла.

— Это вы на мой счет? — обиделся худой, который тоже мечтал найти предлог отделаться от ноши.

— На воре шапка горит...

— Вы хотите сказать, что мои плечи кажутся вам жесткими?

— Не только жесткими, но и острыми, — уточнил Толстячок.

— Так не воображайте, что ваше мягкое место — это подушка, — обрушился на него худой. — Копчик у вас все равно что копьё.

— Оставьте спор, — успокоил его коренастый, — не то энергию потеряете. А се пужно беречь, чтобы дойти до цели.

Андалузец тоже решил переложить свою часть груза на плечи свежего человека. Но, оглянувшись вокруг в поисках свободного энтузиаста, который взял бы на себя ношу, увидел один-единственный экземпляр этой породы. Процессия из ста поклонников Толстячка мало-помалу испарилась.

— А ну-ка помогите мне.

Но и последний поклонник отверг предоставленную андалузцем возможность подпереть непобедимое бедро, заявив, что у него под мышкой нарыв.

— Это неважно, — воодушевлял его севильец, — ведь вы понесете нашего героя не под мышкой, а на плече.

— Но нарыв разболится от напряжения, — защищался последний энтузиаст, отбиваясь руками и ногами.

— Вот пройдоха, — проворчал вспотевший поклонник. — Сразу видно, что вы за птица!

Но птица улетела, дабы избежать споров.

Был уже вечер, и прохожие на широких, плохо освещенных тротуарах почти не замечали немногочисленную процессию. Ночная прохлада совсем остудила тауромахическую страсть, которую подогревало солнце, пока не закатилось. Зрители, побывавшие днем на корриде, уже забыли о полученных там острых ощущениях и теперь изучали афиши, чтобы решить, куда отправиться вечером за новыми развлечениями.

По мере того как крошечная процессия приближалась к центру города, движение становилось более оживленным.

На усталое трио карнатид, поддерживавших матадора, начал действовать еще один деморализующий фактор — они почувствовали себя посмешищем. Даже Толстячок, скрывая свое смущение от целовкой позы, принялся завязывать узелки на хвосте быка.

Спасительная идея осенила мужчину со сросшимися бровями, когда они проходили мимо пивной.

— А если мы остановимся на минутку и освежимся? — предложил он.

Двое его товарищей облизнулись сухими и жесткими, как хвост ящерицы, языками, предвкушая удовольствие.

— По-моему, кружечка пива была бы в самый раз, — тяжело дыша, пробормотал худой.

— И по-моему, — радостно согласился андалузец. — Пошли!

— Минутку, сеньоры, — остановил их Толстячок. — Не собираетесь же вы так входить в пивную?

— Конечно, нет, — ответил коренастый. — Вам придется спуститься.

— Спуститься?! — запротестовал матадор. — И что я стану делать?

— Если хотите, пойдемте с нами, пропустим по глоточку, — предложил андалузец.

— Не принято, чтобы тореро появлялся в пивной на плечах своих поклонников, — объяснил Толстячок, который досконально знал правила тауромахического этикета.

— Тогда подождите нас здесь, — предложил худой.

— Как же я останусь посреди улицы в таком необычном костюме?

— А почему бы и нет? — попытался убедить его коренастый. — Костюм очень красивый.

— Но я оказался бы в очень затруднительном положении, — наставлял Толстячок. — Вы когда-нибудь видели тореро в костюме для боя, который стоял бы, как чучело, в самом центре Мадрида?

— Спрячьтесь в подъезд! — предложил коренастый.

— Ни за что, — возразил кумир, цепляясь руками и ногами за свой пьедестал, чтобы не оказаться на земле.

— Послушайте, послушайте! — возмутились носильщики. — Что все это значит?

— Вы обязались нести меня до моей гостиницы и должны сдержать свое слово.

— Но я не знал, что ваша гостиница у черта па кулчках! — заявил андалузец.

— И я, — присоединился к нему худой. — Мы думали, что вы живете недалеко от арены.

— Конечно, — подтвердил коренастый. — А иначе черта с два повесли бы вас на плечах.

— Что вы этим хотите сказать? — спросил тореро с видом оскорбленного достоинства.

— Только правду: своим сегодняшним боем вы заслужили стометровой прогулки, но не путешествия в шесть километров.

— Да-да! — подхватили двое других. — Согласны, вы очень хорошо сразились со вторым быком, но с первым немного трусили.

— Я?! Трусил?! Да я убил его великолепным ударом!

— Скажите лучше — коварным, — уточнил художавый.

— Просто вы ровным счетом ничего не понимаете в бое быков, — воскликнул тореро, красный от негодования.

— Наверное, именно поэтому мы и стали вашими поклонниками, — не остались в долгу энтузиасты.

— Да неужели?! — разъярился герой, принимая гордую позу. — Знайте же, что мне не нужно восхищение людей, не смыслящих в тауромахии!

Побагровев, художавый будто выплюнул:

— А мы не собираемся болеть за чванливого недоучку, да к тому же еще и рогатого!

— Послушайте, молодой человек! Без оскорблений!

— Это уж как нам будет угодно.

— Вот именно! — поддержал художавого андалузец.

— В таком случае па этом и покончим. — Презрительным жестом Толстячок прекратил спор. — Будьте добры опустить меня на землю.

— Ничего другого мы и не хотим, — воскликнули носильщики хором, нагибаясь, чтобы всадник мог спешиться.

— Спасибо, — сухо сказал тореро, уже стоя на земле и потирая онемевшую часть тела пониже спины.

— Не за что, — ответил коренастый тем же тоном.

И, повернувшись спиной к тореро, потные и жаждающие поклонники вошли в пивную, бормоча:

— Ну и задаются нынешние матадоришки!

— Да уж! Кое-как справятся с бычком, и уже мнят себя Лагартихо или Фраскуэло *.

— Знаете, что я вам скажу, — заявил андалузец, все еще не в силах отдышаться, — в следующее воскресенье я пойду на футбол.

Толстячок, покинутый энтузиастами тауромахии, в ярости

* Известные матадоры прошлого века.

надвинул берет на самые глаза. Потом отправился вниз по улице, ища свободное такси.

Золото его костюма вызывающе блестело на фоне скромно одетой толпы. Прохожие со смехом разводили руками.

— Look darling, very typical! * — воскликнул какой-то турист, завидев его.

Толстячок был готов провалиться сквозь землю, чувствуя, что он посмешище для всех этих людей, вышедших прогуляться.

— Такси! — то и дело кричал он, подбегая к краю тротуара. — Такси! Свободно?

Но его тоскливые крики оставались тщетными, машины везли публику в театр или из кино.

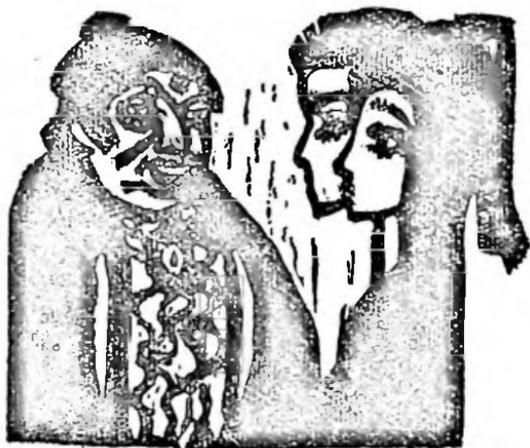
И знаменитый тореро, которому полтора часа назад в восторге аплодировали трибуны, вынужден был пешком добираться до гостиницы, выслушивая реплики такого рода:

— Мама, разве начинается карнавал?

— Почему ты об этом спрашиваешь, малыш?

— А воп идет ряженный...

* Посмотри, дорогая, очень характерно! (англ.)



МАДАМ И ГОЛУБКИ

Мадам потратила почти целый час на уборку.

Утреннюю уборку ей приходилось делать весьма основательно, потому что после многочисленных гостей, которые в течение дня и ночи сменяли друг друга в ее комнате, оставался такой беспорядок, что было страшно смотреть: один тушил сигару о край умывальника и зажигал следующую, чиркнув спичкой о стену, другая пачкала губной помадой яркое одеяло, гордость Мадам, или сдувала на пол пудру с пуховки...

Некоторые дикари ухитрялись царапать ботинками лак на ночном столике, другие прожигали в ковре дырки, которые трудно было потом незаметно заштопать.

И хотя Мадам в промежутках между визитами немного приводила в порядок спальню, устранение самых серьезных изъянов она откладывала до генеральной уборки, которую проводила по утрам.

Иногда приходилось пришивать бахрому занавески, оторванную каблуком какой-то неуклюжей сеньоры... Или подолгу затирать след, оставленный сигаретой, догоравшей на краю стола или буфета...

И все же, несмотря на ущерб, который ежедневно наносили спальне неаккуратные клиенты, она была красива и уютна.

Двуспальная кровать (не стоит называть ее «супружеской», так как никогда ни одна супружеская пара ею не пользовалась) была снабжена матрасом с прочными металлическими пружинами и великолепным шерстяным наматрасником. Пружины немного поскрипывали, но скрип этот был тонок и мелодичен, как пенне птицы.

С потолка на трех цепях свисала лампа под абажуром в форме умывального таза, в ее нежном рассеянном свете кожа приобретала бледный оттепок гипса. И если какая-нибудь капризная особа находила это освещение слишком сильным, на ночном столике стоял маленький светильник с колпачком из красной бумаги, его свет был в высшей степени возбуждающим. Итак, мы видим, в этой спальне имелось все необходимое для веселого времяпрепровождения.

Мадам навела в спальне полный порядок и, решив, что комната уже достаточно проветрилась, пошла закрывать окно.

Однако сначала она выглянула на улицу, чтобы подышать весенним воздухом, наводнившим город. Ломаная линия крыш старых низеньких домов, стоявших напротив, была очень живописна. Над этой горной цепью здесь и там поднимались жерла труб и стреляли в небо безобидными зальпами дыма.

Горячее солнце, только что вывалившееся из туч, которые укутывали его зимой, сушило улицы, вымытые последними дождями. На одном из балконов за ночь распустился цветок, большой и пунцовый, словно из бумаги.

Канарейки в клетках в сопровождении хора воробьев, летавших на свободе, исполняли гимн, но понять можно было только одно слово: «пию». Соседки в открытых окнах тоже пели, и тоже пронзительными голосами.

На плоских крышах некоторых домов, где были разбиты крошечные садики, зазеленели нежные листочки. А белье, сохшее на проволоках и веревках, казалось очень белым.

Мадам с наслаждением вдохнула прозрачный воздух, очи-

ценный весной. Ибо весна — это время года, которое все очищает в ванне из света.

Если бы не боязнь сморозить какую-нибудь поэтическую глупость, я бы сказал, что эти весенние ванны очищают не только вещи, но и души. И хотя длится это недолго, даже самая черная душа на мгновение становится чистой. Даже самый закоренелый преступник, способный зимой убить родителей, весной преисполняется стремлением совершить доброе дело.

Мадам тоже охватил этот мимолетный порыв, что доказывает правоту моего положения, ибо, если Мадам и не была преступницей, святой ее тоже нельзя было назвать.

Ее далекая молодость, потерпевшая крушение в то же время, что и «Титаник», была очень бурной.

Сначала она была законной вдовой старого сеньора, а потом соломенной вдовой очень многих. В период своего расцвета, который продолжался вдвое меньше того, чем продолжался бы теперь, потому что тогда не было косметической хирургии, она получала значительные доходы со своего единственного капитала — красоты.

Но красота — это сырье, с годами теряющее свою ценность, ибо скоро портится.

И когда время полностью девальвировало состояние Мадам, она оказалась беднее стрекозы. Пришлось искать убежища в этой скромной квартирке и сдавать на время свою лучшую комнату, чтобы было чем заплатить домовладельцу в конце месяца.

Занятие это, конечно, не было слишком почтенным, но благодаря ему плита Мадам топилась каждый день и на ней всегда стоял горшочек с едой. Зимой неприглядность этой профессии меньше бросалась в глаза, потому что люди закутываются в кашне до самых глаз и никто не обращает внимания на то, что делается вокруг. Но при свете первого весеннего солнца все безобразное становится еще более безобразным.

Мадам печально вздохнула, придя к банальному заключению:

«Несчастлива женщина, которая в молодости отдает все, потому что в старости у нее не остается ничего».

И закрыла окно, оставив снаружи веспу, которая изливала на город свою невинную радость.

Как раз в это время зазвонил звонок, и Мадам пошла открывать, с трудом волоча центнер своей рыхлой плоти.

— Что-то рано сегодня,— пробормотала она, забыв о горьких мыслях, навеянных хорошей погодой.

Посмотрев в глазок, Мадам приоткрыла дверь.

— Что вам угодно? — спросила она у двух теней, маячивших в полумраке лестничной площадки.

Вопрос был немного глуп, потому что все посетители желали одного. Но пужно было соблюдать приличия.

— Я от дона Рамона,— сказал мужчина неуверенным голосом.

Дон Рамон был владельцем ближнего бара, который представлял Мадам клиентам, достойных всяческого доверия. Присылал он только тех, кто гарантировал благопристойность, соблюдение тайны и хорошие чаевые. Услышав это, старуха оставила всякие колебания.

— Проходите, пожалуйста,— сказала она учтиво, пропускающая парочку.

Как бывало почти всегда, первым прошел он, желая ободрить подругу, чтобы та отбросила последние сомнения. Потом вошла она, опустив глаза и стараясь спрятаться за спиной кавалера.

«Какие молодые!» — подумала Мадам, увидев их при свете коридорной лампочки. И прибавила громко:

— Пожалуйста сюда.

Они действительно были очень молоды и очень робки. Должно быть, студенты, потому что оба держали под мышкой книги. Не требовалось быть психологом, чтобы угадать, что они впервые входят в такой дом. Это бросалось в глаза, а глаз Мадам был наметан в подобных делах.

Молодой человек держался с уверенностью, которой вовсе не испытывал. Можно было бы поклясться, что у него совсем недавно появились усы и, наверное, это его любовное приключение было первым.

У девушки щеки горели от стыда. Она шла по коридору, опустив голову, несомненно раскаиваясь в шаге, на который решилась, и все же не осмеливаясь отступить, так как боялась показаться смешной перед своим возлюбленным и Мадам. Борьба между любовью и стыдом отражалась в ее глазах, слишком больших и светлых, чтобы скрыть бушевавшие в ней чувства.

Густые белокурые волосы обрамляли ее нежное лицо, как сказал бы пошляк. Я же скажу, что золото ее волос было натуральным, потому что до того возраста, когда женщины начинают применять разного рода краски, ей было еще далеко.

«Какне молодые!» — опять подумала Мадам, созерцая голубков.

И волна весенней нежности, захлестнув грудную клетку Мадам, затопила ее сердце. Несомненно поэтому старая сводня начала монолог, чтобы нарушить патетическое молчание молодой парочки:

— Прошу сюда. Вот спальня, которую я сдаю... Проходите, проходите!.. Красиво, правда?.. Украшения немного крикливые, но что поделаешь — приходится приспособливаться к вкусам публики. А люди, которые приходят в такие места, к сожалению, обычно не слишком утончены. Они предпочитают яркие, возбуждающие цвета... Это естественно, не правда ли? В конце концов, им надо приятно провести несколько часов... Как во время праздника — чем больше ярких красок, тем меньше заметно, насколько грустно вокруг. А ведь комната эта весьма невеселая. Если бы эта мебель могла говорить!.. Но лучше, чтобы она не говорила, потому что вам хочется остаться одним — не так ли?.. Хе-хе! Я все понимаю. Я тоже была молода и брала свое от жизни. Сейчас ухожу, не беспокойтесь. Разрешите только разобрать вам постель. Вот так... Вы недолго пробудете? К одиннадцати я обещала комнату одному очень обязательному кабальеро... Во всяком случае, таким его считают. Но бедняга может развлекаться только по утрам, когда, по мнению его жены, он в канцелярии... Хе-хе!.. Ну и канцелярия!.. Хотя в какой-то мере это так, здесь многие разрешают свои трудности... Поверьте, мне иногда жаль людей, которые запираются в этих четырех стенах. Эти женщины и мужчины — неудачники, они не сумели стать счастливыми при свете дня и скрываются, чтобы пережить несколько минут тайного счастья... Но я становлюсь плаксивой. Иногда начнешь говорить, говорить...

Напуганные голубки слушали Мадам, которая ходила по комнате, делая последние мазки — поправляла коврик, снимала нитку с дорожки.

Ни тот, ни другой не осмеливались прервать ее, а старуха продолжала говорить без остановки:

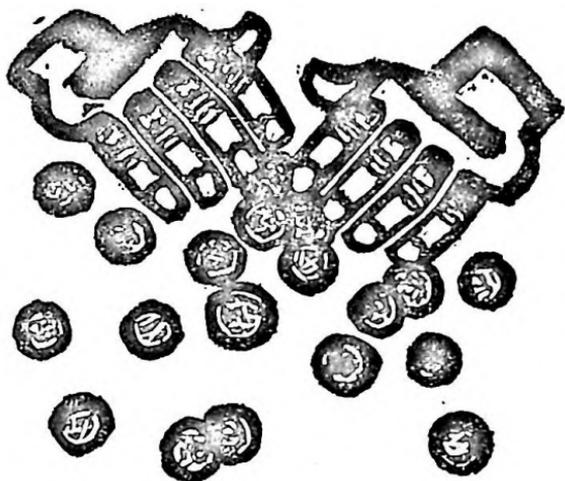
— Вы уж извините меня, но я кончала уборку, когда вы пришли. А это отнимает у меня много времени. Если бы вы видели, во что превращается эта комната каждый день!.. Настоящий хлев. Человеку нужно есть, иначе... Неужто я позволила бы, чтобы в мой дом ходили все эти развратники, да еще дурно воспитанные... Парочки вроде вас, образованной и с хорошими манерами, я ни разу не видела с тех пор, как

занялась этим делом. Уж поверьте мне. Если бы все клепты были такие, я была бы счастлива. Но в подобные места, простите, ходит только деревенщина да неучи. Можете себе представить, они ботинки вытирают полотенцем!.. Кстати, раз уж речь зашла о полотенцах, я вспомнила, что еще не меняла их сегодня. Сейчас принесу чистые... Книжки вы можете оставить на туалетном столике. Знаете, я очень люблю студентов. Не раз я думала, что если б смогла учиться, то не занималась бы таким неприглядным делом... Но я упустила время — а сейчас уже слишком поздно. Именно в молодости нужно выбирать между хорошей и дурной жизнью... И я, к моему несчастью, выбрала дурную... Но тут уж ничего не поделаешь, и я не имею права жаловаться. Примерно в вашем возрасте я сделала первый неверный шаг. И потом, вступив на эту дорожку, не могла остановиться... Простите, я разболталась и задерживаю вас. Ухожу, ухожу... Хотите, я закрою занавески? Жалко задвигать их, правда?.. Такой прекрасный день!.. Посмотрите, как красиво на улице!.. Если б я могла, я бы вышла из этой грязной квартиры и погрелась на солнышке. Я пошла бы погулять в парк, сейчас там, должно быть, тепло, но не жарко... На чистом воздухе голова яснее и на жизнь смотришь спокойнее. От скольких глупостей мы были бы спасены, если б прежде, чем принять решение, немного прогулялись... Смотрите, смотрите!.. Сколько парочек вышло подышать свежим воздухом!.. Они неторопливо прохаживаются, взявшись под руку: строят планы на будущее... Видите, вон там, на противоположной стороне?

Произнеся эти слова, Мадам, стоявшая лицом к окну и спиной к голубкам, повернулась, но голубки улетели.

В коридоре еще были слышны их крадущиеся, стыдливые шаги. Потом стукнула дверь, выходящая на лестницу...

И Мадам со вздохом облегчения вернулась к своим делам, довольная, словно спасла двух утопающих.



ЛАВОЧНИКИ

Морской ветер поднимал белесую пыль равнины, па которой теснились лачуги. Справа находилась скалистая гора, слева начиналось предместье городка с его первыми газовыми фонарями и пустырями, огороженными забором. За ними следовали темные улочки, мощенные скользким, влажным булыжником, таверны, палатки с жареной рыбой, закусочные. Отсюда брал свое начало приморский квартал с часовней святого Миханла и святого Петра. Потом — море. Ясным погожим утром в лачугах слышался колокольный перезвон часовни.

Продуктовая лавка расположилась как раз в центре этого мирка — на полпути от лачуг до первых рыбацких домиков. Лавка была не слишком большая, зато битком набита товарами. Колбасы, консервы, свечи, мыло, коробки печенья, сыр, масло, мочалки, половые щетки... Все это выстроилось в ряд или громоздилось столками и пирамидами вокруг прилавка,

отшлифованного локтями покупателей. За прилавком виднелась дверь, которая вела в помещение, где жили Эсекнель, его жена Мариана и их приемный сын.

Приемного сына привезли из родной деревушки Марианы, когда у супругов пропала всякая надежда иметь детей. Звали его Дионисно. Он был старшим сыном золотки, бедной вдовы, у которой, помимо мальчика, оставалось еще четверо ребят. С первого же дня ей пришлось смириться с усыновлением, и теперь она только изредка писала ему короткие письма, крупными буквами и как-то странно разделяя слова. Дионисно было шесть лет, когда его увезли из деревни. Остальные шесть он прожил в доме своих новых родителей, Эсекнеля и Марианы. Его воспоминания о матери были смутными и всегда печальными. Деревня запомнилась своими крылечками, площадью и весенним садом с чудесным запахом талой земли. Теперь же он хорошо различал запахи красного перца, мыла, пряностей да соленого ветра, дувшего с моря и волочившего за собой белесую сухую пыль равнины, на которой ютились лачуги.

Дионисно не получал жалованья, но Эсекнель постоянно внушал своему приемному сыну, что потом лавка будет принадлежать ему одному и никому другому. Мальчик уплетал за обе щеки, как и Эсекнель. Как и у Эсекнеля, у него во время еды лоснились подбородок и уголки губ. И, как Эсекнель, он готовил себе на второй завтрак и на полдник огромные бутерброды с ветчиной, колбасой, сыром или же мармеладом. Дионисно мог есть все, что хотел и когда хотел. По вечерам — в половине седьмого — он шел наверх, причесывался, опрыскивал себя из пульверизатора одеколоном, сильно пахнувшим фиалкой. Снимал халат, дочиста отмывал руки и отправлялся в школу изучать счетное дело.

Все складывалось хорошо для Дионисно, и он не желал бы ничего иного, если бы не ватага мальчишек по главе с Маполито. Маполито и его товарищи жили в лачугах.

Эти сорванцы, загорелые, тощие, безжалостные и веселые, собирались на открытом месте, за лачугами, и играли в какие-то непонятные, дикие и все же пленительные игры. Маполито и его банда заставили Дионисно задуматься о друзьях. Друзья, игры, приключения. Всего этого он был лишен.

Дионисно не раз пробовал завести с ними дружбу. Но Маполито и его товарищи редко принимали его играть. Дионисно был «лавочником».

Лавка служила предметом зависти и в то же время ненависти для тех, кто жил в лачугах. Постепенно Дионисно понял это. В лавке им не давали в кредит, но без нее они не могли обойтись. В лавке имелось все необходимое, но купить можно было только за наличный расчет. (Разумеется, это правило касалось лишь тех, кто жил в лачугах.)

— Запомни, Дионисно, — тихо наставлял Эсекель своего приемного сына, — дону Марселино и донье Асунсьон ты можешь отпускать в долг, потому что они богаты. А тем, кто живет в лачугах, нет, потому что они бедны. Никогда не забывай этого.

Дионисно все попял, хотя усмотрел в этом явное противоречие. Попял он также, что обитатели лачуг чуждаются его. Вспомнилось, как однажды Манолито зашел в лавку в ту минуту, когда он делал себе бутерброд с колбасой. Чтобы удобнее было есть, он придавил колбасу большим пальцем. Палец был залеплен грязным пластырем, потому что он поранился, отрезая сто граммов сыра. Вдруг Дионисно ощутил какое-то неприятное беспокойство. Он поднял голову и увидел круглые, пронизательные глаза Манолито, внимательно смотревшие на большой палец, залепленный грязным пластырем, и на колбасу, придавленную к хлебу. Что-то заставило Дионисно повернуться к Манолито спиной. Между тем Эсекель строго спросил у мальчика, что ему надо.

— Пачку соли, — ответил Манолито.

Голос Эсекеля стал еще строже:

— А деньги у тебя есть?

Да, те, кто жил в лачугах, не любили Дионисно. Они не любили его, и, может быть, именно поэтому ему еще больше хотелось подружиться с Манолито и его товарищами. Особенно летом, когда палило солнце и они шумной ватагой отправлялись купаться. Но его они не любили, это было ясно. И все же в тех редких случаях, когда они принимали его играть, Дионисно возвращался домой полный впечатлений и почти всю ночь не мог заснуть.

Однажды Эсекель дал ему двадцать дуро. Просто так, дал, и все. Правда, Дионисно не раз просил его:

— Крестный, у меня всегда пусто в кармане... Дайте мне немного денег, я не буду их тратить. У ребят в школе всегда водятся карманные деньги...

Эсекель в ответ отрицательно качал головой и говорил:

— Нет, денег ты не получишь. Ты же знаешь, когда-ни-

будь лавка стапет твоей. Кормят тебя досыта и не переутомляют работой. Чего еще тебе надо?

Подобные доводы вынуждали Дионисно умолкнуть. (Он мог бы, конечно, сказать: «Пофорсить!» — но не осмеливался.) И вдруг однажды утром, когда он подметал в лавке, Эсекнель сказал ему:

— Возьми, и чтобы больше ты не приставал ко мне. Но горе тебе, если ты их потратишь. Спрячь их куда-нибудь подалее, чтобы не было соблазна!

Двадцать дуру. Сразу двадцать дуру, одной бумажкой. У Дионисно перехватило дыхание.

— Спасибо, крестный... Вот здорово!

— Но только не трать их... Договорились? Не трать!..

Дионисно так и сделал — спрятал их. Теперь он ничего не хотел, кроме одного: чтобы Манолито и его товарищи приняли его в свою компанию.

Он хранил деньги в шкафу между рубашками, и мысль, что они лежат там, радовала его. Первые дни он то и дело ходил на них взглянуть. И ему вспоминалась прочитанная когда-то история про скупца, который любовался своим золотом и ласково гладил его. Дионисно довольно улыбался.

Но спустя пятнадцать-двадцать дней случилось нечто непредвиденное. Было это в понедельник, к вечеру. Дионисно вышел из лавки и решил прогуляться по равнине. Наступало лето, и солнце еще светило вдали, над волнующейся поверхностью моря. Приблизившись к лачугам, он услышал крики и вместе с мальчишками побежал туда, откуда они доносились.

Несчастье обрушилось на семью Манолито. Отец его, работавший каменщиком, свалился с лесов и сломал себе три ребра и ногу. Отца увезли в больницу, а жена его громко причитала, окруженная соседками. Возле лачуги, прямо на земле, засунув руки в карманы, сидел хмурый и бледный Манолито, равнодушный ко всему на свете. Дионисно стало жаль его. Он подбежал к Манолито и хотел сказать что-нибудь утешительное, но не нашел нужных слов. Манолито поднял глаза (как в тот день, когда увидел Дионисно с бутербродом). Под взглядом его черных глаз Дионисно совсем оробел.

— Убирайся отсюда, свинья! — с презрением крикнул Манолито. — Пошел вон!

И Дионисно медленно побрел прочь, чувствуя, как его плечи сгибаются под тяжестью невыносимого отчаяния.

В ту ночь он принял решение, и почти без колебаний. Он встал раньше обычного и, прежде чем спуститься в лавку, вышел через черный ход и побежал к лачугам. Он бежал, держа в кармане руку, в которой были крепко зажаты двадцать дуру.

Когда он добрался до лачуги Манолито, сердце его готово было разорваться.

— Маноло! — позвал он дрогнувшим голосом. — Маноло, пойдн сюда, я должен тебе кое-что дать!

Манолито вышел, полуголый, заспанный. За ним просупуля в дверь свои головы младшая сестренка и двое совсем маленьких ребятишек.

— Где твоя мать? — спросил Дионисно.

Манолито пожал плечами, и губы его презрительно искривились.

— Где ей быть... В больнице!

Дионисно почувствовал, как кровь прилила к лицу.

— Послушай, Маноло... я пришел сказать тебе... Вот смотри: это мои сбережения, но если ты хочешь... я тебе их одолжу, а когда ты сможешь... В общем, мне не к спеху... можешь и вовсе не отдавать...

Он протянул купюру. Манолито стоял неподвижно, приоткрыв свой маленький чем-то измазанный рот, и пристально смотрел на деньги каким-то бессмысленным взглядом. Потом медленно протянул свою худенькую руку, выпачкающую землей. Дионисно вложил в нее деньги и убежал.

Сердце его тревожно ныло, когда он входил в лавку. Эсекнель дал ему подзатыльник.

— Где тебя носит, бродяга!.. Живо подметай!

Все утро он провел как во сне. Каждый раз, когда звонил дверной колокольчик, ноги у него подкашивались.

Но Манолито появился только в середине дня. Его фигурка четко вырисовывалась в дверном проеме, полном солнечного света. У Дионисно екнуло сердце, он только успел подумать: «Какие тощие ноги у Манолито!» Сейчас Манолито совсем не походил на предводителя ватаги. Он скорее напоминал птенца, печального, грязного, заброшенного птенца.

Эсекнель неприветливо посмотрел на него. Отчетливо и тихо Манолито попросил риса, сахара, растительного масла, свечей... Эсекнель перебил его своим обычным вопросом:

— А деньги у тебя есть?

Произнося слово «деньги», он всегда потирал кончиком указательного пальца о большой. Манолито ответил твердо:

— Да. И еще мне дайте...

Что-то шумело в ушах Дионисио, и он не мог дальше слушать. К горлу подступил удивительно сладостный комок. Захотелось скрыться от глаз Манолито. Колени у него дрожали, и он присел тут же за прилавком на пустой ящик из-под кока-колы. Он видел только Эсекиеля, который с недоверчивым видом выкладывал на прилавок продукты.

Манолито протянул двадцать дурос. Дионисио видел руки Эсекиеля: красные, с обгрызенными ногтями. Рука Эсекиеля взяла деньги. «Его» двадцать дурос. Эсекиель пощупал их и посмотрел на свет.

— Пошел вон, шельмец! — взвизгнул он. — Вон отсюда, пока я не вышвырнул тебя пинком!

Дионисио недоумевающе заморгал. Солнечный свет топкими лучами пробивался сквозь груды коробок с печеньем. Толстая черная крыса шныряла за горами из мыла.

— Пошел вон, говорю тебе! Ты думаешь, меня можно обмануть! Это меня-то! Нет, меня не проведешь! Эти деньги так же фальшивы, как душа Иуды!..

Долго еще кричал Эсекиель. Дионисио хотел подняться и выглянуть из-за прилавка. Но в воздухе лавки было что-то удушающее — то ли запах перца, то ли мыла, то ли специй, и у Дионисио закружилась голова, тошнота подступила к горлу, глаза заслезились, словно от дыма. Колени стали ватными.

Наконец послышалось звяканье дверного колокольчика. Манолито ушел.



УЧИТЕЛЬ

I

Из своего маленького окошка он видел черепичную крышу замка, увитого зеленым плющом, один из двух каменных гербов и балкон, дверь которого время от времени открывала жена сторожа Граснапа, чтобы проветрить помещение. Через открытую дверь он часто смотрел на большую мрачную картину. И чем больше он вглядывался в нее, тем чаще она лишала его покоя, преследуя, точно паваждение. Картина очаровала его много лет назад, вернее, ослепила его своей яркой мрачностью. Потом, с годами очарование исчезло, однако осталась привычка смотреть на нее. Какая-то упрямая сила заставляла его вновь и вновь вглядываться в картину всякий раз, когда сторожиха настежь распахивала балконную дверь. Он давно уже изучил своим жадным взором изображенного на полотне человека с поднятой вверх рукой: его бледное чело, черные

глаза и длинные волосы. Поднятая вверх рука не угрожала и не умиротворяла. Она молила о чем-то. Молила смиренно и настойчиво. То была бесконечная, безнадежная мольба, от которой по телу пробегала дрожь. Ипогда картина снилась ему во сне. Ему так хотелось увидеть ее вблизи! Но он ни разу не был в замке, потому что предпочитал не обращаться с просьбой к Грасиану, существу нелюдимому и малопринятному.

Нередко он шел к реке и смотрел на воду. При этом у него почему-то возникало такое же чувство, какое он испытывал, глядя на картину, висевшую в комнате с балконом. Глубокой осенью, когда становилось холодно, он спускался в овраг, уходил как можно дальше от селения и долго смотрел на реку, бегущую меж камышей и желтого дрока.

Он жил в самом конце улицы Бедняков. Все его имущество составляли черный баул, обитый железом, с несколькими книгами и кое-какой одеждой да галстук, завязанный узлом на черных железных прутьях кровати. Когда-то — давным-давно — он надевал его по воскресеньям, отправляясь к мессе. Теперь галстук висел в изножье кровати, словно тряпка. Слово пес у ног Beau Geste — того самого, который хотел повторить участь викингов... Ах, как давно читал он «Beau Geste», черт бы побрал этот прогнивший мир! «Благодетельница, можно мне почитать эту книгу?» Он входил на цыпочках в библиотеку Великой Благодетельницы. Благодетельница была костлява, но богата. А он, непризнательнейший сын прачки, был ее любимцем. «Пажом», думал он теперь, натягивая сапоги и глядя заплывшими с похмелья глазами на тряпку, болтавшуюся на спинке кровати. Мир одряхлел и задыхается, словно задушенный вот этим засаленным галстуком.

Он приехал в селение молодым и красивым. Во всяком случае, так говорили про него старухи.

— До чего же красив наш новый учитель. Всегда причесан, на ногах — модные ботиночки! Просто прелесть! И полон, разумеется, самых лучших намерений!

Теперь все не так! Теперь о нем ходит дурная слава. Он знал, что они просили другого учителя и ждали, когда его сменят. Но пока им приходилось мириться с тем, что у них было, потому что в эту проклятую дыру приезжают или в порядке наказания, или такие же глупцы, как он, полные веры и «самых лучших намерений». Герцог и тот сюда не заглядывал: его замок гнил и разрушался вместе с большой картиной,

на которой молила о чем-то поднятая вверх рука. Он приехал сюда более двадцати лет назад, преисполненный наивных надежд. Ему казалось, что он явился в этот мир для того, чтобы самоотверженно служить человечеству. Быть может, искупить чью-то вину... А может, защищать дело, обреченное на провал. Тогда галстук не висел на прутьях кровати, зато на стене красовался диплом.

Теперь о нем ходила дурная слава. Иногда он вдруг как безумный взбегал на вершину холма, чтобы насладиться свистом ветра, напоминавшим ему далекие паровозные гудки, которые он так любил слушать в детстве.

В то утро лил дождь и в окошко заглядывало серое небо. «Хоть бы сюда ветер подул!..» Но ветер уносился к реке. А он пускался за ним вдогонку, оставляя то тут, то там следы дырявых сапог. Или же делал зарубки на стене. Что они означали? Часы? Дни? Сколько рюмок он выпил? Сколько дурных мыслей его посетило? «Человек не замечает, как он меняется, как вырастает, стареет, становится совсем другим. Перемены происходят в человеке так же медленно, как образуется трещина в скале от постоянно капающей воды». Время, проклятое время сделало его таким.

— Каким таким? Что во мне плохого? — хохотал он.

Он вставал поздно и ничем себя не утруждал. Ни занятиями в школе, ни заботами об учениках. Правда, он порол их и делал это с наслаждением — возможно потому, что другие радости были ему недоступны.

Он давно не читал газет. Политика, события, эпоха, в которую он жил, не волновали его. Не то, что раньше. Раньше он был страстным защитником людей.

— Каких людей?

Вероятно, таких, каков он сейчас. Но он не находил сейчас в себе никаких достоинств. Само слово «достоинство» стало для него таким же пустым, как и все остальные. Когда он пил анисовую водку — вино он не признавал, оно ему не нравилось, — весь мир вокруг преображался. Но только вокруг, а не в нем самом. Ему казалось, что он мягко ступает по белым облакам, натываясь на призраки мертвецов, только внешне похожих на детей.

«Я приехал сюда, уверенный, что найду здесь детей, а встретил человеческих головастиков, злых, усталых, разочарованных еще до того, как они обрели разум». По дороге в таверну он громко восклицал:

— Разум? А что такое разум? Ха, ха, ха!

Но его вялый смех звучал безрадостно, тускло. Каждый раз, когда старухи слышали, как он разговаривает сам с собой, они качали головами и искоса поглядывали в его сторону.

— Совсем спятил!

Это были те же старухи, в черных вониючих платьях, которые прежде называли его красивым. Или нет, другие, по точь-в-точь такие, как те, что ныне уже гниют в могилах.

Теперь он даже не замечал их вони, которая прежде так оскорбляла его.

— Оскорбляла меня? Оскорбляла? А что такое оскорбление?

Дойдя до конца улицы, он свернул за угол. Ватага босоногих мальчишек налетела на него, точно ураган. Это были пяти-шестилетние сорванцы, и они чуть не сшибли его. Они частенько поджидали его на углу, чтобы сбить с ног, а потом убежать, смеясь и выкрикивая прозвища, которых он не понимал. Дождь все лил, и грязь забрызгала их тоненькие, как жерди, ноги, текла по худеньким рукам, которыми они прикрывали смеющиеся рты.

Покачивушись, он обругал их и пошел своей дорогой: пропустить первую рюмочку за завтраком.

Через открытую дверь таверны были видны быки, бродившие по луку. От дождя их черные бока блестели, словно панцири громадных скоробеев. Сквозь тучи кое-где пробивалось солнце, словно бросая вызов свинцовому небу. Земля покраснела от дождя, а там, дальше, виднелась такая же красная трава. Скоро наступит самый жаркий месяц: зной иссушит влагу, спалит сочную зелень. Быки будут вздывать пыль копытами и бодать рогами солнце. Как всегда. Пастух распластался на гребне каменной стены, словно лягушка. И непонятно было, как ему удастся удержаться, сохраняя неподвижность. Его можно было принять за камень.

В таверне сильно пахло молодым вином. От этого запаха к горлу подступала тошнота. Хозяин, хорошо зная его привычки, без лишних вопросов принес анисовой водки и витой крендель из тех, что называют «сухим». Он макал крендель в анисовую водку и грыз его, словно мышь.

— Дон Валериано, — обратился к нему вдруг хозяин и протянул газету, — что вы скажете обо всем этом?

Но он так замахал руками, точно отгонял от себя рой мошкар. Мошкаррой стали для него теперь буквы, напечатанные на бумаге, без которых раньше он не мог жить.

Над дверью он увидел летучую мышь. Она словно приклеилась к побеленной стене раскрытыми крыльями.

— Эй, парень! — позвал он мальчишку, мывшего стаканы в бадье с водой. У мальчика правый глаз был совершенно белым, как маленькая луна, огрубевшие руки с плоскими пальцами, усеянными бородавками, разъедены водой. Мальчик поднял голову и вытер рукавом пот со лба. Мыльная вода стекала к локтю.

— Смотри, вон чертово отродье!

Мальчик влез на стол и тут же спустился, держа копчиками пальцев летучую мышь, плоскую, словно платок.

Прежде чем предать ее казни, ей как приговоренному дали покурить. Сначала затянулся мальчик, потом — он, потом — летучая мышь.

Так прошло утро, и он отправился домой есть скверную пищу, которую готовила ему Мариана, его хозяйка. В школе были каникулы.

II

Настала середина самого жаркого месяца. Лето, пыль, мошкара, жажда неслись стремительным галопом.

Они пришли из соседнего села и вместе с местными жителями отправились в следующее. Так, звено за звеном, создавалась цепь.

Он лежал на кровати и ни о чем не подозревал. Было три часа дня, время тяжелого послеобеденного сна. Он слышал звон москитов над баком с водой и знал, что они блестят на солнце, точно туча посеребренной пыли. Тогда-то до него и донеслись первые крики. Затем воцарилась тишина. Он лежал неподвижно, всеми порами своего тела ощущая жару. Его собственные ноги, длинные, волосатые, белые, вызвали в нем отвращение. Тело было вялым и потным, как у тех, кто боится солнца. Солнце, безжалостно льющееся сейчас на камни, внушало ему ужас. Он слышал беспорядочный топот копыт и мычание быков, бегущих вверх по улице. Что-то случилось. Он быстро натянул брюки и босиком вышел в соседнюю комнату. Мариана только что вымыла пол, и его ступни, словно промокашка, оставляли сухие следы на красных плитах. Окно было закрыто старыми зелеными жалюзи, которые он сам купил и велел повесить, чтобы спрятаться от ненавистного ему света. Сквозь щели проникали слепящие солнечные лучи, они жгли, как огонь, как негашеная известь, их

сияние разило насмерть. Он закрыл лицо ладонями, провел пальцами по дряблым заросшим щекам, глубоким впадинам у глаз и векам. От солнца у него кружилась голова: он ощущал его кончиками пальцев, чувствовал, как оно проникает в каждую его клеточку. Лоб, руки, шея покрылись потом. Брюки прилипли к телу. Мычания быков уже не было слышно. Доносились только чьи-то осторожные шаги. Вдруг под самым окном раздался пронзительный крик:

— Бедная я, бедная, несчастная!..

Он быстро поднял жалюзи. Это было как сон. Вернее, как пробуждение от долгого, странного сна. Солнце ослепило его. Он скорее угадал, чем увидел жену алькальда, бегущую вниз по улице, и тут же вспомнил про газету, которую утром давал ему хозяин таверны. Он ощущал какую-то пустоту в душе и весь превратился в ожидание.

— Мариана, — тихо позвал он. И тут же увидел ее. Она забилась в угол от страха, лицо ее было белее полотна.

— Началась... — сказала Мариана.

— Что? Что началась?

— Революция...

— А почему кричит эта женщина? Что с ней?

— Ищут ее мужа... Они с серпами...

— Ах, эта капалья спряталась?

Почему он обругал алькальда? Его вдруг захлестнула злоба. Хотелось мычать так же, как мычали быки — покорные, тощие, черные, блестящие быки, бодавшие низкое вечернее небо. Он точно проснулся на этой грязной земле, на этом огромном, развороченном ложе, как на своей грязной кровати. Он даже не заметил, как изменился, как превратился в тряпку, подобно истлевшему галстуку, привязанному к прутьям кровати. Он менялся постепенно, с того дня, как приехал сюда, хорошо причесанный, в модных ботиночках. Он бежал из одного конца селения в другой, пытаясь объяснить, что земля вечный спутник солнца, а не наоборот, что она круглая, чуть приплюснутая на полюсах, что наша планета всего-навсего ничтожная пылинка, бессмысленно носящаяся вокруг других таких же пылинок, точно посеребренные москиты вокруг бака с водой; что так же, как поток воды представляет нам сцеплением бесчисленных капель, мы сами представляем собой множество мельчайших частиц и что весь мир — это оргия пыли и огня. И, конечно, математику... И физику...

Взрослые, дети, собаки — все вызывало в нем когда-то со-

страдание. Теперь же он не испытывал его даже к себе. Ему было на все наплевать. Он уже не слышал мычания быков. Не за один день, а день за днем менялось его сердце. По капле уходили честолюбие, надежды, бескорыстие, жажда знаний, любовь накопец. Неужели когда-то он был тем мальчиком, который на цыпочках входил в библиотеку Великой Благодарительницы, чтобы попросить «Beau Geste»? Что за красивые жесты? (Он был умен, прилежен, и Великая Благодарительница оплачивала его занятия. Она оплачивала его занятия, по скупилась на башмаки, еду, одежду; ограничивала его в развлечениях, досуге, сне, любви.) А потом... Потом не было. Жизнь — это затянувшаяся секунда, которая заключает в себе великое пресыщение; время — всего лишь скопление пустоты и безмолвия, а плечи юношей — слабые, точно крылья выпавшего из гнезда птенца, — не могут вынести ни житейских тягот, ни голода, ни одиночества, ни долгой жизни, тяжелой ношей взваленной на них.

И вот теперь неизвестно откуда явилась жажда мести.

III

Они вернулись на маленьком грузовике, реквизированном у торговца зерном. Несколько человек были вооружены: винтовкой, ружьем, старым пистолетом; у остальных были вилы, косы, серпы, топоры. Эти мирные орудия труда обратились вдруг против голода и унижения, против жажды и покорности, которые накапливались годами и вдруг обострились, стали зловещими. Словно мыши из своих нор, вылезли на свет Чато, Рубио и трое младших сыновей Беренгелы. Они присоединились к приехавшим, и их вилы, косы и серпы тоже засверкали на солнце.

Они не нашли ни алькальда, ни священника.

— Мать доктора помогла им бежать; она спрятала их в стоге сена, — сообщили две женщины, возвращавшиеся с поля.

Замок герцога был, как всегда, закрыт. Они перерезали Грасиану горло и, перешагнув через его тело, вошли в дом. Сторож так и остался лежать в дверях, погруженный в безмолвие. Кровь, облепленная прожорливой мошкаркой, сворачивалась на солнце. Слабый ветерок сушил пот. Жителям селения не терпелось узнать, что внутри замка. Герцог приезжал сюда лишь один раз, на охоту. А Грасиан никого не впускал вовнутрь и даже не давал взглянуть.

Из окна Марнапы видна была часть замка. Жалюзи наконец были подняты, и всем своим белым, дряблым телом, каждой своей морщинкой, зрачками, черными влажными волосами он ощущал солнце. Оно беспощадно палило, причиняя ему боль. Он пристально вглядывался в замок. Над глинобитными домишками улицы Бедняков возвышался замок, увитый плющом, с каменными гербами, разъединенными пометом ласточек, с балконной дверью, за которой висела картина. Он стоял у окна неподвижно, точно статуя. Вооруженные люди, проходившие мимо, увидели его. Он слышал их шаги на лестнице, но не обернулся, пока его не окликнули.

Их главарь жил в третьей деревне от них вверх по течению реки. Он несколько раз встречал его на базаре. Тот работал в шорной мастерской, и звали его Грегорио. За поясом у Грегорио торчали две гранаты, в руках он держал винтовку, без сомнения принадлежавшую одному из жандармов, убитых на рассвете.

Грегорио спросил, показывая на него:

— Кто это?

— А я почему знаю? — ответил Чато, пожимая плечами.

И вдруг он вспомнил Чато маленьким. Полный самых лучших намерений, он объяснял ему тогда: «Солнце и земля...» Да, это он! Те же широко расставленные глаза, внимательные, полные мучительного неверия.

Он подошел к ним, ощущая босыми ногами тепло пола, еще влажного от воды. И, посмотрев на них с тем скорбным мужеством, с каким смотрел на солнце, сказал, стукнув себя кулаком в грудь:

— Кто я? Вы хотите знать, чем я дышу?

И слова хлынули из его рта, словно гной из прорвавшегося нарыва.

— Так вот. Если хочешь знать, чем я дышу, знай: голодом и нищетой. Голодом, нищетой, жаждой, унижением и всей существующей на земле несправедливостью. Вот чем я дышу. У меня в груди все горит, так я этим надыхался... Слышишь, атаман? Голод и нищета всю мою жизнь! В обмен на это...

Он распахнул дверь в свою комнату, и перед ним предстала черная железная кровать, грязная мятая простыня, соломенный матрац, баул, облупившаяся стена, лампочка, уныло повисшая на шнуре, засиженном мухами.

— Вот ради этого — ради этой вонючей постели, ради скудного обеда и ужина — я живу... Видишь этот баул?

Он полон знаний. Эти знания я приобрел в обмен на свое достоинство. В обмен на достоинство... И в результате... вот это.

Грегорио внимательно смотрел на него, разинув рот.

Чато объяснил, пожав плечами:

— Это учитель...

— А, понятно,— сказал Грегорио с каким-то облегчением.

Он положил винтовку на стол, выпил вина, вытер тыльной стороной ладони рот.

— Так, значит, ты грамотный... Что ж, нам нужны такие люди, как ты.

— И мне,— ответил он глухо, едва слышно.— Мне тоже нужны такие люди, как ты.

IV

Он пошел за теми, в ком — сам того не подозревая — подсознательно видел виновников своего поражения. Не кто иной, как он, отыскивал укрытие священника и алькальда, догадавшись, в каком именно сарае могут они прятаться, в каком именно углу. Какое-то обострившееся чутье толкало его туда, куда другим и в голову не приходило заглянуть.

— И все-то он знает!..— удивлялся Чато.

А Грегорио спросил его вечером:

— Ты, наверное, все на свете знаешь?..

Над деревней воцарилась глухая тишина. Позади остались ярость, горящая церковь и сарай с алькальдом. Наконец-то они были внутри замка, в желтой гостиной с большим балконом, распахнутым настежь. На столе стояли бутылки с вином и бокалы герцога. Бледное ньюльское небо над церковью окрасилось в розовый цвет. Не слышно было мычания быков. Они разбрелись в разные стороны. Пастух вместе с Чато и сыновьями Беренгелы распивал вино внизу. Остальные совершали почной обход по домам села. Большой костер перед дверью замка пожирал картины, вещи, изображения святых, книги, одежду.

Он разговаривал с Грегорио, который ничего не понимал, но внимательно слушал, потягивая вино. Как давно он ни с кем не говорил!

— Меня взяли мальчиком, оплачивали мои занятия... За это я должен был жить, как раб, понимаешь? Стать игрушкой для старухи, превратиться в жалкую куклу проклятой старухи...

К горлу подступила тошнота при воспоминании о пергаментной коже Великой Благодетельницы, о ее доме, похожем на замок: с таким же затхлым запахом! Он с отвращением вспоминал ее вкрадчивую ласку, исходивший от нее запах вина, жемчуг на морщинистой оголенной шее...

— Так, значит, ты расплачивался, да? Ты был ее... — Грегорио, хихикая, подмигивал правым глазом.

— Да, расплачивался. Понимаешь, Грегорио? Ты понимаешь, о чем я говорю? Но я вырвался оттуда, чтобы все исправить! Чтобы ни с одним юношей не случилось того, что случилось со мной. Я вырвался из ее рук и ушел бороться с одной только верой в душе, с одной верой...

И снова к нему вернулись его мечты, обновленные, свежие. Вернулось желание мстить. Но это была не слепая месть, а разумная, созидательная.

— Чтобы ни с одним юношей не случилось... Но здесь... что-то произошло... Что именно? Не знаю. Не знаю, Грегорио.

Его вдруг охватила страшная усталость.

— Я гнию живо...

И вот теперь настал этот день, этот час. Там, внизу, горели книги и святые герцога. А здесь, на степе, висела та самая картина. Он еще раз взглянул на нее. Картина, казалось, наполнила собой все вокруг. «Возможно, будь у меня такая картина... или папиши я ее сам, все сложилось бы иначе», — подумал он.

— Теперь все будет по-другому, — сказал Грегорио. — Хочешь выпить?

Его мучила жажда. Он не пил вина, но сейчас другое дело. Сейчас все изменилось. «Может быть, я просто боялся вина...»

В эту минуту в гостиную вошел Чато и показал на картину:

— Теперь настала очередь этой.

— Эту не тронь, — сказал он.

— Почему?

— Потому что не тронь.

Чато подошел к нему.

— Может, ты из верующих, хоть и не ходишь в церковь?

— Никакой я не верующий! Но эту картину ты не тронешь!

Удивленный Грегорио встал, склонился к позолоченной пластинке на раме, читая по складам, и неожиданно засмеялся.

— Ты не хочешь, чтобы се трогали, потому что тут написано «УЧИТЕЛЬ»?

Почему-то на память ему вдруг пришли большой крест, который вынесли, когда над полями нависла засуха, израненный, окровавленный человек и песнопение старух: «Учитель наш, смилуйся над нами...» Он был страшен, в кровавых ранах. Нет, не поэтому; хотя там действительно было написано «УЧИТЕЛЬ» — он знал об этом еще тогда, когда смотрел на картину из своего окна.

Его охватило такое же чувство, какое он испытывал, когда мчался к реке, вдогонку за ветром. Человек с картины был здесь, величественный, одинокий, с поднятой вверх рукой; совсем рядом он видел его бледное, худое лицо, его длинные черные волосы, его темные глаза, которые всегда смотрели на тебя, где бы ты ни стоял.

— Потому что ты тоже учитель? — смеялся Грегорио, наливая себе еще герцогского вина.

Он подумал: «Учитель? Учитель чего?»

И тогда он увидел обоих. Чато и Грегорио смотрели на него так же, как человеческие головастики там, в сырой школе. У них было то же выражение глаз, как у тех, когда он говорил: «Земля вращается вокруг солнца». А насмешки... А недоверчивые крестьянские глаза... перед которыми слова бессильны. МНЕ НУЖНЫ ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ТЫ. Весь день он витал в облаках. Весь день.

— Налей мне анисовой водки... Разве ее нет?

Водки не было. Только вино. Чато вытащил нож и разрезал картину сверху донизу.

С тем же спокойствием, с каким произносил свое безрадостие «ха, ха, ха», он взял винтовку Грегорио и выстрелил Чато в живот. Чато открыл рот и медленно опустился на колени, не сводя с него взгляда. Грегорио вскочил. Но его остановило дуло винтовки. И снова эти глаза: одни стекленеющие, другие полные удивления, ярости, страха.

Тогда он крикнул:

— Так вы не понимаете? Вы ничего не понимаете?

Грегорио сделал движение: возможно, хотел выхватить одну из тех гранат, которые по-детски выставлял напоказ (как мальчишки свои баночки с ящерицами, головастиками, терновником; как мальчишки, которые ничего не понимают, раньше времени устают и не желают ничего знать ни о солнце и земле, ни о звездах и облаках, ни о времени и математике; как мальчишки, которые мучают летучих мышей, счи-

тая их дьявольским отродьем, и, спрятавшись в кустах ежевики, бросают камни в учителя; как мальчишки, которые роют волчьи ямы, толкают тебя туда, потешаются, хохочут, верещат под прутьями — и сжигают время, жизнь, человека и надежды...). Слова на него, как когда-то в школе, пристально смотрели глаза, полные мрачного удивления, причину которого он так и не сумел разгадать.

— Вот тебе, получай и скажи спасибо, — он выстрелил в Грегорио — раз, другой, третий.

Затем бросил винтовку, спустился по лестнице и через черный ход вышел в поле. Его гнало одиночество, и он бежал, бежал, бежал. Словно хотел убежать от тех двадцати пяти лет, которые провел здесь.

V

Два дня он, точно волк, бродил в горах, питался ежевикой и плодами земляничного дерева. Скрывался в пещерах возле оврага, где жили летучие мыши. Сюда доносилось мычание быков, шлепавших по воде и камням. Загнанных быков, напуганных пожаром, заблудившихся.

На третий день он увидел въезжавшие в село грузовики. На них приехали те, другие. Они подавили революцию, о которой сообщила Мариана.

Он медленно спускался с гор, ослепленный солнцем. С отросшей бородой, чужая запах смерти. Едва он вышел на площадь перед замком, как увидел их: в мундирах, в высоких сапогах, с черными пистолетами. И старухи, которые когда-то восхищались им: «Всегда причесан, в модных ботиночках», которые потом говорили: «Совсем спятил!», теперь снова указали на него. Они выволокли за ноги, будто мешки с картошкой, раздувшиеся тела алькальда и священника. И, ткнув грязными, скрюченными пальцами в него и трех младших сыновей Беренгелы, закричали:

— Убийцы! Убийцы!

Его так и схватили — с отросшей бородой, в распахнутой на груди рубашке.

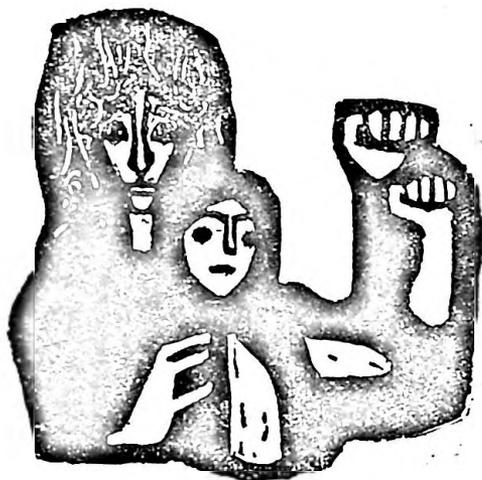
— Позвольте мне взять одну вещь, — попросил он.

Под конвоем его отвели в дом Марианы. Он поднялся в свое логово, снял с прутьев кровати галстук и надел на шею. Когда грузовик тронулся с места, глаза его были закрыты, руки связаны за спиной.

Их выстроили на берегу реки, троих сыновей Беренгелы и его. Воздух был теплый и душный. Младший из сыновей Беренгелы, которому едва исполнилось восемнадцать, крикнул ему:

— Предатель!

(Где-то был человек с поднятой вверх рукой. Человек с поднятой вверх рукой, разрезанный сверху донизу тупым пожом ребенка, неразумного головастика, песчинки, затерявшейся в целом облаке пыли.) Теплый июльский востер унес с собой эхо выстрелов. Он покатился вниз, к реке, и вдруг понял, что, лишенный другой любви, он всегда любил реку с ее камышами и желтым дроком, с ее круглыми валунами и серебристыми тополями. Реку, где все еще мычали и шлепали чуть выше по течению напуганные, покорные быки. Он понял, что любил ее и что именно поэтому столько раз приходил сюда и смотрел, смотрел на нее, когда наступали холода.



РАССВЕТ

Нет, им не следовало идти навстречу начинающемуся рассвету. Ему уже было десять лет. Он успел познать голод, холод и страх. Мать пришла, едва лишь забрезжило. Бледная, худая, в движениях незнакомая резкость. Старуха, увидев ее, заплакала. «Теперь я останусь совсем одна...» — сказала она.

Мать подошла к сыну. И стала надевать на него пальто, как делала это, когда он был совсем маленьким. С необычайным спокойствием тщательно застегнула все пуговицы. Как холодны были ее пальцы! Как твердо сжаты губы! Он не посмел ни о чем спросить, только смотрел на нее так, словно хотел навсегда сохранить в памяти образ матери. В синих брюках, кожаной куртке, с коротко стриженными, взъерошенными волосами, она походила на мальчишку.

— Мама, — наконец сказал Ремо, чувствуя, как леденящая душу тревога начинает сводить его с ума. — Мама, День кончился?

Мать крепко прижала его к себе. Куда делась ее мягкость? Казалось, будто она сделана из стали: словно небо, словно оружие.

— Ты был рожден для Дня, по мы не сумели тебе дать его. Жаль, что тебе приходится расплачиваться за наше поражение. Идем со мной, Ремо.

Матери больше не существовало. Осталась только Женщина, которая вела его по улицам города к окраине. Свет зари был белым, зимним. Ремо ничего не понимал. Слово «поражение» никак не вязалось с Человеком. Никак. Он ничего не понял, не понял и того, что произошло потом.

Там, в предместье города, у мокрой автострады выкопали глубокую канаву. В нескольких метрах от нее возвышались развалины крестьянского дома. Двенадцать мужчин, согнувшись под тяжестью мешков, перетаскивали песок оттуда в канаву. Сквозь холод снегов пробирался рассвет. Странная тишина царила вокруг.

Женщина спрыгнула в канаву; его кинули туда, точно маленький труп. Мужчины разобрали винтовки. Установили старый пулемет. Где-то запищала вздорная птица, а там, паверху, небо окрасилось в розовый цвет.

Ремо лежал неподвижно, будто и в самом деле был мертв. Должно быть, так он пролежал довольно долго. Выстрелы для него давно уже стали привычной музыкой. Прекратись они, и ему бы не хватало их сухой барабанной дробни. Он не испытывал страха.

Те, другие, окружившие город, быстро приближались. Их было много, а этих слишком мало. Те были сильны, эти одиноки и беспомощны. Вскоре мужчины в канаве стали падать. Прямо тут же, рядом с ним. Ремо охватил ужас. Смерть предстала перед ним воочию. Лежа на дне канавы, он лицом ощущал холод взрыхленной земли с ее разрезанными на куски червяками, с обрывками корешков, раздробленных киркой. От земли, казалось, веет темной, затхлою жизнью. Мертвой жизнью, наверное. Он отчаянно силился держать глаза открытыми. Смотрел вверх и всей душой стремился туда, к розовеющему небу. Нет, он не хотел смыкать глаза, и у него болели веки. Резкие залпы, уже совсем близкие, били по самому сердцу. Еще выстрел, еще, еще. В них слышались крики, мольба, угроза. Говорили только винтовки. Это был последний диалог побежденных. Женщина тоже находилась среди них, и ее выстрелы звучали как удары бича: сухо, отчаянно. Бледное, суровое лицо делало ее похожей на мрамор-

ного мальчишку. Длнная пулеметная очередь что-то напоминала Ремо. Звук казался разбитым вдребезги. У самого его лица находился мужской сапог. Падали камешки. Сапог был полон крови, она капала и скатывалась в его сторону. Что-то замигало на небе. Кровь прокладывала себе путь, подбираясь все ближе. Чья эта кровь? Завтра придут собаки, голодные городские собаки.

Развалины покинутого дома были их последним оплотом. Их победили. Чья это кровь? Куда она течет? Чей-то голос внушал ему: «Закрой глаза, Ремо». О нет, он не хотел их закрывать. Он не должен отвечать за чье-то поражение. Он это смутно чувствовал. И хотел спастись. Хотел вырваться из этой канавы, куда вошла смерть со своими цепкими, как щупальца, пальцами. Ремо видел ее. Он ни о чем не просил Мать, Женщину. Почему смерть должна скосить его вместе с ними? Он чувствовал, как в грудь вливается страшная боль. Еще выстрел, еще, еще. Он лежал, прижавшись к земле, и сердце его бешено стучало. Столбы пыли увлекали его с собой. Нет, нет. Он убежит отсюда.

Охваченный тоской, он пополз по канаве. Залпы раздавались совсем рядом. Он выскочил из канавы и бросился бежать. Глухой голос, голос из-под земли кричал ему:

— Вернись! Вернись, сын!

Но он бежал к развалинам дома. Он должен был убеждать из канавы, должен был жить. И снова надрывный голос Матери. Ремо оглянулся, чтобы посмотреть на нее, и увидел, как она делится в него из винтовки. Рывком бросился на землю: над самой головой просвистела пуля. Женщина закрыла лицо руками. Винтовка выпала из ее рук; теперь осталась только Мать. Мать, которая погружалась куда-то, опустив плечи. Уже тогда она начала умирать, хотя пуля еще не коснулась ее. В эту минуту Ремо любил ее как никогда. Неуклюже, ползком, точно маленькая змея, добрался он до развалин и припал к земле, вдыхая в себя ее запах. Он видел, как его слюна медленно пропитывает землю. Затем все погрузилось в тишину.

Птица продолжала прерывисто пищать. Из своего укрытия за разрушенной стеной Ремо увидел все.

Солдаты подошли к канаве и выволокли оттуда Мать и двух оставшихся в живых мужчин. Офицер, командовавший солдатами, был высок, в кожаных черных сапогах, блестящих при бледном свете зари. Голос его в клочки разрывал воздух.

Их выстроили вдоль кювета. Мать стояла посредине. Бледные лица, казалось, плавали в утренней дымке. Короткий зал сломил их. Смерть, как Жизнь, приходила судорожно, рывками. Мать упала сначала на колени. Затем ничком. Кровь появилась позже, прокладывая себе путь по земле.

Ремо, дрожа всем телом, тоже припал к земле. От холодного пота рубашка прилипла к телу. Все кончилось. Наступила тишина. Тишина. До сих пор он не знал, что такое слезы, теперь они жгли его изнутри. Все кончилось. А может быть, все только начиналось. В кармане у него лежало письмо отца: «Ремо, я знаю, что ты боишься смерти. Но мы бессмертны. Холодно, и я думаю о тебе. Иногда вспоминаю, как ты строил когда-то очень красивый корабль. К моему возвращению ты должен построить очень большой корабль. Это доставит мне удовольствие. Каждый человек должен делать то, что лучше всего умеет. Мне еще многое нужно сделать. Помни, смерти не существует. Мы бессмертны». Это верно. Да, это верно. «Холодно, и я думаю о тебе». Человек повторяется во времени. У него разные имена. Его имя жажда. «Мне еще многое нужно сделать. Мы бессмертны».

Солдаты нашли его в развалинах.



РОЖДЕСТВО МАЛЕНЬКОГО ЦИРКАЧА

Откуда-то из самой глубины его сознания приходили эти звуки: труба, барабан и что-то похожее на звон бубенцов. Иногда он застывал в неподвижности у ограды, вцепившись руками в решетку и вглядываясь в даль. Он видел равнину с пожелтевшей сухой травой, растущей лишь местами, вереницу запыленных деревьев, а за ними первые дома маленького выжженного солнцем провинциального городка с его круглыми газовыми фонарями, уныло светившими по вечерам. Когда он смотрел на расплывчатые голубоватые очертания острых черепичных крыш, сердце его, сердце шестилетнего ребенка, переполняла странная грусть.

Откуда-то из самой глубины его детской памяти приходила эта музыка, этот грохот тамбурина, горло его сжималось, и, прильнув к решетке, он вглядывался в клочок земли. А позади него с криком носились мальчишки.

У него была страсть делать маски и колпаки из обрывков цветной бумаги. Он постоянно искал ее, извлекая из самых грязных закоулков, за что его неоднократно наказывали и ругали. Но и это на него не действовало: он слова брал кусок бумаги, делал в ней две дырки для глаз, надевал эту маску и начинал кричать на разные голоса, забавляя ребят. То он становился вниз головой, упираясь спиной в стену: его тощие ножки болтались в воздухе, а голубой передник опускался на лицо, точно занавес. То пел, и тогда в глубине его души рождались прекрасные песни, от которых мальчикам становилось весело. То колесом спускался по косогору позади здания, хотя это было нелегко, так как ладони уходили в песок.

Пожалуй, из-за всего этого его и прозвали Маленьким Циркачом. Он не знал, кто именно дал ему прозвище. Может быть, он получил его за то, что пел или становился вверх ногами, а может быть, потому, что таинственно сообщал собравшимся в тесный кружок мальчишкам, что он сын дона Циркача и доньи Циркачки, которые ходили из города в город с большим медведем, белой лестницей, скрипкой и хлыстом с бубенцами. Маленький Циркач любил рассматривать себя в зеркале над умывальником, когда в длинной ночной рубашке чистил зубы. Нередко он мазался зубной пастой и с белым, словно луна, лицом появлялся перед ребятами, которые встречали его смехом. За все эти проделки Маленького Циркача часто наказывали. Но иногда по его телу вдруг пробежала дрожь, точно мелкий дождик, сладостный и тоскливый. И тогда мальчик (где бы он ни находился) не мог подавить в себе желание побежать в сад и вцепиться руками в железные прутья ограды — черные, высокие, с острыми концами. Он смотрел туда, всегда туда, в сторону равнины. Смотрел на далекие светящиеся шары, точно луны, насаженные на столбы, и думал: *«Когда-нибудь туда придет цирк»*. Он не раз слышал, что в тот день, когда придет цирк, их поведут на представление. И пристально всматривался в облако пыли, гонимое по равнине ветром, и в горизонт, окрашенный последними лучами заходящего солнца.

В картонной коробке мальчик хранил шесть цветных карандашей, которые ему удалось собрать, и в тетрадях, предназначенных для букв и цифр, он рисовал лошадей, обезьян, клоунов, тамбурины. То и дело он поднимался в умывальную, чтобы отрепетировать перед зеркалом свои сто гримас: кривил рот, сканчивал глаза, взлохмачивал волосы, надувал щеки. Ребята хохотали. «Сделай морду умного пса!», «Сделай мор-

ду обезьяны!», «Перекувырнись!» И снова из самой глубины его детской памяти вырвались звуки бубенцов, барабана, трубы и тоненький голосок, говоривший ему: «Прыгай, Маленький Циркач, прыгай!» Когда он разжимал пальцы и выпускал из рук железные прутья, его побелевшие ладони слегка побаливали.

Вместе с холодом пришло рождество. О рождестве много говорили, и Маленький Циркач жадно ловил каждое слово. Кто-то сказал: «На праздники нас поведут в цирк». Маленький циркач молил бога, чтобы рождество наступило как можно скорее. В рождественское утро он проснулся с болью в горле и шумом в висках. Маленький Циркач не хотел, чтобы кто-нибудь это заметил, но, когда он пошел обуваться, его ножки заоченели от холода каменных плит. Сеньора Эсперанса приложила к его голове руку и велела лечь в постель. Маленький Циркач плакал и чувствовал, как от слез становится мокрой грубая ткань наволочки.

— Не плачь,— сказала сеньора Эсперанса. И ушла по своим делам.

День тянулся медленно, скучно и одиноко. Голоса доня Циркача и доньи Циркачки болью отдавались в голове мальчика.

Ребята ушли и, вернувшись вечером, рассказывали, что они видели в цирке. *(Бесись, бесись, Маленький Циркач, ты не был в цирке. Цирк прошел по равнине и скрылся за светящимися шарами города. Бесись, Маленький Циркач, цирк не для тебя.)*

Маленький Циркач молчал, только медленно стекали по его лицу круглые, словно стеклянные горошины, слезы. «Воспаление легких»,— поставил диагноз доктор. Сеньора Эсперанса велела ему хорошенько укрыться и лежать спокойно.

(Ах, дон Циркач и донья Циркачка, как могли вы забыть в придорожной канаве бедного Маленького Циркача с его воспоминаниями?)

Пришла ночь и принесла с собой словно из-под земли допосившееся песнопение. Это дети в одинаковых платицах, сшитых сеньорой Анастасией, пели рождественские псалмы перед изображением младенца Христа на фоне неестественных холмов, снега из муки и пальм. Еще ночь принесла с собой холод, меркнущие огни, слабый скрежет дверей, запираемых где-то внизу, в темноте. Ночь покровительствовала Маленькому Циркачу, которому велено было спокойно лежать, хорошо укрывшись.

Маленький Циркач был уверен, что поступает правильно. Он медленно надел ботинки, штанишки, передник. Он знал, что ребята поют вместе с сеньорой Эсперансой, сеньорой Анастасией, сеньорой Люсней и сеньорой Аурелией. Все они празднуют рождество, и никто из них не думает о болезни, об одиночестве, о доне Циркаче и донье Циркачке, ожидающих его там, на равнине, к началу представления.

Он знал дверные замки, как никто в этом доме, и мог открыть их на ощупь. В саду его стало лихорадить, но он добрался до калитки, которую открывали молочнику и мужчине, скупавшему пустые бутылки, перелез через железные прутья, прыгнул по ту сторону ограды и побежал к равнине.

Он устремился к светящимся шарам. И когда подбежал к ним, увидел, что висят они очень высоко. Ветер дул с яростью и бешеным неистовством, которые его поразили. Маленький Циркач вошел в предместье города, где все двери были наглухо закрыты, а окна темны. (Он подумал: *«Какой странный город: в городе тоже заставляют спать»*.) Вдоль улицы тянулся забор. Маленький Циркач пошел по этой улице, ему казалось, что в конце ее дон Циркач и донья Циркачка ждут его, сидя на чемоданах. Но там не было ни доня Циркача, ни донья Циркачки, зато множество людей пели, обнявшись. На некоторых были меховые шапки, от них пахло вином. Это было очень смешно. Маленький Циркач смотрел на людей. У кого-то, кто показался ему спокойнее других, он спросил про цирк (*«Цирк? Иди дальше»*, — ответили ему). И Маленький Циркач пошел дальше, никуда не сворачивая.

Наконец он увидел большую, красивую площадь, где должен был находиться цирк. Но цирка там не было. Только мятые бумажки, гонимые ветром, и облако пыли, как на равнине. Маленький Циркач почувствовал удушье. Он сел на землю, прислонившись к каменной стене, необычно белой, словно залитой лунным светом, хотя ночь была безлунной. И тогда Маленький Циркач услышал далекий тамбурион донья Циркачки, а потом пение петухов, доносившееся из-за высокой стены, крытой черепицей.

Молочник и женщина, направлявшаяся к утренней мессе, нашли его, бледного и околеченвшегося, широко открытыми глазами он смотрел на цирк, которого не было. Его подняли и отнесли в больницу. По дороге женщина перекрестилась и сказала, показывая на голубой передник:

— О, да ведь мальчик-то из приюта! Как странно... В этот час, здесь...

Медно, Долорес



АНДРЕС

Андрес не сводит глаз с клеенки в красно-белую клетку. Клетки стерлись оттого, что клеенку слишком часто вытирают. Рядом с его рукой клеенка прожжена. Дыра величиной с большую монету поглотила одну из красных клеток; сквозь отверстие виднеется кусок стола. Немного выше — большое жирное пятно. На стакане с водой следы грязных пальцев Тины.

По клеенке торопливо бежит муравей. Обогнув жирное озеро, он скрывается в дыре. Андрес засовывает туда палец. Муравей ускользает. Андрес снова сидит неподвижно, не сводя глаз с выцветшей клеенки.

Септа спрашивает:

— Что с тобой? Почему ты не ешь?

Тина локтем толкает брата и смеется, открывая беззубый рот.

— Он ворон считает.

Апа бьет ложкой по тарелке и вторит сестре:

— Волон считает!.. Волон считает!..

Сента прикидывается на девочек:

— А ну замолчите, балаболки! С вами с ума сойти можно... Ешь, тебе говорят. Вот беда! Тебя словно околдовали.

Андрес пожимает плечами.

— Не хочу.

— Не хочу... не хочу!.. Вот заладил! Ну что за жизнь!.. Если хочешь деликатесов, отправляйся в «Палас», здесь тебе не ресторан.

Андрес упорно продолжает смотреть на клеенку. Пальцем следует по тому пути, который проделал муравей; засовывает палец в дыру.

— Вот, вот!.. Давай суй, рви больше.

Андрес вытаскивает палец, ставит локти на стол и ладонями подпирает лицо.

В дверь кто-то кричит:

— Сеньора Пресептасьоп!

— Входи, детка. Чего тебе?

— Сеньора Пресента, мама просит одолжить луковицу, если у вас есть. Мы завтра утром вернем.

Сента роется в корзине с картофелем, достает оттуда луковицу и протягивает мальчугану.

— На, детка, передай маме. И не надо ничего возвращать... Как мама?

— Хорошо. Она уже встает.

— А девочка?

— Как картинка... В четверг мы ее крестили. Приехала бабушка из Пеньяройи. Привезла нам подарки.

— Передай бабушке, что завтра я зайду навестить ее.

Стоя в дверях, Сента прощается с мальчуганом и начинает убирать со стола.

— Еще одна девочка!.. Таков уж удел бедняков... Это счастье всегда выпадает на их долю... Будто нет другого способа развлечься, рожают детей!.. А куда они?

Вдруг она спохватывается.

— Тина, пойдя привези отца домой, уже холодно... Не дай бог схватит воспаление легких... Нам только этого не хватает... К шелудивому псу все болячки липнут...

Выталкивает девочку из-за стола.

— Слышишь, что тебе говорят?.. Привези отца.

Тина берет недоеденный кусок хлеба и, откусывая па ходу, направляется к двери.

Ана снова бьет ложкой по тарелке.

— Отса!.. Отса!..

Сента берет малышку на руки, вытирает ей сопли, которые текут в рот, и крепко целует.

— Что за красавица у меня дочка! Ну что за красавица... А теперь спать! Тина уложит тебя.

Ана не хочет ложиться. Она кричит, дрыгает ножками.

— Нет!.. Нет!..

— В кровать... в кровать...

Тина ввозит в комнату парализованного отца, толкая перед собой кресло.

Хоакин говорит:

— У меня замерзли руки.

— Ну вот!.. К вечеру становится очень холодно... Нечего сказать, весна!

Хоакин потирает руки.

— Есть что-нибудь горяченькое?

— Кофе... Хочешь, я уложу тебя в постель?

Хоакин колотит кулаками по ручкам кресла.

— В постель, в постель!.. Мне осточертела эта постель... Я в пей гнию заживо.

Сента хочет что-то сказать, но не решается. Наконец поворачивается к нему спиной, ставит коврик на плиту и говорит:

— Тогда... тебя уложат дети... Я должна уйти... Возможно, приду поздно... Если подвернется работа...

Андрес смотрит на мать. Смотрит на отца. Мать стоит к нему спиной, слегка склонившись к плите. Отец открывает рот, словно хочет о чем-то спросить, но ничего не говорит. Потирает руки. И вдруг снова начинает колотить по креслу, кусает губы.

Сента говорит:

— Сейчас кофе будет готов... Как бы не выкипел... Я, кажется, слишком много воды налила... Он будет стоять здесь, на плите, если захочешь...

— Ничего я не хочу...

— Ну, хорошо, хорошо... Я говорю, если захочешь, Тина тебе даст.

— У нас ничего нет выпить?

— Еще чего... выпить, выпить... Ты же знаешь, врач сказал, никаких...

— К черту врача! Какое ему до меня дело? Разве он гниет в кресле?

— Он печется о твоём здоровье.

— Пусть держит при себе свои советы... Уж лучше бы я сдох!

Сента закапчивает убирать со стола и ласково проводит рукой по взъерошенным волосам сына.

— Не понимаю, что с тобой такое. Ты ничего не ел...

Андрес сбрасывает руку Сенты и встает из-за стола. Сента пожимает плечами.

— Хм!.. Все вы хороши! У меня и без вас достаточно забот, а вы сами не знаете, чего хотите... Пропади вы все пропадом!

Опа берет малышку на руки. Девочка дрыгает ножками. Плачет. Не хочет ложиться. Сента больно шлепает ее и пссет в постель.

— Может, ты замолчишь?.. Безобразница!.. Кричи, кричи и ты тоже. Я от всех вас с ума сойду... Вот отстегаю тебя так, что попка станет краснее помидора... Безобразница!.. Мне бы давно следовало обратиться отсюда, а я...

Хоакни бьет себя по мертвым погам.

— А я... Хоть бы я сдох!.. Хоть бы меня разорвало на куски! Зачем мне жить?..

Сента кричит из комнаты, где укладывает спать Ану:

— Андрес! Узнай в киоске, нет ли «Пуэбло». Возьми у меня в сумке две песеты.

Тина опережает его. Берет деньги и убегает.

Андрес и отец остаются вдвоем.

Молча смотрят друг на друга. Все, как обычно. Ужин в свое время. Теперь она укладывает девочку. Затем: «Припеси «Пуэбло» отцу». И прежде чем уйти: «Давайте купим радио в рассрочку, это тебя отвлечет. Радио очень развлекает». Вот так. Все в порядке. Все довольны, а? Все довольны. А чем, собственно говоря, им быть недовольными?.. Чем?.. Вам чего-нибудь не хватает? Нет. В чем же дело тогда?.. Тогда остается только молчать и кусать губы...

Хоакни бьет кулаками по своим мертвым погам. Кусает губы. Смотрит на Андреса.

Андрес отворачивается.

Сента выходит из соседней комнаты, снимает с себя клеенчатый передник. Моет руки. От них пахнет жавелем. Сента льет на них темного одеколона и ожесточенно вытирает. Теперь от рук пахнет дешевой парикмахерской. Перед маленьким зеркальцем на стене она красит губы и укладывает волосы.

Хоакни не выдерживает.

— Хороша!.. Хороша!.. Как на картинке.

Сента резко оборачивается к мужу, собираясь что-то сказать. Но время сдерживается. Пожимает плечами. Думает: «Он и так несчастлив. Зачем увеличивать его страдания? Надо терпеть... Другого выхода нет...»

Но выход есть, и она это знает. Она знает также, что никогда не решится поместить его в приют или в больницу.

Уходя, она сталкивается с Тиной, которая бежит с газетой в руках.

— Дай отцу. Поможешь ему лечь в постель. В ковше кофе, если он захочет.

Потом говорит нерешительно:

— Скорее всего, я вернусь поздно.

В дверях оборачивается. Смотрит на Андреса.

— Поешь что-нибудь, сынок. А то будешь на глисту похож.

Андрес упорно продолжает смотреть на клеенку. Он даже не поднимает головы. Но как только Сента выходит из дома, он направляется вслед за пей на некотором расстоянии.

«Шлюха!.. А вдруг это правда?.. Шлюха!..»

Сента идет вразвалку, покачивая своим уже слегка дряблым телом; ноги без чулок едва сохраняют равновесие на высоченных каблуках. Дойдя до площади Прогресса, она замедляет шаг и идет не торопясь, останавливаясь на углах и глядя по сторонам, словно кого-то ждет.

Андрес думает: «Она ждет кого-то... Наверное, это правда...»

Кровь горячей волной приливает к лицу, даже уши Андреса становятся красными.

«А я-то побил его, когда он сказал мне... Врешь, свинья! Это твоя мать!..»

Андрес смотрит на мать, стоящую на краю тротуара под фонарем, льющим на нее мерцающий свет. У матери усталое, но очень привлекательное лицо. Таким его делают томность и безразличие.

Андрес не может понять, что именно вызывает в нем беспокойство. Он смутно чувствует, что ее поведение — возможно, естественное — притягивает мужчин. С минуты на минуту к пей может подойти какой-нибудь мужчина и предложить денег, если она ляжет с ним в постель. И она согласится. Тогда...

Андрес закрывает лицо руками. Он готов расцарапать его в кровь.

«Уличная девка! Уличная девка!..»

Он плачет.

Женщина, проходящая мимо, спрашивает его:

— Ты что плачешь, мальчик? Что-нибудь потерял?

Потерял?.. О да. Потерял. Многое потерял.

Андрес засовывает руки в карманы брюк и идет к матери.

Он теперь не боится, что она его увидит.

Но Сента его не видит. Андрес стоит рядом с ней, по она его не видит. Она смотрит по сторонам, словно ищет кого-то.

Андрес говорит:

— Пойдем домой.

Сента вздрагивает и, обернувшись, видит перед собой сына.

— Ты?.. Что ты здесь делаешь? Какая муха тебя укусила?

Андрес берет ее за руку.

— Пойдем домой.

Сента вырывает руку.

— Но, но! Ты что, спятил?.. Сейчас же иди домой... Сюю минуту. Нечего тебе здесь околачиваться!

Андрес снова берет мать за руку. Просит:

— Пойдем домой!

Сента смотрит на сына.

— Да что с тобой? Что случилось? Не иначе, с тобой что-то случилось...

— Пойдем домой.

— Да, что-то случилось... Что тебе сказали?

Андрес не отвечает. Крепко держит мать за руку. Сента смотрит на него. Глаза мальчика полны слез. Он кусает губы.

— Да что с тобой?.. Отвечай же!

Андрес крепко держит мать за руку.

Она повторяет:

— Да отвечай же...

— Пойдем домой.

Сента выходит из себя:

— Домой, домой! Чего ты ко мне привязался?.. Тебе что-то сказали... Знай я, кто это сделал, я б ему показала... Подумаешь, подвиг! Сказать ребенку... Ей-богу, дала бы в рожу — не будь я Пресентасьон. Уж он бы у меня запомнил... Сказать ребенку...

Сента прижимает голову сына к груди, гладит по взъерошенным волосам. Вдруг резко отталкивает от себя.

— Ну вот что, иди домой... Все это выдумки, понимаешь?.. Выдумки. И зависть. Я зарабатываю двадцать дуро в день и никому ничего не должна. Зависть... А вам, собственно говоря, чего не хватает? Ну, скажи, чего вам не хватает? Зависть, подлая людская зависть... Ну!

Андрес смотрит матери в лицо и спрашивает:

— Что ты здесь делаешь?

— Я?

Сента не знает, что ответить. Колеблется... Подталкивает вперед мальчика.

— Что я здесь делаю? Что я здесь делаю?.. Что за странный вопрос! То же, что и все... Будто я не могу прогуляться по площади... А ну-ка, отправляйся домой и помоги Тине накормить отца ужином и уложить спать. Я скоро вернусь.

Андрес снова вцепляется в руку матери. Сента доходит до угла улицы Месон де Падрес, подталкивая сына перед собой.

— Отправляйся домой... Передай Тине...

Андрес стоит на краю тротуара перед матерью. Сжимает кулаки. Плачет от ярости и говорит:

— Я их убью! Убью каждого, кто к тебе подойдет.

Сента теряет терпение.

— Ну что мне делать с этим сопляком! Убью... убью... Ты что, идиот? А кто тебя содержит? Кто кормит вас всех? Господь бог? Если бы я каждый вечер не приносила домой двадцать дуру...

Но это уже смахивает на признание, и Сента обрывает себя на полуслове, расканиваясь в том, что проговорила.

— Ты же видишь... Я с семи утра мою полы и протираю стекла, а что за это получаю? Гроши! Попробуй-ка содержать на них парализованного мужа и троих детей. Что я, ради удовольствия... Кому это надо... Послушай, Андрес, ты еще ребенок... Когда ты станешь мужчиной... Жизнь... Что ты смыслишь в жизни! Тебе там вбивают в голову всякую ерунду... В этой школе... Вот к чему приводит учеба. Забивают голову всякой ерундой. А потом все видится в розовом свете.

Андрес по опыту знает, что мир совсем не розовый. Во всяком случае, тот мир, в котором он живет. Но он также смутно сознает, что можно жить и без... этого... Живут же другие. Ужасно, что в школе и везде говорят, будто его мать

шлюха. И очень горько, что ей приходится так поступать ради того, чтобы прокормить их и чтобы он мог учиться в школе.

Андрес почти кричит:

— Тогда я не буду больше учиться! Я пойду работать!

— Работать... а тебе не надоест? Интересно, какую работу можешь ты получить в одиннадцать лет... Хотя да, ты же у нас силач! Достаточно посмотреть на тебя! Ты будешь зарабатывать много денег... И возить нас в машине.

Сента пытается шутить, но слезы комом подступают к горлу, ноги дрожат.

«Вот шалопай... Сказать мне такое в лицо... Он хочет работать, чтобы я не... Вот что значит сын!.. Уже совсем взрослый мужчина...»

Вслух она говорит:

— Понимаешь, мальчик, у тебя еще нет опыта... Ты ничего не смыслишь в жизни... Я...

Андрес не слушает ее. Он уже устал говорить: «Пойдем домой». Она не собирается идти. Издевается над ним, называет его силачом. Ничего не поделаешь.

И вдруг он кричит.

— Я убью себя, убью себя!

И сцепившись руками в фонарный столб, начинает колотить по нему кулаками. Затем бросается бежать. Отбежав довольно далеко, он прислоняется к углу дома. Стоит некоторое время в нерешительности и наконец медленно идет, все еще охваченный сомнением.

Сенте приходится почти бежать, чтобы догнать его.

— Андрес!.. Послушай, мальчик, иди домой.

Андрес идет медленно, засунув руки в карманы брюк. Время от времени он оглядывается, чтобы удостовериться в том, что мать следует за ним. Сента озабочена. Андрес идет не к дому.

«Куда отправился этот сопляк? Как бы он чего не натворил...»

У Андреса, без сомнения, одно на уме. Это было видно по тому, с каким упорством он хватал ее за руку и хотел во что бы то ни стало увести с площади.

Теперь она просит его:

— Андрес, с тобой же мать разговаривает... Ну что за ребенок!

Сента боится, что он ответит: «Ну что за мать!» Но Андрес ничего не отвечает. Он продолжает идти, как слепой, на-

тыкаясь на прохожих, подшибая ногой камешки и бумагу, попадающиеся ему на пути.

— Адрес!.. Ты слышишь, Адрес? Ну что за упрямец! Неужели ты думаешь, что я...

Сента подходит к сыну, берет его под руку.

— И что тебе взбрело в голову... Есть же надо, понимаешь, мальчик? Когда в доме паралитик... Ну что ты смыслишь в жизни!

Адрес сбрасывает руку, которую Сента кладет ему на плечо, и продолжает идти. Сенте приходится время от времени бежать, чтобы не отстать от сына.

— Послушай, Адрес... Ты должен выслушать меня... Ну что мне делать с этим парнем! Когда ты станешь мужчиной... Адрес... Слышишь, Адрес? Ну что ты смыслишь в жизни, чтобы... упрекать меня...

Сента снова догоняет его.

— Ты что, думаешь, мне это нравится? Как бы не так! Но я не хочу, чтобы тебя втоптали в грязь... Зачем? Столько унижений из-за какого-то пустяка... Десять добросердечных дам покупают кресло паралитику, а мне одной приходится их благодарить, выслушивать их проповеди и разрешать им все совать свой нос. И то не так, и это не так. Конечно, им-то что... Адрес, слышишь, что я тебе говорю?..

Адрес сворачивает за угол, оставляя без внимания ее слова. Теперь он, кажется, идет к дому.

Сента колеблется. Ей следовало бы вернуться на площадь и попытаться заработать свои двадцать дуру. Или сорок. Иногда даже шестьдесят, если посчастливится. Однажды вечером она заработала пятьсот песет. Как профессиональная проститутка. Из самых шикарных. С Гран-Виа или Бальесты. Мужчинам что-то нравится в пей. Она сама не знает что.

«Неужели я потеряю сегодняшний вечер и ничего не заработаю из-за этого шалопаля?»

Но Адрес ее сын. И, конечно, он ей дорог... Мальчик, кажется, обо всем знает, и ему стыдно за нее.

Сента думает с гордостью: «Это надо же! Уже мужчина... Учится, у него свои дела. Не то, что другие мальчишки... Совсем взрослый... И вдруг ведет себя так глупо. Горе мне с ним! Отец терпит. А этот... Выходит, что мальчик... Как же мне быть? Ребенок остается ребенком... Я-то могу... могу быть и такой и сядой, но сын... По-моему, он слишком все преувеличивает».

Сента снова бежит, догоняя мальчика.

— Видишь ли, Андрес... Послушай, Андрес... Я не хочу... Ты слышишь меня? Да не беги же так! Что ты знаешь о людях?.. Работать!.. Я тебе очень благодарна, сынок, за твое намерение... Но прежде чем работать, ты должен еще съесть много супа.

Она берет его за руку.

— Ты хочешь работать... Думаешь, это легко. Работать! Это не так просто. Сейчас ты схватишься за любое дело. А я хочу, чтобы ты учился. Работать... Вот когда вырастешь... А сейчас дай мне помочь тебе, пока... ты не станешь взрослым... Пока все... Ну, ладно... Почему ты не отвечаешь мне, Андрес? Не будь дурачком! Ты же видишь, твой отец...

— Я не дармоед.

— Что ты говоришь, сынок! Зачем обижать отца! Ведь он не может двигаться.

— Потому-то он и терпит, а у меня две руки, две ноги и завтра... Вот увидишь, завтра...

Андрес вырывается из рук матери и бежит к дому. В дверях он оборачивается и смотрит, идет ли она за ним.

Да, идет. Тогда он входит в дом.

Сента не знает, как ей быть. Делает несколько шагов. Останавливается.

«Вот шалопай!.. Словно я...»

Медленно идет вслед за ним и тоже входит в дом.

Тина играет пустыми катушками, строит из них башню.

Сента говорит:

— Ты еще не уложила отца? А ну-ка, помоги мне...



ВО ВТОРОЙ РАЗ

Хоакин одной рукой упирается в бедро, чтобы сохранить равновесие, другой поднимает вверх лоток с вафлями.

Выкрикивает:

— Вафли!.. Вкусные вафли!..

Он останавливается перед компанией молодых людей, пьющих кофе, но, так и не предложив им вафель, продолжает идти между столиками. Поэты его не интересуют. Они никогда ничего не покупают. Только пьют кофе. А иногда и кофе не берут. Официанты ругают их, потому что они ничего не заказывают.

Он продолжает ходить между столиками, останавливаясь перед влюбленными парочками и сеньорами с детьми. Кричит нараспев, в нос — по его мнению, так должны кричать торговцы:

— Ва-а-афли! Вкусные ва-а-афли!..

Он ставит лоток перед самым носом женщин с детьми. Дети просят вафель, и матери покупают каждому по одной. Мужчины предлагают их своим дамам. Некоторые из дам слишком застенчивы, они отказываются, хотя явно не прочь полакомиться. Хоакин злится на них за то, что они так глупы...

Какая-то девушка берет сразу две вафли и заставляет своего кавалера съесть одну. Она говорит:

— Очень вкусно, правда?.. Хрустящие. И пахнут корицей.

На самом деле никакой корицы в вафлях нет. Хоакин это хорошо знает, потому что их делает его мать. Но это не имеет значения. Ему приятно, что девушка говорит, будто они пахнут корицей. Он снова протягивает ей лоток.

Девушка отстраняет его:

— Иди отсюда, мальчик, не искушай меня... Впрочем, еще одну, а? И уходи... Очень вкусные вафли... Ах, до чего вкусные...

Она берет две вафли. Молодой человек расплывается. Хоакин улыбается девушке. Она ему нравится.

(«Черт побери!.. Будь все девушки такими, как эта, я бы выиг все распродал. А если я не продам вафли, мать мне такой скандал закатит, только держись: «Лентяй, играет с мальчишками вместо того, чтобы торговать!.. Ты уже не маленький, чтобы тратить время на игры... Играет!.. И не надоело тебе?»)

Хоакин подшибает ногой камень, который валяется на дороге, и снова поднимает вверх лоток:

— Ва-а-афли! Вкусные ва-а-афли!

Он очень маленький, и ему приходится вставать на цыпочки, чтобы его заметили.

Хоакина окружают ребятишки, каждый держит в руке песету. Всегда бы так! Семь ребятишек, семь вафель. Он уже продал почти пол-лотка.

(«Скорее бы их сбить!.. Черт бы побрал эти вафли!.. На чаевые я смогу купить билеты вещевой лотереи».)

Ему везет. Иногда он выигрывает кое-какие вещи и продает их сеньору Мануэлю с рынка или же мальчишкам, а на вырученные деньги ходит каждый день в кино и покупает бутерброды с сыром. Если же ему не удастся сбить вафли, мать ругается. И не дает ужина...

(«Лентяй ты, вот кто! Ешь на улице всякую дрянь! Всякую мерзость!.. Как тебе только не противно?.. Посмотри,

какой стал тощий из-за всякой дряни, которую ты ешь на улице, да из-за своих дурных привычек...»)

Хоакин продолжает ходить между столиками, мысли неоступно следуют за ним.

(«Из-за какой дряни, из-за каких дурных привычек?..»)

Хоакин не понимает, что мать имеет в виду под «дурными привычками». Он не курит, не пьет, как другие. Выпить освежающего напитка, когда мучает жажда, — разве это дурная привычка... А может быть, дурная?.. Или съесть бутерброд... А если хочется есть?.. Ну, иногда выкурить сигарету. Так ведь это только потому, что все курят. И он курит, не желая выделяться среди других, а вовсе не потому, что ему нравится.

Вот кино — другое дело. Кино он действительно любит. А может быть, кино тоже дурная привычка?

Он идет между столиками, держа над собой лоток, обходя препятствия. Какой-то толстяк — такой толстый, что кажется, будто его брюхо лежит на столе, — отмахивается от Хоакина, словно от назойливой мухи.

— Черт бы побрал этого мальчишку, не может пройти мимо! Когда наконец исчезнет с террас кафе вся эта шваль... Уходи отсюда, парень, не приставай!.. Сидел бы лучше в школе. Пора правительству заботиться о том, чтобы...

Толстяк захлебывается от негодования. Задыхается. Другой мужчина, не такой толстый, как этот, возражает:

— Он зарабатывает себе па жизнь... Мальчишке, наверно, гораздо больше хочется поиграть с ребятами или же посидеть в кафе, полакомиться мороженым.

Хоакин с благодарностью смотрит на человека, вступившего за него. Он прав. Хоакину очень хотелось бы сидеть за столиком и кушать мороженое, вон как те дети, что с сеньорой в зеленом платье. Но он должен продать все вафли, прежде чем вернется домой.

Жаль, что он помешал толстяку спокойно переваривать пищу, но он совсем не хотел этого. Время от времени какой-нибудь тип в плохом настроении выставляет Хоакина за дверь, сопровождая это не совсем приятными высказываниями. Обычно же вафли покупают и даже дают чаевые. Он должен заниматься своим делом...

— Вкусные ва-а-афли!

Он кричит во весь голос, чтобы его услышали, чтобы дети попросили своих матерей купить вафли. Профессиональные хитрости, которые маленький продавец уже усвоил.

— Ва-а-афли! Вкусные ва-а-афли!

Он идет, упираясь одной рукой в бедро, другой — поддерживая лоток и выставляя напоказ свой товар.

Вдруг какой-то мальчишка, игравший на улице, налетает на Хоакина, и лоток с вафлями падает на землю.

Мальчик хочет попросить прощения у Хоакина. Он нечаянно задел его. Но на них смотрят люди. Мальчик боится, что придет полицейский, задержит его и заставит оплатить навесный убыток. После минутного колебания он бросается бежать и скрывается в толпе прохожих.

Хоакин стоит неподвижно, глядя на лоток. Он не решается поднять его, потому что знает: под ним сломавшиеся на мелкие куски вафли. Он слышал, как они хрустнули, ударившись о землю. Как скорлупа от орехов. Девушка сказала, что они хрустящие. Они такие сухие и такие хрупкие, что, наверно, совсем раскрошились.

Осознав случившееся, Хоакин заплакал. Сначала тихо, от страха и неожиданности... Затем навзрыд, громко сетуя на свое маленькое горе.

Люди смотрят на него. Женщина в зеленом платье сочувствует:

— Подумаешь, герой... Выбил из рук вафли и убежал... Верзила эдакий!.. Тоже мне, подвиг совершил... Что же теперь делать мальчику...

Хоакин чувствует поддержку и плачет еще громче. Грохит кулаками в сторону мальчишки, выбившему у него лоток.

Кричит ему вслед:

— Свинья! Свинья!.. Пес паршивый!.. Вот я тебя поймаю!..

Дети сеньоры в зеленом платье помогают ему поднять лоток и собрать остатки вафель. Они действительно совсем раскрошились. Ни одной целой.

Мать кричит детям:

— Смотрите не вздумайте взять эту гадость в рот, на них микробы... Разве вы не видите, они валялись на земле?.. Бросьте немедленно!..

Она достает из сумки песету и протягивает мальчику.

— На, детка, не плачь... Чего только не бывает в жизни...

Женщина, которая продает лотерейные билеты в кафе, сует руку в карман и достает оттуда маленькую купюру в пять песет. Это одна из тех купюр, которые почти не бывают в обращении. Такая она грязная и засаленная. Женщина протягивает ее мальчику, радуясь возможности отделаться от

этой бумажки. Но мальчику она подойдет. Еще как подойдет! Дуро всегда останется дуρο, хотя бы и грязный, засаленный!..

— На, сынок... Подумаешь, герой... И убежал, хитрец. Не надо плакать, малыш... Может быть, мы сообща соберем тебе нужную сумму... Кто раскошелится, сеньоры?.. Этот мальчик плачет, потому что какой-то трус выбил у него из рук лоток и убежал... Тоже мне, подвиг совершил!..

Женщина говорит громко. Почти кричит. Этот крик — выражение солидарности уличному торговцу: сегодня это случилось с тобой, а завтра может случиться со мной. Надо собрать деньги в пользу мальчика.

Она обходит столики.

— А ну-ка, сеньоры... Этот мальчуган плачет, потому что у него выбили из рук лоток с вафлями, а он должен принести домой деньги... Давайте сообща соберем ему, чтобы мать не ругала... Одна песета ничего не значит для каждого из вас, а мальчик поправит свои дела...

Юноши, которых Хоакин презрительно называет «поэтами» — даже не зная, пишут ли они стихи, но предполагая, что у них нет денег, поскольку они ни разу не купили у него вафель, — тут же откликаются на призыв помочь маленькому горю вафельщика. Кто знает, может быть, у одного из них, а возможно у всех, душа бездомного пса, бедного, свободного, никому не нужного... Их песеты первыми падают на лоток. Пятнадцать человек — пятнадцать песет. Пятнадцать сверкающих, как солнце, песет.

Хоакину они кажутся золотыми. Его мнение о поэтах, никогда не покупавших вафель, сразу меняется.

(«Ну конечно. Зачем мужчинам есть вафли... Они ведь не дети и не женщины».)

Продавщица лотерейных билетов, торгующая во всех кафе Пасео де Реколетос, собирает с божьей помощью девяносто песет. Ее возгласы и просьбы не остались без внимания.

Передником она вытирает Хоакину нос и заплаканные глаза.

— Ну вот, малыш, теперь мать не будет ругаться... Да не плачь ты, как девчонка... Мужчины не плачут... Сколько денег ты должен принести домой?

Хоакин колеблется, прежде чем ответить:

— Пятьдесят песет... За пятьдесят вафель...

— Хм!.. Значит, тебе повезло... Не даром же говорится, нет худа без добра. Представляешь, как удивится мать, когда

увидит столько денег!.. Послушай, а ты, случайно, не с улыбки Толедо?

— Да, сеньора.

— Я же говорю, мне знакомо твоё лицо... На, малыш, отдай своей матери... Видишь, как тебе повезло.

Продавщица лотерейных билетов ласково похлопывает Хоакина и возвращается к столикам на террасе, выкрикивая:

— Счастливым билет!.. Номер 25 412. Прекрасное число... Интересно, кому выпадет удача... Счастливым билет!..

Вчера мне повезло, думает Хоакин. Он снова ходит между столиками кафе, высоко держа лоток с вафлями. Он отдал матери пятьдесят песет, а остальные припрятал в свой кошелек. Здорово повезло! Хорошо бы и сегодня кто-нибудь рассыпал его вафли. Тогда бы ему снова собрали денег...

Хоакин снует между столиками, ловко обходя препятствия. Его худенькая подвижная фигурка безо всяких усилий проскальзывает между людьми. Он заботится только о лотке с вафлями, который высоко несёт на ладони правой руки. левой же опирается в бедро, чтобы лучше сохранить равновесие. Так делают все.

Время от времени Хоакин машинально повторяет:

— Ва-а-афли! Вкусные ва-а-афли!..

И так же машинально останавливается перед женщинами с детьми и перед влюбленными парами, потому что мужчины при своих дамах не решаются отогнать его, как назойливую муху. Он это знает по опыту.

Сегодня Хоакин все делает машинально, потому что его голова, голова девятилетнего мальчишки, занята только одной мыслью: как бы кто-нибудь налетел на лоток с вафлями и уронил его на землю. Эта мысль со вчерашнего дня не выходит у него из головы и все больше и больше завладевает им... Хоакин уже не сомневается в том, что кто-нибудь наткнется на него, и — тррах! — лоток с вафлями — на земле, а деньги — в кармане.

Никто не натывается на Хоакина, зато Хоакин натывается на женщину: очень высокую, белокурую, в черных брюках, в красной кожаной куртке и в высокой, очень пестрой шляпе. Это иностранка, она кого-то ищет в кафе и не заметила мальчишка.

Хоакин говорит ей:

— Эй!.. Вы рассыпали мои вафли... Послушайте... мои вафли... Вы рассыпали мои вафли.

Иностранка пожимает плечами, восклицает:

— О-о-о!

И продолжает идти своей дорогой. Хоакин бежит за иностранкой, плача.

— Мои вафли... Вы рассыпали мои вафли.

Иностранка открывает кошелек и протягивает мальчику монету, предварительно удостоверившись в том, что это пять песет — половина стоимости одной порции кофе на террасе. И продолжает кого-то искать.

Хоакину не хочется плакать, как вчера, когда мальчишка выбил у него из рук лоток и убежал. У него нет никакого желания плакать, но он понимает, что только так может вызвать сочувствие у людей, и вытирает сухие глаза рукавом своей белой курточки.

— Мои вафли... Мать будет ругаться, если я не принесу домой денег за вафли...

Плачет он пехотя, поскольку притворяться не умеет. Плачет, только чтобы привлечь к себе внимание. Какая-то женщина говорит:

— Вот нахалка... Подумаешь, иностранка! Выбила у мальчика лоток с вафлями и ушла как ни в чем не бывало... У нее просто совести нет... Она только о себе думает... Это надо уметь... Ей плевать на других... Мальчишку хоть гром разрази, ей все равно.

Хоакин плачет громче и пачинает собирать остатки вафель, рассыпавшихся по земле.

Какой-то мужчина дает Хоакину две песеты и ласково треплет по волосам:

— Ничего, малыш, не плачь... Мужчины не плачут... Все обойдется. Ты не виноват, мать не станет тебя бить.

Две женщины открывают кошельки и собираются дать мальчику несколько монет.

Но не все выходит так, как хотел бы Хоакин. В кафе сидит вчерашний толстяк с огромным брюхом.

— Вы только взгляните на него!.. Вот мошенник!.. Вы только посмотрите на этого бродягу. Надо же придумать такое... У него будто бы выбивают из рук лоток с вафлями... А когда они падают на землю, он начинает плакать, чтобы люди пожалелись над ним и дали денег... Надо же такое придумать... И почему только правительство не засадит в исправительный дом всех этих мошенников, которые выманывают деньги у людей... В тюрьму их!.. В тюрьму!.. В исправительный дом... Там они живо поумнеют... Это же будущие воры...

Вот так и учатся совершать преступления. Полицейского — вот кого здесь не хватает. Но их никогда нет там, где они нужны.

От крика толстяк багровеет и пьет большими глотками воду из стакана.

У Хоакина дрожат ноги. Дрожит все тело. Теперь он по-настоящему плачет от страха, от горя и подбирает остатки вафель, смешанных с землей.

Его план провалился... Из-за этого толстяка. Хоакин не подумал ни о толстяке, ни о тех, кто вчера принимал участие в сборе денег. Он не подумал о них. Ему казалось, что все так просто: уронить на землю вафли, поплакать немного — и получить деньги...

Девятилетний Хоакин, еще не овладевший искусством вымогать деньги, получает жестокий удар. Слишком жестокий, чтобы спокойно перенести его.

Поскольку толстяк продолжает кричать, призывая на помощь полицейского, который вылавливает на улицах хулиганов и жуликов, Хоакин сбрасывает с лотка сломанные вафли, отряхивает лоток и с достоинством уходит из кафе, вытирая рукавом своей белой курточки слезы и пот, выступивший на лбу.

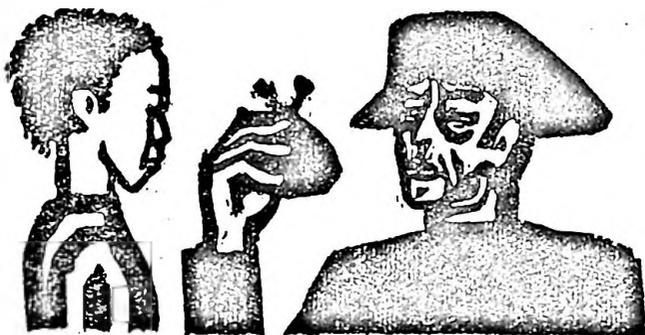
Но стоило ему оказаться в той части проспекта, где его уже не могут увидеть посетители кафе, как шаг его все убыстрится, пока не превращается в бег.

Он уже далеко... Но его беспокоит мысль о полицейском... Ни о чем другом он думать не может.

— Черт возьми! А если они меня схватят... Вдруг меня схватит полицейский... Черт возьми!

Он еще несколько раз возвращается к кафе посмотреть, не преследует ли его кто-нибудь.

Ну и напугали. А казалось, все так просто...



НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Нога Пабло касается какого-то странного предмета. В ту же секунду гаснет свет и начинается фильм.

Пабло ощупывает предмет ногой. Нередко он наступал на что-нибудь и, поскользнувшись, чуть не падал. Но на сей раз это не были ни кожура от апельсина, ни промасленная бумага, ни одежда, упавшая на пол. Это...

(«Кошелек?.. Да, кошелек...»)

Интуиция подсказывает ему, что это именно так.

(«Кошелек... Деньги!..»).

Мало или много, но деньги.

Слабое, едва ощутимое прикосновение, и в детском сознании Пабло Качо — мальчика, торгующего тоффе, конфетами и шоколадным мороженым в самом популярном кинотеатре квартала, — тотчас возникает отчетливое представление о том, что это такое. Не каждый день находишь кошелек. Мо-

жет быть, билетеру, уборщице и везет... Но ему? Вот здорово! С ним такое случается впервые.

И хотя Пабло должен уйти из зала — ему положено уходить, когда гаснет свет, — он еще некоторое время сиует по проходу: от двери к сцене, от сцены к двери до тех пор, пока нога его снова не натывается на странный предмет.

Он наклоняется. Подбирает. И непринужденно кладет кошелек на лоток с товаром. Зрители заняты тем, что рассаживаются по своим местам, поудобнее устраиваются в креслах, чтобы лучше видеть экран, и не замечают его манипуляций.

Пабло, едва сдерживая нетерпение, медленно выходит из зала. Он не должен показывать, что торопится. Иначе его могут заподозрить.

Он вспоминает, как однажды нашел перчатки. Чудесные кожаные перчатки на меху.

(«Они стояли не меньше...»)

Впрочем, Пабло Качо не в состоянии определить, сколько они могли стоить. Он никогда не покупал перчаток. К тому же у него вообще несколько превратное понятие о стоимости. Цена, превышающая сто песет, кажется Пабло баснословной. Он только может предполагать, что перчатки стоят намного больше того, что он зарабатывает за месяц, бегая по залу кинотеатра с четырех дня до часу ночи, предлагая зрителям конфеты, тоффе, шоколадное мороженое и, разумеется, отдавая выручку владельцу холодильника. Пабло не знает, сколько стоят перчатки, он только догадывается, что они очень дорогие, так как все, кто их видел, восклицали: «Вот это перчатки! Просто шик!»

Да и откуда Пабло знать, сколько стоят новые или ношенные перчатки. Об этом могут знать билетер, или кассирша, или тот, кто оставил их себе. Во всяком случае, Пабло их отдал. Он выполнил свой долг и передал их билетеру. Тот сказал: «Ну что ж, оставь, вдруг кто-нибудь потребует». Пабло подумал тогда: «Меня отблагодарят. Всегда благодарят тех, кто возвращает хозяину потерянную вещь. Может, мне дадут дуру? Черт побери!.. Целый дуру!.. Это было бы неплохо».

Но его так и не отблагодарили. Позже он случайно узнал, что перчатки никто не востребовал. Однако кожаные перчатки на меху больше к нему не вернулись. Зато после оправдания и туманных ответов он выслушал длинную проповедь

относительно своей морали и своего не совсем правильного взгляда на собственность.

Теперь он думал:

(«Им я не отдам... Я не хочу, чтобы деньги остались у них».)

Вот почему он кладет ящик с шоколадным мороженым и лоток с конфетами на диван в фойе, входит в уборную и хорошенько запирается изнутри.

Итак, никто не подозревает, почему он там заперся. Ведь он и до этого заходил туда, когда ему было нужно. Прекрасно, теперь он может открыть кошелек и сосчитать деньги... Они наверняка там есть...

(«По меньшей мере три дуρο!.. А может, и пять...»)

Больше. Гораздо больше... Пабло ужасается.

(«Три дуρο, пять... Ну и что?.. Возможно, их не потребуют...»)

Но в кошельке крупные купюры. Таких Пабло никогда в жизни не держал в руках. Он считает дрожащими пальцами.

(«Один... два... три... четыре... пять...»)

Пять купюр по тысяче песет, четыре по сто и кое-какая мелочь.

Пабло прошибает пот... По спине пробегают мурашки. Дело принимает серьезный оборот. Он должен немедленно вернуть деньги.

(«Если бы... несколько песет... Но столько денег!...»)

Пабло ощупывает кошелек, ласково гладит деньги... Но прикосновение к ним ему неприятно. Слишком много денег... Слишком много!

(«Да! Сколько всего можно купить на эти деньги!.. Может быть, квартиру с мебелью, какую я видел в витрине магазина... А может, машину?.. Нет, машина, наверное, дороже квартиры. Квартиры есть у всех... То есть, я хочу сказать, каждый где-то живет. А вот машина... Черт побери! Машина... Би-би-би! Вот это да!..»)

Пабло смотрится в зеркало туалетной комнаты. Поднимает брови. Делает такие же движения, как таксист, который ставит свою машину перед кинотеатром. Ему кажется, что он похож на таксиста. Вот только у таксиста лиловое пятно на левой щеке. Подумаешь!.. У него тоже может появиться такое пятно.

И Пабло Качо уже видит себя с пятном на левой щеке, в серебристой фуражке, сидящим за рулем своего такси.

(«Би-би-би!.. Нет, надо бесшумно. Никаких гудков... Жжжж... Рррр... Машина медленно трогается с места... Эй, болван!.. Куда смотришь?.. Ах ты... такой-сякой! А потом во всем виноват шоферов».)

Пабло резко тормозит воображаемую машину и собирается закурить.

Но кто-то стучит в дверь уборной, возвращая его к действительности.

Пабло прячет кошелек в карман и торопится выйти.

— Ты что, парень! Спятил? Или спал тут?

Пабло с ненавистью смотрит на билетера. Билетер стар. Слегка хромает. Лицо неприветливое. На войне он был сержантом. Участвовал в двух войнах. Сначала в Марроко, когда служил в армии. Потом добровольцем в гражданскую войну. Он любит рассказывать о войне и о своих подвигах, возможно таких же вымышленных, как машина Пабло. Теперь он командует мальчишками, словно генерал солдатами. Ребята его ненавидят, но слушаются. Зрители, которые посещают кинотеатр, тоже недолюбливают его. Он буквально рвет из рук билеты, хотя свет еще горит, а если кто-нибудь без него занимает место, ворчит, требует входной билет и не возвращает до тех пор, пока ему не сунут чаевые.

Пабло не испытывает симпатии к старому билетеру, но его рассказы о войне слушает с интересом.

Сейчас Пабло торопливо и беспрекословно подчиняется ему. Старика с его характером лучше не злить...

Но тот не унимается:

— Эй, парень... А лоток? Где ты его оставил?.. Ты что, с луны свалился?

Но Пабло Качо не свалился с луны. Он витает в облаках. У него более пяти тысяч песет в кармане, и он ошарашен. Пять тысяч песет! Целый капитал по понятиям мальчишки!

(«Надо их отдать... Я должен их отдать... Но только хозяину. Этим типам ни за что!»)

Пабло берет свой ящик. Вешает его на плечо. А лоток с конфетами на шею и направляется к паре, входящей в фойе:

— Шоколадное мороженое!.. Вкусное шоколадное мороженое!.. Конфеты, тоффе!..

Он всегда выкрикивает одно и то же, изо дня в день и всегда одинаково: сначала нараспев, потом все громче и, наконец, жалобно растягивая последнее слово.

Молодые люди торопятся. Сеанс уже начался, и они входят в зал, даже не взглянув на мальчика.

Пабло пожимает плечами. Ничего другого он не ждал. А кричал просто так. Потому что надо.

И тут же снова украдкой шупает кошелек.

(«Он не мой. Ну и что же?.. Почему я должен об этом думать? Не смей брать ни гроша, Пабло. У денег есть хозяин».)

Да, у денег есть хозяин. И теперь от Пабло зависит, упадут ли они снова к нему в руки. Пабло намерен обязательно вернуть их.

И вернет, если, конечно, хозяин объявится. Отдать их, как перчатки, билетеру, швейцару или кассирше не входит в расчеты мальчика.

Пабло бродит по фойе, по коридорам, время от времени раздвигая гардины, чтобы посмотреть какую-нибудь сцену из фильма, который уже видел три или четыре раза. С осторожностью, выглядевшей весьма неосторожной, он то и дело шупает кошелек и думает:

(«Сейчас, в перерыве между сеансами... Если хозяин хватится, спросит... Тогда, конечно... Я буду вглядываться в лица... У какого ряда?.. У середины... Нет, дальше... Почти в первых рядах... Нет, не в первых... Первые три-четыре ряда были пустые... Как же узнать?.. Буду здесь па случай, если кто-нибудь хватится... Станет некать, спрашивать...»)

Теперь другой билетер перебивает его мысли:

— Эй, Пабло! Что с тобой? Ты сам с собой разговариваешь?

Пабло вздрагивает. Он не говорил вслух, но со стороны можно было так подумать. Погруженный в свои мысли, он взволнованно размахивал руками.

— Я?

— Идем, сейчас будет перерыв.

Пабло улыбается билетеру. Басилио молодой, он куда приятнее старика. Иногда он приглашает Пабло пропустить рюмочку. Но и Басилио не внушает мальчику большого доверия. Особенно в таком деле, как это...

(«Нет, я ему не расскажу... Ни за что! А пу-ка, ну-ка!.. Покажи! И оставит кошелек себе... Нет! Уж лучше я сам буду некать...»)

Пабло поправляет ремни на шее и плече и входит в зал. Делает несколько шагов.

(«В середине... справа. А может быть, слева... Кто знает!.. Он мог его выронить при входе или уходя... Ну хорошо, если кто-нибудь...»)

Кто-то окликает Пабло. Он издрагивает.

— Эй, мальчик! Мороженого!..

— А ну-ка!.. Давай!..

— Послушай, мальчик!..

Пабло останавливается возле каждого покупателя. Дает, что просят. Получает деньги.

Каждая монета в его руках напоминает о тех, других. О сокровище, которое лежит в кошельке. Он неосмотрительно сунул кошелек в задний карман брюк и теперь боится, как бы его не украли...

Он думает о том, что кошелек могут украсть у него, будто его собственность, хотя он присвоил этот кошелек, а его настоящий хозяин здесь, в кинотеатре, сидит в одном из кресел и в любой момент может потребовать вернуть деньги.

Но как бы там ни было, пока владелец кошелька не обнаружился, деньги принадлежат ему и он вправе за них опасаться.

(«Этого еще не хватало!»)

Он обходит зал и на каждом шагу опасливо проверяет карман, засовывая туда руку, будто кладет вырученные от продажи деньги.

Время от времени Пабло нараспев выкрикивает, и в голосе его звучит волнение, которого он не может скрыть:

— Шоколадное мороженое!.. Вкусное шоколадное мороженое!.. Тоффе, конфеты...

Если хозяин кошелька захочет что-нибудь купить, он обнаружит пропажу и выдаст себя жестом, мимикой. Тогда Пабло...

Перерыв между фильмами превращается для мальчика в пытку. Его мучает мысль, что могут украсть кошелек или обнаружится хозяин. И он боится этого. По-настоящему боится. Где-то в мозгу притаилась мысль, что он мог бы безо всяких угрызений совести оставить эти деньги себе, если бы умел все устранять, как надо: и в воду влезть, и ног не замочить. Одним словом, собираться вернуть деньги, чтобы совесть была спокойна, однако не усердствуя чрезмерно в поисках хозяина. Именно эта мысль и мешает Пабло думать о том, что ему следовало бы сделать, чтобы вернуть деньги их владельцу.

Впрочем, борьба между чувством и долгом — едва гаснет свет и начинается показ фильма — завершается вдруг простым и удачным решением.

(«Надо же!.. Как я об этом сразу не подумал? Я же

могу подняться в будку и попросить механика, чтобы... до или после фильма он сообщил... что пайден кошелек с... Нет! О кошельке ни слова. Просто что-то найдено и будет возвращено тому, кто докажет, что он хозяин... Да, именно так, и ни слова ни о кошельке, ни о деньгах... Пусть каждый проверит свои карманы... и тогда тот, кто потерял кошелек... непременно обнаружится.)

Да. Именно так. Но мысль эта пришла ему в голову только теперь, когда уже поздно, потому что...

(«Во время следующего перерыва? Но владелец кошелька уже мог уйти... И они... тогда я только и видел кошелек... Они спрячут его, как перчатки, на случай, если хозяин вдруг потребует. А если никто не потребует?... Возьмут деньги себе... Этого еще не хватало... Ни за что!.. Я не отдам кошелек до тех пор, пока не объявится хозяин... Вот если он объявится...»)

Все время, пока идет фильм, Пабло думает, как ему лучше поступить, и ничего не может придумать. Он мог бы сам пойти разузнать, расспросить. Но тогда не замедлят литься другие и отберут у него деньги. (Страх перед этим служит оправданием его тайной мысли.) С другой стороны, возможно, кошелек был потерян во время предыдущего сеанса. В таком случае, хозяин уже нет в зале. Трудно решить, что делать... И все же можно.

И Пабло цепляется за всякую возможность, которая позволяет ему оставить деньги себе и все же не будет распеченена как воровство. Уж он найдет, что с ними делать, лишь бы хозяин не объявился.

Когда Пабло приходит домой, на одной из ближайших церквей бьют часы. Пабло не считает ударов. Он и так знает, что часы пробьют два раза.

Он всегда возвращается в два часа ночи — чуть раньше или чуть позже — один по пустынным улицам. Разве что в субботу попадется пьяный, который громко распевает и разговаривает сам с собой или же просто бредет, шатаясь из стороны в сторону.

Пабло не терпит скорее стать взрослым и тоже папиться. Один-единственный раз. Просто из любопытства. Ему хочется знать, что значит быть пьяным. Отец тоже иногда напивается. Когда удастся подработать. Он говорит, что, когда пьян, ни о чем не думает и очень счастлив. Но Пабло подозревает, что отец жлет. Не раз видел он, как отец, напив-

шись, плакал, а мать туфлей колотила его и называла свиньей. Но так или иначе, Пабло интересно, что испытывает пьяный, когда он забывает — как говорит отец — обо всем на свете...

Теперь, если бы он захотел... Он мог бы напиться... В кармане у него лежат деньги.

Но деньги эти чужие. Он должен их вернуть. Он не может взять из этих денег ни одного сентимо. Вот если хозяин не объявится...

Пабло бесшумно проскальзывает в комнату. Отец спит. Он должен рано вставать. Малыши тоже спят. Пабло называет их малышами, потому что они младше его, потому что они родились позже, совсем забывая о том, что ему самому только тринадцать лет и он еще ребенок. Он не считает себя ребенком, потому что зарабатывает на жизнь. Его получка, когда отец не работает, единственный доход семьи.

С постели доносится усталый голос матери. Усталый, приглушенный, чтобы не разбудить тех, кто спит:

— Пабло... сынок... На плите омлет и кусок хлеба.

Кусочек омлета и кусок хлеба. Обычный ужин. Если он есть, разумеется!.. Каждый день одно и то же меню. На обед похлебка из чечевицы, картошки или фасоли. В редких случаях, и только для отца, маленький кусочек мяса. На ужин омлет из одного яйца на всю семью и картошка.

Обычно Пабло ест с аппетитом. Не ест, а пожирает. Все кажется ему вкусным, потому что он всегда голоден. Но сегодня...

Все изменилось. Пабло богат. У него в кармане много денег. Денег, которые еще не принадлежат ему... Но могут принадлежать... Ему хватило бы...

(«Нет! Я верну их, как только объявится хозяин. Как только он их потребует».)

Пабло нехотя начинает есть совсем остывший кусочек омлета. С деньгами, что у него в кармане, он мог бы есть совсем другие кушанья, те, которые видел в витринах ресторанов и кафетериев и всегда мечтал попробовать, — кушанья, которых никогда в жизни не ел.

(«А почему бы и нет?.. Иметь деньги и ничего не истратить... Хотя бы самую малость. Если хозяин обнаружится и я верну кошелек, вряд ли он будет ругаться, если я немного истрачу... Он мне и сам даст... Я возьму совсем немножечко... Только мелочь. Завтра...»)

Пабло с опаской озирается по сторонам. Комната, где

спят родители и девочки, погружена в темноту и молчание. В соседней, которая служит столовой, спят мальчики. Там тоже темно и тихо. И все же Пабло поворачивается спиной к двери, прежде чем вытащить кошелек и выложить деньги на стол. Если бы они только видели! Что бы они сказали, если бы увидели столько денег?

(«Отец, конечно, отобрал бы их у меня и заявил, что сам будет искать хозяина. И не нашел бы...»)

От этой мысли Пабло становится грустно. Он любит отца, и ему горько сознавать, что... В конце концов, жизнь есть жизнь. Отец неплохой, но только... только не очень щепетилен в некоторых вопросах. Он говорит, что каждый в этом мире что-нибудь крадет и оставляет себе то, что ты случайно нашел, совсем не преступление. Мать тоже так считает. Как-то раз, очень давно, она нашла на рынке корзину, полную продуктов. И сказала, что, если бы обнаружился хозяин, она бы вернула. Но вероятно, хозяин так и не обнаружился, потому что они, дети, прекрасно питались несколько дней. Нет, мать и отец — неплохие люди. Они любят своих детей. И Пабло тоже любит своих родителей. Они... такие же, как все.

Как все?

Пабло чувствует, что это не совсем так. Потому что нельзя оставлять себе то, что принадлежит другому. И он не должен этого делать.

Пабло складывает в кошелек деньги и, завернув его в платок, осторожно сует под подушку, стараясь не разбудить Педро, который спит с ним в одной постели.

Педро не просыпается, и Пабло тоже засыпает, думая о деньгах, которые в конце концов достанутся ему. Тогда... Что тогда?.. Тогда он отдаст их родителям, чтобы они купили побольше еды, одежду для маленьких, мебель. Или что-нибудь еще...

(«А может, лучше машину?»)

Сон уносит Пабло — мальчика, продающего в кинотеатре тоффе, конфеты и шоколадное мороженое, — в собственном такси; на голове у него серебристая фуражка, во рту сигарета. Пабло уже взрослый мужчина. Во сне он путает себя с шофером, который ставит свою машину напротив кинотеатра. Несколько минут Пабло и шофер, шофер и Пабло мелькают, словно два изображения, которые накладываются одно на другое. И наконец, сливаются. И вот уже Пабло ведет свое такси, улыбается, когда мимо проходит женщина и кри-

чит мальчишке: «Эй, парень... Куда смотришь? Ты что, с луны свалился? Еще бы немного... А потом говорят, что шоферы...»

Быстрее. Быстрее. Быстрее. Пабло выжимает скорость...
«...Рррр...»

Педро просыпается. Трясет Пабло:

— Послушай... не толкайся... Ты меня стукнул...

Пабло ласково проводит по взъерошенным волосам младшего брата.

— Тсс!.. Пошел... Спи... Вот увидишь, завтра... Завтра я тебе что-то куплю...

Пабло и Педро снова засыпают. Под подушкой мальчиков, которые уснули, не поужинав досыта, спрятан кошелек, где лежит пять купюр по тысяче песет, четыре по сто и мелочь. Пять тысяч четыреста шестьдесят семь песет и тридцать сентимо.

Уберечь деньги от чужой жадности нетрудно. Труднее — правда, Пабло? — уберечь их от самого себя.

Это очень трудно для мальчика. Каждое утро он гладит деньги, целые и невредимые, и дает себе слово их отдать.

(«Сегодня обязательно... Сегодня я их верну... Но... кому?»)

Четыре дня Пабло наблюдал. Внимательно следил за каждым жестом, каждым движением, каждым словом тех, кто его окружал, ожидая, что кто-нибудь заговорит об этом. Но никто... Никто не обмолвился ни единым словечком... Вероятно, человек, потерявший кошелек, не подозревает, где его обронил. И не думает о кинотеатре... А если он вор? И именно поэтому молчит? Может ли тогда Пабло считать кошелек своим?

Порой ему кажется, что может, что кошелек его. Порой, наоборот, мальчик чувствует себя обязанным сдать кошелек в полицейский участок. В любой. Хотя бы в районный. Где есть, как ему сказали, стол находок. Полиция может дать объявление... Если и после этого хозяин не найдется, деньги вернуться к нему, и он сможет спокойно их тратить.

Проходит два дня, три, четыре. Уже восемь дней кошелек у Пабло, а он все еще не вернул его. Он уже свыкся с тем страхом, который испытывает от того, что прячет кошелек под рубашкой, ощущая его ласковое прикосновение при каждом движении. Как приятно и в то же время жутко держать кошелек под подушкой и трогать его, когда просыпаетесь...

ся. Он думает: «У меня есть деньги». Но тут же должен оговориться: «Но они еще не мои!..»

И вот...

И вот для Пабло стала невыносимой эта находка, которая лишала его сна. Сегодня он решил вернуть кошелек. Он уже знает, где полицейский участок, уже придумал предлог, чтобы выйти из дому пораньше и успеть зайти туда до работы.

Он идет легким шагом. Ему радостно. Да, радостно. Он рад. Счастлив. Он не будет есть досыта. У него не будет машины... или еще чего-нибудь. Оп снова будет беден как церковная крыса, снова будет брать себе несколько сентимо, чайные, прежде чем отдать деньги матери. Но он рад. На душе у него спокойно. Он выиграл сражение, и это позволяет ему чувствовать себя взрослым человеком, отвечающим за свои поступки.

Он ускоряет шаг и насвистывает. Он хочет поскорее дойти до полицейского участка, отделаться от денег и... спать спокойно, с чистой совестью.

В полицейском участке возникают кое-какие трудности. Один часовой... другой... Наконец его отводят к начальнику участка.

Начальник смотрит на Пабло с симпатией.

— Кошелек?.. Молодец парень. С деньгами?

Пабло вытряхивает содержимое кошелька на стол и удовлетворенно восклицает:

— Да! И с большими, сеньор начальник. Смотрите...

— Похвально, похвально, молодец, что пришел к нам. Ты хороший парень. Где ты их нашел?

— В кинотеатре, где работаю,— отвечает Пабло как взрослый.

— Когда?

Пабло колеблется:

— Дней...

Пабло не умеет врать. Он не должен врать. Он же честно принес их в участок. Так зачем ему обманывать начальника?

— Думаю, дней восемь тому назад.

— И ты никого не спросил?.. Не искал хозяина?..

Пабло хочет объяснить, по путается, говорит что-то бесвязное. Начальник смотрит на него. Пабло краснеет.

Что такое? Почему?

Начальник смотрит на него с любопытством. В чем дело, почему мальчик испугался, почему молчит, ведь сначала он был так решителен?

— Ты взял деньги из кошелька, не так ли? Ты украл, а теперь боишься...

— Нет! Нет, сеньор начальник. Я ничего не крал. Клянусь вам. Я не взял ни гроша. Клянусь вам.

Теперь начальник смотрит на него сурово.

— Тогда почему ты не принес его сразу?

Почему?

Бог мой! Почему?.. Как Пабло может рассказать начальнику о своих колебаниях, сомнениях, своей затаенной надежде, которую, сам того не подозревая, с таким трудом сумел побороть? Разве придет начальнику мысль, что перед ним стоит маленький герой, который выиграл самое трудное в своей жизни сражение, ведь начальник об этом и не догадывается.

Жестокый, непреклонный старик, привыкший иметь дело с преступниками, выпытывает у Пабло:

— Я хочу знать правду! Правду!

А у мальчика нет другой правды, кроме той, что он сказал. Вот его правда.

Он повторяет испуганно:

— Я боялся, что у меня их отберут...

И так как против Пабло нет никаких улик, на него заводят карточку и отпускают. Когда выяснится, ему сообщат.

Пабло выходит на улицу слегка ошеломленный. Ему горько от свершившейся несправедливости. Несправедливости, в которой никто не повинен. Уж такова жизнь. Возможно, если бы он оставил деньги себе, ему не пришлось бы ни перед кем оправдываться. Но тогда...

Пабло подпибает ногой камень, который отлетает далеко в сторону. Гладит блестящий кузов автомобиля, стоящего у тротуара. Вытирает рукавом мокрый нос и засовывает руки в карманы.

И очень тихо, почти про себя, говорит:

— Но тогда...



ПОЛУЧКА

— Мама, вот моя получка! — голос парня звучал глухо и нетерпеливо, как и все голоса, которые только они могли слушать и понимать.

— Вот получка, возьмите, мама, — повторил он и протянул руку — его грязные после работы пальцы держали темно-зеленый конверт.

Женщина посмотрела на сына, у нее на лице застыла почти бессмысленная улыбка.

— Ах да, получка... А я и забыла, что сегодня суббота.

Она сказала это почти шепотом, боясь, что он почувствует фальшь в ее голосе. Она лгала, и оба знали это. Все утро, с самой зари она ни на минуту не забывала о том, что сегодня суббота. И он тоже уже не раз представлял себе, как это произойдет.

Вот они стоят друг перед другом. Между ними плотная стена, непреодолимая преграда из тайных мыслей, что посто-

янно томили их. Словно актеры, они разыгрывали сцену, которую уже столько раз переживали в своем воображении. «Когда-нибудь он принесет мне получку»,— столько раз думала мать. «Настанет день, и я принесу ей получку»,— столько раз думал сын.

— Ну возьмите же, мама.

Женщина положила на черный лист жести около плиты топор и доски — когда он пришел, она колола дрова для растопки. Неловко вытерев руки о фартук, взяла конверт, их пальцы коснулись друг друга.

— Его пужно открыть, мама, там скрепка.

Сгорбившись, тяжело ступая, женщина подошла к кухонному столику и села. Положив конверт и опустив голову, она пристально смотрела на этот бумажный пакет, похожий на маленького живого зверька. Скоро с него снимут шкурку, выпотрошат, вынут кости и положат в кастрюлю.

— Ну откройте же конверт, мама,— поторопил сын.

Видя, что она ушла в свои мысли и не слышит его, он прошелся по комнате. Потом снял рубашку и бросил ее на пол около старой, выщербленной раковины. Открыв кран, он искоса взглянул на мать, и тайная радость засветилась в его глазах. Женщина чувствовала, что сын стоит к ней спиной, ее пальцы ожили и теперь пытались открыть так, чтобы не повредить содержимого, этот толстый конверт, который жег ей руки.

У нее за спиной раздался голос сына:

— Он запечатан. Открывайте, не бойтесь. Только осторожно со скрепкой. Служащий в конторе говорит мне: «Распишись здесь, пересчитай деньги и забирай жалованье». Ну, я и взял конверт...

Было слышно, как из крана монотонно льется вода, ударяясь о каменную, всю в промоинах раковину.

— Расписался, где надо, и взял конверт, не распечатывая. Если бы вы только видели, где мы расписываемся! Огромная книга, бечевками к ней привязано несколько карандашей. Другие сразу открывают свой конверт. Кассир мне говорит: «Распишись и пересчитай деньги». А я ему: «Ведь здесь все, что положено, правда? Так зачем же открывать?» — «Знаешь, дорогой, ошибиться всякий может,— отвечает он.— А вдруг я тебе положил меньше или больше, чем надо?» А я ему в ответ: «Да ладно! Была не была!» Он смеется. Знаете, мама, мне так хотелось принести вам нераспечатанный конверт. Есть такие, что прямо у кассы вытаскивают

всю мелочь. Прячутся один от другого, отворачиваются, будто им стыдно смотреть в глаза друг другу. А некоторых тут же поджидают жены с детьми, чтобы взять деньги — и поскорее домой...

Конверт дрожит в потрескавшихся пальцах, время безжалостно обошлось с ними. Даже скрепка, соединяющая края конверта, кольнула их, будто птичий клювик. Выступила капелька крови. А вот и деньги. Сверху бумажки, а на дне — тяжелые монеты. Она встряхнула конверт, и на деревянном столе оказались две монеты по пять дуру, три песеты и одна монета в десять сентимо. Раз, два, три билета по сто, одна, две монеты по пять дуру, одна, две, три песеты и одна монета в десять сентимо. Раз, два, три билета по сто, одна, две, три песеты...

— Я был у кассы чуть ли не первым. Решил про себя: «В первую субботу приду домой пораньше».

Вода ласково струилась по его лицу и шее. Взяв полотенце и повернувшись к матери, он испугался, увидев ее.

— Мама, что с вами? Что случилось?

Руки женщины безжизненно упали вдоль тела, и, глядя на деньги, лежавшие в подоле, она качала головой.

— Мама, ну что вы, нельзя так...

Она подняла руку и краем фартука вытерла глаза.

Чтобы не смущать ее, он отвернулся и стал растирать себя полотенцем.

— Сынок, ведь сегодня суббота... Я просто не знаю, что со мной... Первая суббота...

Слезы не давали ей говорить.

Он прошел в смежную с кухней комнату и начал искать в шкафу чистую сорочку.

Мать снова взяла деньги и положила их на стол. Когда сын вернулся на кухню, она поднялась из-за стола и, указав на деньги, сказала:

— Здесь триста пятьдесят три...

— Столько же написано на конверте, мама, триста пятьдесят три песеты и десять сентимо.

Слова они стояли друг перед другом и молчали.

— Сынок, ты мне должен сказать...

И снова те же взволнованные слова. В них робость и страх, которые всегда овладевают бедняками, если им придется говорить о заработанных в поте лица грошах.

— О чем вы, мама?

— Скажи мне, сколько ты хочешь взять себе? Здесь есть

и твоя часть, на то ты и работаешь, а другая — на общие расходы.

Он начал нервно застегивать рубашку, стараясь не смотреть ей в глаза. Он часто думал об этом, эта мысль преследовала его утром и вечером, когда он шел на работу и по дороге домой. И сегодня, когда он возвращался с первой получкой в кармане, он думал о том же.

— Мне ничего не надо, мама. Как-нибудь обойдусь.

Женщина стала возражать. Она догадывалась, что он был бы не прочь получить часть денег. И он догадывался, что она знает, о чем он думает. Глубокая жалость друг к другу внезапно охватила обоих. Деньги лежали перед ними на столе, а они стояли, смотрели друг на друга, и сердца их сжимались от жалости друг к другу. Получка лежала на столе: одна, две, три сотни...

— Сынок, ты имеешь право на свою часть. На личные расходы. Я дам тебе сколько скажешь.

— Как хотите, мама.

— Сколько, сынок?

Он молчал, будто воды набрал в рот.

Мать взяла деньги. Глаза сына с тайным стыдом следили за ее движениями.

— Вот, сынок, возьми. Это тебе. На расходы. Хватит?

— Да, мама, — еле слышно ответил сын.

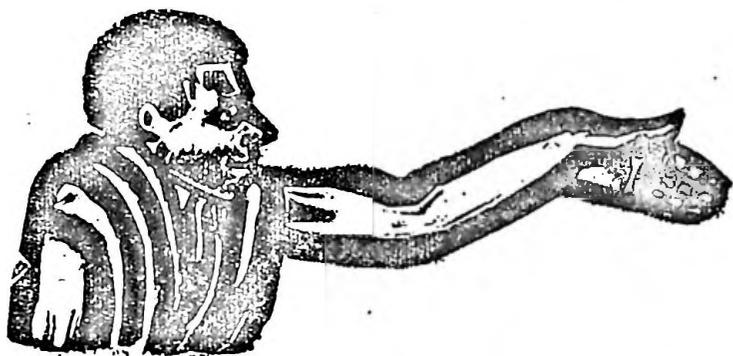
Вечерело. Пора было зажигать свет. Клочок неба над их улицей, к счастью не закрытый домами, постепенно темнел. Была суббота. В день получки в душах людей, живущих в этих кварталах, рождалось прекрасное чувство солидарности.

Мать сняла с гвоздя сумку и собралась уходить. В комнате сын кончал одеваться.

— Сынок, я иду в магазин, надо успеть до закрытия. Тебе купить что-нибудь?

Он сказал, что не надо, пусть купит что-нибудь на ужин для всех.

«Вот и мужчина в доме. Куплю-ка еще бутылку вина», — решила женщина.



ОЖОГ

Было уже далеко за полдень, а Лауро и Андрес продолжали работать у печи. Каждые пять-шесть минут они открывали железную дверцу и заглядывали внутрь раскаленной докрасна ослепительной пасты, где обжигались тарелки и ковши. Посуда висела на длинной жерди, которую лизали языки пламени.

У мастера Лауро худое лицо всегда голодного человека со множеством морщин вокруг рта. Он почти все время работает молча, лишь изредка бормочет что-то хриплым голосом, ни к кому не обращаясь.

Пока обжигаются тарелки, Андрес рассматривает еще недавно светлую, а теперь почерневшую рубашку Лауро. Она с короткими рукавами, надета поверх брюк, на ней потеки пота, и с каждым днем недели их все больше. Андрес научился отсчитывать время по многим приметам, и по этим потечкам тоже.

Каждый вечер Андреса одолевают одни и те же мысли. Дни бегут, а мысли прежние, тоже слегка отдающие запахом пота. В понедельник он думает о воскресном вечере, когда можно потанцевать и выпить сидра в кабачке «Эль рачико». Туда любят заходить полудночники. В кабачке играет славный оркестрик из четырех музыкантов, поющих под собственный аккомпанемент. Обычно, когда музыканты кончают играть, начинается потасовка.

По субботам Лауро думает о воскресенье, а по пятницам — о субботней получке.

В доме, где он живет, случаются драки, порой слышится ругань. Напившись, мужчины избивают жен. Женщины бранятся, когда мужа приносят свою жалкую получку. Андрес привык видеть в своем квартале беременных женщин и босых нечесаных ребятишек. Постепенно сердце Андреса твердеет, словно раскаленная глиняная посуда. Порой, стоя у печи, Лауро разводит руками и сам себя спрашивает:

— До каких же пор терпеть все это?

Во время работы они съедают принесенные из дому завтраки, потом зовут водовоза и пьют из большого глиняного кувшина. Водовоз объезжает гончарные цехи два-три раза за ночь.

— Пора,— говорит Лауро.

Он открывает печную дверцу и вытягивает жердь с обожженной посудой. Тарелки и ковши переливаются и блестят, словно их только что обмакнули в кровь.

Андрес ставит посуду в ряд на подставки. Остынув, она меняет свой цвет.

— Последняя партия! — радостно говорит Лауро. Работа подходит к концу. Те, что скоро придут, будут работать уже в утреннюю смену.

На перекладине висит новая партия посуды. Резким толчком Лауро закрывает железную дверцу. И опять оба ждут. Андрес садится.

Из глубины зала какой-то рабочий попросил воды.

Андрес устал, болят ноги в альпартатах, глаза слипаются.

— Что с тобой? — спрашивает Лауро.

— Да так, ничего,— отвечает Андрес.

Ожоги случаются, если прикоснешься к раскаленной посуде, что висит на первом крюке у самой дверцы. Достаточно приблизить руку к пышущей жаром глине, и кожа начинает дымиться, а потом сморщивается, словно посуда до обжига.

— Лауро, покажи,

Лауро приготовился открыть дверцу. Он оборачивается и спрашивает:

— Что?

— Твой ожог.

Они посмотрели друг на друга. В глазах Андреса страх. В глазах Лауро усмешка и сострадание. «Он как глина — его надо обжечь», — думает Лауро.

— Хочешь попробовать?

Ожоги бывают легкие и тяжелые. Все зависит от того, сколько дней хочет отдохнуть рабочий. У некоторых все тело покрыто шрамами. На фабрике, где стоят десять гончарных печей, среди рабочих есть и такие, как Андрес. Они еще не пробовали огня.

— Покажи, — повторил Андрес.

Лауро подходит к Андресу и поднимает рубаху. Шрам сле заметен. Начинаясь у шеи, он прячется в волосах на груди.

— Тогда мне дали освобождение на целый месяц, — сказал Лауро.

Опустив рубаху, он опять подошел к печи. Андрес обхватил руками голову.

— Я боюсь, боюсь, — простонал он.

Парень был в отчаянии, один его вид вызывал жалость. Лауро понимал, что сейчас на душе у напарника: страх и тоска. Он хочет обжечься, но не может побороть слабость, охватившую его.

— Ну как? Решился? Только пужно быть осторожным.

В печи обжигается последняя партия посуды, скоро конец их смене.

— Тебе тогда было очень больно? — спрашивает Андрес.

Лауро пожимает плечами.

Наконец Андрес говорит:

— Давай!

— Сейчас?

— Да.

Лауро подошел к печи, дернул ручку. Дверца открылась, пахнуло жаром, послышалось шипение испаряющейся влаги.

— Где ты хочешь? — спросил Лауро, стоя спиной к товарищу.

Андрес медлил.

— Что тебе обжечь?

— Руку.

Лауро повернулся к Андресу. Тот все еще сидел. Наконец он протянул руку.

— Подожди немного, — сказал Лауро.

Он вынул из печи посуду и установил ее на подставки. Потом снял с жерди самый тонкий крюк. Андрес закрыл глаза.

— Только не очень сильно, — прошептал он.

Лауро увидел его гладкую белую кожу. Пальцы судорожно сжимали колено. Раскаленной глиной Лауро коснулся кожи. Послышался легкий звук, напоминающий звук поцелуя. Андрес вздрогнул и подпрыгнул от боли.

— Готово, — сказал Лауро.

Запахло паленым мясом.

Когда утром Андрес возвращался к себе в предместье, шаги его были легкими, как никогда. Кожу жгло, но он оставил рапу открытой, чтобы утренние лучи еще больше раскалили ее. Он подсчитывал, сколько дней сможет отдохнуть, и готов был целовать почерневшие края раны. Андрес уже видел, как он лежит на солнце, разговаривает с людьми, не боясь опоздать на работу. Он свободен! А вечером из своего окна он будет смотреть на багровые отсветы фабричных печей.

Теперь он мужчина. Его не сломить.



В ПОИСКАХ РАБОТЫ

Молодой человек чувствовал себя совершенно разбитым, никому не пужным. Одевшись, он сел на край койки и погрузился в горькие мысли. Через окно в комнату пробивался утренний свет. Постель была не убрана, в беспорядке разбросанные одеяло и простыни еще хранили тепло человеческого тела. Проснувшись, он хотел было, повинувшись привычке, застлать постель — ему казалось, что так его пребывание здесь будет менее заметно. Он не знал, что делать. Поза, в которой он сидел, повернувшись к окну, с низко опущенной головой, выражала полную безнадежность.

Он проснулся рано, когда было еще совсем темно, задолго до протяжных и настойчивых фабричных гудков, и все те же мысли снова овладели им. Он без работы, без денег, совсем один и никому не нужен.

Положив руки на колени, он смотрел на них не отрываясь. Твердил про себя: «Они тоже никому не нужны».

В городе не было работы. Все двери перед ним закрывались. Он обошел все стройки, обил пороги у всех начальников. Все было бесполезно. На крупных загородных стройках ему тоже отказывали. Повсюду он слышал только «нет». «Все бригады уже укомплектованы», — объяснил ему начальник при галстукке. Он и сам видел, что рабочие уже ровняли землю, рыли котлован для фундамента, собирали металлические каркасы. «Как бы я хотел оказаться на месте кого-нибудь из них», — думал он. Но для него места не находилось. Нигде. Устав от постоянных поисков работы, он заглядывал иногда в пивную. Но вино казалось ему горьким. Вечером он отправлялся по кабакам, где обменивались новостями хмурые рабочие. И здесь утешения не находил. Всякий раз, подходя к компании, сидевшей за бутылкой вина, он слышал одно и то же: «Да, плохо наше дело». От этих слов у него темнело в глазах. Он старался обходиться без ужина и ложился спать, охваченный постоянно растущим страхом.

Рядом с ним на кровати лежал небольшой вещевой мешок. Хлопчатобумажная спецовка, рубаша цвета хаки, альпартаты, нижнее белье — вот и все, что в нем было.

Сегодня он одевался долго, словно каждое движение давалось ему с трудом. Мысль о том, что нужно сообщить хозяйке о своем отъезде, пугала его. Все эти дни он спал в своей комнате на теплой постели, над головой у него была крыша. И каждый вечер он пересчитывал оставшиеся гроши.

В городе не нашлось для него работы. Все до последнего места были заняты. На стройках не нуждались в рабочей силе. Он побывал даже в городском порту, где на причале стояли небольшие торговые суда. «Есть разрешение работать на корабле?» — спросили его. Ни о каком разрешении он понятия не имел. Он думал, что достаточно предложить свои услуги — и тебя сразу наймут.

Он посмотрел на дверь. Дверь выходила во двор. А от туда можно было попасть на улицу. Надо было только отодвинуть засов и бесшумно проскользнуть. Наверняка его никто не заметит. А уж потом вряд ли удастся его отыскать. Он кивнул головой, словно подтверждая мелькнувшую мысль. Он долго сидел неподвижно и озяб, опять захотелось нырнуть в постель.

Скитания по городу в поисках работы подточили его силы. Одиночество несладко. Ходит человек из одного места в другое, а его единственный друг и попутчик — усталость. Когда

тучи собираются над твоей головой, рядом должна быть живая душа. Общее дело сближает людей, рождает дружбу. Работа — лучший товарищ, есть работа — есть друзья. Человек без работы чувствует себя униженным. Стакан вина и тот кажется взятым в долг. А руки болтаются без дела, и никакой от них пользы.

Но он никуда не ушел. Взяв мешок с одеждой, он встал с постели, постучал в дверь, выходящую в коридор, и позвал:

— Хозяйка, а хозяйка!

В городе тем временем уже кипела работа. Воздух разрывал металлический скрежет машин и механизмов. Он не утихнет теперь до самого вечера. Поминутно будет доноситься то грохот мотора, то шум едущего грузовика, то стук кирки, грохот бульдозера, словом, могучее дыхание труда.

Однажды вечером в полном отчаянии он решил вернуться домой. В памяти воскресли родные голоса. Как там отец? Как мать? Братья? Чем-то они теперь заняты? Что сказали бы ему? Что у них на обед? Как им работается? Но он вовремя взял себя в руки. Настоящий мужчина должен прокормить хотя бы себя. Одним ртом в доме меньше — лишний кусок для семьи. Он заглушил в себе голоса близких. Он мог бы позволить себе думать о них, если бы у него была работа. Каждый взмах кирки приближал бы его к родному дому. Удар! Это для матери. Опять удар! Это для отца. Еще удар! Это для Томаса. Удар!.. Опять удар!.. Еще удар!..

Вошла заспанная хозяйка.

— Ты звал меня?

— Я решил уехать, — сказал он через силу.

— Уже?

Ему вдруг стало стыдно.

— Да. Я не сумел найти работу...

Они стояли друг против друга. Пахло затхлостью, потом, вшицей.

— Ну что ж, — сказала женщина сухо, — с тебя за семь дней.

Семь дней. Как быстро они пролетели. Он считал каждый час, каждую минуту, но, когда нет работы, время бежит незаметно.

Он положил мешок на постель и вытащил из кармана аккуратно сложенные деньги: четыре бумажные ассигнации по одному дуру и несколько песет.

— Вот все, что у меня осталось! — сказал он, протягивая ей деньги.

В комнате стало совсем светло, наступал день; дождь, смочивший за ночь крыши и землю, прошел.

— С тебя за семь дней, Хуан. Ты слышал?

Наступила гнетущая тишина. Они по-прежнему стояли друг против друга, и он протягивал ей свои жалкие гроши. Вдруг хозяйка сказала:

— Вчера я слышала, что в соседнем городке можно пасться. Там строят туннель и дают работу всем, кто приезжает.

Он опустил на койку и закрыл лицо руками.

— Там строят туннель, и нужны рабочие. Для каждого найдется дело. Я узнала об этом вчера.

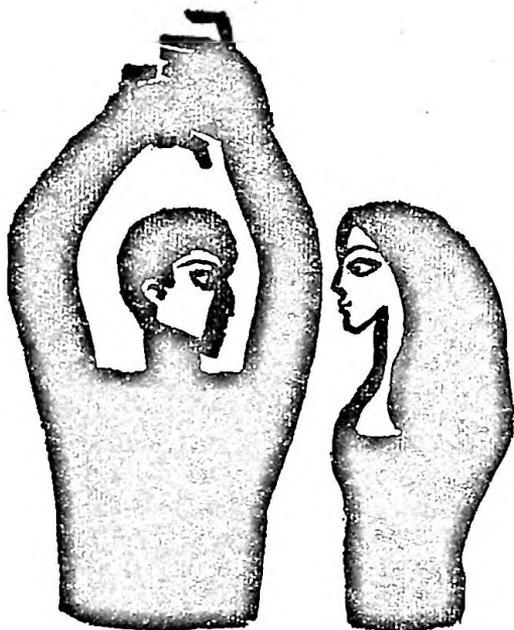
Ему было так хорошо спать на этой кровати. Пока он засыпал, из открытых окон до него доносились голоса людей, сидящих за ужином. Иногда он слышал пенне, перебранку пьяных.

— Я заплачу вам за все. Мне у вас было очень хорошо. Обещаю расплатиться, как только получу жалованье.

Он мог бы добавить: «Я и работаю только затем, чтобы платить».

Но промолчал. Ему было стыдно. А словами тут не поможешь. Уж лучше молчать. Чтобы отвечать, настоящий мужчина должен работать. Своей работой он и отвечает. Хозяйка продолжала стоять, он сидел на постели.

Значит, поблизости роют туннель. Билет на поезд стоит шестнадцать песет. Там нужны рабочие руки. Всякому, кто умеет держать лопату или кирку, найдется дело.



ПРАЗДНИК

Посреди необъятной равнины деревня кажется крохотным пятнышком. Чтобы добраться до нее, нужно долго ехать по шоссе, через выжженную степь. К селению ведет дорога, напоминающая скрюченную, высохшую на солнце колючку. Камни, глина, два-три десятка приземистых домишек. У некоторых — скотные дворы, по вечерам их окутывают теплые испарения от овец.

Руфо приготовился к празднику. На нем сапоги, полосатая рубашка и вельветовая куртка. Как и у всех мужчины деревни, в его глазах застыло выражение обреченности.

У них у всех здесь худые тела, почти черная от загара кожа, искривленные фигуры, похожие на засохшие тополя. Они или возьтятся в поле, согнувшись над землей, или сидят дома.

Любопытные старухи часто украдкой посматривают через окна на улицу. Но там никогда ничего не происходит.

Люди редко говорят друг с другом. Уже издали видны их фигуры в поле. Они словно вросли в землю, орошая ее своим потом.

Бывают урожайные годы, бывают неурожайные. Дождливые дни сменяются засушливыми. По ним здесь и ведут счет времени.

Насвистывая, Руфо одевался. Потянуло предрассветной сыростью. Парень посмотрел в окно. Тем временем женщины в доме тоже проснулись. Укутавшись потеплее, они как призраки двигались по комнате, хлопотали у очага. Снаружи разорвалась первая хлопущка, и сердце Руфо бешено заколотилось. Его так и потянуло туда, на улицу. Руфо любил этот праздник.

Некоторые уезжают отсюда в другие места, в город и больше не возвращаются.

Женщины, едва состарятся, начинают каждый вечер ходить в церковь, такую же приземистую и обмазанную глиной, как и остальные домишки в деревне. Готовятся к смерти.

А Руфо чувствовал, как кровь в нем играет, точно соки в молодом побеге. Он молод. Он может возделывать землю, может построить дом, умеет держать в руках нож. Руфо твердо решил остаться здесь, на родной земле.

Октавия тоже приготовилась к празднику. Только раз в году и можно потанцевать. Чаще не велит священник. Девушка встала с постели, провела руками по ногам, бедрам, по упругим, налитым, как два спелых плода, грудям. От звука первой хлопущки ее сердце тоже бешено заколотилось. Октавия вспомнила Руфо и вся вздрогнула, словно от удара хлыстом. Праздник. Всего раз в году.

За несколько месяцев до родов женщина перестает выходить в поле. Она ждет. Наконец в деревенской тишине раздастся ее крик. Все поднимают глаза к небу и думают: «Ну вот, слава богу, еще один человек появился на свет».

Разорвалось еще несколько хлопущек. Праздник вступает в свои права. Все в деревне проснулось. По улицам с криками пробегают несколько весельчаков. У одного из них в руках пучок соломы с порохом, который они потом будут поджигать.

Старики и больные, которые еще могут двигаться, гоняют с поля грачей. Птицы прилетают из тополиной рощи, где вьют гнезда. Почти касаясь земли, они проносятся над зеленеющими всходами и, кажется, сейчас сольются с собственной тенью. Раздаются пенстовые удары по пустым банкам и бу-

тылкам, и грачи, почти не двигая крыльями, улетают. Они пронзительно кричат, словно жалуясь на свою участь.

Праздник. Один раз в году. И раз в году сюда приезжают правительственные чиновники, чтобы выдать ссуду деревенским беднякам. В этой деревне ссуду получают все. Крестьяне выходят на площадь, пьют вино, кричат: «Да здравствует губернатор!»

Руфо, как и остальные мужчины деревни, начал пить с утра. И чем чаще он прикладывался к глиняному кувшину, тем сильнее Октавия овладевала его воображением. «Сегодня праздник, — говорил он себе. — Сегодня Октавия».

В церкви Октавия готовится к молитве, а сама думает о Руфо. Даже здесь все полно им. И только он примиряет ее с этой землей, с этой церковью, с призраками, которые ее окружают.

Священник решил отслужить мессу пораньше. Он знает, что, молясь, крестьяне думают не о боге, а об урожае. Выпадают дожди, случается урожайный год — бог есть. Нет дождя — и бога нет.

Прихожане собрались в церкви. У входа разорвалось еще несколько хлопшек.

Когда в здешней семье появляются дети, родители еще больше срастаются с землей. Чем больше сыновей у женщины, тем больше ее чтят.

Священник бросил взгляд на улицу. Ясное небо и прохладное утро предвещали плохую погоду. Он обрадовался: «Хоть грешить будут меньше».

Никто здесь не знает, что делается в душе соседа, разумен ли он или одержим. Как-то раз парень по имени Апсельмо зарезал десять спящих овец. Его избили и с тех пор зовут Бешеный.

Другой деревенский житель, Мигель, тоже проснулся сегодня на рассвете, оттого что разорвалась хлопшка. Вынув из-под матраса измятый бумажник, он пересчитал его содержимое. Потом передал деньги жене и сказал:

— Теперь уж немного праздников нам осталось здесь встретить.

— Хоть бы поскорей, о господи! — ответила жена.

Крестьянин по имени Абилио, услышав треск хлопшек, заметил:

— Вот так хорошо бы и грачей подорвать!

Руфо был на воспой службе. Октавия его ждала.

Некоторые деревенские девушки панялись в дома к богатым сеньорам, да так там и остались. А теперь о них ходит дурная слава.

Алькальд тоже вышел из дому и направился к церкви. Он, как всегда, в трауре. Это избавляет его от необходимости приглашать по праздникам местного жандарма и его жену.

В каждом доме под полом вырыта глубокая яма, ее наполняют соломой, которую потом поджигают. Так здешние крестьяне обогревают свое жилище.

Девушки тоже вышли на улицу. Все они думают о своих возлюбленных.

Теперь на узких грязных улочках — вся деревня. А те, кто в церкви, преклонили колена.

— Спаси нас, боже, спаси нас, боже... — тянет священник.

— Спаси нас, боже, спаси нас, боже... — вторят ему прихожане.

Руфо не сводил глаз с широкой спины и плечей Октавии.

Было уже за полдень. На улицах звенели молодые голоса.

— Пошли на танцы!

— Начинаются тапцы!

На праздник пришли крестьяне из соседних сел Пералес и Арройомуэрто.

Танцуют под навесом самого большого скотного двора. Трое музыкантов, расположившись полукругом, сидят, окруженные деревенскими парнями. Внизу — загон для овец. Здесь тепло по сравнению с глинобитными крестьянскими лачугами. Под навес можно подняться по небольшой, специально приставленной по этому случаю лесенке. У входа слышатся шутки парней и девушек, гуськом они проходят к деревянной лесенке и поднимаются по ней, хватаясь за перекладины. Среди молодежи иногда мелькает лицо старухи, забредшей сюда из любопытства.

Музыкантов трое. Один из них, аккордеонист, слепой. Все уже поднялись наверх, и кто-то крикнул:

— Музыка!

И музыканты, устроившись немного поодаль, на деревянном возвышении, начинают играть. Несколько пар танцуют. Остальные смотрят. Из карманов вельветовых курток уже извлечены бутылки с вином. Парни угощают девушек печеньем «Испанское безе» с прилипшей к нему бумагой. Под ногами танцующих клубится пыль. Шарканье ног по деревянному настилу составляет своеобразный аккомпанемент рит-

му музыки. Сейчас танцуют «Белолобую овечку», следующим заказано болеро «Купидон».

А в деревенском кабачке четверо крестьян сидят за картами.

На скотном дворе — шум, слышатся шутки, смех. Единственная электрическая лампочка, которую ввинтили установщики праздника, вдруг замигала. Уже год как в деревне провели электричество. Приезжали несколько техников и какой-то политический деятель, который по этому поводу произнес речь. Когда свет погас совсем, отовсюду послышались одобрительные возгласы танцующих.

Зажгли свечи. Лица музыкантов опухли и покраснели. Их угощают вином.

На площадке тесно, негде яблоку упасть. В полумраке пары все плотнее прижимаются друг к другу. Они тяжело дышат, возбужденные запахом разгоряченных тел. Единственный в году праздник!

— Октавия, Октавия, — шепчет Руфо, привлекая к себе девушку.

Они танцуют почти на одном месте. Пары толкаются, наступают друг другу на ноги. Руфо еще смелее прижимает к себе девушку.

Как и другие парни и девушки, они целый год жили мечтой о празднике. Здесь, на этом скотном дворе, они могут увидеть друг друга, целоваться и обниматься, говорить о самом сокровенном, решить, уезжать ли им из деревни или оставаться.

— Октавия, мы когда-нибудь уедем отсюда.

— Непременно уедем, Руфо. Но только после того, как умрет моя мама.

Оба они молоды и полны сил. Их тела упруги и тверды, как раскаленный на солнце камень, и налиты соком, словно тополя, напоенные дождем. Они привыкли работать в поле.

На село опустилась черная ночь. Ни зги не видно. Только там, вдали, где проходит шоссе, мелькают огни куда-то спешащих машин.

Пожилые люди, те, что не ходят на танцы, уже давно разошлись по домам. Приходит ночь и для тех, кого праздник выбил из колен привычных деревенских будней. Они смотрят друг на друга и про себя думают: «Вот мы и дома. Праздник кончился. И снова все пойдет по-прежнему». В слабом свете свечей люди двигаются словно призраки. Некото-

рым стыдно вспомнить о прошедшем дне. Они в темпоте стелют постели. Зачем зря жечь свечи?

На улице похолодало. Овцы в хлеву уже снят.

А под навесом скотного двора все танцуют парни и девушки. Хмельные от вина, духоты, запаха разгоряченных тел, оттого, что они наконец вместе. Они хотят, чтобы праздник никогда не кончился, хоть и не знают, почему. В эти минуты жизнь всем кажется прекрасной. Случилось чудо! Они убежали от самих себя.

Вернувшись в свою каморку, Мигель опять пересчитал деньги. И слова они обменялись с женой все теми же фразами.

Алькальд снял траурную одежду и лег спать.

В деревенском кабаке за бутылкой фруктового вина четверо крестьян все еще тасуют карты.

Руфо и Октавия танцуют. Словно одержимые, они уже целых два часа не могут оторваться друг от друга. Под навесом душно, как около раскаленной печи.

— А когда твоя мама умрет?

— Уедем.

У него нет больше сил сдерживать себя, и он наклоняется к ее нежному, теплomu, покрытому капельками пота плечу. Девушка чувствует на себе руки мужчины. Струйка крови с ее губ медленно стекает по шее. Они еще теснее прижимаются друг к другу.

А праздник, их праздник продолжается.



СТРАДА

Ане Марии Маруге

I

— Придешь ко мне через неделю, свидимся у Хосе в усадьбе.

Это говорит матери отец, обертывая серп в длинную дерюжную ветошку. Мы только позавтракали, и мать прибирает со стола. За окошком, вся на солнце, пышет жаром улица.

— Сегодня, значит, четверг, — подсчитывает мать.

— Не четверг, а пятница, — поправляет отец.

— А и верно — первая в этом месяце пятница.

— Вот в конце будущей недели вдвоем и придете.

— Исподнее на переменуку возьмешь? — кивает мать на горку выстиранного белья.

— Нет, покуда обойдусь. Как пойдешь, захватишь.

Прощание длится недолго — одно мгновение: отец ткнул

жесткой и черной своей щетиною в материну щеку, и мать едва ему ответила. Связывало ли их мое присутствие, или меж ними так всегда водилось, или по какой иной причине — сказать не могу.

Я сижу в дверях — здесь чувствуется ток воздуха, хоть немножко да легче дышится — и сучу пеньку, обрезаю очесы ножницами. Отец — его левое запястье охватывает широкий кожаный ремень от часов — поднимает меня своими огромными ручищами в воздух и несколько раз кряду целует; тут только меня осеняет, что он уходит. Поэтому, едва он ступает за порог, под нещадно палящее солнце, я подаюся за ним — молча, не говоря ни слова.

— А ты куда?

— Отпусти его, Роса, — вступается отец, — он с пенькой погода управится. До шоссе меня проводит и вернется.

Отец берет меня за руку. Хорошо ощущать свою руку, тонкую и гладкую, в его ладони, впрочепной и такой твердой, мозолистой. Отец шагает крупно, размашисто, и я своими пеньковыми сапдалнями все черпаю белую подорожную пыль, оставляя за спиной широкую борозду. Хорошо б понести серп, но отец непреклонен: нельзя, можно обрезать. Я упорствую, и тогда, чтоб отвлечь меня, он показывает на издыхающего у обочины воробья: крылья опали, клюв хватает судорожно воздух, крошечные, в предсмертной муке глаза подернуты пеленой — бедняга не перенес жары.

— А пу, поднажмем! — говорит отец. — Меня уж заждались, поди.

Вот и шоссе, в ворота консервной фабрики как раз входят работницы. Среди них и старухи и девочки — совсем дети. Навстречу под руку с работницей помладше попадается моя тетка Энкарнасьон, она давно мучится трахомой, и ресницы у нее повыпадали. Я говорю ей «здрасте», и она в ответ мне говорит то же самое; при этом улыбается она, как всякий человек, который плохо видит, рассеянно и неопределенно. Встречные мужчины здороваются с отцом, и кто-нибудь да непременно скажет:

— На жатву никак собрался.

На отце вельветовые штаны, черный жилет и черная же кепка. Обут он в самодельные резиновые башмаки-калоши. Через одно плечо на манер скатки переброшено одеяло, оно впопает его в пот, с другого книзу сверкающей деревянной рукоятью свешивается серп.

Возле моста, в тени под забором, мы видим степенно по-

пыхивающих сигарками нескольких мужчины. При нашем приближении они поднимаются, и один, приземистый, косая сажень в плечах, по имени Наренсо, произносит:

— Вот мы и в сборе.

У отца же Наренсо спрашивает:

— Идем, что ли?

Отец утвердительно кивает, поклоняется и, взяв меня щепотью за подбородок — от ладони его исходит запах хозяйственного мыла, — говорит:

— А теперь ступай домой... Через неделю опять свидимся. Веди себя молодцом, перво-наперво мать слушайся. Коли скажет: «Сучи пеньку», чтоб ни слова поперек. Или велит кроликам задать корму, или понадобится за чем в лавку к Антошничко сбегать... Договорились?

— Угу.

— Реветь не станешь?

— Не.

— Взгрустнул-то что? Оттого, что ухожу? — И он участливо гладит меня по голове.

Я только пожимаю плечами, разомкнуть губы невмочь. Мне вдруг становится невыразимо жалко себя при мысли — и ничего поделать с собою я не могу, — что отец через мгновение покинет меня, что я останусь один, один как перст, посереде дороги, что жертва, которой от меня требуют, несправедлива, как и вообще несправедлива вся эта жизнь с ее нищетой и заботами.

Отец целует меня, и бригада жнецов, Наренсо поодаль, трогается под обжигающим полуполуденным солнцем в путь.

Назад я бреду медленно, поровню ставить ногу в прочерченную мною по пыли борозду. Воробей издох и лежит на боку с окостенелыми лапками. Носком сандалии я переворачиваю его на другой бок. А невдалеке, изготовясь, урча, не отводя вороватых остановившихся фосфоресцирующих глаз от птицы, дожидаются коты — тощие, почти бестелесые в эту знойную послеполуденную пору, вездесущие коты моего родного селения.

II

Брусчатка на мостовой сверкает в ярких лучах, словно тысячи стеклянных осколков. Мы оставляем позади шоссе Лос Тольос, мать с плетеной корзиной на голове — руки заняты другим — идет впереди. Солнечный диск катится вверх по-

над взгорьем, начинает припекать. В руке я держу наготове жердичку, мне любо ковырять в корневницах под олеандрями, шуровать в расщелинах меж камней и смотреть, как стремглав, ошалелые с перепугу, придают оттуда ящерицы, либо чувствовать, как стучает кончиком своим жердичка о твердь рачьего панциря.

— Прекрати, под камнями могут быть скорпионы, — врзумляет мать.

— Вы что, скорпионов бонтесь, мама?

Мать, не укорачивая шага и не повертывая головы, бросает:

— Послал же мне господь сына-дурачка.

Я мчусь сломя голову впереди нее, вскарабкиваюсь на высокий мшистый уступ, несусь назад и застываю как замороженный перед толстою неневоротливой крысой, скользящей сквозь осоку с пучком сушняка в зубах.

В Ла Техере несколько мужчин в рванине, перемазанных кирпичной пылью и копотью, обжигали в очаге кирпич, и дым, едкий и жирный, заполнил собою всю улочку; не отрываясь от дела, они изобразили нечто могущее сойти за приветствие. Потом миновали Лас Салинас — соляные разработки, белые прямоугольнички стоячей воды с кучками соли по краям, проселком побрели в гору — к маячившим на горизонте в дрожащем пылевом мареве возвышенностям. Теперь уж мать останавливается часто, шумно отдувается, то и дело поудобней устраивает на голове корзину. Когда мы добраемся до обрыва, она просит меня:

— Поди сюда, пособи сиять корзину.

Я влезаю на камень и помогаю опустить поклажу наземь. Указывая на родничок поблизости, мать, прерывисто дыша, добавляет:

— Поней водицы, если охота. Только маленькими глоточками, она студеная, и у тебя может прихватить горло.

Мать скорым шагом отходит прочь и скрывается недалеко за стеной дрока. Я бросаюсь животом на гравий и пью и лежу еще какое-то время недвижно, не в силах оторваться взглядом от чистой, будто стеклянной, маленькой заводки, созерцающей медлительное струение воды и волнообразное колебание зеленых водорослей.

— Пошли, — за спиной произносит мать.

— А вы пить не станете?

Нет, она пить не стала. Ополоснула руки, отерла влажными ладонями лицо, смочила слегка — самую малость —

волосы, огладила их раз-другой ото лба к затылку. «Что за чудо эта вода, воистину дар божий!» — только то и сказала.

Когда мы пришли на ферму Хосе, жали уже на склоне холма, за колодезем, и дальше — за линией смоковниц. Мы пришли в час пополудни, и крохотные согнутые фигурки жнецов под палящим солнцем были едва различимы вдалеке. Оттуда навстречу нам, груженный исполнинской копной снопов, тащился к гумну воз, впереди с поводком в руке вышагивал какой-то малец. Приглядевшись, я узнал в нем Альберто, сына Хосе, и помахал ему рукой. Мы с ним были дружки, так что, недолго думая, он бросил свой недоуздок, раскрутил изо всей мочи пращу — и над ухом моим просвистел увесистый черепичный осколок.

— Господи Иисусе! — вырвалось у матери.

Альберто на радостях пустился прямо по стерпе в пляс, и я, подняв столбом пыль на дороге, последовал его примеру.

— Перестань беситься! — пытается образумить меня мать, с трудом повертывая под тяжелою ношей голову. — Только сегодня надела на тебя все чистое. Успеешь наиграться со своим Альберто.

Нам еще порядком предстояло тащиться проселком — раскаленным и пыльным, с отпечатками копыт и конским навозом, взад-вперед исхоженным людьми, вкривь и вкось исчерченным разной ползучей тварью.

Едва перед дверью хозяйского дома мать опускает на землю корзину, как за осоковой шторкой женский голос произносит:

— Это ты, Росарико?

— Ну как, полегчало вам от этих пилюль, Антония? — оживляется разом мать и проходит на веранду.

— Ничуточки, — отвечает хозяйка, раздвигая на лице платок. Немошное тело ее покоится в качалке; снизу, из-под кресла, высовывается краешек плевательницы. Чудовищно распухшие ноги сплошь покрыты белесыми чешуйками, щеки обвисли, и только глаза — большие и черные, хотя и немногочисленные — живут: они исполнены огромной прелести и не менее огромного страдания. Вздохнув, она добавляет:

— Такое не излечивается. Домашние тратятся на лекарства, а проку мне от них как от козла молока. Сегодня ночью, да еще в такую-то духотищу тело все у меня ныло, хоть криком кричи, я ни на минутку глаз не сомкнула.

За притолокой на двери, гораздо в любой момент облепить язвы бедной женщины, затаились мухи. Антония на

этот случай держит в руке венчик из темно-зеленых табачных листьев.

— Мне твой муж сказывал, что ты с мальчонкой придешь сегодня.— Она набирает в грудь воздуха, но, поперхнувшись, закашливается. Потом, утерев уголки губ носовым платочком, продолжает:

— Вы-то как живете-можете, Росарико?

— В заботах о хлебе насущном, на господа уповая.

— Что верно, то верно. Без него мы слепые кутята! — истово молвит хозяйка и принимается обмахивать себя венчиком, как всером.

— А сорванцы твои как?

— Вот захватила с собой меньшого,— подталкивает меня к хозяйке мать.

— Да благословит его господь. Мал да удал, крепыш хоть куда.

— Вы бы только поглядели, что ест оп, Антопия.

— Да благословит его господь,— опять повторяет хозяйка, возложив свою костлявую руку мне на стриженую голову.— Уж где-где, а здесь пускай ест хлеба вволю; ты же знаешь, какой ни будь урожай, а все его мало; кстати, дочка вчера как раз замесила.

— А мужик мой где?

— Во дворе только был, в тенечке под виноградом трапезничал... Здоровый, как всегда. Повезло тебе, Росарико, с твоим Фернадо!

Последнее произнесла она с какой-то особенной интонацией, будто затосковала вдруг по чему-то или кому-то.

— А Хосе твой по-прежнему?

Хозяйка поколебалась, снова обтерла губы и, более не скрываясь, махнула платочком.

— Хосе по-прежнему...— сказала она смиренно.— Летом, как жницы здесь, и того хуже.— И задумалась о своем. И лишь назойливое мушинное жужжание над дверным косяком парушало тишину.— От вас я не прячусь,— продолжала она,— тебе одной я и могу это поведать, ведь вы вроде как родные.— Мать сочувственно кивнула.— Его беде не поможешь, Росарико, раз с моей ничего не поделаешь. Тебе ль об этом говорить — сама замужняя и без меня знаешь, каковы они, мужики...

На веранде опять воцарилась тишина.

— Да-а, такие вот дела,— прервала молчание мать,— пойду, авось мужа где угляжу.

— Держись все вправо, там, под горой, его и найдешь. Тут она повернулась ко мне.

— Ну-ка, чмокни меня, красавчик.

Вся в язвах, женщина эта в старой качалке вызывала у меня отвращение. От нее исходил сладковатый запах, от которого к горлу подступала тошнота. Я сцепился изо всех сил в материнский подол.

— Ребенок он и есть ребенок, что с него возьмешь,— смущенно стала оправдываться мать.

— Кому ты говоришь, Росарико. У самой никак пятеро было.

Накопец расставшись с хозяйкой, по жнивью напрямик мы заспешили к холмам — туда, где у подножия их в такт неутомимому ритму колыхались фигурки жнецов. За ними вослед, левой рукой ухвативши мешок иль кошелку, склонясь над землей в три погибели, подвигались женщины.

Вот мы и на месте. Отбросив серп, отец кидается к нам навстречу, в обе щеки целует мать. Я же молчу и только тарашу глаза: отцовы штаны из вельвета сплошь заляпаны грязью, лицо заросло черной бородой, глаза воспалены от солнца и недосыпания.

— Здорово, разбойник!

И он крепкими своими ручищами отрывает меня от земли и целует — и раз, и два, и три, больно корябая бородой. От отца несет терпко потом, навозом, землей, по ладони, натруженные, мозолистые ладони пахнут иным — сжатым хлебом.

— Как дошли, благополучно? — обращается он к матери. — А мальчишка как вел себя на педеле?

У матери же на уме свое, она пристально разглядывает стерню.

— Колосков-то, обжников хоть много осталось? — спрашивает она.

Отец осекается и чуть упавшим голосом отвечает:

— Хосе смотрит за нами в оба, где уж тут оставить много. Вчера он как раз Эладно предупредил. Вон его жена, — показывает он в сторону женщины, — толстая такая старуха.

— А другие кто?

— Вон та замужем за Рикоте. Около нее дочка одного старика из нашей бригады; Эладно говорит, гулящая, Хосефа по имени, но все ее не иначе как Грелкой кличут; назад

тому несколько лет занимала ребенка от мясника из Иеклы. Вот ей-то обжинков достается, сколько душе угодно...

— Когда приступать можно? — не дослушав, возвращается к своей заботе мать.

— Тебе отдохнуть бы с дороги, Росарику, — обескураженно возражает отец, но по лицу матери видит, что спорить с ней бесполезно, и говорит: — Ладно, раз невтерпеж, можешь приступать. А ты, — велит он мне, — подай-ка матери вот тот мешок, что с кувшином рядом.

Отец ласково треплет меня рукой по щеке, раскрывает было рот, чтоб сказать что-то матери, но, передумав, видно, берется за серп.

Мать — кошель в руке — говорит женщинам: «Добрый день», и женщины ей говорят: «Добрый день», и мать заключает: «Ну, с богом!» И жницы, всею расступившись, оставляют нам узкую полоску стерни, упирающуюся в отцову мокрую спину. От жары разомлевшая Грелка заводит долгую, тягучую песню. Светлые пряди ее волос выбились наружу, голубые глаза на пыльном лице сверкают ослепительно и даже свирепо. Когда она нагибается за колоском, белые ляжки у нее заголяются, и становится видно, как струйки грязного пота из-под колен катятся, прочерчивая извилистые дорожки по икрам. А на камне, привалась спиной к дубу, повесив на колено засаленную шляпу, сидит и неотрывно глядит немигающим оком на Грелку Хосе, хозяйн усадьбы.

— Мам, я притомился, отдохнуть хочется.

— Ну если начать не успели, а ты отдыхать просишься, так уж ступай лучше играть с Альбертико, — говорит она мне. И уже издаലെка кричит: — Не смей подходить к мулу!

Я с преувеличенной покорностью киваю головой, и она вновь склоняется к земле.

III

— Эй, Грелка, — зовет Хосе, — принеси-ка сюда вон те персики!

Хозяин — мужчина низкого роста, коренастый, глаза прозрачные, маленькие, все шныряют-доглядывают, посверкивают, как хорошо отграенные бриллиантики.

Когда сумерки сгущаются, все — мужчины и женщины — прекращают работу и сходятся в усадьбу, собираются перед домом, у дверей и во дворе. Я пристраняюсь у ног отца,

меж башмаками, широкая ладонь его отдыхает на материнских коленях. Лицо матери запорошено, перепачкано землей, темные пятна пота под мышками, растекаясь, доходят до самых грудей.

— Ты что — будешь из персиков сок давить, Хосе? — обеспокоенная, спрашивает хозяйка.

— Уже ему продыхнуть немного, сеньора Антония, — да ально встревает Грелка. — Убудет вас, если м

Гр
Сидят
шись,
кусто

вытаскивают из персиков косточки. ой скамье рядышком, тесно прижав-азличимые. Эладно под виноградным праает струны гитары, отец, не вышн-т что-то. Угомонились при све-дверном косяке мухи. Анто-алки, рассталась с венчиком из лас- , широко отворивши рот, кажется, хочет впитать да всю черноту окрестных полей.

— Много зерна набрала? — спрашивает шепотом отец.

— Много зерна? — невнятно вторит растянувшийся у входа в маслобойню Нарсисо, губы его от вина блестят. — В этом доме глотка в дождь испить не дадут. Этот, — добавляет он, показывая в сторону Хосе, — своего не упустит... — И потрясает в воздухе кулаком.

— Слышишь, Хосе, что Нарсисо про тебя говорит? — окликает мужа Антония, сияясь разглядеть в кромешной тьме Грелку. — Ты что же, своим работникам и торбочки не дозволишь набрать?

— Конечно, нет, жена... А что до Нарсисо, так он же всегда пьян. Мне ли его не зпать! Тому уж восемь лет, как мы вместе форсировали Эбро.

— Кто это здесь толкует про Эбро да про войну?

Нарсисо поднимается на поги, с трудом обретает равновесие и прикладывает к кувшину с персиковым соком, хлебает прямо из горлышка, долго. Потом говорит:

— Все осталось, как прежде. И если б победили те, а не эти, то и тогда бы все осталось, как прежде: богачи сверху, бедняки снизу. Что в лоб, что по лбу!

Он опять припадает к кувшину и трижды сплевывает, говорит как подальше.

Грелка цепляет павахой кусок персика и набитым ртом, не утирая бегущего по подбородку сока, еле выговаривает:

— Ну и хор-р-рош!

Хосе глядит ей в глаза, и Грелка, поблескивая зрачками, заливисто смеется. Горячие порывы ночного ветра доносят до нас душистый запах сжатого хлеба, почти людской дух успевших тропинок, вспотевшей и утомившейся за день пашни. Волки на дальних утесах воют на луну — она взошла над грядой, и светлячки у колодца больше не светятся.

— Ты рада, что пришла? — спрашивает отец, сдавливая матери рукою колено.

По телу ее пробегает дрожь, я, сонный, все мощь поудобней у отца в ногах, мать тихо-тихо в ответ шепчет: «Да».

— Хорошо-то как! — произносит отец.

Сквозь дремоту я слышу, как Альберто говорит сестре, чтоб шла спать. Я делаю движение подпиться — ведь надо же задать ему трепку, по отец меня удерживает:

— Завтра.

Отец знает, что произошло между нами днем, и я улыбаюсь: уж завтра Альберто несдобровать.

— Хосе, пора спать ложиться, — зовет хозяйка.

— Обожди, мы вот-вот с соком покончим.

— Сил никаких боле нет... — шепчет хозяйка.

— Ладно, спать так спать, — клокочет Хосе.

— Спать, — тормозит и меня отец и первым направляется к загородке, что вокруг давилни. Эладно с неизменной гитарой в руке скрывается в направлении сеповала, следом проплывает тучная и темная фигура его половинны. На груди мешков всхрапывает Нарсисо. В дверях спальни, опершись на плечо своего мужа, Антония говорит мне:

— До завтра, милоч.

Полусонный, я не отвечаю, и мать мне выговаривает:

— Что ответить-то надо?

Протеревши глаза, я спохватываюсь:

— Покойной вам почи, сеньора.

— И тебе того же, милоч.

Хосе кладет мне руку на голову.

— Ты сытно поужинал? — как-то слишком заботливо спрашивает он.

— Спасибо, сеньор, сытно.

— Слава богу, что вообще поужинал, — вздыхает мать.

— Твой парнишка — благословение господне, Росарико.

— Такой живой, — вставляет Хосе.

— Ему по возрасту положено, — говорит мать.

Мне никогда не забыть страдальческого облика Антонии, как с трудом, через силу, она опирается на руки Хосе в

дверях своей комнаты, насквозь пропахшей гниющей плотью и застоявшимися лекарствами — этим ужасным дыханием скорбной юдоли и угасания.

В нашем распоряжении был чулан без двери, из тамбура направо. Когда отец вошел, я уж лежал ничком на полу, на подстилке, подле матери. Не то нежно, не то нетерпеливо отец провел мне рукой по векам и сухо промолвил:

— Спи.

И я заснул. Сколько спал, не знаю, но вдруг проснулся, прямо скорчился от острой боли в желудке. Мать шепотом спросила, что со мной, и я ей ответил, что болит, и показал где. Она в темноте положила мне ладонь на живот, ладонь была шершавая и горячая, и боль заметно утихла.

— Мам, мне надо выйти.

— Хорошо, ступай в хлев. Очень больно?

— Очень.

— Это все кролик.

Отец беспокойно дышит рядом, с другого краю подстилки, и мы с матерью стараемся не повышать голоса.

— Говорила тебе, чтоб не ел столько, что тебе плохо от него будет. Вредно с непривычки столько жирного.

Ощупью я выбираюсь во двор и протискиваюсь внутрь хлева. В курятнике под кровлей тихо, поблескивает в лунном свете оперение петухов, важно восседающих по насестам среди кур. И лишь из кроличьих клеток, от высоченной поленицы, доносится шорох — шевелится какая-то животина. Я сижу на корточках, напряжусь, внимая заморающим схваткам в кишечнике, как вдруг под носом у себя вижу крысу: она пробегает мимо с трепещущей жертвой в зубах, а в лунном пятне мечется, обезумевши от горя, крольчиха. Я привожу себя спешно в порядок и в этот момент слышу со стороны овчарни голоса.

— Ты, гляжу, не торопиться,— звучит сильный голос Хосе.

— Я не могла раньше.

— Просто ломаешься, вот что,— говорит уже мягче хозяин.

— Да нет же, Хосе, я серьезно. У отца зубы болят, и я только сейчас смогла улизнуть.

Голоса смолкают, но я, прижавшись спиной к кирпичам ограды, не осмеливаюсь пошевелиться. Ночь — моему обостренному слуху так кажется — прямо-таки сотрясается от звуков: стрекодут неустанно цикады, твякает где-то в жнивье

лисица, бормочут похотливо в чердачном оконце голуби... Вдруг далеко в ущелье начинает выть-заливаться волк, по спине у меня пробегают мурашки, и вновь наступает окрест тишина, и мало-помалу, боязливо, с оглядкою ночная возрождается жизнь.

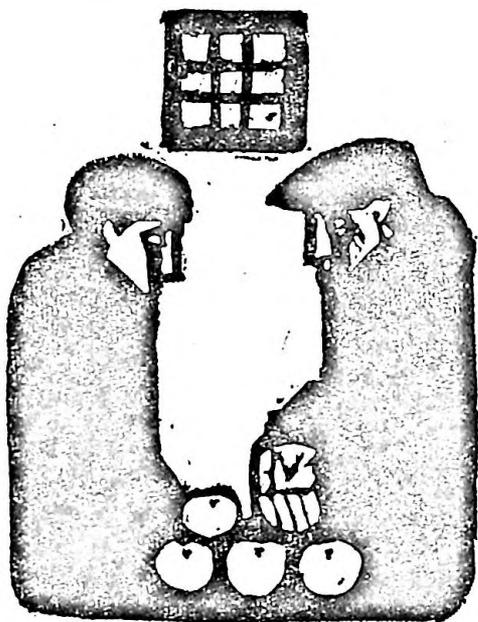
— Не сходи с ума, Хосе,— прерывисто дыша, повторяет Грелка.

В ночи я угадываю какое-то глухое бормотание, некое лицедейство, всеобщий заговор, что ли... Мне на ум приходит Альберто, но у нас с ним все по-другому, совсем по-другому.

— Пошли под смоковницы,— произносит изменившимся, неузнаваемым голосом Хосе.

Когда я возвращаюсь в закуток, отец держит руку на белом материнном плече и успокоенно посапывает. Черная и жесткая восьмидневная щетина его упирается матери в шею, а мать хоть глаза и закрыты, не спит еще, только дремлет. Я разом все это схватываю и осторожно пристраиваюсь с краю подстилки, и рукой тоже обнимаю мать, ее мягкую, теплую поясницу. И уже лежа, я глубоко, в полную наконец силу набираю воздуха, ибо мою грудь теснит какое-то неведомое чувство и какая-то исполинская волна меня захлестывает совершенно; мне и грустно, и радостно, и это — сильнее меня. И я зарываюсь лицом в дерюжное, отдающее потом и гнилой соломою изголовье.

А из хозяйкиной спальни доносятся приглушенные рыдания, видать, Антония заткнула себе рот простыней.



ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

— Я принес тебе яблоки,— говорит отец.

Яблоки, покрытые бумагой, лежат в коробке из-под обуви. Руки отца, большие, с изуродованными пальцами снимают бумагу; он берет яблоко и трет его о вельветовые брюки. Потом поднимает яблоко вверх и крутит в потоке света, падающего сквозь зарешеченное окно. Я молчу, маленькие голубые глаза отца смотрят на меня с недоумением.

— Они такие красивые,— говорит он, укладывая яблоко обратно в коробку. И добавляет ласково и простодушно, словно обращается к ребенку: — Если потерять, блестят, как голыши в реке.

— Как мама? — спрашиваю я.

— Да вот, собрала тебе передачу.

— Нет, я про здоровье.

— Чувствует себя хорошо... — Глаза его смотрят вниз, на носки грубых башмаков. Он, наверно, в кровь стер себе

ноги, пока добрался сюда от вокзала Аточа.— Только на-
строение... Очень о тебе убивается.

— Скажи ей, что у меня все в порядке.

— Она хотела приехать, по билет стоит дорого.

— Да. Скажи ей, что я здоров. Что кормят тут хорошо.

Отец продолжает возиться с картонкой. Теперь он сматы-
вает в клубок бечевку, которой она была завязана, и кладет
в карман пиджака. Взглянув на меня с улыбкой, он говорит:

— Веревочка всегда пригодится.

— Ты едешь обратно сегодня вечером?

— Мне хотелось бы побыть с тобой...

Я не разжимаю губ.

— Известно, когда тебя выпустят?

Я отрицательно качаю головой. Теперь неловко себя чув-
ствую я; уставился в пол и всей душой желаю, чтобы сви-
дание скорее кончилось, чтобы этот тупой человек ушел на
вокзал. Меня так и подмывает сказать ему, что мне нравится
воображать его сидящим на вокзальной скамейке в ожида-
нии поезда с бутербродом в руке. Но я сдерживаюсь. К отцу
я всегда испытывал такую жалость, что в конце концов пере-
стал его выносить. Появляя это только сейчас, когда вот
уже два часа как он ушел от меня и трясется, верно, в по-
езде, съевшись на сиденье, впившись глазами в лывущую
за окном темноту. Особенно тягостными были минуты, когда
я взял яблоки и подошел к Октавио, моему товарищу по ка-
мере. Большие бледные руки Октавио безжизненно лежали
на коленях его жены, а она гладила их, прикладывала к щеке
и целовала. Вокруг стояли трое сыновей Октавио.

— Возьми,— сказал я старшему и протянул ему два яб-
лока. Большие, светлые, как у матери, глаза мальчика смот-
рят на меня выжидающе.— А вот тебе и тебе.— Я дал яблo-
ки двум младшим. В картонке осталось три яблока, и я бе-
режно поставил ее на тумбочку Октавио. Октавио с трудом
выдавил на покрасневшем лице невыразительную улыбку.
Черт побери, дела Октавио уже совсем плохи: тюрьма доко-
нала беднягу.

— Почему ты роздал яблоки? — тихоенько спрашивает
отец; он не сердится, он просто не понимает.

Яжимаю плечами. Он так же чужд и далек мне, как в
то утро, когда появился в деревне, только что выйдя из тюрь-
мы. Это было через шесть лет после конца войны. Я играл
на улице с мальчишкой, которого мы прозвали Блоха, такой
он был маленький и шустрый. Мы нашли муравейник, и оба

по очереди, когда приспичит, мочились на него. Перепуганные муравьи неуклюже убегали, барахтаясь в грязи. Судорожные движения насекомых, отчаянно шевеливших усиками, были для нас увлекательным зрелищем. Особенно веселился Блоха — нагнувшись, он ковырялся в намокшей пыли, разбивал комок на маленькие шарики и радовался агонии муравьев, тщетно рвавшихся на волю. Когда моча у нас иссякла, я сказал Блохе: «Пойди принеси воды». Блоха поднял на меня глаза и улыбнулся. Передние зубы были у него вышиблены, и глубокий лоснящийся шрам рассекал губы. Блоха побежал домой, набрал в рот воды из кувшина и стал прыскать ею на муравьев. «Еще», — приказал я. Блоха бегал к дому и обратно, и я слышал руготню его бабки, прикопанной к постели. Блоха с надутыми щеками вышел из дому и указал мне на дверь — не то презрительно, не то равнодушно. И тут я увидел в конце улицы — на светлом фоне валунов, окружавших деревню — оборванного, бледного мужчину. Он ничем не отличался от множества других мужчин, которых я видел ежедневно. На нем были темные обтрепанные штаны, слишком широкие для его отощавшего тела, белая рубашка и альпартаты. Он что-то нес в руке, но что именно, я не запомнил. И хотя я не знал, кто он такой, мною овладело странное спокойствие, которое у меня всегда признак болезненной работы мысли. Вскоре чья-то рука легла мне на голову. Я поднял взгляд: передо мной были маленькие голубые глаза, полные слез; они впились в меня так, будто хотели вобрать в себя разом все мое существо. Я вздрогнул и помчался прочь; отец что-то сказал, возможно, назвал меня по имени, но я уже ворвался в дом Блохи, сердце мое отчаянно билось. «Блоха, — сказал я, — там какой-то человек. Не знаю, кто он такой». Блоха разлегся на полу — это очень удивило меня даже в том смятении, в котором я находился, — раздвинул мешковину, служившую дверью, и сказал: «Слушай-ка, да ведь он входит к вам в дом». Старуха бранила нас, называла негодяями и добавляла слова, для меня тогда совершенно бессмысленные: «родители», «война», «школа». Но этот проблеск сознания тут же был погашен нашей беспричинной жестокостью. «Вон, вон па улицу!» — кричала старуха. Блоха подошел к убогому ложу и пригрозил ей кулаком. «Замолчи сейчас же, — сказал он, — мы тебе несколько не мешаем». — «Негодяй». — Я очень хорошо помню, как она выругалась, пытаясь подняться и ударить внука. Но это было ей не под силу, она откинулась назад, и на губах у нее

выступила пена. «Если бы твой отец был жив...» — пробормотала она. «Ну, завелась,— сказал Блоха.— Пойдем отсюда». — «Подожди»,— ответил я. Я все думал о том человеке, который вошел в мой дом, я понимал, что это касается меня очень близко. «Пойдем поглядим, что он делает»,— сказал Блоха. Мы уже выходили из дому, когда старуха взмолилась: «Внучек, подай мне горшок». И в ответ на наше молчание: «Я больше не могу терпеть, сделай такую милость». Блоха проворчал: «Пусть терпит или дожидается, пока мать вернется с реки». — «Послушай,— сказал я, начиная жалеть старуху,— а когда вернется твоя мать?» — «Не знаю,— ответил он,— вечером, наверно. Богачи пачкают так много белья». Мы подошли к моему дому и приложились ухом к запертой двери. Изнутри доносился приглушенный шум борьбы, всхлипывания, грохот отброшенного стула и бесконечно долгий звук поцелуя... «Вот так-так!» — сказал Блоха. «Послушай,— сказал я уже раздраженно,— пойдем отсюда». — «Подожди минутку». — «Пойдем, я тебе говорю,— закричал я в бешенстве, хватая его за шиворот.— Иди, подай бабке горшок». Блоха, слегка удивленный, отошел от двери, провел рукой по шее и сказал: «Ты мне сделал больно». — «Ты мне тоже»,— ответил я, но Блоха меня не понял. Было слышно, как плачет старуха. «Надо бы ей помочь»,— сказал я, впрочем, довольно равнодушно. «Ба, она, наверно, уже сходила под себя»,— сказал Блоха.— Неважно, она привыкла.

Я второй день в школе. Вчера учитель посадил меня за последнюю парту, отделенную узким проходом от всех остальных, и запретил разговаривать.

— Пока не отменю запрета,— сказал он.

Остальные ученики могут разговаривать, шушукаться, по крайней мере обмениваться спичечными этикетками. Когда наступает время опроса, учитель вызывает нас и строит в ряд по правую руку от себя.

— Что у нас сегодня? — спрашивает он.

— Таблица на семь,— отвечает один ученик.

— Ага,— говорит учитель. Он сидит, развалившись в кресле, тучный, лысый, полнокровный. За грубым юмором — он любит, издеваясь, употреблять названия растений — кроется злобная душонка.

— Ты,— указывает он на меня,— начинай.

Я молчу. Ведь он отлично знает, что я не умею множить, что я слонялся по улицам вместе с Блохой, пока отец сидел

в тюрьме. Что меня только вчера приняли в школу. Блохе повезло — его не приняли, и он продолжает разорять муравейники.

— Ну, не бесстыжие ли глаза у этого молодчика! — восклицает учитель, помахивая палкой, выломанной из спинки стула. — Ты не умеешь множить, зеленый лучок? А ну-ка, вернись, чтобы я видел твою задницу... Теперь отвечай. — Я чувствую, как палка касается моих ягодич. — Семью один...

— Семь, — голос у меня дрожит.

— Семью два...

— Четырнадцать.

— Семью три...

Я задыхаюсь. Больше я не могу. Я сжимаю зубы и жду удара. Этот боров не выжмет из меня слез. Но учитель не бьет. Он только поворачивает меня к себе легкими толчками палки. Щелочки его глаз тонут в складках жира.

— Наш бедный лучок! — восклицает учитель с кривой улыбкой. И обращается к моему соседу: — Скажи ему, сколько будет семью три.

Мертвая тишина. Как будто в классе совершенно пусто.

— Двадцать один, — раздается голос Пепе Эредиа.

И учитель, сдерживая ярость, говорит:

— Стукни его.

Пепе Эредиа — славный мальчик. Теперь он начальник почты в каком-то городке на Ближнем Востоке: не то в Бенидорме, не то в Кальпе. Я недавно узнал об этом. Он бьет меня по лицу, но слегка, не больно.

— Болван! — с угрозой в голосе кричит учитель. — Стукни этого паршивца кулаком как следует. Ты думаешь, его отец стрелял зернышками аниса? Ну-ка, — теперь он обращается ко всему классу, — пусть поднимут руки сироты, те, у кого погиб отец.

Нерешительно поднимаются две-три руки. Один мальчик тут же опускает руку на парту; никто не возьмет в толк, куда клонит учитель. Под пристальным его взглядом Пепе Эредиа опускает глаза.

Сильный обжигающий удар кулаком в лицо отбрасывает меня к стене, к доске, на пол. Я вскакиваю и гляжу на учителя. Спесь с меня сбили. Я пытаюсь высмотреть в этих рыбьих глазах, как велика его жажда мести. Но вдруг все передо мной заволакивается туманом — учитель бьет меня палкой и приговаривает сладеньким голосом, с улыбкой:

— Семью четыре...

Здорово мне досталось. После занятий, построившись в коридоре, мы пели гимн. Под пристальным взглядом учителя, с невысохшими слезами на лице я старался вторить товарищам, но только шевелил губами. Гимна я тоже не знал.

После обеда я не смог пойти в школу. На теле у меня живого места не было. Мама плакала, а отец, сидя у очага, уставившись на пламя, яростно ломал сосновые щепки, пока мама не сказала:

— Ради бога, Даниэль, перестань трещать!

— Я поговорю с учителем, — сказал отец, бросая в огонь груды щепок. — Убью его как собаку. Голыми руками задушу.

Огромные руки отца выделялись на оранжевом колыхавшемся фоне пламени. Я перепугался. Наверно, отец бог знает каких дел натворил, если мне так за него достается, подумал я.

— Не говори так, — сказала мама, вытирая глаза краем фартука. — Я не стыжусь, что ты сидел в тюрьме, но, если ты нарушишь заповедь господню, грех убийства навсегда останется у нас на совести.

На следующий день я иду с мамой по полю, как много раз прежде. Мы миповали апельсиновые сады и подошли к полосе пшеницы. Ночью шел дождь, и от нивы поднимается теплый, крепкий дух. Я прижимаюсь к маминому бедру, ощущаю твердое, упругое молодое тело, и мама понимает мою беспомощную растерянность. Она не отталкивает меня, хотя так идти неудобно, можно и упасть. Только это прикосновение к маминому телу может смирить мою бунтующую душу, привести меня к согласию с миром. Как ты была красива, мама! Мне очень трудно объяснить — еще и трех часов не прошло, как отец ушел на вокзал, мои сокамерники уже улеглись по койкам, а я пишу на коленях, пока не выключили света, — трудно объяснить, говорю я, что в то утро, на пути к харчевне Хосе Пардиньяса, ты была ключом к моей душе. Этот запах колосьев напоминал мне, как ты прижимала к теплой груди мою голову, когда меня мучили кошмары, а отец был далеко, в какой-нибудь тюрьме, концлагере или штрафном батальоне. Я был так избит, что едва мог нести мешочек с табаком, но еще сильнее болела рана в моей душе, жаждавшей сочувствия, как жаждет семени целина, как земля ждет восхода солнца, как раскрывается навстречу сомнению ум. Ты, наверно, лучше меня помнишь, как дальше развивались события. Когда мы подошли к харчевне, ты поставила корзину с рыбой на скамейку у дверей. И сказала:

— Как странно, что дверь заперта.

По дороге ты рассказывала мне о своей усталости. Ты сказала, что отец — после всего пережитого — никуда не годится (эта фраза всегда казалась мне двусмысленной и вызывала недоумение). Что отец должен переменить образ мыслей, ходить в церковь и т. д. и тогда он скоро получит работу. Дон Франсиско, священник, много с тобой говорил. Ты была верующей и потому так настаивала на том, чтобы отец ходил в церковь.

В харчевне Хосе Пардиньяса у нас никогда не покупали товара ни на песету — если ты не возражаешь, я продолжу по порядку. Мама все же не переставала ходить к ним, она была в самых сердечных отношениях с хозяйкой, семидесятилетней, но очень крепкой старухой, у которой всегда находилось доброе слово для бедняков — себя она тоже причисляла к бедным. Она нещадно бранила моего отца, который довел нас до нищеты своей «политикой», но, как я уже сказал, не покупала товара ни на песету: ее сын привозил на велосипеде свежую провизию с рынка. Ты подняла с земли булыжник и стала стучать им в дверь. Наконец появился Хосе Пардиньяс — сын, высокий широкоплечий детина.

— Добрый день, — сказала мама. — А где родители?

Хосе посмотрел на нее похотливо (то было мое первое и мучительное «взрослое» наблюдение).

— Вчера уехали в город, — сказал Хосе.

— Твоя мать захворала?

— Нет, — ответил Хосе. — Какие-то дела у нотариуса.

Он пригласил нас войти, ведь мы, наверно, устали и хотим пить (эта заботливость со стороны слывшего грубияном человека натолкнула меня на второе, столь же терзающее наблюдение. Сукин сын, как он ворковал перед голубкой!). Мама ответила, что от ходьбы мы не устали, дорога недалеко, но она, мол, устала от другого. Хосе Пардиньяс сказал, что нам не трудно будет продать рыбу на соседних хуторах.

— Там мы обычно и продаем, — заметила мама.

— Хотите, оставьте корзину мне, — предложил Хосе, — Я попозже подвезу ее на велосипеде.

Мама поглядела на него, помолчала минутку и опустила голову. Она сказала:

— Мы принесли еще табак.

Я протянул мешочек. Хосе Пардиньяс положил его на скамью и взял меня за руку.

— Ты любишь голубей? — спросил он.

Я покачал головой. А через полчаса он открыл дверцу голубятни. Я стоял, опершись на перила террасы, и голуби подлетали ко мне, садились на плечи — так неподвижно я стоял, — потом снова бороздили голубой нежный воздух над полями, влажно блестящими после дождя.

— Как тебе нравятся мои голуби? — весело спросил Хосе.

Я вышел, не ответив. Мать ждала меня на площади. Она умылась и поправила прическу. Пока мы шли обратно в деревню, она объясняла мне что-то, но что именно, я сейчас не могу вспомнить, с годами все это перенуталось у меня в голове. Как бы то ни было, через восемь месяцев родилась моя сестра Кармен. Говорю через восемь месяцев, но ведь я мог и ошибиться. Мама сказала отцу (новорожденная спала рядом с ней):

— Даниэль, девочку надо окрестить.

— Да, надо.

— Послушай, Даниэль.

— Что?

— Ты должен пойти на крестины. Должен пойти в церковь. Должен найти работу.

Отец несколько минут молчал. Потом сказал:

— Да.

Мою сестру Кармен, очень похожую на отца (те же глаза, тот же длинный приплюснутый нос, который ее так огорчает), окрестили в воскресенье утром. Процессию, вышедшую из дому, возглавляли крестные. Крестная мать, мамина кузина, смешно хромавшая, несла на руках крошку, завернутую в белый крестильный балахон. Дальше шел мой отец, один, понурив голову. Шествие замыкали я и Блоха. Блоху забавляли чрезмерно пристальные взгляды прохожих, сытые лица богачей, высывавшиеся с балкона казино, толстобрюхий аптекарь, подмигнувший хозяйке кондитерской. Когда мы подошли к паперти, чужак, подмастерье сапожника, вышел из тени акаций, не говоря ни слова, стал рядом с отцом, и так мы вошли в церковь.

Вот почему отец принес мне яблоки. И когда он уходил три часа тому назад, последнее, что он увидел, были яблоки, в которые жадно впивались зубами сыновья моего друга Октавио.



ТЮРЬМА ВЕНТАС

Вступление

Примерная католичка, родившаяся в обеспеченной семье, я вряд ли могла себе представить, что когда-нибудь пойду по пути, который впоследствии избрала.

Как и вся молодежь 30-х годов, я с горячим интересом следила за политическими событиями того времени. Мои симпатии склонялись к Республике, однако конкретно никак не проявлялись. До самой последней минуты я недоверчиво улыбалась, когда кто-нибудь высказывал подозрение, будто готовится мятеж. Как могли правые готовить мятеж, если вся Испания проголосовала за Народный фронт? Это было абсурдно.

Но то, что казалось абсурдным, стало реальностью. Первые же выстрелы на улицах города, в котором я жила, положили конец моему мирному существованию. Больше нельзя

было оставаться в стороне. Как и тысячи моих сверстников, я буквально за несколько часов из пассивной наблюдательницы стала активной участницей борьбы на стороне Республики.

Мое участие в борьбе, хотя и искреннее и восторженное, было чрезвычайно скромным и ничем не примечательным. Я не сделала ни единого выстрела, не занимала никакой важной должности, не произнесла ни одной речи, не написала ни одной статьи, не стала героиней труда на производстве. Тем не менее франкистские власти оказали мне высокую честь, сочтя меня достаточно опасной, чтобы продержать в тюрьме в течение нескольких лет, а военный трибунал совершенно серьезно судил меня за «участие в заговоре». И все это несмотря на мое «безупречное прошлое».

«Расскажи тем, кто на воле, все, что ты здесь видела». Эти слова, сказанные мне на прощание одной из узниц тюрьмы Вентас, терзали мою совесть, пока я не выполнила своего обещания. И вот, двадцать лет спустя, я написала эту книгу. Конечно, в ней я не смогла рассказать обо всем. Возможно, Клару звали вовсе не Клара. Возможно, я приписала Росите слова, которые сказала Мария или Луиса. Не знаю. Меня заботило только одно: я хотела с наибольшей достоверностью восстановить те безумные послевоенные дни, которые довелось пережить узницам Вентас. Вам, молодежь, детям победителей и побежденных, посвящаю эту повесть с надеждой и любовью.

«Тюрьма Вентас, воспитательный отель...»

Наружный засов камеры отодвигается, и тюремщица-фалавгистка в темно-синей форме появляется в дверях.

— К следователю, — сухо бросает она, — идите за мной.

Дохожу до конца коридора, в котором находятся камеры-одиночки, и попадаю в тот необычный мир, каким была тюрьма Вентас в роковой 1940 год. Коридоры, лестницы, уборные забиты множеством женщин — бледных, истощенных, в одежде, сшитой из кусков одеяла и матрацной ткани. Они теснятся среди неимоверного количества постельных тюков, чемоданов, узлов, кувшинов, узких длинных мешков, оловянных мисок...

Завидев меня, женщины сбегаются. Они улыбаются мне, приветливо машут рукой, а одна девушка из-за спины тюремщицы поднимает сжатый кулак. Все эти проявления дру-

жеских чувств для меня словно луч солнца после долгого мрака и тишины одиночной камеры.

Наконец-то. После короткой встречи со следователем — грозным молодым офицером с женоподобным лицом — меня переводят из одиночной камеры в общую, с правом свиданий и переписки.

Узницы окружают меня, обнимают, расспрашивают.

— Откуда ты?

— Когда тебя арестовали?

— Сильно били?

— В чем тебя обвиняют?

Анхела из Эскориала, не раз пробиравшаяся, рискуя быть наказанной, к моей камере, крепко берет меня за руку.

— Ты пойдешь в мой коридор. Я уже договорилась со старшой и с девушками. Правда, у нас полно, но мы потеснимся и дадим тебе место.

(Позже я поняла все значение такого проявления солидарности здесь, в тюрьме Вентас, рассчитанной на пятьсот человек и вместившей более шести тысяч, где каждый сантиметр площади ценился на вес золота.)

В коридоре узницы обнимают меня, наперебой дают разные советы и наставления.

— Не откровенничай со всеми. Здесь есть своя пятая колонна.

С помощью Анхелы мне удастся пристроить матрац. Я его сворачиваю и сажусь. С любопытством оглядываюсь вокруг. Ни одна из узниц не сидит без дела. Легкие пальцы женщин творят чудеса.

По моей просьбе многие показывают мне изящные вещицы, созданные кропотливым трудом из самых неожиданных материалов: кружевные салфетки, нарядные передники, цветы из электрического провода и кусочков шелка, совсем как живые, смиренные ослики из лоскутков одеяла, с уздечками и переметными сумамн.

— Это еще что! — говорит какая-то женщина, видя мое восхищение. — Разве это можно сравнить с тем, что делают мужчины! Покажи ей шкатулку для ниток, которую сделал твой жених, — обращается она к светловолосой девушке.

Каждая достает что-нибудь, сделанное на Порлиере, Торрихосе, Исериансе... *

* Мадридские улицы, где находятся тюрьмы.

— Видела бы ты, какую красивую шкатулку сделал одной женщине из левого коридора ее муж: он на Порлиере. У него Пепа*,— говорит смуглая подвижная женщина.

— Пепа? А что это?

— Неужели не знаешь? Смертная казнь. На Порлиере приговоренные к смерти про нее даже песню сочинили. Вот послушай.

И с типично мадридским задором она поет песенку на мотив чотиса**.

Пепа знаменитая девчонка,
Всем в Мадриде голою кружит,
Но она лишь с красивыми дружит...***

— Замолчи,— с упреком говорит старуха.— Над такими вещами не шутят.

— Знаю, бабушка. Но ведь мужчины сами подали нам пример. Они поют, чтобы показать, что, даже если фалангисты расстреляют половину Мадрида, они все равно не испугаются.

— Вот-вот,— поддерживает ее другая.— И мы тоже поем. Чтобы их позлить. Им, конечно, хотелось бы видеть нас плачущими.

И мне хором поют:

Мадридский застенек это—
Такое большое здание,
Где люди мрут то и дело
От недостатка внимания...

После этого следуют другие песни, полные непокорства и удивительно хорошего юмора. Концерт заканчивается песней тюрьмы Вентас на мотив «Мадлон»****, которую исполняет в полный голос весь коридор:

Тюрьма Вентас, восхитительный отель...

* Уменьшительное женское имя от Хосефины.

** Испанский бальный танец.

*** Стихи в переводе М. Самьева.

**** Французская песенка, очень популярная во время первой мировой войны.

Кончается песня словами:

Франко, любителя сладко пожить,
Со сворой его уничтожим.
Тогда мы в свободном Мадриде своим
Победу отпраздновать сможем.

Надзирательница врывается в коридор с истерическим воплем:

— Молчать! Всех посажу в одиночки!

— Вот она, Шут гороховый,— с издевкой говорит мне одна из девушек.

«Считалка»

Появляется другая надзирательница. Ее костистое лицо окаймляет квадратная грива серых, жестких, как проволока, волос; челка закрывает брови. Огромные ноги обуты в туфли на низком каблуке.

— Христофор Колумб,— шепчет мне какая-то добрая душа.

Прозвище так остроумно — да простит меня прославленный первооткрыватель Америки,— что я едва сдерживаю смех.

— Девочки, строиться! Девочки, «считалка»! — кричит старшая без всякого успеха.

Наконец с грехом пополам нас удается построить парами, Христофор Колумб считает и пересчитывает узниц, сбивается, снова считает. В результате ей приходится смириться с той цифрой, которую называет старшая.

С поднятой вверх рукой нас заставляют пропеть фалангистский гимн «Лицом к солнцу». Женщины поют вразнобой, с такой явной неохотой, что вдобавок нам приходится крепя сердце пропеть «Ориаменди».

«За бога, за родину, за короля...» И вдруг я слышу слова, которые наполняют меня ликованием и которых никак не мог написать автор гимна карлистов:

Мы своей добьемся цели,
Настонм мы на своем
И правительство Негрина*
Мы в Испанию вернем...

* Социалист, возглавлял правительство Народного фронта, образованное в мае 1937 года.

Христофор Колумб подбегает к нам с другого конца коридора злая, словно фурия, и, не зная что делать, начинает выкрикивать обычные лозунги:

- Испания!
- Едипал! — вяло отвечаем мы.
- Испания!
- Великая! — откликаются двое или четверо.
- Испания!

Мощный, единодушный возглас звучит, как вызов:

- Свободная!!!

Крысы

Наступает ночь. Узницы расстилают свои матрацы, готовясь ко сну. Учащаются ссоры.

- Ты залезла на мой кирпич.
- Кто? Я? Посчитай получше. Раз, два, три.
- Сюда смотри. Видишь, здесь только полтора.
- Может, ты отодвинешь немного матрац? Я не могу постелить себе постель.
- Я тоже.

После долгих пререканий все наконец устраиваются. Анхела и моя соседка справа, молодая женщина с очень бледным лицом, обучают меня сложному искусству приготовления постели на площади в три кирпича на шесть, то есть на шестидесяти сантиметрах в ширину и на метре сорок в длину.

— В это время, — говорит мне Анхела, — я вспоминаю своих мальчишек. Дома, перед сном, я всегда целовала их, а теперь... бедняжки...

Она порылась в вещевом мешке и вытащила оттуда маленькую фотографию.

— Это старший, видишь? Может быть, на следующее свидание отец придет с ним.

— А твой муж? — спрашиваю я.

— Он во Франции.

— И мой тоже, — говорит женщина с бледным лицом. И тут же добавляет срывающимся голосом: — У меня была дочка, как солнышко. Она только родилась, когда меня арестовали. И умерла здесь в прошлом году. Началась страшная эпидемия. Без воды, без медикаментов, без необходимого ухода дети умирали как мухи. Шесть-семь детишек за

день, а иногда и больше. Мы не знали, что делать с трупами, пока у нас их заберут, чтобы похоронить, и складывали в уборной. Сбегались крысы, и мы, матери, по очереди дежурили там. Я провела жуткую ночь среди крыс, потому что не хотела, чтобы они сгрызли моего ребенка.

Расстрелы на восточном кладбище

Внезапно просыпаюсь и вижу: женщины сидят на своих матрацах и молчат. Еще ночь. У некоторых дрожат губы, в глазах слезы, кулаки сжаты.

— Что случилось?

— Тише!

К чему они прислушиваются? Как ни напрягаю слух, различаю только отдаленный, зловещий вой собак. Так они воют, когда чувят смерть... От страшного предчувствия перехватывает дыхание. Неужели?..

Все яснее и яснее слышится рокот мотора. Нет сомнения — это грузовик. Он приближается. Проезжает мимо тюрьмы. Постепенно рокот удаляется. И вдруг смолкает. Должно быть, грузовик остановился. Вой собак делается пронзительным и надрывным, почти человеческим. Внезапно он обрывается. Наступает мертвая тишина. Тревога волной прокатывается по всему коридору. Анхела затыкает руками уши. Какая-то старуха тихо молится. Несколько женщин беззвучно плачут.

«Тра-та-та-та-та!» — разрывает тишину пулеметная очередь, которую ни с чем не спутаешь. И сейчас же, словно прорвало плотину, коридор оглашается криками, рыданиями, яростными проклятиями.

— Убийцы!

— Сволочи!

— До каких же пор, мама родная, до каких?!

— О боже!

— Тихо! — приказывает чей-то властный голос.

Все стараются сдержать дыхание. И почти тут же слышатся короткие отрывочные выстрелы: добивают.

— Три, четыре, пять, шесть, — шепотом считает Анхела. Восемнадцать.

Восемнадцать испанцев только что расстреляны на восточном кладбище, неподалеку от тюрьмы.

Таково ежедневное пробуждение узниц тюрьмы Вентас.

Входит тюремщица и громко выкрикивает чье-то имя.

— Я,— отвечает одна из узниц.— Зачем?

— На дознание,— отвечает та вполголоса и как бы с сочувствием.

— Боже мой! — шепчет женщина, делаясь блее полотна и прижимая руки к груди.

— Гады! — со злостью шипит Анхела.

— Что это за дознание? — спрашиваю я.

— Дознание? Чтобы заставить говорить, они выволакивают тебя из тюрьмы, везут куда-то и там или избивают палками или пытаются электрическим током. Одним словом, делают с тобой все, что взбредет им в голову. А через несколько дней или недель ты возвращаешься сюда полной развалиной... или же вообще не возвращаешься.

— Но это же противозаконно!

— Милая, у тебя нет ни малейшего представления о том, что такое фашизм! Какое им дело до законности? Нику* — ту, что в третьей камере справа — выпустили на свободу! Хороша свобода! В дверях ее поджидало несколько молодых-фалангистов с машиной. Ее увезли в какой-то застенок и там измолотили палками. Семь бандитов били ее! Словом, Нику, молодую и здоровую, принесли обратно на носилках, к тому же ослепшую. Зрение постепенно вернулось к пей, но не полностью. Теперь она больше никогда не сможет разогнуться: в свои двадцать шесть лет ходит сгорбленная как старуха. Время от времени на нее нападают приступы безумия. И тогда ее приходится держать, потому что она никого не узнает. Ей кажется, будто она у фалангистов. «Труссы! — кричит она им.— Семеро против одной!» И сколько таких, как Ника! А таких, кто ушел на дознание и не вернулся...

Женщина, которую вызвали, одевается с помощью двух других узниц и шепчет:

— Бедные мои дети, бедные мои дети...

Не сговариваясь, заключенные дают ей что-нибудь из своих скудных запасов: ломтик хлеба, помидор, кусочек соленой рыбы.

Влетает разъяренная надзирательница и истошно орет:

— Где тут та, что идет на дознание?

* Николаса Блас Сантамария, замученная в тюрьме.

— Здесь,— отвечает женщина. Голос ее звучит твердо. Я смотрю на нее, пораженная. Она все еще бледна, но голова ее высоко поднята, взгляд бесстрашно устремлен на фангистку.

Выходя из коридора, она оборачивается к нам, быстро поднимает руку и спокойно, не повышая голоса, говорит:

— Салюд, камарадас!

— Из этой они ничего не вытянут,— заключает одна из узниц.

Вода

— С каким бы удовольствием я сейчас хорошенько помылась,— говорю я.

Узницы дружно смеются.

— Ничего у тебя не получится!

— Здесь лицо сполоснуть и то роскошь.

— Ты ахнешь, когда увидишь очередь за водой!

Ко мне подходят две девушки.

— Вот что: у нас есть ведро, мы моемся в одной воде. Если хочешь, можем мыться втроем.

Для этого нам приходится обнажить перед всем коридором, к ужасу некоторых старушек, свои тощие тела.

Помывшись, я хочу вылить грязную воду. Но девушки останавливают меня.

— погоди, мы вымоем пол под матрацами.

Так и делаем. Затем выливаем воду в жестяную банку, стоящую в уборной — большую пустую банку из-под оливкового масла, — потому что в уборной тоже нет воды. Этой уборной пользуется весь коридор — двести женщин — и больные из четвертого изолятора, «чахоточные», как их здесь называют. В уборную всегда огромная очередь.

— Это просто чудо, что мы не бодем тифом,— говорит одна из девушек.

Вдвоем отправляемся во двор к водопроводному крану, вокруг которого выстроилась огромная, шумная очередь из сотен женщин с жестяными банками, ведрами, большими глиняными кувшинами.

— В тюрьме есть и водопровод и канализация,— объясняет девушка в ответ на мои расспросы.— Есть даже душевые, умывальники, прачечные, ванны. Ведь эту тюрьму выстроили при Республике. Но они перекрыли воду и оставили

только этот крап. На шесть тысяч женщин. А в тридцать девятом нас было почти девять тысяч! С одной стороны, они стремятся унижить нас, заставить жить по-свински, чтобы увеличить наши страдания. Но прежде всего им хочется столкнуть нас из-за стакана воды.

И как бы в подтверждение ее слов около меня разгорается спор:

— Эй, ты, становись в очередь!

— Кто, я? Я здесь стою уже больше часа. Еще раньше тебя!

— Врешь! Я видела, когда ты пришла.

— Меня видела?

— Тебя. Кто тебе уступил свою очередь?

— Тут одна, она ушла.

— Вставай в очередь!

Все начинают говорить разом, возбужденно. В конце копцов, несмотря на бурные протесты женщины, ей ничего не остается, как встать в очередь.

Всякая попытка «пролезть» встречает громовое и едипо-душное «Становись в очередь!», которое вынуждает того, кто нарушает общий порядок, подчиниться.

Стоящая рядом со мной красивая женщина рассказывает:

— Из нашего пригорода, из Колменар де Орехи, половина жителей в тюрьме. А сколько тех, у кого Пепа... Эй, та, в голубом, лезет без очереди! — вдруг кричит она пронзительным голосом, прерывая свой рассказ.

— Так вот, — продолжает она. — В Колменар де Орехе в пачале войны... Эй, ты, с кувшином, в очередь! — снова кричит она.

Все смеются. Наверное, я так никогда и не узнаю, что произошло в Колменаре.

Коммунистический лидер

И вдруг одна женщина, еще молодая, с бледным, серьезным лицом, пересекает двор и спокойно направляется к краю. И никто — о чудо! — никто не протестует. А она так же спокойно ставит ведро под струю.

— Почему же ты ей ничего не говоришь? — шуточно спрашиваю я у женщины из Колменара.

— Она приговорена к смерти, — хмуро отвечает та. — А здесь, в тюрьме Вентас, приговоренных к смерти пропускают без очереди.

Бледная женщина с полным ведром проходит мимо нас. В дружеских приветствиях, обращенных к ней, чувствуются любовь и уважение.

— Это Матильда Ланда, видная коммунистка. Настоящий человек, умная, смелая. Представляешь, один ее родственник, довольно важная персона, приходил сюда, обещал ей смягчить наказание и даже выпустить на свободу, если она публично отречется от своих идей. Но Матильда ответила ему, что она коммунистка и предпочитает тысячу раз умереть, чем продаться.

— Узницы очень многим обязаны ей,— говорит та, что из Колменара.— Она дает им советы, пишет за них прошения. Мало того. Раньше любой фалангист мог прийти, безо всякого судебного предписания увести узницу и расстрелять ее. Только благодаря Матильде этому был положен конец. Никого не боясь, она так поговорила с начальником тюрьмы, что с тех пор этот тип не осмеливается больше никого казнить без ордера на расстрел. Да, эта женщина — настоящее сокровище.

Умалитенная

В галерее, где находятся одиночные камеры, сидит взперти Эухения, каталонка. Эухения лишилась рассудка. Присутствие здесь этой несчастной безумной, которая, естественно, не может отвечать за свои поступки, уже само по себе страшное обвинение тому режиму, который заключил ее в тюрьму.

Эухения — женщина неопределенного возраста, высокая, тощая, остриженная под машинку. Единственная одежда ее — ночная рубаха из грубой ткани — едва прикрывает колени. День и ночь Эухения ходит по камере с оловянной миской в руках. Из этой миски она ест, умывается — когда вообще умывается, в нес же мочится. С наступлением ночи она бережно закутывает ее, баюкает, словно ребенка, и кладет в постель.

Если приблизиться к решетке ее камеры, слышны бесвязные фразы:

— Я тебя очень люблю. Сегодня вечером я поеду в поезде.

Утром мы с Анхелой идем навестить ее.

Эухения встречает нас своей обычной безумной улыбкой, с неизменной миской в руках.

— Сегодня вечером я их видела,— ворчит она.— Их было пятеро.

— Мне сказали, что вы из Барселоны,— говорю я ей по-каталански.— На какой улице вы жили?

Услышав родную речь, Эухения словно преображается. В ее ничего не выражающих глазах на какое-то мгновение мелькает разум. В страшном волнении она до боли сжимает мои руки и кричит по-каталански, захлебываясь, хриплым голосом, в котором слышится такая боль, что по телу пробегает дрожь:

— Моя дочь! Моя дочь! Ее убили на моих глазах!

Она тяжело дышит. Внезапно, словно лишившись сил, выпускает мою руку и прислоняется к железным брускам двери, пуская слюну. Постепенно лицо ее снова становится бессмысленным. Она озирается, будто ищет что-то, и, найдя выпавшую у нее из рук миску, жалобно улыбается.

Став вдруг совершенно безразличной к нам, она поворачивается спиной и, задрав рубаху, безо всякого стеснения ожесточенно чешет тощие ягодички.

Подавленные, мы переглядываемся. Какие страшные обстоятельства свели с ума эту несчастную женщину?

Элонна

— Правда или нет то, что говорят о дочери Эухении, вряд ли мы когда-нибудь узнаем. Но одно совершенно очевидно: ни в какой цивилизованной стране сумасшедших не считают ответственными за свои поступки и не содержат в тюрьме. Это противоречит всем принципам правосудия.

— Иди ты со своим правосудием! Неужели ты не понимаешь, что у нас фашизм? Сегодня в Испании есть только один закон: «Я так делаю, потому что хочу, вот и все»,— отвечает мне Инес, смуглая подвижная девушка.— Ты знаешь историю Элонны?

— Нет.

— Так вот. Элонна была несчастной полуидiotкой, которая никому не причиняла вреда. Над ней всегда потешались мадридские мальчишки. Во время войны она нашла где-то ризу священника, надела на себя и разгуливала в ней с таким важным видом, будто на ней было бальное платье или шляпа министра. За это в 1939 году ее приговорили к смерти. А ведь не требовалось особой прощительности, чтобы за-

метить, что у бедняжки, как говорится, не все дома. Однако суд не пожелал этого увидеть.

— Ее убили?

— Разумеется. Тогда еще приговоренных к смерти не забирали на ночь в отдельной галерее, как теперь. Они были тут же, с нами. Когда ночью пришли за Элоиной, произошло нечто страшное. Несчастная, увидев военных с пистолетами в руках и услышав свое имя, в ужасе начала кричать, прятаться под матрацы, бросаться нам на шею, умоляя спасти ее, пыталась запереться в уборной. Когда наконец ее все же поймали, она плакала, орала, упиралась, а ее волокли по полу, словно мешок. У некоторых женщин не выдержали нервы, и они потеряли сознание. Не знаю, как мы все не сошли с ума в ту ночь!

Девушки

Вокруг еще совсем молоденькой девчонки, только что бывшей из Салезианского монастыря*, собирается шумная группа девушек. Я тоже подхожу к ним.

— Сколько тебе дали?

— Двадцать и один день.

— Трики-три-три! Тра!

Веселое приветствие Социалистического Союза молодежи в ответ на ее слова привело меня в полное недоумение. А я-то ждала, что они будут ей сочувствовать, утешать ее!

— Мне еще подвезло,— просто говорит девчонка.— А вот у Антонии Пепа.

— Сволочи! — с возмущением восклицает одна из девушек.— И не стыдно им приговаривать к смерти седую женщину!

— Да, волосы у нее седые,— отвечает девчонка.— Но хватка будь здоров! Нам есть чему у нее поучиться. «Я коммунистка,— сказала она им с гордостью, которой мог бы позавидовать сам дон Родриго на виселице,— и как секретарь партийной организации нашего города я беру на себя ответственность за все действия моей партии». А когда один из членов суда попытался было обвинить ее в воровстве, она оборвала его на полуслове: «Коммунисты не воруют!» Да так сказала, что он онемел. Единствен-

* Там заседал Военный трибунал.

но, что ей еще оставалось, девочки, это запеть «Интернационал».

— А ты?

Девчонка улыбается.

— Я старалась не опозорить Союза молодежи.

— Если бы когда-нибудь мне сказали, что я увижу, как человека поздравляют с тем, что его осудили на двадцать лет тюремного заключения, я подумала бы, что сошла с ума, — говорю я девушкам из Союза молодежи.

Все дружно смеются.

— Здесь важно только одно: не отправиться на восточное кладбище. Заключение — ерунда! Чем больше тебе дадут, тем больше у тебя к ним будет счет.

— А сколько тебе лет?

— От роду пятнадцать. Осуждена на двадцать, — отвечает она насмешливо.

Мое удивление вызывает всеобщее веселье. Внезапно все смолкают. Их взгляды устремлены на некрасивую пингалицу, которая проходит мимо, украдкой поглядывая в нашу сторону.

— Вот идет *эта*...

— Будь она проклята!

Слова девушек полны ненависти и отвращения.

— Смотрите! На ней рубашка Союза молодежи! — изумленно восклицаю я.

— Вот, вот. Попробуй-ка ты или я надеть такую рубаху, в ту же ночь упекут в карцер, пришьют дело об «участии в заговоре» и отправят на восточное кладбище. А ей все дозволено. Потому что эта пингалица — доносчица и на ее совести десятки убитых. Запомни хорошенько ее имя: Кармен Вивес Саманиего. Из-за нее расстреляли тринадцать несовершеннолетних.

Тринадцать роз

— Их было тринадцать. Тринадцать девчонок из Союза молодежи, красивых, как само солнце. Младшей не исполнилось еще и шестнадцати. Едва «эти» вошли в Мадрид, как девочки по собственной инициативе создали подпольную организацию. Ежедневно, рискуя жизнью, прятали они в падежные места известных антифранкистов, которым угрожала опасность. Но пришла эта дрянь и сказала, что хочет познакомиться их с кое-какими товарищами, которые якобы тоже действуют организованно, и так далее и тому подобное. Од-

ним словом, устроила им западню, и девушки попали прямо в лапы полиции.

Они предстали перед судом в Салезианском монастыре. И Вивес вместе с ними. Там их приговорили к смертной казни, а ей дали двадцать лет. Затем их привезли сюда. Можешь вообразить, в какое уныние впали все заключенные. Но девчонки держались молодцом и не переставали улыбаться.

«Нас приговорили к смерти,— сказали они,— и приговор будет приведен в исполнение в течение сорока восьми часов. Но это неважно, мы ни о чем не жалеем. С нами или без нас, наше дело победит! Мы хотим только, чтобы вы знали: на процессе выяснилось, что нас поймали благодаря вот этой доносчице.— И они показали на Вивес.— Она сама во всем призналась на суде, чтоб оправдать себя».

Что тут поднялось! Вивес упала в обморок. Надзирательницы вырвали ее из наших рук и унесли в изолятор. Иначе мы бы ее растерзали, это точно.

Тот день — 5 августа 1939 года — будет помнить вся тюрьма. Тринадцать девчонок, улыбающиеся и спокойные, подбадривали остальных. Они вымылись с головы до ног и надели лучшее из того, что у них было, готовясь к расстрелу... Одну из женщин, парикмахершу по профессии, они попросили причесать их. «Нам хочется пойти туда красивыми», — говорили они. У парикмахерши дрожали руки, и она ничего не могла с собой поделать. Тогда одна из девчонок говорит ей: «Не надо дрожать! Ведь мы не дрожим, хотя нас ведут на расстрел». Прекрасные девчонки! Они были точно розы. И когда за ними пришли, отправились на смерть, как настоящие героини: с лозунгами и песнями. Мария Тереса, эта ярая фалангистка, добровольно отправилась на восточное кладбище добивать их.

Что касается этой дрянн, то никто в тюрьме с ней не разговаривает. Время от времени ее уводят на несколько дней, и тогда уже известно: скоро сюда приведут новую партию девушек, обвиняемых в «заговоре». Когда мы расспрашиваем их, выясняется, что они попали в западню после встречи с Вивес...

«Еще одним красным отродьем меньше!»

— Я иду навестить матерей! Поїдем? — предлагает мне Анхела.

После многочисленных поворотов и самых настоящих скачек с препятствиями через матрацы, чемоданы и горшки

мы подходим к галерее. Едва мы приближаемся к ней, чувствуем тяжелый запах мочи, кислотины, испражнений; к горлу подступает тошнота.

— Им не дают мыла, — объясняет Анхела. — А так как воды тоже нет, они вынуждены сушить пеленки, не стирая. Из-за грязи и плохого питания дети в ужасном состоянии. Почти все они умирают.

На матрацах или же прямо на полу сидят много молодых женщин, возле которых копошатся дети, бледные, худенькие, покрытые болячками. Им нет еще и пяти. День и ночь без воздуха, голодные, они дрожат перед надзирательницами. Они видят, как заключенных уводят на казнь, слышат выстрелы на рассвете. И поэтому у них такое выражение глаз, что становится жутко.

На зов Анхелы выходит молодая женщина.

— Как малыш?

— Плохо, совсем плохо. — Женщина опускает голову, на лице ее безграничное отчаяние. — Он умрет, Анхела, он умрет!

— Нет, нет, — горячо возражает Анхела. — Мы, матери, всегда пугаемся раньше времени.

— Ах, если бы я была на свободе! Но что я могу сделать здесь? Он умрет, — повторяет она.

Медленно, с тяжелым сердцем возвращаемся к себе.

— Знаешь, что говорит Гадюка, когда умирает ребенок? — с гневом спрашивает Анхела. — «Еще одним красным отродьем меньше!»

Современная инквизиция

Найти в Вентасе узницу, которую били и пытали, не трудно. Трудно, чтобы не сказать невозможно, встретить среди узниц такую, которой удалось бы избежать столь обычной тут пощечины.

Избиение палками и истязание электрическим током — две самые распространенные здесь пытки. В основном они предназначены для того, чтобы заставить жертву заговорить и выдать имена других антифранкистов. Но чаще пытаются просто так, чтобы насытить свою дикую ненависть, ненависть садистов, потерявших разум.

Вот несколько примеров.

Я разговаривала с Эленой Куартеро. Элена, которой боль-

ше пятидесяти лет, передвигается, тяжело опираясь на стул. Она толкает его перед собой за неизменным костылем. При каждом шаге лицо ее искажается страданием и она кусает губы, чтобы не закричать от боли: ей переломили позвоночник в трех местах. Элена Куартеро, анархистка, приговорена к смерти.

— Несколько полицейских били меня палками до изнеможения, — рассказывает она. — А потом, избитую, заставили подняться по стремянке, чтобы помыть слуховое окно. Когда я поднялась наверх, они выбили у меня из-под ног лестницу. И вот результат. Полицейские пытались представить дело так, будто я хотела покончить с собой. Я понимаю, что меня все равно убьют, но хочу, чтобы все знали о том, что они со мной сделали.

В другой галерее находится Ньевес С. А. Этой женщине сделали ножиком множество надрезов в промежности, а потом полили их уксусом и посыпали солью. Голую, под смех и сальные шуточки ее заставили бежать и при этом издевались над тем, как она передвигается, широко расставив ноги. «Ты похожа на жабу!» — кричали они ей.

А одну старушку, которой было за семьдесят, заставили ездить на велосипеде. Бедняга упала раз, другой, третий, получая все новые и новые ушибы. Пытка длилась до тех пор, пока она не сломала себе руку.

Маруху Г. били без передышки, чтобы она назвала место пребывания своего мужа, видного антифраккиста. Устав и не получив желанного ответа, они облили ее бензином и подожгли. Испугавшись, один из полицейских набросил на нее куртку, и это спасло ей жизнь, но тело, руки, шея Марухи превратились в сплошные бесформенные рубцы. Особенно груди: они потеряли всякую форму. «Если когда-нибудь у меня родится ребенок, я не смогу его кормить грудью», — говорит она мне с грустью. Марухе всего двадцать три года.

Но особенно охотно измывались они над беременными женщинами. У многих во время побоев случались выкидыши. «Ты скинешь его через рот!» — кричали они одной молодой женщине, которой оставалось совсем недолго до родов, и били ее ногами в живот. У этой женщины, которую звали Кармен П., был выкидыш, и с тех пор она страдает страшными болями в животе.

Что же касается пыток электрическим током, который они пропускают через запястье и пальцы («Мы тебе подарим

браслет и кольца», — обычно говорят они жертве), через половые органы и соски (политые водой, чтобы увеличить силу тока), — это настолько обычно, что все случаи невозможно перечислить.

Пересылка

Новость облетает тюрьму с быстротой молнии: намечается пересылка.

Женщины ходят по коридорам в надежде разузнать подробности. Постепенно выясняется:

— Отправляют в Сарагосу.

Два доктора — Пучеглазый и дон Модесто — обходят четвертый изолятор. Они признают годной к отправке Амансию Серрано.

Это сообщение меня потрясает.

— Амансию Серрано? Ту, у которой позавчера шла горлом кровь?

— А что тебя удивляет? Эти двое коновалов сочли возможным отправить даже женщину с предродовыми схватками.

Здесь решительно ничему нельзя удивляться.

Они ходят, громко выкрикивая имена по списку.

— Меня наверняка отправит, — вздыхает Анхела.

Росита пытается шутить, но ее никто не поддерживает. Сейчас не до шуток.

Пересылка в отдаленную тюрьму для узниц, которые уже осуждены, — это дамоклов меч, постоянно висящий над их головами. Если к тому же учесть скудные средства их семей, то пересылка означает разлуку с близкими на долгие месяцы, а может быть, и годы. Матери лишаются последнего утешения — жадно всматриваться в лица детей через две толстые решетки, между которыми, словно лев в клетке, ходит надзирательница, внимательно прислушиваясь к разговорам.

— Идут, — сообщает кто-то.

— Внимание!

Воцаряется мертвая тишина. Весь коридор слушает застав дыхание. Список длинный. Уезжает Росита. Инес тоже. Отправляются девушки, которые умываются со мной в одном ведре. И соседка с бледным лицом, всю ночь просидевшая над трупом дочки в уборной, кишашей крысами. Уезжает Анхела.

— Будь они прокляты! — тихо говорит она. — Завтра утром сюда придет отец с моим старшим сыном. Им с таким трудом удалось собрать гроши на дорогу!..

— Может быть, ты успеешь повидать их.

— Нет. Сейчас нас отведут в церковь. А оттуда сразу на поезд. Не дав написать ни строчки, не разрешив попрощаться.

В коридоре царит уныние, но мы изо всех сил пытаемся сдерживать слезы. Разлучают сестер, матерей с детьми. Безжалостно обрывают дружбу, завязавшуюся в тюрьме. И все же узницы проявляют твердость и не терпят присутствия духа. Некоторые даже улыбаются: делают вид, будто ничего страшного не случилось. Глубоко прячут свое отчаяние.

Лихорадочно, с помощью тех, кто остается, отъезжающие одеваются, сворачивают матрацы, запихивают в вещевые мешки свой жалкий скраб. Надзирательница подталкивает женщины к церкви.

Смятение усугубляет еще одна неожиданная новость.

Ликвидируют общие коридоры. Все будет заперто по своим галереям. Прибывают монахини: теперь они будут хозяйничать в тюрьме.

У входа в церковь — неопикуемый гам. Вся тюрьма пришла сюда, чтобы проститься с теми, кто уезжает. Надзирательницы отталкивают нас и орут:

— Эй, хватит лизаться! Отправляйтесь по своим галереям!

Опираясь на руку другой узницы, идет Амансия Серрано, совсем еще молодая и очень бледная. Она мужественно улыбается.

На лестнице, молчаливая и неподвижная, стоит старуха — «тюремная мать Роситы». Росита машет ей рукой, и тень беспокойства пробегает по ее лицу. Вдруг какая-то девушка подбегает к старухе и ласково гладит ее по спине, словно берет ее под свою опеку. Росита улыбается с облегчением.

— Если когда-нибудь будешь в Эскориале, заходи ко мне, — говорит Анхела.

— Хорошо.

Мы крепко обнимаемся. Анхела сжимает мои руки.

— Народ победит, — говорит она уверенно и звонко.

Серафинес и доверенное лицо Хуана Марча

Во главе монахинь стоит Кардинальша — мать Мария де Лос Серафинес. Серафинес, монахиня-немка, явный агент гестапо. Ледяной взгляд ее глаз вызывает настоящее физиче-

ское недомогание. Серафимес чужды всякие чувства, в ней нет ничего человеческого. Это холодный, неумолимый враг, собранный и педантичный. У нее есть записная книжка, знаменитая на всю тюрьму, куда она заносит фамилию каждой узницы и ее краткую биографию. Память у нее феноменальная. От Кардинальши никуда не скроешься.

«Вы такая-то, — говорит она. — Из такой-то галереи. Из такой-то камеры. Объясните мне, почему вы не в своей галерее».

Женщина пытается как-то оправдаться. Бесплезный труд.

«У вашей галереи дель свиданий тогда-то. Я лишая вас свидания. В следующий раз приму более строгие меры».

При ней начались постоянные массовые обыски, непрерывные переселения женщин из одной галереи в другую. Словом, не даст нам организоваться. Ее идефикс — коммунистки. Чтобы обнаружить их, она ни перед чем не останавливается. Такие подонки, как Вивес, охотно служат ей и ежедневно доносят на узниц. И все же ревностная служительница безумца из Берхтесгадена * достигает самых мизерных результатов. Мы всегда настороже.

И словно нам мало этой фурии, тюрьма Вентас обогащается еще одним примечательным экземпляром. Речь идет об Эухенио Варгасе, или Дяде Крошке, — новом начальнике тюрьмы. Эухенио Варгас — тот самый тюремный чиновник, который способствовал побегу Хуана Марча при Республике. Этот «Последний пират Средиземного моря» ** вознаградил свое доверенное лицо за услугу, предложив ему место начальника тюрьмы Вентас, то есть должность, которая приносит большие барыши. Для заключенных в тюрьму поступают различные продукты, но по дороге они «теряются» и вместо того, чтобы попасть в наши пустые желудки, попадают в тюремную лавочку, где нам приходится платить наличными и в несколько раз дороже. И пока Дядя Крошка становится все более чванливым и толстым, срыгивая слова, полные ненависти, мы, узницы, на глазах худеем, а изоляторы переполняются.

* Берхтесгаден — местечко в Германии, где находилась резиденция Гитлера.

** Хуан Марч — крупный финансист, похитивший в Испании сотни миллионов несет и прославившийся своими кровавыми злодеяниями. «Последний пират Средиземного моря» — книга Мануэля Домингеса Бенавидеса о Хуане Марче, написанная в 1934 г. В сокращенном виде печаталась в СССР в 1936 г.

Мы разгромим их!

Пересылки следовали одна за другой. Многие из приговоренных к смерти, среди них Матильда Ланда, отправлены в Пальму, на остров Мальорка. Уехала и Клара, от которой я больше не имела никаких известий, поскольку переписка между тюрьмами запрещена. Многие расстреляны: погибла двадцатилетняя Кларита де Пабло, точно сошедшая с полотна Ромеро де Торреса. Погибла Елена Куартеро, которой уже за пятьдесят. Погибли сестры Ороско и другие. Всех не перечесть.

Сейчас я в одном из подвалов, где мы проводим занятия. Здесь собралось много учениц и почти все учительницы.

Сегодня отсюда увели на допрос двух девушек, двух коммунисток, которых еще не судили. Мы всполошились. Давно уже никого не брали на допрос, поэтому строятся самые разные догадки. Девушки пользуются среди нас большим уважением, и мы беспокоимся за их судьбу.

Вдруг дверь подвала открывается, входит бледная, взволнованная женщина, которая возвращается со свидания. Увидев ее, все сразу смолкают.

— Что с тобой?

В полной тишине ее слова звучат как удар бичом:

— Гитлер напал на Советский Союз.

Мы потрясены. Повинуясь единому порыву, все мы — коммунистки, социалистки, анархистки, беспартийные, молодые и старые — торопимся выйти из подвала. В коридорах множество узниц с разных галерей. Охваченные одним и тем же чувством, они не обращают никакого внимания на окрики надзирательницы. Тюремщицы угрожают нам самыми страшными наказаниями, если мы тотчас же не вернемся на свои места.

— Мы разгромим их!

Таков единодушный возглас тюрьмы Вентас. Возглас, в котором заключена твердая вера всех узниц в страну социализма: даже те, кто еще совсем недавно резко критиковал германо-советский пакт, сейчас оставили свои сомнения. Никогда еще не переживали мы столь волнующих минут, не ощущали с такой полнотой товарищеского единства.

Теперь ясно, почему именно сегодня увели на допрос двух коммунисток. Они не случайно выбрали для пыток этот день. «Отмечали» важное событие.

Девушки вернулись через двое суток — избитые, в синяках, но улыбающиеся и полные решимости.

— Нас били в присутствии самого судьи, — говорят они.

Обе при горячей поддержке всего подвала отправляются к начальнику тюрьмы и к матери-настоятельнице, показывают им следы побоев и решительно требуют, чтобы те выразили официальный протест против подобного зверства. Ошеломленные мужеством девушек, те соглашаются. Такое впервые случается в тюрьме Вейтас.

Этот знаменательный инцидент неопровержимо свидетельствует об одном совершенно очевидном факте: историческое событие, которое мы переживаем, изменило лицо тюрьмы.

Вот почему мы не говорим «Советский Союз разгромит их», а просто «Мы разгромим их», выражая тем самым сокровенные чаяния. Мы не зрители в этой борьбе, мы отряд великой армии. Отряд осажденный, но продолжающий сражаться с врагом и поэтому вносящий посильный вклад в общую борьбу. Чувство, которое все мы переживаем, придает нам новые силы, о которых еще вчера никто из нас даже не подозревал.

Заключенные спокойны и тверды. Никто не выказывает страха. Никто не говорит об ужасах войны, о том, что может принести она советскому народу. Из безразличия, из чудовищного эгоизма? Такое предположение было бы оскорбительным. Разве могли мы быть равнодушными к чужому горю? Нет, наше чувство куда сложнее. Оно ближе к тому, что испытывает солдат в пылу сражения, когда под пулями идет вперед и не может остановиться, чтобы склониться над товарищами по оружию, падающими вокруг него, хотя и связан с ними самыми тесными узами.

По правде говоря, к этому чувству примешивается и своего рода зависть. Они сражаются лицом к лицу, с оружием в руках. А мы безоружны.

— Как хорошо я понимаю теперь немецких добровольцев из интернациональных бригад! — говорит кто-то рядом.

Это верно. Даже мис, никогда не державшей винтовки, хотелось бы теперь сражаться с оружием в руках! Отомстить им за все расстрелы, за все пытки, за все спетые нами «Лицом к солпцу», за все наши унижения.

Утром, не на рассвете, как обычно, а гораздо позже, оглушительный залп сотрясает тюрьму: на соседнем восточном

кладбище разрывными пулями расстреляны Доминго Хирон, Эухенио Месон и Гильермо Асканио, коммунисты. Франкисты на свой лад празднуют подлое нападение гитлеровских орд на страну социализма.

Прощайте, овечки!

В течение многих месяцев приговоренных к смерти держали в подвале, без света, без вентиляции, не разрешая выходить, совсем изолировав от остальных заключенных. Им поставили маленький алтарь, перед которым они должны провести оставшиеся дни, размышляя о загробной жизни и стараясь «примириться» с господом богом, как говорит мать Консуэло, прозванная Козивкой.

Не знаем, какой уж ветер подул там, наверху, по только за несколько педель подвал, где находились приговоренные к смерти, опустел. Казни следовали непрерывно, одна за другой. Остальных приговоренных к смерти помиловали.

Атанасия, которая несколько недель провела в этом жутком подвале, возвращается в галерею, очевидно, тоже помилованная. Во всяком случае, так ей сказали монахини. Но мы этому не верим. И уже совсем перестаем верить, когда приводят Долорес Куэвас, другую приговоренную к смерти, и велют ей идти в ту же камеру, где Атанасия.

— Это невозможно, — говорит Кармен, новая старшая, — там полно.

— Пусть потеснятся.

Галерею лихорадит. Мы уже знаем, что может означать подобное требование.

Под вечер я иду в умывальню. Туда же приходит с ведром Атанасия. Совершенно забыв о том, что официально она помилована, я пропускаю ее вперед себя, как приговоренную к смерти. Она устремляет на меня свой умный добрый взгляд.

— Ты тоже этому не веришь? — говорит она печально.

Я лепечу в ответ что-то невразумительное.

Ночью просыпаюсь. Мои соседки по камере тоже не спят; все сидят на своих матрацах.

— Что такое?

— Атанасию и Долорес Куэвас вызывают к следователю. У них в камере сам начальник тюрьмы.

Отчетливо доносится голос Атанасии:

— И вы хотите заставить меня поверить, будто меня вызывают к следователю? Меня уведут на расстрел. Мало вам того, что вы убили моего сына? Но ничего, отольются вам наши слезы!

Начальник тюрьмы что-то бубнит, но нам не слышно его слов.

Через глазок в двери мне удастся увидеть решетку входа в галерею. В полумраке вырисовывается толстобрюхий, злобный силуэт протеже Хуана Марча с пистолетом в руке. Рядом с ним угрожающе сгрудились тюремщики. По спине бегут мурашки, меня охватывает какое-то чудовищное чувство — смесь страха, ярости и, вопреки всякой логике, безрассудной надежды: а вдруг помилование?

Жуткий кортеж движется по галерее.

— Прощайте, овечки! — отчетливо доносится голос Атанасии. Долорес Куэвас хранит молчание.

Одновременно распахиваются двери всех камер, и женщины выходят в коридор.

— Прощай, Атанасия! Прощай, Долорес!

Кто-то из «этих» быстро закрывает галерею. Только тогда узницы дают волю своему горю, кричат, у некоторых нервный припадок.

Одна из моих соседок по камере вдруг вскакивает: взгляд ее блуждает, движения судорожны. Мы хватаем ее за руки. Недавно расстреляли ее мужа.

— Дядя Крошка, — шепчет чей-то встревоженный голос.

И действительно, это он. Его сопровождают Морда и Мужик — тюремщицы, которые обычно уведут на расстрел.

— Молчать! — рычит протеже Хуана Марча. И, охваченный звериной ненавистью, изрыгает непристойную брань.

— Нечего сказать, хороши эти, из мастерской! Вам не шесть и не двенадцать надо дать! К стенке вас всех! Молчать, я сказал! — вопит он вне себя. — Молчать, или я вызову сюда пикет!

Морда вторит ему:

— А ну-ка, где та, у которой нервный припадок, я ее мигом вылечу ведром воды. Подумаешь, какие нежности!

— Подлая лисица! — бормочет в отчаянии вдова, пытаюсь вырваться из наших рук, но мы крепко ее держим, чтобы она не сделала какой-нибудь глупости.

Одна женщина с нашей галереи сошла в ту ночь с ума.

Оказывается, она была приговорена к смерти и скрыла это, чтобы не оказаться в страшном подвале. Когда «те» вошли среди ночи, она решила, что это за ней.

На свободе

Мать-настоятельница улыбается, показывая мне свои длинные вставные зубы, которые напоминают клавиши старого пианино, взятого на прокат.

— Я вызвала вас, чтобы сообщить, что пришло ваше освобождение.

Новость для меня так неожиданна, что я молчу: смысл этих слов не совсем доходит до моего сознания.

— Вы меня поняли? — спрашивает она слейным голосом.

Видимо, она ждет реакции: радости, благодарности, слез... Но я не доставлю ей такого удовольствия.

— Тогда разрешите мне взять вещи и попрощаться с подругами, — холодно отвечаю я ей.

Мать-настоятельница смотрит на меня немного растерянно.

— Вы встречаете известие о своем освобождении с таким безразличием?

— Мое освобождение вполне естественно. Неестественно то, что меня продержали несколько лет в тюрьме.

Позавчера под вечер, думаю я, едва сдерживая ярость, в этот же кабинет вызвали Роситу Вентура, приговоренную к смерти. Не для того, чтобы дать ей свободу, а чтобы сообщить приказ о казни. Росита была мужественной, прекрасной женщиной. У нее была здесь дочка двух лет, пухленькая, розовенькая. Всю ночь мы слышали плач малышки. Росита отказалась от исповеди. А на рассвете... Воспоминание, еще такое яркое, жжет меня и заставляет сжимать кулаки.

Мы смотрим друг другу в глаза. Мопашиня первая отводит взгляд и принимается разглядывать свои жирные руки.

— Идите с богом, — говорит она, не поднимая глаз.

На галерее ликование, настоящее, искреннее. Все бегут обнять меня, многие дают адреса своих близких.

— Иди к нашим. У них, правда, с деньгами неважно, но они не оставят тебя на улице. Где едят трое, прокормятся и четверо.

Ко мне робко подходит молодая женщина. Ее мужа расстреляли в тридцать девятом году.

— Если у тебя будет время, — просит она, — повести мою

дочурку. Ей всего четыре годика, она слишком мала, чтобы понять, но расскажи ей обо мне, передай, что я очень люблю ее, поцелуй за меня, одним словом, сама знаешь...

Волнение не дает ей договорить.

— Расскажи тем, кто на воле, все, что ты здесь видела,— говорит другая.— Пусть те, кто на воле, узнают обо всем.

— Хорошо.

— Не забывай нас.

— Никогда!

У лестничной решетки множество женщины со всех галерей, которые, миновав стражу, пришли проститься со мной. Прощание короткое и волнуемое. Надзирательница требует, чтобы узницы отошли от решетки, и тщательно просматривает содержимое моего вещевого мешка.

И вдруг группа женщин, стоящих у лестницы, громко запевает:

О жизнь моя, солнце мое!
Когда ты ушла навсегда,
Умолкли веселые птицы,
Река перестала струиться,
О, ты моя страсть и беда.

Волнение сжимает мне горло. Да, дорогие сестры, я слышу ваш призыв к борьбе, вашу надежду, звучащие в песне, которую в Вептасе поют стоя: «Никогда не покидай поля боя, что бы ни случилось, чего бы это тебе ни стоило, будь достойна тех, кто на твоих глазах пал от руки врага...»

Сурово, без слов киваю головой, и это равноценно клятве. Надзирательница отодвигает засов.

Всей грудью вдыхаю свежий воздух. «Я на свободе,— повторяю себе, все еще не веря,— на свободе».

На свободе, в незнакомом городе, без близких, без гроша в кармане. Все мое имущество — длинный вещевой мешок из маленьких разноцветных лоскутков, который я кропотливо шила долгими часами и которым гордилась. У него даже ручки есть.

Направо? Налеву? Не у кого спросить: на улице безлюдно. На мгновение останавливаюсь, раздумывая, затем наугад снарачиваю направо.

Вдруг вижу: навстречу мне быстрыми мелкими шагами идет женщина, молодая, скромно одетая. В руке у нее плетеная корзинка, откуда выглядывают бледные листья лука-порей.

— Скажите, пожалуйста, как пройти на улицу?..
— Дойдете до Пласа де Торрес и там спросите,— отвечает она на ходу.

— Послушайте!

Я бросаюсь за ней, женщина останавливается.

— А где эта Пласа де Торрес?

Женщина смотрит на меня с удивлением.

— Вы не знаете Мадрида?

— Нет, сеньора.

Ее пронизательные глаза, очень черные, очень блестящие, быстро оглядывают меня. Внезапно взгляд ее падает на мой мешок.

— Ты оттуда? — спрашивает она, кивая в сторону тюрьмы.

Такой быстрый переход на «ты» наполняет меня радостью.

— Да.

— Сколько сидела?

— Здесь два года. Но я была еще и в других тюрьмах.

— Сволочи!

На пустынной улице это слово прозвучало, будто удар хлыстом.

Мы смотрим друг на друга, и вдруг мне кажется, будто мы давно знакомы.

— По этому адресу живут твои родные? — спрашивает она.

— Нет. У меня нет родных в Мадриде.

Женщина решительно поворачивается ко мне.

— Идем. Я провожу тебя.

— Но вы... ты же торопишься.

— Еще чего не хватало! Ради такого дела... Давай мешок.

— Что?

— Давай мешок, я понесу.

— Я и сама могу,— возражаю я.

— Да что ты можешь?! Посмотри на себя: кожа да кости. Эти сукины дети морят нас там голодом! — И она вырывает у меня из рук мешок.— Пошли!

Мы идем по тихой улице. Украдкой разглядываю свою спутницу. Судя по ее виду, на воле тоже не очень-то сытно. Она молода, худа, нервна и решительна. Одежда на ней очень чистенькая и очень поношенная. Типичная мадридка, энергичная, с золотым сердцем...

Если бы всего несколько лет назад, приходит мне вдруг

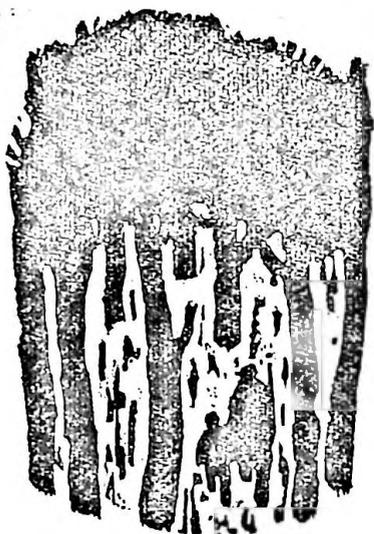
в голову, кто-нибудь сказал мне, что я буду на улице дру-
жески беседовать и к тому же на «ты» с незнакомой женщи-
ной, это показалось бы мне невероятным. «Какая невоспитан-
ность»,— сказала бы моя мама. Да что там мама! Я бы ска-
зала то же самое. Теперь оказывается, что я невежа и мне
совсем не стыдно ею быть.

Женщина сжимает мою руку.

— Ты смеешься?

— Мне вспомнилась одна глупая девчонка.

Ойю, Артуро дель



ПЕРВАЯ ОХОТА

День был хотя и летний, но не жаркий. Со съерры Арлапсон дул легкий освежающий ветерок, а воздух был пропитан ароматной влагой. Ветерок игриво раскачивал большие листья и ветви черных тополей и тихо шевелил низкую траву, по которой мы ступали.

К реке мы спустились почти бегом. Непомерно большой мешок, болтавшийся у меня сзади, гремел жестяными коробками и всякий раз ударял по спине, когда мне приходилось делать шаг пошире. При этом и фляга неизменно давала мне шлепка по заду.

Сначала можно одним прыжком перескочить через быстро текущий ручей с очень прозрачной водой. Но потом надо перейти реку по кое-как сбитому мосту, который каждую зиму сносит половодьем. Его мастерят из стволов деревьев, веток, а сверху насыпают землю и темного щебня. Когда идешь по этому мосту, он то опускается, то поднимается, плавно, в такт

шагу. Сразу же за мостом начинается роща, а посреди нее — мельница у неширокой протоки, несущей свои обычно тихие темные воды. А там дальше — шоссеиная дорога.

Дорога поднимается до самого Логроньо. Вдоль нее, как часовые, стоят два ряда тополей, высоких и стройных, словно их выточил ветер, залетевший сюда со склонов сьерры.

Мы пересекли дорогу и пошли через поле, разделенное на участки. На одних участках хлеб только сжали, другие были уже вспаханы, на третьих лежал гравий. Мы направлялись к лесному массиву, прилегающему к селению Орбанеха.

К лесу мы подошли еще засветло. Здесь растут дубы, кусты падуба, а также хара *. Его пересекают проезжие дороги из Орбанехи и Кинтанильи в Атапуэрку и в Ибес. Углубившись в лес, мы первым делом принялись искать подходящее место для охоты.

Нельзя сказать, что орбанехский лес — сплошные заросли или, наоборот, сплошное редколесье. Местами он довольно густой, но с многочисленными небольшими прогалинами. На этих прогалинах растет низкая желтовато-зеленая трава.

— Здесь, — сказал мне отец, — резвятся на закате солнца дикие кролики. И резвятся они всегда на одном и том же месте. Смотри-ка!

Он нагнулся и подобрал с земли несколько горошин помета. Они еще не успели высохнуть и пожелтеть. Тут же лежали и совсем уже высохшие, пожелтевшие. Те, что поднял отец, были оставлены совсем недавно, очевидно накануне вечером. Они еще сохраняли черноватый оттенок и бархатистый блеск. Держа горошины в левой руке, отец медленно и молча начал давить их пальцами правой — большим и указательным. Я смотрел, как он это делает. Мой отец вообще все делал хорошо и обстоятельно. Не сводя с них взгляда, он раскрошил одну за другой все горошины. Сомнения быть не могло: здесь прошли кролики. Мы встали на колени и довольно долго осматривали землю, стараясь выяснить, откуда они выбегают на прогалину. Когда выбираешь место для засады, знать это очень важно. Нам повезло. Направление хода кроликов и ветра совпадало. Так что мы стали искать местечко поудобнее на противоположной стороне прогалины.

Здесь стояли два дуба в окружении колючих кустов падуба. Мы наломали веток, чтобы устроить засаду. Потом отец, прислонив к веткам ружье и стараясь не шуметь, принялся

* Хара — род кустарника.

раздвигать их, обламывать тонкие веточки, желая проделать отверстие для наблюдения. Я сбросил с себя заплечный мешок, флягу и взялся делать то же самое, повторяя каждое его движение. Обламывание веточек сопровождалось сухим и довольно громким треском. В коротких паузах наступала приятная тишина. Сначала мне нравилась эта тишина. Но с каждым разом она становилась все продолжительнее, а треск — все громче. Сердце у меня колотилось, и я уже не испытывал от такой тишины ни удовольствия, ни облегчения. Она напоминала резину, которая все растягивается и растягивается, а потом с треском лопается, вызывая ощущение болезненного удара. Я перестал обламывать ветки, а отец продолжал. Как и всегда, он делал сейчас все толково и на совесть. Наконец он сказал:

— А ну, вытащи-ка из мешка коробки. Пора закусить. Скоро уж и солнце сядет.

Я сразу же засуетился в своем укрытии: развязал мешок и достал из него коробки. На хлеб мы положили картофельную лепешку, лук и колбасу. Все это я уплетал с превеликим аппетитом, точно ел украдкой какое-то особое лакомство. Закончив с едой, мы попили воды из фляги. Вина у нас не было.

— А теперь, — сказал отец, — будем ждать.

Брови у моего отца очень густые и курчавятся. А сейчас, в лесных сумерках, они казались еще гуще. Напряженное, чуть сдавленное дыхание с легким свистом вырывалось у него из ноздрей.

Свет быстро угасал, и у меня было такое впечатление, будто я слепну. Я терпеливо пытался приспособить зрение к сгущавшимся сумеркам, но мне это не удавалось. Вскоре все вокруг стало почти незримым, так что разглядеть что-нибудь было и в самом деле трудно. Темнота разлилась повсюду равномерно, однако густота мрака уже не менялась. Начиналась таинственная жизнь леса: повсюду короткие, резкие звуки, которые возникают неожиданно и тут же обрываются. Эти звуки пугают, заставляют вздрагивать. Слышно было также, как мягко взмахивают крыльями совы и другие ночные птицы.

Прогалина виднелась теперь отчетливо, потому что чернеющие в темноте растения окружали ее со всех сторон. Она казалась плоской и гладкой, как ладонь.

— Постарайся не шуметь, — шепнул мне отец. — Ни звука! Слышишь?

— Да, — ответил я тихо.

Все мне казалось странным, загадочным. И почему-то ста-

повилось стыдно, что я от кого-то прячусь. Хотелось пить. Отец сидел спокойно, неподвижно, уперев приклад ружья себе в пах.

— Пить хочется, — сказал я шепотом.

— Пей, только не шуми.

— Ладно.

Я тихонько вытащил пробку из фляги и сделал глоток. Сначала вода застряла у меня в горле, но потом, побулькав, все-таки прошла.

— Я же тебе сказал: не шуми! — буркнул отец.

Я испытывал стыд и даже страх оттого, что нахожусь здесь.

— Если уж они явятся, то явятся скоро. Гляди в оба!

Я, как только мог, широко раскрыл глаза. И поскольку меня никто не видел, старался таращить их все шире и строил при этом разные гримасы. Это занятие мне очень понравилось. Подумать только: притаиться в засаде, да еще в темноте, строить гримасы — и никто тебя не видит. По-моему, я даже несколько раз показал язык темноте.

Чу, какой-то едва уловимый звук. Я тихонько толкнул отца, желая его предупредить. Мне почудилось легкое постукивание зубов кролика, быстро и ритмично щипавшего траву. Звук этот раздавался некоторое время, с короткими перерывами, но потом все смолкло. Вскоре до нас донесся другой звук — резкий, дробный стук колес какой-то повозки.

И действительно, это была повозка, которая быстро приближалась.

— Нам помешали, — почти вскрикнул отец.

Теперь повозка была уже недалеко, и мы явственно различали голос возницы.

— Давай, давай, Рыжий!

Потом услышали и скрип колес и позвякивание конской упряжи.

— Давай, Рыжий, давай! Барсук ты этакий!

Повозка тарахтела совсем близко от нас.

Возница, понятно, не мог знать, что мы паходимся где-то рядом. Он, по всей видимости, был сам из Орбанехи и теперь возвращался домой. Ему и в голову не приходило, что мы тут прячемся. Вдруг он как закричит:

— Ах, Руфи! Руфи! Уж и сграбастаю я тебя когда-нибудь!..

Эта Руфи тоже, наверно, жила в Орбанехе. И я подумал: «Руфи, Руфи... Уж и сграбастает он тебя когда-нибудь!..»

Повозка поравнялась с нами, и, если бы вздыхатель Руфи мог видеть моего отца, он бы заметил, как тот разъярился.

— Он нам все испортил!

А вздыхатель, который был, очевидно, в отличном расположении духа, даже запел:

На лице твоём веснушки...

Неожиданно он оборвал песню — слишком высоко начал. Потом снова запел, уже тоном ниже:

На лице твоём веснушки...
Как на личках куропатки.
А веснушки, точно розы,
Что растут в моем саду,
Что растут в моем саду...

Пел он протяжно, сильно растягивая последние слова песни, словно бы хотел придать им особое значение.

Мой отец задыхался от негодования. Я же, судя по всему, вел себя куда спокойнее. Значит, поклонник Руфи был из Орбанехи... А эту Руфи я знал. Мне стало не по себе. Копечно же, эта та самая девушка, которую прозвали Руфи-грибница. У меня запылали щеки.

— Я попью воды, — сказал я.

— Попей, — ответил отец. — Делай что хочешь. Этот тип испортил нам охоту.

Я сделал большой глоток.

Руфи-грибница, молодая девушка из Орбанехи, в грибной сезон ходила в лес близ Вильяфрня за грибами.

«Хотя эта Руфи из Орбанехи и собирает подчистую все грибы, — говорила мне, бывало, бабушка, — пойдн и ты в лес, может, она что-нибудь оставила». И я шел в лес искать грибы. Но на самом деле я валился там на траву, прячась среди зарослей тростника. Стебли у тростника очень тонкие, и я неторопливо срезал их один за другим. Мне было приятно знать, что сейчас где-то там, недалеко от меня, проходит Руфи со своей корзиной для грибов.

Иной раз это была вовсе не Руфи, но я все равно прятался. Иногда там появлялся палач из Бургоса. Собственно говоря, он был не из Бургоса, а из Орбанехи. Он только возвращался из Бургоса в Орбанеху, верхом на низкорослой ослице. Я мог следить за ним, высунув голову из зарослей. На вид он казался обыкновенным человеком. Носил костюм из желтого вельвета, широкое зеленое кашне и берет. Он ду-

шил узников гарротой. Моя бабушка недолюбливала жителей Орбанехи главным образом из-за Руфи и палача.

Теперь уже не слышно было ни стука колес, ни голоса возницы. Наступила ночь, и снова до нашего слуха стали доходить шорохи леса.

— Не шевелись! — приказал отец.

— Да я и так стою не шелохнусь.

Я прищурил глаза и увидел, как кролики резвятся на прогалине. Перебегая с места на место, они издавали чуть слышные звуки, похожие на нервный приглушенный смехок. Вся прогалина напоминала сцену, на которой выступают дрессированные кролики. Они смешно задирали белешкий издали хвост, прыгали по краю прогалины, обгоняя друг друга, или выбегали на середину, где сидела пастороже крольчиха. Иногда мне казалось, что их четыре, а иногда — пять или шесть. Глаза у них поблескивали, как бусинки. Они разгребали землю передними лапками, быстро-быстро, словно желая опередить друг друга. Потом усаживались на то место, где выкопали ямку, и притихали. Но ненадолго. Цирк да и только!

Именно тогда я понял, что самое важное в жизни — не просто жить, а наблюдать за тем, как живут другие. Спрятаться где-нибудь и наблюдать. Это лучше всего. Поэтому бог и сотворил мир. Поэтому он и прячется, наблюдая за нами. Мне бы вечно наблюдать за другими, вечно, как это делает бог...

Я почувствовал, как рука отца мягко легла на мое плечо. Затем все так же молча, не спеша он стал прицеливаться. И вдруг прогремел выстрел, вспыхнул красно-голубовато-зеленой огонек.

— Скорей! Хватай ее!

Хотя выстрел почти оглушил и ошеломил меня, я все же бросился и схватил крольчиху. Остальные кролики разбежались, оставив ее одну.

Крольчиха была из крупных. Она еще била лапками. Я отдал ее отцу.

— Вот это здорово! Наконец-то нам повезло.

И довольный, он потрепал меня по щеке. Потом, приподняв крольчиху за задние лапы одной рукой, стукнул ее другой два раза по затылку. Крольчиха перестала дергаться. Тогда отец сунул ее в сетку, а я подхватил мешок и флягу.

— Ты все взял?

— Да.

— Иди осторожно, не натывайся на колючки.

Мне не удавалось обходить колючки. Сухие кончики листьев падуба то и дело царапали мне до крови ноги, руки, лицо.

Наконец мы выбрались из леса. Вдали показались первые мерцающие огни селения. Лишь один раз отец спросил:

— Ну как? Понравилось?

Когда мы вернулись домой усталые, моя мать, взглянув на меня, сказала:

— Куда ты водил парня? Ведь он на Христа стал похож.



НОРА

Река Мэна — хотя вряд ли ее можно назвать рекой, поскольку русло у нее узкое, а сама она мелководная, почти всюду заросшая шпажником, осокой, поручейником и засоренная ветками и опавшими листьями, — течет издавна, должно быть со склонов виднеющейся на горизонте невысокой сьерры, собрав воедино множество ручейков. Кое-где Мэна становится шире, и ее можно перейти вброд. Через реку по мелководью тянутся повозки, запряженные волами, идут лошади, мулы, идут и люди — одни разувшись, другие переходят по камням, брошенным в воду для переправы. Местами река совсем мелеет и застаивается неглубокими лужами, а местами становится уже: стоит только разбежаться — и одним прыжком окажешься на другом берегу. Почти на всем своем протяжении Мэна течет среди ярко-зеленых лугов. А подалее от реки, куда не доходит влага, луга кончаются

и начинается суходол: пшеничные поля, земля под паром, невозделанные участки.

По дороге, сбегаящей от селения к реке, шагали три мальчугана — Дамасо, его братишка Андрес и Фелипе. Все трое светловолосые, а Фелипе еще и веснушчатый. Они шагали и пели:

Сидит рак в своей норе, э-э-э
Но достать я его не могу, у-у-у,
Но достать я его не могу, у-у-у;
Если ночью поймать не удастся, а-а-а,
На рассвете поймаю его, о-о-о,
На рассвете поймаю его, о-о-о...

Потом, словно подгоняемые песней, бегом стали спускаться к реке, горя нетерпением поскорее до нее добраться. При их стремительном приближении ветки на кустах ежевики шумно затрепетали и оцетинились своими колючками.

Подбежав к лугу, они оборвали песню, и все трое, повинаясь неудержимому порыву, разом повалились на траву и принялись кувыркаться. Затем, успокоившись, присели на корточки друг против друга и стали обдумывать, куда им лучше направиться — вверх по течению реки или вниз. Решили пойти вверх, в сторону Рубены. Место это малолюдное, не такое открытое, а потому более таинственное. Лугов там куда меньше, и почти все они заросли колючими кустами ежевики, терна, шиповника. А растущие по обоим берегам реки ивы, сплетаясь ветвями, образуют над ней узорчатый свод. Если же двинуться вниз по течению, в сторону Вильмара, луга встречаются чаще. Кругом, сколько достаёт глаз, видна зелень травы, кое-где перемежающаяся полянами, на которых красуется цветущий колыккум, или лужайками с бархатистой алтеей. Это уж место для девчонок.

Ребята шли гуськом. Впереди Дамасо, за ним его брат, а позади Фелипе. Иногда Фелипе опережал товарищей, но ненадолго — Дамасо снова оказывался во главе отряда. Они горлачили что есть мочи свой «гимн»:

Сидит рак в своей норе, э-э-э,
Но достать я его не могу, у-у-у...

На другом берегу реки, близ дороги на Котар, ребята увидели табун кобыл и табунщика. Табунщик сидел, прислонившись к стволу ивы, и уминал свой полдник. Рот у него был полон хлебом и сыром.

— Эй вы, мелюзга, чего разорались? — сердито проворчал он, взмахнув карманным ножом, лезвие которого блеснуло в воздухе.

На лугу паслось не меньше сотни кобыл. Статные и гладкие, они спокойно щипали траву, чувствуя близость жеребят, которые неустойчиво держались на своих длинных погах, боязливо озираясь по сторонам.

Вдали показались Котарские холмы. Над ними в величавом полете парили ястребы. Подойдя к мосту на котарской дороге, мальчишки бегом припустились вверх по насыпи. На мосту, перегнувшись через перила, они стали кидать камешки в реку.

— Вы когда-нибудь видели здесь змею? — спросил Фелипе. Дамасо и Андрес не ответили. Они, конечно, могли бы сказать «да» или «нет», но предпочли промолчать. Большая-пребольшая змея, которой родители пугают детей, живет под мостом. Она сидит там тихо, притаившись, и всегда настороже. Напуганные мальчишки стремятся отомстить змее, как только могут: проходя по мосту, они всегда швыряют камни в невидимое страшилище.

Перейдя на другой берег, ребята продолжили путь вверх по течению. Вскоре они миновали небольшой фруктовый сад и протоку, у которой стояла мельница. Позади осталась и змея, и страх, и табунык, и селенне. Теперь они были одни и могли делать все, что угодно: забираться на деревья, росшие у самой воды, орать, толкаться, изображать, кого захочется, и петь до хрипоты. Какое же это удовольствие — петь во все горло, да еще вразнобой!

Сидит рак в своей норе, э-э-э,
Но достать я его не могу, у-у-у,
Но достать я его не могу, у-у-у...

Наконец они уселись на землю, сбросили ботинки, снова поднялись и, стоя, стянули с себя штаны и трусики. Потом, описав струйкой мочи три маленькие дуги и стараясь при этом перещеголять друг друга — кто дальше, они полезли в воду. Вода была холодная. Все трое принялись рвать с корнем целые охапки поручейника и бросать их на берег. Затем, выскочив из реки, они усердно искали в поручейнике его обитателей. Обнаружив рачков, выпутывали их из стеблей растения и с криком: «Еще один! Еще один!» — свалили себе под берет. Оттуда уж им никак не улизнуть! Ребятам нравилось,

как что-то живое шевелится у них в волосах. Взрослые, охотясь, убивают животных. Ребенок же испытывает к ним бессознательное влечение. Взятых из гнезда птичек он кладет себе за пазуху. Ему приятно чувствовать, как они там копошатся, как щекочут, нежно царапая лапками кожу, приятно ощущать их слабое тепло, их трепетное волнение и чуть слышное биение маленького сердечка.

— Давайте поищем в норах,— предложил Дамасо.

Раки сидят в норах... Особенно крупные раки. Огромные клешни — их орудие защиты. Иногда приходится засовывать в пору всю руку, чуть не до плеча. Сказать, конечно, проще всего. А ты попробуй просунь руку в узкую рачью нору, не зная заранее, найдешь ли там добычу. Ведь делаешь это вслепую, шаряшь ощупью...

Ребята скинули с себя рубашки. Дамасо постарался засунуть всю руку в нору, аж щекой прижался к глинистой кромке берега, чтобы забраться поглубже. В его спокойных, лучистых глазах читалось напряженное ожидание. Все его существо в эту минуту было подчинено невидимой, скрывшейся под водой руке. Он зажмурил глаза, сделав еще одно усилие проникнуть как можно глубже в нору. Потом медленно и осторожно стал вытаскивать из нее руку, вымазанную черным илом и глиной. В ней болтался схваченный за клешни здоровенный темный рак. Филипе и Андрес тоже отыскали себе норы: уж очень хотелось повторить подвиг Дамасо. Но им это оказалось не по плечу. Поэтому все трое решили снова взяться за поручейник — среди его стеблей иногда попадаетея и мелкая рыбешка, которая, прыгая на берегу, изо всех сил старается вернуться в воду.

Солнце уже заходило, и ребята почувствовали, как предвечерняя прохлада начинает пробирать их. Чтобы согреться, они решили побегать по лугу. Недалеко от них с грохотом промчался поезд. Помахав ему своими рубашками, они стали одеваться. Потом пересчитали спрятанных в беретах раков. Последние перепелки проверещали свою прощальную песенку. Все короче становились пробежки и лёт пугливых трясогузок, а из гнезд, укрытых в ветвях кустарника, все настойчивее раздавался призывный писк. Вот промелькнул и бесшумно юркнул в листву замешкавшийся где-то щегол. Над большим темным деревом повис белый, точно вырезанный круг луны. Нахлобучив на голову набитые раками береты, ребята двинулись в обратный путь. Теперь они шагали не так бодро, как прежде, и уже не гуськом, а рядышком, обхватив

друг друга за шею. Багряный шар заходящего солнца быстро спускался за горизонт.

— А бывают красные рыбы? — вдруг спросил Фелипе.

— Нет, не бывают, — ответил Дамасо.

— Да, но те, что на спичечных коробках, ведь красные.

— Это потому, что их так раскрашивают, — пояснил Андрес. — Я тоже вот возьму и нарисую какую-нибудь рыбу, а потом раскрашу ее.

— Но раз они не красные, зачем же их тогда раскрашивать? — не успокаивался Фелипе.

— Чтобы они стали красные. А ты знаешь, что есть рыбы, похожие на раков: когда их варишь, они тоже делаются красными. Только в реке таких не бывает. Такие, наверно, водятся в море.

— А какое оно, море? — поинтересовался Фелипе.

— Большое, — ответил Дамасо. — Очень большое.

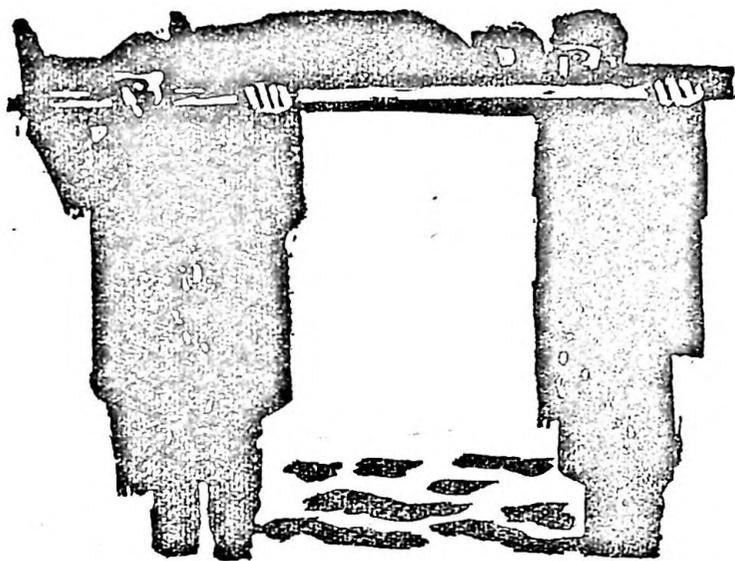
— А где оно?

— Там, где конечная остановка поезда. Поезд всегда доходит до самого моря.

— Мы еще маленькие, — вздохнул Фелипе, — и многого не знаем.

— Я-то кое-что знаю, — заметил Дамасо. — Мне Ведринес рассказывал, а он много разных вещей знает. Вот если засунешь руку в пору, ничего там не найдешь, а потом никак ее оттуда не вытащишь — это и значит много знать.

Было уже совсем темно. Ребячий разговор звучал все тише. Мальчики то и дело спотыкались и тогда стучались головами. Казалось, что их дыхание и голоса слились воедино. На мосту они остановились и опять взялись кидать камни в реку, чтобы раззадорить страшную змею-невидимку. Дамасо бросил только один камень, и то неохотно. Ведь он знал такие вещи, о которых Андрес и Фелипе даже не догадываются. Но он им ничего не расскажет. Нет! Никогда, никогда не расскажет.



ИСТОРИЯ КАК ИСТОРИЯ

Распахнулась дверь, и на пороге возник секретарь — тяжело дышит, форменное кепи, продавленное и засаленное, сползло на уши, глазки моргают чаще обыкновенного. Ловя ртом воздух, он прокричал:

— Господин мэр, они идут сюда, сам только что видел!

— Ах, Пьер! Сколько раз я тебе говорил: в служебное время в бистро ни ногой!

— Клянусь, господин мэр, я там не был! А что своими собственными глазами их видел, так это правда, клянусь вам!

— Ну и кого же ты видел, позволь полюбопытствовать?

— Солдат, господин мэр, солдат! Испанцев!

Тут уж господину мэру (а это был мосье Дебре собственной персоной) пришел черед не моргать — хлопать глазами. Оно, конечно, верно, деревня от границы не ахти как далеко — часа два пехом, самое большее, а когда под боком у

тебя чертовы эти иберы, то и впрямь дивиться нечему. Тем паче, если все вверх тормашками. Однако и то верно, что вой уж сколько месяцев не слышно этой трескотни — ни с чем ее не спутаешь: года два ни днем ни ночью от нее покоя не было всем двумстам с лишком обитателям Пик-сюр-Сегра. Так что и по здравом рассуждении не мог никак господин мэр взять в толк, откуда бы им взяться, этим солдатам, будь они несладны.

— И где ты, говоришь, их видел?

— Они от Серро Альто тропой спускаются, господин мэр.

— И много их?

— Да не так чтоб очень. Человек двенадцать будет.

И, одержим вдруг жаждой деятельности, наказав секретарю миглом сыскать всех господ муниципальных советников, мосье Дебре принялся лихорадочно извлекать из ящиков стола папки и ворошить в них бумаги.

— А ну прибавь шагу, ребята. Всего ничего осталось.

— Да не скачи ты так, черт полосатый! Не ровен час, носилки опрокинешь.

— Чего б не дал я за то, чтоб по-человечески помыться. Добрый месяц с себя не снимаю одежды.

— Я вот одно знаю, — веско молвил другой, — согласно конвенции Лиги Наций, мы имеем право на воду, соль, огонь, на то, чтоб почевать под крышей и...

— ...и с алькальдовой дочкой в ее постели, — досказал с издевкой третий.

— Не дурно б, конечно... Только с меня хватит и пачки какого ни есть горлодера да коробка спичек.

— Перебьешься. Главное сейчас — это отправить раненых в больницу.

— Эй ты, впереди, смотри, куда копыта ставишь: так ему и кости, какие еще целы, переломать недолго.

— Иньяки доходит, лейтенант. Все одно и то же: подавай ему священника. Если мы не нажмем, он у нас по дороге кончится.

— Хорошо. Нагони передних и передай, чтоб ходу прибавили. А вы там, сзади, что носы повесили?

— Вот скажи, лейтенант, правду говорят или нет, — спросил один вполголоса, — мол, первое впечатление — самое неверное? По всему видать, нас, республиканцев, здесь не шибко жалуют.

— Вот и все, господа советники, что я имел вам сообщить. А теперь немедленно нам надобно принять какое-нибудь решение.

— Принять так принять, но... разве не поступало на сей счет каких-либо указаний от префекта?

— Один циркуляр — он датирован 16 августа 1937 года — тут у меня действительно имеется. Называется «Общая инструкция, регламентирующая положение беженцев из Испании». Однако от нее нам пользы как от козла молока: она предписывает препровождать беженцев в лагерь Гюрз и там их интернировать. А лагеря-то нет! Его снесли больше года назад, это когда басков в Каталонию выдворили.

— Самое правильное, я полагаю, это испросить, как водится, указаний у вышестоящих властей, а пока что подготовить для беженцев концентрационный лагерь.

— Не упускайте из виду, любезные мои коллеги, — предостерег до той поры помалкивавший мосье Лекок-Плюмэ, президент местной Лиги бывших фронтовиков, — концентрационный лагерь — дело нешуточное, сам по себе, как гриб, не вырастет. Потребуется и то, и се, и пятое, и десятое. Колочей проволоки, папример, несколько тысяч метров, одного лесу сколько па столбы и сторожевые вышки, участок не какой-нибудь, а такой, как надо, — в стороне от жилья, сколько-нисколько людей, чтоб круглосуточно нести охрану.

— Я вот чего предлагаю, — набрался храбрости старичок с лицом чуть более красным, нежели положено, — поместим-ка мы их на ночь у меня в хлеву. Если вы с моим предложением согласны, так я враз перегоню свою скотину в братнину загон. По крайности в хлеву им тепло будет.

— Сейчас речь ведь не о том, чтоб им тепло или холодно было, — возразил глава бывших фронтовиков, — а о том, чтоб ни один из них у нас не удрал и не учинил какого безобразия.

— Вот именно, дражайший коллега! Да и в резолюции Комитета по невмешательству — я сам читал — сказано яснее некуда: разоружить, допросить, изолировать!

— Моя воля — я не стал бы с ними эдак цацкаться, а вооружил бы людей да и вышвырнул голубчиков в два счета за кордон: ступайте и сами, дескать, расхлебывайте кашу, какую заварили, а мы... мы ею уж сыты по горло.

— Легко сказать. А что, если они окажут сопротивление?

— Тогда пусть на себя пеняют. Как-никак мы у себя дома и имеем законное право на самооборону.

— Прекрасно, прекрасно, — прервал говорившего мэра, — однако паши прения слишком затянулись. Пора принимать решение.

— Учитывая чрезвычайность обстоятельств, каковые служат предметом нашего рассмотрения, — патетически провозгласил глава бывших фронтовиков, — предлагаю расквартировать их этой ночью на моем хозяйственном дворе возле кладбища. Место — лучше не придумаешь: от деревни порядочно, с двух сторон, сами знаете, вода, с гор все прибывает, быстрина такая — ни один, ручаюсь, сунуться не рискнет. А в темель и подавно. С третьей стороны — стена кладбищенская, а с четвертой (что на дорогу выходит) выставим часовых. По человеку с добрым ружьем на каждый угол да при хорошем обзоре — за глаза достаточно.

Высказавшись, мосье Лекок-Плюмэ откинулся, собою явно довольный, на спинку кресла. («Ну и молодчага этот Лекок-Плюмэ, умеет же он взять быка за рога!» — небось думают про него сейчас господа советнички.) Тут самое время сообщить, что в войну четырнадцатого года прошел мосье Лекок-Плюмэ — в хронологической последовательности через фронт, госпиталь и плен и был посему бывший фронтовик, бывший раненый и бывший военнопленный. Вот из этого-то источника, как нетрудно догадаться, и почерпнул он свои поистине неиссякаемые познания в области «концентрационно-лагерного дела». И еще одна деталь: был он ревностный поборник франко-германского сотрудничества. «И горе тому, кто станет нам поперек дороги, — говаривал он с расстановкою, сверля взглядом собеседника. — Не сносить ему головы».

Никому из присутствующих, не считая, как уже было сказано, старого пастуха, и на ум не пришло, судя по всему, что «армейское это подразделение» — те же люди из крови и плоти. Что, наверное, они валяются с ног от усталости, голода, холода, что кто-нибудь из них, возможно, нуждается в медицинской помощи. А где уж догадаться тут, что всего нужней сейчас, быть может, этим людям пожатие руки и слово участия!

И лишь секретарь подошел было к мосье Дебре (господин мэра, который не принадлежал ни к одной партии, и господа муниципальные советники — «правые», «левые», «центристы» — уже покидали зал заседаний) и сказал ему шепотком на ухо:

— Извините великодушно, господин мэра. Не изволите ль приказать за хлебом сбегать? А то, может, пригодится...

— Вот и все, господа советники, что я имел вам сообщить. А теперь немедленно нам надобно принять какое-нибудь решение.

— Принять так принять, но... разве не поступало на сей счет каких-либо указаний от префекта?

— Один циркуляр — он датирован 16 августа 1937 года — тут у меня действительно имеется. Называется «Общая инструкция, регламентирующая положение беженцев из Испании». Однако от нее нам пользы как от козла молока: она предписывает препровождать беженцев в лагерь Гюрэ и там их интернировать. А лагеря-то нет! Его снесли больше года назад, это когда басков в Каталонию выдворили.

— Самое правильное, я полагаю, это испросить, как водится, указаний у вышестоящих властей, а пока что подготовить для беженцев концентрационный лагерь.

— Не упускайте из виду, любезные мои коллеги, — предостерег до той поры помалкивавший мосье Леккок-Плюмэ, президент местной Лиги бывших фронтовиков, — концентрационный лагерь — дело нештучное, сам по себе, как гриб, не вырастет. Потребуется и то, и се, и пятое, и десятое. Колочей проволоки, например, несколько тысяч метров, одного лесу сколько на столбы и сторожевые вышки, участок не какой-нибудь, а такой, как надо, — в стороне от жилья, сколько-нисколько людей, чтоб круглосуточно нести охрану.

— Я вот чего предлагаю, — набрался храбрости старичок с лицом чуть более красным, нежели положено, — поместим-ка мы их на ночь у меня в хлеву. Если вы с моим предложением согласные, так я враз перегоню свою скотину в братши загон. По крайности в хлеву им тепло будет.

— Сейчас речь ведь не о том, чтоб им тепло или холодно было, — возразил глава бывших фронтовиков, — а о том, чтоб ни один из них у нас не удрал и не учинил какого безобразия.

— Вот именно, дражайший коллега! Да и в резолюции Комитета по невмешательству — я сам читал — сказано ясное некуда: разоружить, допросить, изолировать!

— Моя воля — я не стал бы с ними эдак цацкаться, а вооружил бы людей да и вышвырнул голубчиков в два счета за кордон: ступайте и сами, дескать, расхлебывайте кашу, какую заварили, а мы... мы ею уж сыты по горло.

— Легко сказать. А что, если они окажут сопротивление?

— Тогда пусть на себя пеняют. Как-никак мы у себя дома и имеем законное право па самооборону.

— Прекрасно, прекрасно, — прервал говорившего мэра, — однако наши прения слишком затянулись. Пора принимать решение.

— Учитывая чрезвычайность обстоятельств, каковые служат предметом нашего рассмотрения, — патетически провозгласил глава бывших фронтовиков, — предлагаю расквартировать их этой ночью на моем хозяйственном дворе возле кладбища. Место — лучше не придумаешь: от деревни порядочно, с двух сторон, сами знаете, вода, с гор все прибывает, быстрина такая — ни один, ручаюсь, сунуться не рискнет. А в темень и подавно. С третьей стороны — стена кладбищенская, а с четвертой (что на дорогу выходит) выставим часовых. По человеку с добрым ружьем на каждый угол да при хорошем обзоре — за глаза достаточно.

Высказавшись, мосье Лекок-Плюмэ откинулся, собою явно довольный, на спинку кресла. («Ну и молодчага этот Лекок-Плюмэ, умеет же он взять быка за рога!» — небось думают про него сейчас господа советнички.) Тут самое время сообщить, что в войну четырнадцатого года прошел мосье Лекок-Плюмэ — в хронологической последовательности через фронт, госпиталь и плен и был посему бывший фронтовик, бывший раненый и бывший военнопленный. Вот из этого-то источника, как нетрудно догадаться, и почерпнул он свои поистине неиссякаемые познания в области «концентрационно-лагерного дела». И еще одна деталь: был он ревностный поборник франко-германского сотрудничества. «И горе тому, кто станет нам поперек дороги, — говаривал он с расстановкою, сверля взглядом собеседника. — Не сносить ему головы».

Никому из присутствующих, не считая, как уже было сказано, старого пастуха, и на ум не пришло, судя по всему, что «армейское это подразделение» — те же люди из крови и плоти. Что, наверно, они валятся с ног от усталости, голода, холода, что кто-нибудь из них, возможно, нуждается в медицинской помощи. А где уж догадаться тут, что всего нужней сейчас, быть может, этим людям пожатие руки и слово участия!

И лишь секретарь подошел было к мосье Дебре (господин мэра, который не принадлежал ни к одной партии, и господа муниципальные советники — «правые», «левые», «центристы» — уже покидали зал заседаний) и сказал ему шепотком на ухо:

— Извините великодушно, господин мэра. Не изволите ль приказать за хлебом сбежать? А то, может, пригодится...

— О Пьер, ради всего святого, не отравляй вконец существования! Неужто не видишь, сколько мороки они и без того нам задали?

— Ну и гвалт же вы подняли, всех волков с округи скличете. Ужо наплачетесь.

— Эх, приятель, горазд ты баки заправлять. В этих краях волков и в помине нет.

— Нет, значит? А впереди что, гляньте-ка!

— Ну-ка, ну-ка... никак люди... и вооруженные. Так что смотри в оба!

— Еще этого нам не доставало! Где мы хоть находимся?

— А что как вместо того, чтоб выше забрать, мы вниз подались?

— Эй, капрал, компас-то тебе на что? Скажи что-нибудь!

— Спокойно! — ответил тот, кого спрашивали. — Пограничню мы уже давно пересекли.

— Всем оставаться на месте, — приказал лейтенант, — а ты, Хорди, пойдем со мной!

— Вот-вот, ступай, посмотрим, сгодится ли твой каталапский на то, чтобы втолковать этим французам: мы к вам-де с миром, а в животах у нас пусто.

Лейтенант с Хорди отошли на несколько шагов и остановились. Навстречу им шествовали: чуть припадавший на ногу — память о войне, — обернутый по талии трехцветной лентой мэр, глава бывших фронтовиков, секретарь и еще шестеро вооруженных охотничьими ружьями граждан.

Со двора под началом одного из подручных мосье Леко-ка-Плюмэ несколько мужчин с кучей приданных им в помощь подростков свозили на лошадях всякую хозяйственную рухлядь. Поодаль, на дороге, группками толклись неизбежные при подобных обстоятельствах зеваки. Со стороны вполне можно было подумать, что в Пик-сюр-Сегре праздник. Однако всю эту сутолоку окутывала атмосфера тревожного ожидания. (Нечто сходное с тем чувством, какое обыкновенно владеет — да простят нам эту аналогию! — зрителем в цирке, созерцающим, как на арене, в двух от него шагах, монтируют клетку для показа свирепых хищников. Ему не терпится поскорей увидеть их, а едва они выбегут на арену, как он сейчас же задается вопросом: достаточно ли крепки прутья, чтобы выдержать наскоки всех этих львов и тигров, что рыщут там, по арене, на расстоянии протянутой руки?)

Хозяйственный двор мосье Лекока-Плюмэ был не слишком велик. Шагов восемьдесят в длину да столько же в ширину. Посредине него, задом к грохотавшей речке, скособочась, стоял сарай.

— Ну, вы им хоть сказали, что раненых необходимо как можно скорей доставить в больницу?

— Сказали. Все, что надо, сказали,— ответил чуть дрогнувшим голосом Хорди,— по мне все чудилось, что у них в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Знай себе, дуют в свою дуду: все про оружие, какое с нами, спрашивают. Сказали, разместят нас на ночь в каком-то сарае, а завтра...

— Ну да, конечно,— ввернул любитель поиздеваться,— а завтра, мол, тоже день будет... угадал?

— Нет, не угадал. А завтра, сказали, отдадут нас в распоряжение военных властей.

— Но врача-то по крайней мере, чтоб осмотреть их, пришлют? Неужели нет?

— Ответили, что врача здесь нет, но что они дадут знать в соседнюю деревню.

— А по поводу священника для Иньяки что?

— И священника у них нет.

— Ой, мама родная, в какую же дыру пас занесло!

— Ни врача, ни священника? Ничегошеньки,— опять взялся за свое скептик.— Дело ясней ясного: мы с вами угодили в самое что ни на есть чистилище!

— Пошли, ребята, пошли. Не надо отчаиваться,— ободрил лейтенант,— вот увидите, все образуется, пусть не говорят о нас, что мы недисциплинированные. А как до этого самого сарая доберемся, тут уж постараемся устроить раненых по возможности лучше... мэр пообещал, что завтра...— тут у лейтенанта на какую-то долю секунды перехватило голос,— что завтра надеется получить точные указания.

По мере того как они приближались к ограде, говор и возбуждение в толпе стихали, а когда в ворота входили, тут уж молчание было прямо-таки гнетущее. Будто обитателям Пик-сюр-Сегра рты замазали.

Шофер мосье Лекока-Плюмэ, выполняя приказ своего хозяина, поставил машину поперек дороги. В свете ее фар, направленных внутрь двора, лейтенант и его люди устранивали в развалюхе раненых.

Увидав, куда их засадили, лейтенант вместе с Хорди попробовал было протестовать. Но ничего из этого не вышло. Ни мэр, ни тот, другой, который по всем признакам и был организатором всего этого черного дела, и ухом не вели. Всё они откладывали до утра, а под конец грозились даже пустить в ход оружие, коли пленники по доброй воле не подчинятся решению властей предержащих.

А когда автомобиль, увозя своего хозяина и мэра, тронулся с места и над двором сомкнулась мгла, вслед ему вырвался из сарая и медленно растворился в воздухе ропот возмущения.

Перед домом мэра машина остановилась, и тот, уже спустивши ногу на мостовую, вдруг возопил:

— Обтяпали дельце, нечего сказать! А охрана? Мы позабыли выставить вокруг охраны!

Мосье Лекок-Плюмэ снисходительно поглядел на него:

— Успокойтесь, господин Дебре, поберегите нервы. Неужто вы могли вообразить, что я упущу из виду такую важную вещь?

Затем тоном, под стать тому, каким в войну четырнадцатого года младший лейтенант (именно это звание и носил в ту пору мосье Лекок-Плюмэ) распекал, должно быть, в надлежащий момент капрала (именно до этого чина дослужился тогда мосье Дебре), присовокупил:

— Там нет нужды ни в какой охране! По крайней мере — нынешней почью. Все необходимые меры предосторожности, дабы никто из пленных не смог выбраться за пределы двора, приняты.

— Полноте, полноте, не принимайте этого так близко к сердцу, любезный друг, я не хотел вас обидеть.

— Почивайте спокойно, господин мэр, а утречком сами увидите: в этой жизни нет безвыходных положений, надо только немножко пораскинуть мозгами.

На рассвете двое мальчишек из Пик-сюр-Сегра прокрались к участку мосье Лекока-Плюмэ. Едва сунулись они за беспомощно болтавшися на поломанных петлях ворота, как тотчас же отпрянули, посмотрели, потрясенные, друг на друга и, словно подброшенные пружиной, кинулись, давай бог ноги, в деревню.

Кто-то приоткрыл на ночь глядя затвор в оросительной канаве, проходившей вдоль стены кладбища через двор. Спер-

ва вода запрудила низ двора, примыкавший к дороге. Таким образом пленникам (на этом и строил свой расчет предводитель бывших фронтовиков) был отрезан единственно возможный путь к бегству. Потом, поднимаясь, вода залила сарай, вынудив укрывшихся в нем людей искать спасения под ненастным небом на клочке остававшейся суши. Но понемногу вода все прибывала и в конце концов затопила двор целиком.

В серых проблесках утра пораженные взоры двух сорванцов из Пик-сюр-Сегра запечатлели посреди двора недвижимых, будто каменные истуканы, восьмерых мужчин, стоявших по колено в воде и плечами подпиравших носилки с бесчувственными телами четверых своих товарищей.



БОМБАРДИРОВКИ

Бомбардировки были страшные. Я просыпался внезапно в темноте: перед глазами все черно, вдали воют сирены, хлопают зенитки. Я сразу вскакивал на ноги и зажигал свет, но лампочка не горела даже минуты — она постепенно гасла: сначала едва светились ее красные нити, потом и они меркли. Мне было слышно, как в соседней комнате одеваются мать и сестры, которые убегали туда со своими платьями. Далеко, в кромешной ночи, слышались глухие разрывы бомб. Иногда они падали совсем близко, так что дрожали стекла балкона. Еще полусонный, я совал босые ноги в ботинки. Где рубашка? Мама уже открывала дверь квартиры.

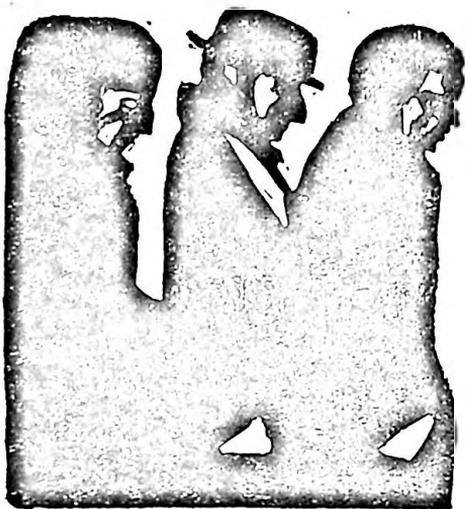
— Пойдем, сынок, пойдем, — торопила она.

По лестнице, как в колодез, полный мрака, спускались фигуры людей; я узнавал их в темноте: вот мужчина с четвертого этажа, женщина с третьего, из первой квартиры. Все

спускались на первый этаж — самый надежный в доме; у некоторых с собой были фонари, их беспокойный свет выхватывал из темноты бледные лбы, ввалившиеся глаза, худые человеческие лица, словно кошмарные видения.

Квартиры первого этажа, двери которых были приоткрыты, наполнялись людьми; хозяйка предлагала стулья, и все садились в столовой вокруг стола, зажигали свечу и ждали отбоя. А до тех пор хранили молчание или говорили шепотом, будто сидели у тела усопшего. При слабом пламени свечи лица казались изможденными, вытянутыми; из угла доносился чей-то кашель, по ногам несло холодом, хотелось спать, оставленная постель манила теплом. В углу женщина кормила грудью плачущего ребенка, и грудь ее в полумраке казалась особенно нежной и белой. Печальные призраки, мы были затеряны в глубокой пещере. Несколько человек выходили на улицу, залитую голубоватым, каким-то нереальным светом, и пристально смотрели в небо глазами, в которых уже не было сна. Время от времени кто-нибудь показывал на маленькую искорку — выхлопные газы самолетов. Зенитки уже почти не стреляли — только время от времени гремела могучая батарея на улице Кармело. Потом выли сирены — значит, опасность миновала. И вот начиналось медленное восхождение по лестницам, усталые улыбки, редкие шутки. Мы чувствовали, что все наши мускулы одеревенели, и вскоре замечали, как неряшливо мы оделись в этой спешке — один ботинок светлый, другой темный, свитер вацнанку. Святая дева!

В темном воздухе уже затихали последние сирены; убежища пустели, медленно выбрасывая паружу черные массы людей, словно исходили накопленным внутри мраком; где-то громко говорило радио, сообщая, что бомбардировка кончилась; мало-помалу вокруг снова воцарялась тишина, а истрадавшийся город, великий мученик, дожидался рассвета, чтобы сосчитать свои жертвы.



ОЧЕРЕДЬ

Я увидел город молчаливым, на нем чернело клеймо страха и давнего голода. В эти последние дни войны продовольствия совсем не стало. Чтобы достать краюшку хлеба, бутылку молока, люди проходят многие километры. Завернувшись в одеяло, спят на тротуарах, у дверей мясной лавки, которая откроется в восемь часов. Крестьян из окрестных деревень соблазняют не жалкие деньги красных, а часы, фотоаппараты, скатерти и салфетки из тонкого полотна. Поэтому горожане возвращаются из Монкады или Гранольерса по широкой тропинке рядом с рельсами, неся пакетик муки или несколько картофелин.

В течение нескольких часов я стою в очереди, думая только об одном: чтобы кто-нибудь не втерся впереди меня. Я восхищаюсь человеком, стоящим передо мной, он кажется мне существом высшего порядка, я заискиваю перед ним, но

не могу избавиться от легкого презрения к тому, кто стоит за мною, и говорю с ним пренебрежительно, через плечо.

Так мы стоим долго, ноги устают, замерзают; очередь медленно продвигается к булочной. Кто-то коротает время, перочинным ножом вырезая из куска дерева фигурки. Какая-то женщина вяжет чулок, очень деловито, словно она у себя дома. Вот еще один — он ничего не делает, стоит с искаженным лицом и смотрит перед собой. Это и есть очередь, мы — это очередь. Время от времени очередь вздрагивает, извивается, как змея, хотя не разрывает своих колец, своих хрупких связей, и кричит в бешенстве: «В очередь! Эй, становись в очередь! Смотрите, какой пройдоха!»

Потом она вновь впадает в сонную апатию, продвигается сантиметр за сантиметром, женщина возвращается к своему чулку, мужчина с пожичком — к своему куску дерева.

И вдруг грохот бомб, раздающийся одновременно с воем сирен, заставляет очередь рассыпаться и исчезнуть. Все бегут, как крысы, к ближайшему убежищу, а у входа в булочную, который словно по волшебству освободился, появляется видение — человек в нижней рубашке и кальсонах, он дрожащей и торопливой рукой, рывком опускает между собой и смертью тонкий лист гофрированного железа.



ЖЕНЩИНА В ТРАУРЕ

Солдаты проходили. Стоя на холмике земли, насыпанном над убежищем на рыночной площади, я поднимал руку, приветствуя их, и чувствовал, как холод этого апрельского утра проникает за рукав. Рядом со мной женщина в темном на блюдала этот молчаливый парад. Война кончилась.

Солдаты проходили. Люди, ждавшие своей очереди в парикмахерской, высыпали на тротуар, а парикмахер, стоявший в белом халате у прокаженного платана, отдавал честь знамени. Наверху, в робко приоткрытых дверях балконов, мелькали бледные лица, мутные глаза. Война кончилась.

Солдаты проходили. Войска хлынули с улицы Майор на площадь, а затем со своими выцветшими знаменами влились в узкую улочку, она пахла дублеными кожами и выходила на старую французскую дорогу, ту самую, по которой, видимо, шли полчища Ганнибала. На тротуарах и на балконах никто не аплодировал и не кричал. Повсюду виднелись за-

стывшие лица. И даже войска двигались, храня неестественное молчание. Война кончилась.

Солдаты проходили. Загорелые лица, рваные мундиры, красные фески, бурнусы. Некоторые хромали, как заведенные, их взгляды блестели. Они тоже устали. Вдруг в шеренгах забормотали:

Я отважный солдат легиона. В бою
Всем бойцам я пример подаю... *

Песня, красивая, угасшая и печальная, перепрыгивала из одной шеренги в другую, будто ее и не пел никто:

Легионер, смелее в бой иди,
Легионер, умри иль победи!

В этот момент женщина, стоявшая рядом со мной, воскликнула в отчаянии:

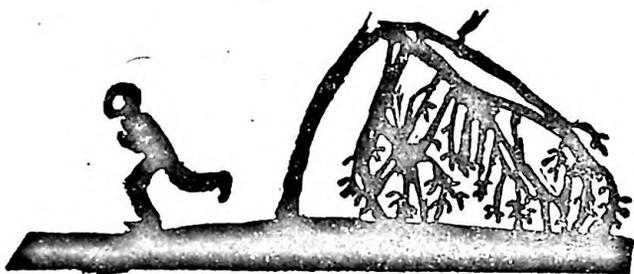
— Нет! Только не умирать! — и потом тише и решительнее продолжала: — И без того уже слишком много погибло...

Тогда я заметил, что она вся в черном, с головы до ног. Черная вуаль покрывала лицо женщины, и я едва угадал за ней лихорадочно блестящие глаза, трясущиеся губы. Женщина дрожала, не в силах успокоиться.

Я почувствовал, как холодеет под рубашкой мое тело. Эта женщина мне показалась кошмаром, неотделимым от устаревших листовок, наклеенных одна поверх другой на углах улиц и теперь свисавших длинными развевающимися по ветру полосами, от холма влажной и красной земли, на котором я стоял, от пустых лиц вокруг меня, от потока, серого и цвета хаки, который, увлекая за собой верблюдов и звонкие артиллерийские орудия, терялся в переулке. Тогда я понял, что война, наверное, еще не кончилась, что она будет продолжаться, пока сердце этой женщины будет полно горя и не угаснут ее воспоминания о погибших; и мне показалось, что вслед за солдатами тянется жуткая призрачная тень, которая покрывает собой древние платаны, старые фасады домов, затмевает солнечный свет; она меня накрыла своим траурным крылом. Как все печально, боже мой!

Женщина пошла вверх по улице, жестикулируя, останавливаясь на каждом шагу, и, когда я снова поднял руку, приветствуя флаг, новое, горькое и безнадежное чувство наполнило мою грудь, я смотрел на яркие цвета полотнища сквозь мутную пелену слез.

* Стихи в переводе М. Самаева.



УБИЙСТВО АКАЦИИ

Не знаю, почему я это сделал. Но в тот летний вечер я обхватил тонкий ствол акации, налег на него грудью, дерево треснуло и с отчетливым хрустом сломалось. Держась за ветки, я стал кружить вокруг ствола. Каждый последующий оборот требовал от меня все больших и больших усилий; нежная плоть акации перекручивалась в месте разлома, отказываясь умирать. Наконец верхушка бессильно упала в пыль, оставаясь привязанной к стволу зеленой корой, из которой были выжаты соки.

Я вспотел; последние обороты я делал торопливо, почти бегом, потому что мне становилось страшно. Я остановился и посмотрел на круг, прочерченный в пыли моими ногами.

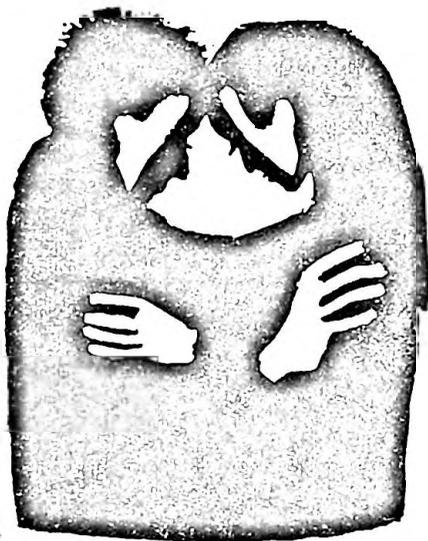
И вдруг, подняв голову, я заметил, что на меня смотрит чуждый слабоумный мальчик. Я улыбнулся ему бледной улыбкой — мальчишка один видел меня — и ощутил тяжесть содеянного греха. Акация с ее склоненными вниз пыльными

ветвями, и особенно белая сочная древесина сломанного ствола, причиняли мне теперь, в мирной тишине деревенского кладбища, безмерную боль.

В это мгновение я увидел, как по шоссе спускается в мою сторону грузовик, окутанный облаком пыли. Неизвестно почему, я страшно испугался. Охваченный безрассудным ужасом, как это бывает в детстве, я вдруг бросился бежать вниз по дороге, потом по зеленым полям, перепрыгивая через оросительные каналы, взбираясь на дамбы, подминая изгороди и посевы. Я бежал все дальше. Наконец остановился на каком-то холме и бросился на землю, с шумом перевода дыхания. Я попытался успокоиться и посмотрел в сторону кладбища. Перед слабоумным мальчишкой стоял боец милиции с ружьем за плечами, казавшийся отсюда маленьким, и размахивал руками. Мальчик поднял руку, показывая в мою сторону. Сердце у меня екнуло. Они никак не могли видеть и даже знать не могли, что я здесь, но в то мгновение мне почудилось, будто мальчик рассказал бойцу о том, что я сделал, и его рука, обвиняющим жестом указавшая на меня, представилась мне громадной, как рука божья, и способной настичь меня в моем укрытии.

Боец милиции сел в грузовик, который покатиł вниз по шоссе и вскоре исчез вместе с облаком пыли.

В селение я вернулся уже затемно, кружным путем, чтобы не проходить мимо места моего преступления.



РАССТАВАНИЕ

— Остановись, друг.

— Ну?

Стоят, зубы свалят. Послать бы их подальше. Но Антонио все-таки останавливается.

— Кури.

— Охоты нет.

— Бросил бы дровишки.

Бросать он не стал, а так и стоял, ссутулясь под тяжестью вязанки. Им что: торопиться некуда. Околачиваются с утра дотемна на углу — авось придет с завода Мартинеса грузовик с вином и подрядят на разгрузку.

— Едешь, значит?

— Еду.

Смешно им, видите ли.

— И этот туда же — подался во Францию.

— Ну-ну, — заключает кто-то.

Припекало. В былые годы в эту пору уже батрачили на виноградниках, землю вскапывали. А теперь рабочие руки вроде как ни к чему — трактор прогонят, и вся недолга. Как земля новинку эту примет — еще надо посмотреть, а покуда на поденную в этот раз шкого не взяли.

Из дома выглянула жена, услышала, что кто-то идет.

— Антонио, ты?

— Я. Кто ж еще?

На привязи под навесом маялась собака; увидала хозяйина, залилась радостным лаем.

— Что, обрадовалась, псина? Меня видишь, так сразу в лай, а? Никак, в лес просишься? Нельзя тебе в лес, там какой-то отравы повсюду набрызгали. Молодые хозяева свое дело знают. Лесников понаставили.

— Дрова-то кто взял?

Стараясь не встречаться с женой взглядом, он отрицательно покачал головой. Присел перед собакой на корточки, потрепал за ухом.

— Ох, господи...

— А где Тоньехо?

— Носится где-то.

— В школу не ходил?

— Уроков нет вроде — уж и не знаю, что там за праздник опять. — Антонио поднялся, оглядел жену. Простоволосая, худая — кожа да кости.

— Что стоишь? Иди в дом, — сказала она.

— Я тут Николаса повстречал в Азе.

— Едет, что ли?

— Вместе нам ехать надо, вот что.

Наступило молчание. Она было открыла рот, но тут скрипнул ставень.

— Эй, Хуана! Оказывается, ты вот где отсиживаешься. Хуана подошла к окошку.

— Заходи.

— Не могу, мул тут у меня с повозкой. Возьмешь чего? Гляди, салат какой! А то зелень на суп. Бери чего хочешь.

— Спасибо тебе, Энкарна, но сегодня не надо...

— Ну и денек выдался!

— Времена уж такие, — пояснил Антонио.

— Такие-сякие... Семь бед — один ответ. Тпру, шальной! Ну и мул. Стой, окаянный! Не мул, а божье наказание: и слепней, кажись, нет, а все дергается. Ну ладно, раз покупать не желаете...

— В другой раз...

Зеленщица кивнула и отправилась дальше. Глотка у нее была луженая.

— А ну, хозяйюшки, налетай! Салат, салат кому! Что за чертовщина такая, куда все женщины подевались? Сейчас ведь были...

— Были да сплыли,— отозвались с угла.— Теперь вам — одна дорожка: товар в зубы и айда в Барселону, Мадрид или Валенсию...

— А там и до Германии рукой подать,— подхватил другой.

— Лоботрясы вы хорошие, вот что я скажу. Все вам трын-трава.

— А куда денешься? Коли дома так, то на чужбине и подавно ярмо на шею наденут. Верно говорю? Тут хоть и не заработаешь ни хрена, а все что-нибудь да перепадет. Вот оно как. Хочешь жить — умей выкручиваться.

— Что-что, а это они умеют,— не удержалась Хуана.

— Все никак не подумаешь? — спросил Антонио.

— Ну и дела! — бранилась торговка.— Эдак нам всем отсюда ноги уносить придется.

Просигналил где-то автомобиль, донесся шум мотора. Парни на углу загалдели.

— Ага, и Тоньехо там. Ужо доберусь я до него...

— Будет тебе.

— Экарна! Иди сюда,— вернул кто-то зеленщицу.

На углу по-прежнему чесали языки. Антонио захлопнул дверь.

— Устал, что ли?

— Нет, не очень.

— А что Бернабе говорит?

— Да ничего. Вот тыкву, говорит, посадим...

Хуана принялась расчесывать волосы.

— Прежде-то как хорошо было!

— Мало ли что прежде было.

В соломе чирикали воробьи. Наверху в листве копошился, склевывая молодые виноградники, птенец-козодой.

— Не прожить мне без двора без нашего.

Антонио присел на вязанку, ту, что принес из леса.

— Как-нибудь проживешь.

— Нет, не проживу.

— Вот ведь Сатурвино уехал. Какой у него дом теперь, слышала?

— На тот свет раньше попадешь, чем такой дом выстроишь.

— Девчонка кричит все?

— Дала ей супу, вроде уснула.

Первые ласточки уже прилетели. Высвистывая свое, они сновали под карнизом, безразличные к людским тяготам.

— А тут еще зима какая — холода, стужа! На виноградниках, что померзло, всей деревней обрывали. Да трактора эти — танки прямо, страх один.

— Ехать мне надо. Сама видишь.

Какой-то воробышка подскакал к двери пустого — без скотины — хлева.

— Прежде-то четыре полосы у нас было, да ты поденно на стороне подрабатывал... А теперь и мул сдох, и ячмень какой — кто его купит?

Антонио достает кiset, долго и бережно сворачивает сигаретку. Хуана следит за его пальцами. Вот он подносит листик клейким краем к губам, слюнит его, неспешно заклеивает.

— Да-а, то прежде...

— А Николас чего говорит?

— Что больше меня не ждет, вот чего.

— Ему легко. Одип, бессемейный.

— А семейных сколько поуждало, будто ты не знаешь, Хуана.

— Ну, и чего хорошего? Возьми Хосефу, Долорес, Асунсьон... Разве это жизнь: каждый день на почту бегать? «Мне есть что-нибудь, Луис?» — «Нет покуда, зайди завтра». Ваш брат на письма не больно тароват. А кто и грамоте не знает, откуда и знать-то ее? Весь век свой в земле копался.

— Я буду писать.

Хуана под села к мужу.

— Мам! — В дверях показался Тоньехо.

— А, вот и ты наконец.

— Пап, это машина допа Хесуса проезжала.

— Я тебе покажу машинку...

Мальчишка был худенький. На отца он смотрел с опаской, наперед жалостно посапывая носом. Антонио притянул его было за рукав. Парнишка тихонечко заскулил.

— Ладно, отпусти его, — вступилась Хуана.

— А, пропади все пропадом, — ругнулся Антонио, но отпустил.

Прежде и вправду жизнь была другая. Опять же мул. Четыре полосы ячменя. Обстригал виноград у дона Хесуса. Подрабатывал на випзаводе. А в августе страда начиналась — еще на два месяца. Теперь все не так.

— Говорят, житье лучше стало.

— Еще чего! — возмутился он. — Лучше некуда. Народ-то... тьфу! — И сжал кулаки.

— Говорят: люди знают, что делают. Вернется такой, глядишь, приоделся, то да се. Может, и вправду лучше?

— Заладили: «лучше, лучше...»

— А я видел трактор дона Хесуса, новый который.

Антонио посмотрел на сына. Взял за руку.

— Уезжаю я, вот какое дело, сынок.

— Во Францию?

— Угу.

— А у Бласа отец в Барселоне. И его мама так и говорит: «Вот как вернется...» Он на праздники вернется, привезет хлопушки.

Хуана погладила сына по голове. За стенкой заплакала младшая.

— Гляди, заплакала... Пойду посмотрю, вдруг что надо...

— Вот так-то, Тоньо... — И отец взьерошил мальчику волосы.

— А ты, как приедешь, мне тоже всего привезешь, правда?

— Конечно.

— Вот Блас...

— Помолчим, а?

Зеленщица, видно, ушла. Кто-то протопал под окном, чертыхался. На улице судачили женщины.

— ...она — баба не промах.

— Еще бы, заступник наш святой о ней печется-то как!

— Твой небось не лучше?

— Мой-то? А что с ним станется? Говорят, себе девку завел, да мне от того ни тепло, ни холодно.

Смех затих.

— Так-то, Тоньо...

— Напакостила, бесстыдница, — бросила Хуана, пробегая во двор.

— Прежде я ведь почти всякий день работал, Тоньо. Вот.

— А теперь из лесу дрова посишь.

— Да не всегда удается. Лесники нынче во какие глазастые стали.

— На рынке в прошлый раз,— с порога стала рассказывать Хуана,— эти, что из города, говорили: «Деревня совсем пустая, никого нету. Какая тут торговля, одно, разорение!» Всё, чего понавозили, опять собрали, народ поносят на чем свет стоит.

— И правильно, что поносят.

В ставень постучали.

— Тоньехо! — позвали ребятишки, какие-то рябые, конопатые.

— Ему обедать пора,— отослал их Антонио.

— И вправду пора,— спохватилась Хуана.— Ступайте на кухню.

По привычке обошли с краю заброшенные грядки. Из-под ног выпорхнула стайка воробьев. Антонио глянул в сторону пустовавшего хлева: над сараями уже нависли вечерние сумерки. Потом взгляд его скользнул по ржавому ружью на столбе у кухни, по разношенным пеньковым альпартатам на приступке. Хуана поставила на стол-недомерок горшок с хлебкой, вылила дымящуюся жижу в эмалированную миску с облупленными боками. Все трое заработали ложками.

— Помнишь, я себе одной стряпала, когда ты на молотье работал, в Каса Гранде?

— Угу. Я еще, как август кончился, зерна целый фургон привез.

— Ну как же. На весь год тогда хлеба хватило.

— Знаешь, сколько народу в Каса Гранде нынче работает?

— Поди угадай! Человек пять небось?

— Трое. Трактористов двое да на поденной один.

— Господи Иисусе! Это в таком-то хозяйстве! Раньше двадцать человек нанимали. Все машины, будь они неладны!

— Разве в одних машинах дело?

— А в чем же?

— Пап...

— Тоньо, когда отец говорит...

— Видишь ли, рабочих рук землю пахать им теперь столько не нужно, это верно. Но ведь могут же они дать нам другую работу. Любую, понимаешь? Чтоб не приходилось убираться, как сейчас, на все четыре стороны!

— Не хочется ехать, правда?

— А ты как думаешь? — взорвался Антонио.— Почему я должен уезжать отсюда? Деревня ведь и моя тоже. Пускай у меня ни черта нет, но вся эта земля вокруг — она ведь и

моя, моя тоже! У меня на эту землю прав не меньше, чем у них, ясно?

— Антонио, Антонио... Не кричи так, прямо страшно делается.

— Пап, а мне можно идти?

— Иди, только оставь нас в покое.

Ребенок встал из-за стола и, дожевывая на ходу горбушку, помчался через двор.

— Покуда вам придется одним пожить. А там, через некоторое время...

— Конечно, бывает, что и хорошо устриваются...

— А жить будем в настоящем доме или — как его? — ба-ракс. Для тебя же лучше. Не то, что здесь — за четырьмя курами бегать да у очага или во дворе торчать, тряпье штопать. А, Хуана?

— Будет тебе!

— Не реви, слышь! А, черт...

— А ты молчи тогда.

— Тебе там... А, ладно. Сколько можно. Дело решенное.

На стенке висел табель-календарь — рекламный презент бакалейной лавки. С картинки дурацкой улыбкой улыбалась женщина с красивыми ногами. Антонио обтер рот ладонью, отодвинул подальше от края недоеденный ломоть хлеба, убрал в карман складной нож.

— Может, ты и прав, — промолвила Хуана. — Но ведь здесь мать с отцом жизнь прожили. Здесь... Помнишь, когда мы поженились, как было? Отец все в кресле сидел, у него уже паралич был. Мать еще, помнишь, сено с покоса носила. А ты сперва в погонщики нанялся, а потом бросил и на землю осел; отец, царствие ему небесное, до этого ее в аренду сдавал. Хоть и бедновато жили, а все сводили концы с концами.

— Ладно, довольно об этом. Пойду переговорю с Николасом, — поднялся Антонио. И Хуана почувствовала вдруг в ногах непреодолимую тяжесть.

— Боязно как-то. Ни разу я еще отсюда не уезжала.

— Стану зарабатывать, подыщу жилье, сразу за вами и приеду.

— Знаешь, что там бывает со многими?

Антонио посмотрел на жену в упор.

— Знаю. И все заработанное спускают, и другие семьи заводят — дескать, и о себе подумать надо.

— Знакомятся с женщинами. Ходят к... О господи!

Он обнял ее за плечи, привлек к себе. Хуана утерла слезы. Потом сказала:

— Я раз подумала: «Может, новый участок когда-нибудь прикупим, а там помаленьку...» У них и земля, и деньги — покупай, что хочешь, а мы...

— Ладно, не распускай нюни. Может, и мы еще...

— А что? Всякое бывает... Ты добрый, Антонио. Ты у меня...

— Я старался изо всех сил, ты же знаешь. Я все делал. Ну а теперь — баста. Поеду, а там...

Она прижалась к нему тесней.

— Помнишь, еще Тоньехо родился... Мне тогда хотелось, чтоб у нас много-много детей было. А потом...

— Не надо про это.

— Не знаю, как эти женщины еще могут улыбаться, которые с мужьями в разлуке.

— Привыкнешь!

— Нет!

Антонио крепко обнял жену. Одежда ее пахла потом и телом, и запах этот был частью его жизни.

— Хуана...

— Нет-нет, все это правда: ехать надо! И что про деревню говорил, что наша она — тоже правда. Все, что окрест мы видим, — все наше.

— Да, все, все... Но от одних разговоров легче не станет. Схожу к Николасу. Если у него все готово, завтра и в путь...

Хуана смотрела теперь на мужа, будто впервые видела. Ее Антонио уезжает. Уезжает.

— Завтра... — пробормотала она.

Завтра она увидит, как с ливялым рюкзаком на плече он идет прочь от своего дома. Завтра, возможно, уже на расвете она будет одна, с двумя детьми на руках. И это «завтра», неотвратимо близкое, надвинулось на бедную женщину, подобно тяжелой туче, наполнив душу холодом, придавив к спинке стула — окаменелую, немую, уже безучастную ко всему.



ХУАНА — СЕСТРА И МАТЬ

Она любила стоять на балконе, задумавшись, прислонив лоб к стеклу, и смотреть, как дети идут в школу. Прежде чем свернуть за угол, они на секунду оборачивались, поднимали руку и махали ею через плечо, как платком; они улыбались, и Хуана угадывала на их губах слова прощания. В белых с синими полосками крахмальных фартучках, оба аккуратно причесанные на пробор, Хулио и Карлота шагали, держась за руки. Они видели, как Хуана машет им в ответ, и улица сразу казалась им гораздо шире. Они чувствовали себя заодно с шумными стайками птиц, которые радостно прыгали и резвились на тротуарах.

Потом лицо Хуаны снова становилось серьезным. Зажмурив глаза, она застывала на мгновение, как будто у нее что-то болело или она думала о чем-то очень далеком, о чем-то, чего, может, и не было и никогда не будет. Наконец она уходила с балкона, чтобы молча приняться за домашнюю

работу. Она двигалась с легкостью призрака, не оставляющего следов на полу. К приходу детей надо убрать квартиру, расставить все вещи по местам, везде навести порядок, особенно в детской. Надо приготовить им полдник, а самой приготовиться отвечать со спокойной улыбкой на любые, самые неожиданные вопросы. К ужину, когда возвращался отец, стены квартиры, казалось, светлели от смеха и громких возгласов малышей. Они усаживались вокруг стола и шепотом молились за упокой маминой души, за то, чтобы мамочка всегда была на небе. Для Хуаны это было лучшее время суток, час, о котором она мечтала. Вся внимание, она нарезала детям хлеб и наливала воду, не забывая попутно воспитывать их, объяснять, что можно, а чего нельзя — эти нехитрые правила поведения навсегда врежутся им в память, и с таким багажом легче будет шагать по жизни.

Матери дети лишились давно. Она умерла в родах, когда на свет появилась Карлота. То был ужасный день; Хуана с балкона смотрела, как увозили покойницу. Катафалк тронулся, и похоронное шествие двинулось вслед за ним — медленно, как бы через силу. Слышно было монотонное, словно церковная служба, пение; сыпали искрами свечи, оставляя на земле ручейки застывшего воска. Хулио был еще совсем маленький, вряд ли он понимал значение процессии. В доме показались незнакомые лица — дальние родственники, которые только по таким грустным поводам и являются. В воздухе стоял душный запах цветов. Гардении, далии благочестиво заглушали холодные испарения смерти. Мальчику велели не шуметь и не бегать по коридору. Игрушки просить в такой день тоже нельзя. Хулио никак не мог уразуметь, почему все такие грустные, если мама идет на небо. Траурный костюмчик он надел без всякого восторга и замкнулся в упорном молчании, пока — видя, что Хуана плачет, — не разрыдался сам. Лишь тогда его увели в другую квартиру играть со сверстниками.

На пятнадцатилетнюю Хуану легла нешуточная ответственность — незаметные, мелочные, молчаливые и героические домашние дела. Она должна была следить за всем, быть повсюду. Подбадривать отца, заботиться о детях, вести тетрадь расходов и рассеивать по возможности хмурую тоску первых дней, пока время не сгладит немного горечь утраты. Дети шумели, заливались радостным смехом, а если плакали, то из-за вещей, более близких к ним, чем смерть, и в конце концов жизнь взяла свое. Воспоминания уже не причиняли

такой боли — единственный верный признак забвения. Дети быстро привыкли к тому, что Хуана заменила им мать. Как у настоящей заботливой матери, они просили у нее поцелуев и маленьких нежностей — эти мимолетные, но искренние ласки оставляют надолго след в нашей жизни.

Балкон барселонской квартиры был неммым свидетелем бегущих годов. Хулио и Карлота, ликуя, выбегали туда из гостиной. На балконе, становясь на цыпочки, чтобы лучше видеть улицу, они замечали, как выросли; балкон пробуждал в них надежды и мечты о путешествиях, когда они стояли, просунув маленькие ноги между прутьев решетки. Рождественские праздники наполняли балкон шумным весельем. В крещенский сочельник дети, наученные Хуаной, выставляли на балкон свои башмаки, полные ячменя — корм для верблюдов королей-волхвов. Хуана заглядывала им в глаза, горевшие восторгом, изумлением, верой в ее слова. На вхождение Христа в Иерусалим освященную пальмовую ветвь привязывали к прутьям балкона серебряным шнурком. Дети визжали от восторга, с трудом сдерживая буйную радость, как в этот святой день сдерживали они ее и в церкви, куда приходят одни лишь дети, как пришли некогда к спасителю — с невинной молитвой на устах. В процессии тела господня для них вместе с серпантинном разворачивался волшебный мир. Застыв от изумления, глядели они на плывущие над толпой гигантские фигуры, на все это чарующее зрелище, будившее их воображение, и сосали липкие мятные карамельки, пока старшие в перерывах между болтовней пили приторный малиновый сироп.

Балкон был неотъемлемой частью их жизни. Веселой песней, звучавшей в почь на Ивана Купала под треск костров и разрывы петард. В ясные летние вечера дети выбегали на балкон считать звезды и прятать их на дне своих глаз, как морские песчинки. От балкона отскакивало эхо уличной шарманки, крутившей свои наивные мелодии, песню на все случаи жизни, на все времена. На балконе больше всего нравились детям слушать сказки про принцесс и трубадуров, которые Хуана рассказывала им, не меняя ни единого слова — у Хулио и Карлоты была замечательная память, и они не допускали переделок в тексте, который выучили наизусть, словно под диктовку собственных сердец.

Так мало-помалу Хуана наконец утратила всякий интерес к своей жизни. Она прогнала от себя мечты пятнадцатилетней девочки, те мечты, с которыми она просыпалась в весен-

нее утро, жадно впивая глоток за глотком крепкий запах весны. Она целиком отдалась труду и смотрела на окружающий ее мирок как на единственно возможный. В другой атмосфере она бы задохнулась; она бы погибла, если бы пришлось оставить привычную мирную жизнь, размеренную, как тиканье стенных часов в столовой, отмечавших бег равнодушного времени. Она чувствовала себя счастливой, потому что не надеялась на счастье, даже не помышляла о нем. Смех, жалобы, горе и радости детей стали ее собственными; безмятежное спокойствие отца — ее собственным спокойствием. В душе ее родилось особое чувство ответственности, самопожертвования, которое даже нельзя назвать чувством долга, потому что оно сильнее, чем долг; ее жизнь была как бы привязана ко всему этому, и каждый час, каждая минута, каждый день делали еще прочней незримые, но глубокие узы.

Незаметно проходили годы. Лишь однажды Хуана внезапно ощутила их бремя — как если бы на календарях собрались все оторванные листки, как если бы вернулись все зимы, безвозвратно унесенные ветром. Встреча с человеком, которого она знала давно и несколько лет не видела, заставила ее ощутить бег обманчивого времени. В этот миг она спросила у себя тихим, готовым оборваться голосом, не она ли постарела и не был ли проходивший мимо друг просто зеркалом, где смутно отразилась она сама, пластинкой, пропевшей горькую песнь пробуждения к жестокой и неустранимой действительности.

Но дурное настроение длилось всего минуту. Оно рассеялось, разгладилось, как складка, морщинка на платье. К Хуане вернулось душевное равновесие. Она подумала, что каждому человеку дан в жизни некий определенный возраст, не имеющий ничего общего с действительным. Некоторые люди навсегда остаются детьми; даже через грех они проходят, не замарав крыльев, отделавшись царапиной вместо глубоких неизлечимых ран. Другие, напротив, рождаются уже зрелыми, с бременем ответственности на плечах. Себя она относила к последним. Она всегда была взрослой женщиной, даже в детские годы. Куклы и то были для нее не просто игрушками, но детьми, предметом нежных забот, внимания и ухода.

Хулио и Карлота росли у нее на глазах, как растут и вьются люди, идущие рядом с нами по жизни. Хуане уже не приходилось наклонять голову, когда дети целовали ее — с каждым днем все более поспешно и бегло. Повзрослев, они на-

чали стыдиться нежности. И только в дни рождения, получая от Хуаны долгожданные подарки, они вновь становились маленькими. Считалось, что подарки — это награда за хорошее поведение. При этом великодушно забывались невнимание, небрежность — проступки, которыми мы грешим перед людьми, больше всего нас любящими.

И так было всегда. Однажды, правда, в душу Хуаны закрался непривычный трепет, возможно, то было неизбежное волнение — итог долгих смутных грез, душевных бурь, о которых она и сама не могла бы сказать, откуда, из каких неведомых тайников ее существа они пронстекали. Один друг, всегда уделявший ей больше внимания, чем остальные, крепко пожал ей руку, и Хуана почувствовала сквозь перчатку, как ее охватывает тепло, как сию овладевает чуждая сила, лишаящая ее собственной воли, сила с древними и законными притязаниями. То были ужасные дни. В его присутствии, под его взглядами она задыхалась, щеки обжигала краска стыда, и они горели так, будто Хуана напилась подогретого вина. Сердце то замирало у нее в груди, то стучало, как часы, отмечавшие секунда за секундой быстрый ток крови в жилах. Но дальше этого дело не пошло. Не пошло, потому что в решительный час у Хуаны не хватило духу покинуть детей, которым она так нужна, сказать им, что она уходит, выдержать хотя бы мгновение взгляд испытующих наивных глаз, вопрошающих с тревогой, почему она с ними расстается. Все это быстро прошло. И быстро было погребено под грудой будничных дел и забот. В тот день, когда она отважилась принять решение, когда друг навсегда покинул ее дом. Хуана вышла на балкон, и стекла показались ей запотевшими, как после дождя, когда лишь смутно можно разглядеть, что творится за ними. Она сложила руки для молитвы. Белые, тонкие, прозрачные пальцы покоились на девственной груди, словно поддерживали незапятнанную лилию.

Вот и все. Вновь медленный, незыблемый бег времени. Привычный распорядок дня. Беготня детей, которые все росли и росли. Юность, полная смеха, чудесных безрассудств, непритязательных шуток. Веселая, беззаботная влюбленность. И наконец — свадьбы. Свадьбы, подготовленные с осторожностью, с опаской, но в конце концов с твердой уверенностью, что так надо. И ради такого дня Хуана достала из шкафа черную кружевную мантилью покойной матери. Эту мантилью она надевала лишь в страстной четверг или же когда шла на кладбище возложить на могилу хрупкие, быстро вя-

нушие цветы воспоминаний. На свадебных торжествах она и бровью не повела в отличие от отца, который был очень взволнован; Карлота превратилась в комок нервов, а Хулио, казалось, вот-вот свалится от переполнявших его чувств. Но Хуана была спокойна. Она распоряжалась всем до последней минуты, следила, чтобы все шло, как заведено. Прощаясь с молодожепами, она, несмотря на необычный день, одарила их все тем же поцелуем, чистым, невинным, словно это был первый поцелуй в ее жизни и губы ее никогда еще не раскрывались для ласки.

С этих пор в жизни Хуаны было меньше трудов, но в целом все осталось по-прежнему. Она наполняла жизнь воспоминаниями, которые складывала одно за другим в свой шкаф. Она рассматривала их с улыбкой, едва намечавшейся на бледном лице. И еще ей оставалось ожидание в сумерках на балконе. Она слышала, как звонили колокола, приближая желанный час. Сумерки сгущались. Иногда от балконов напротив отражался последний луч солнца, точно песнь прощания с жизнью. Торопливо шли мимо прохожие; только летом этот быстрый ритм иногда замедлялся. Газовые фонари мерцали, зажигаясь один за другим. Время от времени доносился кашель отца или шарканье его усталых ног по коридору. А Хуана на балконе все ждала и ждала, чтобы о ней вспомнили.

Казалось, все кончено. И вместе с тем все началось снова, как будто еще были возможны чудеса. У Хулио и Карлоты появились дети. А потом началась война. И снова Хуана должна была попевать везде. Она опять стала жить, как раньше, словно ничего не случилось. Разгоняла мрачные мысли, навещая сестру и брата. Часами выставляла в очередях, лишь бы получить что-нибудь, какие-то крохи, которые могли пригодиться для трех ее семейных очагов. Ее постоянной заботой было довести дело до конца, наперекор всему; она одна несла на плечах ужасный груз прожитых лет, когда ветер все унес от нее и когда тот же ветер вернул ей, как брошенное в пыль семя, единственную опору ее существования.

И только слышно было в доме биение сердца Хуаны; во всем городе только и слышно было биение сердца Хуаны; во всем мире слышно было биение ее чистого, непорочного, одинокого сердца. В бешеном беге месяцев, среди драматических событий, разворачивавшихся как лента, она сохранила мужество, сохранила смысл своей жизни. За балконными стеклами шли, казалось, все те же дни, но песня прошлых лет

умолкла навеки и повторялась лишь в затаенных углах воспоминаний. И Хуану охватила тревога, постоянное беспокойство — как жить дальше, как пережить все это и охранить детей от борьбы, которой, казалось, не будет конца, как, возможно, не было и начала.

Но однажды все же пришел конец. Хулио и Карлота простилась с сестрой — они уезжали далеко и даже не могли заверить, что вернутся. Она глядела на них не сморгнув, неподвижная и безмолвная, как соляная статуя. Они поручили Хуане своих детей. И Хуана, как в давние времена, стояла на балконе, задумавшись, приложив лоб к стеклу, и смотрела, как уходят от нее далеко-далеко ее дети. Они не обернулись на углу и не помахали ей рукой, и Хуане снова показалось, что по стеклам балкона барабанит дождь — стоял хмурый, безрадостный день, и улица была пустынна и печальна, как в день маминных похорон. Из задумчивости ее вывел только плач малышей; дети Хулио и Карлоты ничего не понимали в бессмысленных человеческих распрях. Услыхав их плач, Хуана ушла с балкона. Она подошла к малышам. По щекам ее катились слезы. Дети запачкались, и мать Хуана решила, что сейчас лучше всего помыть розовые невинные ручонки, которые со временем также познают грех, радости и горести, зреющие для всех на древе познания добра и зла.



ВЕТОЧКА КОРАЛЛА

В гончарной мастерской, погруженной в полумрак, сидит человек. Руки его безостановочно двигаются. Снаружи он едва виден, но люди знают, что гончар — в мастерской по доносящемуся оттуда непрерывному гудению. Гудение негромкое, глухое, сопровождающее работу несложного устройства. Устройство это из деревянных педалей и веревок, оно приводит в движение гончарный круг.

В полдень от яркого света на улице мрак в мастерской кажется еще гуще, так что трудно что-либо разглядеть за широким расплывчатым силуэтом гончара, который сидит у самой двери, склонившись над своими изделиями. Вся посуда делается из мягкой, податливой глины, лежащей вокруг него отдельными кучами вперемежку с полуготовыми сосудами. Тут же стоят горшки с глиной разных цветов. Позади гончара выстроились рядом всевозможные кувшины, ожидающие, ко-

гда их сунут в горн. Словом, это обычная мастерская с неотъемлемыми от нее предметами и процессами примитивного гончарного производства, с присущими ей запахами сырой земли и древесины. В глубине мастерской неясно вырисовывается маленькая фигурка очень худенького, никем не замечаемого мальчика; нажимая ногами на педали, он вращает гончарный круг. Гончар поминутно дает мальчику разные указания: убавить, увеличить обороты круга или остановить его. Никто, кроме мальчика, не мог бы понять эти указания, отрывистые и невнятно произносимые, — их надо услышать и немедленно выполнить. Разговаривать мальчику не дозволено, он должен только повиноваться строгим приказаниям и выслушивать замысловатые оскорбительные замечания и непристойные словечки, которые он, еще совсем ребенок, не отождествляет с их подлинным значением.

Ноги гончара, обмотанные тряпками, покоятся на овечьей шкуре. Уже много лет они плохо слушаются его; кожа постепенно сходит с них, ногти и пальцы уродливо искривлены, а боли становятся все нестерпимее. Потому и смастерил он после долгих раздумий хитрое устройство, что вращает гончарный круг, а неизлечимо больные ноги заменил ему маленький раб, почти совсем скрытый от посторонних глаз в темноте мастерской.

Мальчик очень худ и едва держится на ногах, когда с наступлением вечера поднимается со своего места, после того как целый день приводил в движение гончарный круг и подливал в желобок воду, увлажнявшую глину. Но знают об этом лишь немногие, и редко кто заглядывает в полумрак мастерской, где не сразу и различишь тщедушную фигурку мальчика, который безвестно, молчаливо и тяжело трудится на своего хозяина. Молодой рыбак по имени Икнио — один из тех, кто знает о его существовании. Иногда, уловив минуту, когда хозяин отходит к горну, он, прислонясь к косяку двери, заговаривает с мальчиком и отвечает на его вопросы о море, о лодках. Не раз в своих мечтах мальчик садился в лодку и, согретый солнцем, брался за весла. Но мечты упрямо не становятся явью, и он только восхищается рыбаком, который старше его, сильнее и увереннее в себе и который рассказывает ему столько интересных и удивительных вещей.

Дети, живущие поблизости, тоже знают маленького раба. Когда хозяина нет в мастерской, они подходят к двери и, не осмеливаясь войти внутрь, всегда спрашивают:

— Что ты делаешь, Дунион?

— Я вращаю гончарный круг,— отвечает маленький раб.

Он плохо произносит слова, не так, как другие дети, и не всегда одинаково, да к тому же и голос у него звучит как-то странно резко. Это удивляет, но нравится детям, поэтому им всегда хочется поразговаривать с Дунионом. Нередко они дарят ему то инжирину, то миндаль, и по их горящим глазам видно, что они относятся с уважением и восхищением к работе маленького раба.

Но случается, что в течение многих дней Дунион и рта не раскрывает — ему не с кем поговорить. Он только напевает что-то, тихо, почти беззвучно, чтобы не услышал хозяин, который считает, что мальчик не должен зря тратить силы и отвлекаться от работы. В мастерской слышится лишь гудение гончарного круга да приказы хозяина.

Наливая в желобок воду, которой смачивается глина, мальчик думает об изуродованных ногах этого старого и больного человека, перебирает в памяти какие-то далекие воспоминания и поглядывает украдкой на прохожих, снующих взад и вперед мимо раскрытой двери мастерской. Он мечтает о том дне, когда Иктио поведет его на берег, где они сядут в лодку и отправятся половить рыбу. Он придумал уже и разговор, который заведет с Иктио, и вопросы, которые задаст ему и другим рыбакам, и даже их ответы. Дунион верит, что с рыбаками ему будет очень хорошо, хотя он никогда и не видел их прежде. А если сесть в большую лодку, то можно поплыть и в далекие страны или же направиться к другим городам на острове и останавливаться в их гаванях в летние дни, когда яркий свет и солнце обжигают кожу. Ведь именно тогда люди и носят большие соломенные шляпы, защищающие от зноя лицо и плечи. Солнце словно покалывает тело, а капельки испарины обильно выступают на груди и спине, но зато как приятно, когда они стекают потом вниз по бедрам прозрачными струйками.

С каким наслаждением стал бы он рыбачить, тянуть сети, полные всевозможной рыбы, которую можно продать, а на вырученные деньги купить фрукты и молоко. Иктио говорит, что он охотнее ест яблоки, чем сушеный инжир. Можно купить еще и вкусные круглые булки; в них ведь не попадают камешки, как в темном хлебе, так что зубы, когда жуешь, не обламываются, да и отплевываться нет пужды. И соломы в них тоже не попадает. Булки эти белые, правда не такие белые как полотно, и только корочка у них золотистая.

Они такие большие, что каждую булку не обязательно съесть сразу — одну половину — сейчас, другую — после и даже можно делиться ею с Иктио, когда он появляется у двери.

И хлеб, и многое другое продается совсем близко. Дупниону это известно, потому что выкрики рыночных торговцев, расхваливающих свой товар, доносятся до него чуть ли не целый день.

Если бы только можно было есть разные вкусные вещи, рыбачить и уходить вместе с другими детьми далеко-далеко, до самой равнины, где весной устраиваются конные состязания, которые он никогда не видел, но которые представляются ему как нечто очень интересное и увлекательное!

До слуха маленького раба долетают с улицы обрывки разговоров, быть может не имеющие для других сколько-нибудь серьезного значения. Но мальчик ловит их с жадностью, хотя и не полностью постигает смысл, связывает их с тем, что уже слышал раньше, понимая, что за пределами мрачной мастерской существует огромный мир, который его ждет. Он знает, что вокруг него бесконечно много всяких чудес, и как бы вдыхает их аромат. Увидеть бы их, броситься к ним, как только представится случай, в первое же мгновение обретенной свободы...

Сегодня, как и всегда, он глядел на улицу, где начиналась дорога его мечты, и уже видел себя бегущим к морю, когда вдруг какой-то солдат, остановившись у двери мастерской, загородил весь свет. Солдат смотрел на него и что-то спрашивал. Он был молод и очень худ. На его изможденном лице лежали глубокие тени усталости, а большие черные глаза испуганно бегали. Дупнион догадался, что это солдат, по его нагрудному панцирю и по кнemiдам. Панцирь служит защитой от меча и копья. Правда, такое оружие может поразить уязвимые части тела, но это не так опасно, потому что там раны легко заживают. Кнemiды прикрывают ногу от колена до щиколотки у тех, кому приходится помногу ходить. Солдаты переходят с места на место, туда, где ведутся войны, и они шагают всегда, когда им приказывают. Дупнион не слышал, что говорил солдат. А может, тот ничего и не говорил, а только шевелил губами. Мальчик слышал лишь, как хозяин подбрасывает в огонь дрова и все что-то ворчит. Но вот хозяин отошел от горна и заметил солдата, почти совсем закрывшего собою дверь. Это его удивило. Солдат поспешил

удалиться, а старик, в недоумении раскрыв рот, посмотрел ему вслед. Потом он обернулся к Дуниону:

— Кто этот солдат? Что он хотел?

Но откуда Дуниону знать, о чем спрашивал солдат. Он ведь только глядел на него, видел, что солдат молод, что он устал и хотел пить. Они смотрели друг на друга не больше одной минуты, они даже не знакомы, и вообще он никогда не замечал, чтобы тот проходил по их улице.

— Ты что, не слышишь? Что он хотел?

Дунион что-то невнятно пробормотал. Тогда хозяин подошел к нему ближе.

— Что ты бормочешь? Он ничего тут не взял?

Хозяин, видно, подумал, что солдат, воспользовавшись его отсутствием, стащил какой-нибудь сосуд, а мальчик решил промолчать. Злоба, постоянно кипевшая у старика внутри, вырвалась наружу, и он стал бить Дуниона по голове и лицу. Для этого ему даже не надо было высоко поднимать руки, потому что мальчик сидел на земляном полу, опустив ноги в канавку, где находилось устройство. Пытаясь увернуться от новых ударов этих жестоких рук с налипшей на них мокрой глиной, мальчик метнулся в сторону и, распластавшись на полу, начал кричать. Такие крики раздавались в мастерской довольно часто. Вернее, не крики, а скорее выкрики, сопровождавшиеся громким всхлипыванием. При этом мальчик чуть запрокидывал голову назад и закрывал глаза. В такие минуты лицо его искажалось гримасой отчаяния и страдания, быть может более жгучих, чем боль от ударов, которые обрушивал на него старик. Тогда уж он мог кричать и визжать, сколько ему угодно, дышать полной грудью, испытывая даже какое-то приятное ощущение.

Случалось, что его громкий плач привлекал внимание детей, которые наблюдали за происходящим с противоположной стороны улицы, переглядываясь и толкая друг друга. Однако на этот раз Дуниону пришлось сдерживать себя — умерить крики и плач, потому что хозяин угрожающе замахнулся на него хлыстом.

На несколько мгновений оба застыли, каждый в своей позе. Дунион почувствовал, как слезы медленно высыхают у него на щеках, хозяин же опять заковылял к горну. И тут в дверях неожиданно появился улыбающийся Иктио. Рыбак был такой высокий, что головой почти касался притолоки, борода светлая, а кожа очень смуглая от солнца. Все это не-

изменно восхищало Дуннона, и ему так хотелось подойти к Иктио поближе, потрогать его, получше разглядеть.

Увидев рыбака, Дуннион сразу задвигался, но встать с пола все же не решился.

— Он побил меня,— пожаловался мальчик, указывая в сторону, куда скрылся старик.— Колотил по голове.

Иктио, должно быть, понял, о чем говорил Дуннион. Нетрывно глядя на мальчика, он делал знаки, стараясь заменить ими слова утешения. Дуннион и вправду немного успокоился, почувствовав себя увереннее в присутствии друга. Он пошел бы за ним куда угодно и, хотя еще ни разу не сказал ему: «Возьми меня с собой», знал, что рыбак сам подумывает о том, чтобы каким-то образом вызволить его отсюда и увести на берег.

Дуннион смотрел на друга широко раскрытыми глазами, ожидая услышать хоть одно слово, способное вселить в него искру надежды. Но рыбак молчал, о чем-то, казалось, думал и все терся о дверной косяк. Так длилось несколько минут, и вдруг Иктио, взмахнув правой рукой, кинул мальчику какой-то предмет.

— Это тебе,— крикнул он.

Предмет был совсем маленький. Поймав его на лету, Дуннион сначала подумал, что это финник или съедобная ракушка. Разглядев его, мальчик очень удивился. Он впервые видел такую красную веточку, совсем твердую и шероховатую на ощупь. Конечно же, это не растение, не вещица, сделанная из глины, не косточка животного и не морской камешек. Своим цветом и простотой формы предмет этот был прекрасен и очень напоминал яркое пламя. Но удивительное дело, почему же он такой холодный, когда к нему прикоснешься?

И тем не менее мальчик почувствовал, как рука его, сжимавшая этот странный предмет, становится теплее и как постепенно приятный жар разливается по всему телу. В эту минуту он не видел ничего, кроме чудесного творения природы, величие и сила которого передались и ему. Наконец-то довелось и маленькому рабу увидеть нечто невиданное прежде, к чему могут прикоснуться его грязные слабые руки,— сокровище, частица недоступного ему мира, подарок друга. Обладание этим сокровищем привело Дуннона в еле сдерживаемый восторг, наполнило счастьем, которого он никогда не знал, и в то же время встревожило его. Откуда оно? Что это?

Он поднял голову, чтобы спросить об этом Иктио. Но тот уже ушел — наверно, его спугнули шаги возвращавшегося хозяина. В мгновение ока Дунион просунул веточку между пальцами ноги, стараясь скрыть волнение. Когда старик подошел к гончарному кругу и уселся за него, мальчик как ни в чем не бывало продолжал работать. Хозяин сидел к нему спиной, наклонив голову набок, чтобы лучше видеть сосуд, который он формовал обеими руками. Тяжелое дыхание, теснившее его грудь, шумно рвалось наружу. Время от времени он ворчал что-то себе под нос или давал мальчику какое-нибудь указание.

Дунион то и дело посматривал на его спину и потом снова переводил взгляд на красную веточку, по-прежнему торчавшую у него между пальцами. Он полагал, что Иктио еще вернется за ней, а может, у него много таких веточек, и рыбацк подарил ему одну из них. Вряд ли! Разве может бедняк обладать таким сокровищем? Мальчик боялся, что хозяин заметит веточку и отнимет ее, да еще захочет узнать, как она попала к нему. Веточку надо где-нибудь спрятать или еще лучше — отдать детям, чтобы они положили ее в надежное место. Дети, конечно, не станут забавляться веточкой; они поймут, что это очень дорогая вещь, созданная, возможно, ценой больших усилий, и не потеряют ее.

Решив во что бы то ни стало спасти красную веточку, Дунион стал обдумывать план действия: выбрать момент, когда хозяин снова отлучится к горну, подскокить к двери и броситься бежать со всех ног. И тогда он спасет не только веточку, тогда ему удастся осуществить свою давнишнюю мечту — вырваться наконец из мастерской в неведомый мир и быть свободным. Там, на просторе, он найдет детей и отдаст им веточку.

Когда хозяин снова отошел к горну, Дунион выполз из канавки и, крепко зажав в руке веточку, выбежал на улицу.

Яркий, ослепительно белый свет заливал фасады домов и разогретую землю, на которой отчетливо обозначились следы колес. Воздух был насыщен пряным запахом древесины. Было жарко.

Прижимаясь к стенам домов, Дунион бежал по широкой и пустынной в этот час улице. Когда стали попадаться прохожие, мальчик поспешил затеряться среди них. Его робкий, неуверенный бег удивлял прохожих — они ведь не знали, какой порыв отчаяния гонит вперед испуганного ребенка.

Добежав до конца улицы, Дунион услышал позади себя громкий голос хозяина, голос, который он так хорошо знал. Страх охватил все его существо, голова закружилась, но он не остановился, а побежал еще быстрее, пытаясь снова смеяться с толпой прохожих.

Вскоре он очутился на рынке, где множество ярких и разнообразных предметов почти сплошь устлали землю: горы корзин, красные ткани, фрукты, длинные пальмовые ветви. А сколько людей! Женщины в белых покрывалах, мужчины, с которых градом катился пот, и все они непрестанно переходили с места на место, неутомимо болтая и мешая мальчику бежать. Шмыгая между продавцами и их товарами, Дунион по-прежнему слышал голос хозяина, который звучал все громче, и ему казалось, что старик вот-вот поймает его.

Внезапно он оступился и упал, попытался было встать, но не смог из-за боли в коленке. Потом все-таки поднялся и снова побежал. Мальчик видел, как люди поворачивают голову, с любопытством глядя ему вслед. Некоторые из них призывали остановить беглеца. Хозяин же неотступно преследовал и уже настигал его.

Дунион думал только об одном — бежать все дальше и дальше в надежде оставить опасность позади. Внезапно перед ним возникла широкая полоса земли, окруженная со всех сторон враждебными лицами и угрожающе вскинутыми руками. Солнце было как раз в зените, и мальчик бежал, не отбрасывая тени. Кругом люди, множество людей, и только он — один, даже без своей тени, бегущий по грязной и чужой земле. Страх тонул в криках и гиканье его преследователей, в хрипах стесненного дыхания.

За ним гнались. Торговцы фруктами, опасавшиеся мелких воришек, повскакали со своих мест и, разгневанные, задрав голову и грозно сдвинув брови, готовы были пуститься вдогонку за мальчиком и расправиться с ним. Одни успели уже сделать несколько шагов, другие прислушивались к истошным воплям хозяина, который метался по рынку, неуклюже размахивая руками и взывая о помощи. Люди, жадные до наживы, торговавшие, готовые ради барышей перегрызть друг другу глотку, те, что подмешивают в мед патоку, те, что подливают в вино воду, те, что сбывают сыр, приготовленный из молока больных коров, — все кинулись в погоню, едва увидев одинокую фигурку бегущего мальчика, его искаженное от ужаса лицо, его тоненькие подкашивающиеся ноги.

Заметив, что все почему-то бегут за ним, Дуннион остановился и поглядел вокруг. Он не мог понять, зачем эти люди, которые никогда его прежде не видели, угрожают ему. Это, наверно, его враги, — они знают, что у него красная веточка, и хотят ее отнять. Надо обязательно передать ее детям, но их что-то нигде не видно. Кругом только взрослые, состарившиеся и невеселые от вечных ссор и споров о купле-продаже. И он снова пустился бежать. Вскоре ему удалось оторваться от своих преследователей и свернуть на прилегающую к рынку улицу. Улица была широкой, а двери домов — закрытыми. У одного дома стояла маленькая девочка, она смотрела в сторону, откуда бежал Дуннион.

Это был первый встретившийся на его пути ребенок. Те, что гнались за ним, были уже немолодые люди, с суровыми, злобными лицами. Он ненавидел их, потому что это они заставляли его работать в гончарной мастерской, куда почти не проникал дневной свет. Дети же не раз звали его поиграть на улице. Они ни за что не стали бы преследовать его.

Дуннион подбежал к девочке, которая не сводила с него глаз, и, протянув руку, отдал ей веточку. Девочка, не глядя, схватила ее. Тогда Дуннион быстро проговорил: «Береги ее», — проговорил так, что вряд ли девочка поняла его, и побежал дальше.

Между тем из-за поворота на краю улицы показались преследователи. Еще несколько секунд, и они, пробежав мимо девочки, устремились за Дуннионом. Поравнявшись с грудой булыжников, лежавших подле строящегося дома, они остановились. Но уже в следующее мгновение первые камни, округлые и гладкие, засвистели в воздухе.

Мальчик с мучительной тоской вспомнил в эту минуту об Иктию — хоть бы он пришел к нему на помощь. И вдруг внезапная тяжесть в голове оборвала его тоску и его бег. Он вскрикнул и упал. Еще два камня ударили его в лицо и грудь.

Люди даже не подошли к лежавшему на земле мальчику. Их злоба и раздражение сменились теперь охотой поразвлекаться — ведь это все равно, что обезвредить бешеную собаку, забить камнями ядовитую змею или затушить ударами палки разбушевавшийся костер.

На белой коже Дунниона заалела кровь, но сам он уже не двигался. А камни все еще летели и летели, то попадая в тело мальчика, то ударяясь о землю и отскакивая от нее.

Солнце по-прежнему светило ярко, торговцы подбадривали себя криками и смехом, очень довольные тем, что удалось без особых трудов устроить себе такое развлечение.

Девочка, стоявшая у двери своего дома, не могла разглядеть, что происходит. Она с любопытством посматривала на толпившихся поодаль людей и, сжимая в ручонке удивительную веточку коралла, все спрашивала себя, в кого это там швыряют камнями.



ХРОПИКА ТИХОЙ УЛИЦЫ

Улица узкая. Маленькие одноэтажные домики. Летом соседки выносят стулья на тротуары и сидят, болтая, до полуночи. Улица очешь похожа на внутренний дворик, где в открытые окна видна вся жизнь обитателей: как спят дети, беспокойно порочаются и не могут заснуть усталые мужчины. Когда дует восточный ветер, улица вся забивается пылью, грязными бумажками, листьями с деревьев, неизвестно как попавшими сюда. В разное время на улице пахнет по-разному: днем остро — фританой или другими кушаньями, приготовленными на дешевом масле; вечером, когда цветет чудоцвет, воздух напоен его горячим, почти чувственным ароматом, а к рассвету исчезают все запахи и улица, как и ее обитатели, кажется погруженной в беспокойный сон. В предвечерние часы улицу заливает такой мягкий, золотистый свет, что кажется, будто все вокруг покрыто патиной и напоено таинственным очарованием старинных гравюр.

Теперь начало весны, ночь, двери таверны, что на углу, уже закрыты. Еле передвигая ноги, проходит какой-то пьяный — последний ночной прохожий. Двое полицейских этого района уже начали свой обход. На мостовой гулко раздаются их шаги. Они подолгу молчат, а если разговаривают, то тихо, словно боятся разбудить спящих призраков. Молчание помогает им погрузиться в мир своих забот. Ночь начинается спокойно. Полицейский Хуан молод и говорлив, поэтому ему не по душе его сегодняшний напарник. Хуану нравится футбол, песни и веселые женщины. И он пользуется довольно большим успехом у женщин такого сорта. Об этом всегда можно поговорить с товарищем по дежурству. Даниэль уже стар, ему около шестидесяти, однако он может долго ходить и не устает. Семья им довольна. Все в доме работают, и он может приберечь свои сесеты на случай болезни или чтобы в старости не жить на пособие и не зависеть от подачек благотворителей. Четверо его дочерей еще не замужем. У старшей, Марии, был жених, какой-то полоумный, который доставил ей много огорчений, но все уже прошло, и Даниэль радовался, что это кончилось вовремя. «Так оно лучше, — думал он много раз. — Когда женщина работает, ей незачем терпеть возле себя мужчину, это удел сеньорит, которые не приносят в семью ничего, кроме невинности да глупого жеманства». Даниэлю страшно хотелось иметь сына. Поэтому он так и старался, а в результате — четыре дочери дал ему господь.

Эта улица тихая. Вряд ли что-нибудь случится. Разве что повздорит та супружеская пара, что живет во втором доме, рядом с таверной. Обычное семейное дело: «У тебя больной желудок, и ты должен беречься. Не из-за меня — я-то смогу заработать на жизнь, а из-за детей, они еще совсем маленькие». А у Мигеля болит печень, и он больше не в силах сдерживаться. Визжит, кричит до хрипоты и бьет руками по столу и стенам, а иногда, может и такое случиться, по физиономии своей жены. Соседей все это не очень беспокоит, они знают, что в семейные дела не стоит вмешиваться. Старая пословица говорит, что спальня многое улаживает.

Иногда тишину нарушает плач детей. Это близнецы доньи Ракели, у них режутся зубы, и они никак не могут заснуть. Или кашель парня из таверны, который спит на жестком волосяном тюфяке рядом с прилавком. Когда он несколько месяцев назад пришел на работу из деревни, он был розовощекий, словно девушка, и сильный, но табак, а может, непо-

сильная работа и скудная пища или вынужденное целомудрие иссушили его, он стал кашлять, и не помогали ни стаканчик вина с желтком по утрам, ни микстура, которую он совсем недорого купил в аптеке дона Луисо и которую ему горячо рекомендовали. Очень странный парень. Когда в таверну заходит какая-нибудь женщина, что случается довольно редко, он начинает заикаться, руки у него дрожат и он не знает, что ответить, если она попросит что-нибудь.

Донья Луиса, сеньора, что живет в начале улицы, больна. У доньи Луисы комната выкрашена в красный цвет, вся пропахла кошками, и повсюду бумажные цветы — в стаканах, в банках из-под мармелада, да еще огромный букет над портретами ее сыновей. Ее сыновья — два рослых загорелых юноши — умерли во время войны от лихорадки, а дочь, уставшая от обилия бумажных цветов и вечного траура по умершим братьям, однажды не выдержала и сказала матери: «Мама, я больше не могу, это сильнее меня, и я не выдержу. Ругайся, если хочешь, но я все равно уйду...» Она сбросила с себя черные тряпки и ушла с одним неотесанным парнем, на несколько лет моложе ее, который только и знал, что повторять: «Ты очень нравишься мне, Лола, очень нравишься...» А люди принялись обсуждать: «Ведь такая милая, изящная и скромная девушка. И не подумала о своей уже немолодой матери, которая столько пережила. Эти современные девушки... Уж мне-то не говорите, донья Матильда, с моей племянницей было то же самое, правда, ничего худого не случилось. Конечно, они могли бы все сделать как полагается, с благословения родителей и не обходя церковь, но... Да, сейчас девушки делают то, что им хочется, а о семье совсем не думают... Бедная донья Луиса, остаться одной, когда ей так нужна дочерняя забота».

После этого донья Луиса больше не выходила на улицу. Она наняла женщину, которая стирала ей белье и ходила за покупками. Сама же все время проводила дома. Говорили, что она часами сидит перед портретами сыновей. Когда ушла дочь, донья Луиса еще хорошо выглядела. Правда, это говорил дон Августин, муниципальный служащий, холостяк, который часто беседовал с ней. Думая, что ему удастся утешить ее, он несколько раз приходил к ней, но однажды сеньора выставила его на улицу, и больше они не разговаривали.

Сейчас донье Луисе трудно. Денег не хватает. Об этом прислуживающая ей женщина рассказывала в лавке дона Пако, где все продается по очень высоким ценам. Дон Пако

глух и к тому же, как утверждают злые языки, слеп. У него в доме живет племянница, довольно полная девушка, которая не пропускает ни одного молодого мужчины, проходящего в лавку: уставится на него как дурочка, говорит разные непристойности, а сама глупо улыбается своему дядюшке. Никто не решается навестить сеньору, и бедняжка с каждым днем все больше погружается в себя, вспоминая о сыновьях, унесенных злой лихорадкой, и о дочери, которая бог знает где. Иногда донья Луиса думает, что, если бы дочь вернулась, она ее простила бы. Она представляет себя бабушкой и, улыбаясь, шепчет, охваченная нежностью: «Он будет такой же светловолосый и зеленоглазый, как Лола, и сильный, очень сильный, как мой бедный Антонио, да почнет он в мире...»

Рядом с домом доньи Луисы живут две сестры. Обе не замужем, довольно хорошенькие, с лукавыми глазами и острым язычком. На улице их почти не видно. Уходят рано, а возвращаются поздно. У младшей был жених, фельдшер, который бросил ее, когда уже и приданое было куплено. Они работают в какой-то конторе и, должно быть, неплохо зарабатывают, потому что частенько щеголяют в обновках. Соседки уверены, что такие хорошенькие и приятные в обращении девушки недолго пробудут без жениха, хотя кто знает, ведь столько осталось старыми девами!

На улице они поселились недавно. Раньше в этом доме жил вдовец с двумя маленькими детьми. Ребятишки весь день гоняли на улице свои проклятые мячи. Отец их был очень робким и едва здоровался с соседями. Когда ему говорили о разбитых его детьми стеклах, он отвечал: «Что же мне делать? Они, бедняжки, остались без матери совсем маленькими, не могу же я их наказывать. При одной мысли об этом у меня сердце сжимается. Если бы была жива моя святая Хуанита, все было бы по-другому». После этих извинений дети продолжали бить стекла и становились все чернее от палящего солнца, которое каким-то чудом выдерживала кожа бедных ангелочков.

Ночь спокойна, а всего лишь несколько часов назад в доме донна Мартина смеялись и пели. Дон Мартин выдавал дочку замуж, не считаясь с расходами. Жених был мужчина серьезный, лысый, близорукий, со смешным брюшком. Он нигде не работал, жил на небольшую ренту с нескольких земельных участков. Все свое время проводил в барах за рюмкой анисовой или за чашечкой кофе с молоком либо в

разговорах с теми господами, что все критикуют, не в силах пережить плохие времена. Раньше доп Мартин держал пансион. Поговаривали, будто ради того, чтобы скопить эти несчастные песеты, он недоедал и плохой пищей испортил себе желудок, поэтому всегда мерз и ходил укутанный. Была у него собака, которую по воскресеньям он водил гулять па гору.

У Мерседес в четырнадцать лет начала сохнуть нога. И это когда она почувствовала себя женщиной и ей стали нравиться мужчины. У нее большие, обведенные тенью глаза. Все вечера она проводит у окна. Мужчины, проходя, смотрят на нее, а она им улыбается. Но если они останавливаются поговорить, она закрывает окно, и слышно, как она пост в комнате. Этой двадцатилетней девушке хорошо известно все, что происходит на улице. Она в курсе самых интимных дел, слышит, как бранят детей за то, что их обесили в лавке, как плачут девочки, напуганные тем, что наступила зрелость, как спорят супруги. Сидя у своего окна, она все знает, все угадывает, столько жизнью проходит перед ней, а своей у нее нет.

Сейчас наряд полицейских проходит мимо ее дома. Она лежит на маленькой деревянной кровати. Множество кукол и фотографий киноактеров придают ее комнате странный вид. Запах здесь какой-то робкий и чистый. Этой ночью Мерседес не спится. Она грезит о прогулках, длинных улицах и танцах, она идет без костылей, без этих вторых ног, которые, еще теплые и влажные от ее ладоней, сейчас лежат около кровати и на которые она опирается все с большей силой и страхом. Внезапно она начинает плакать. Плачет от обиды и тоски, ей самой не понятных.

Даниэль останавливается, прислушиваясь к плачу Мерседес; Хуан, прислонившись к стене и закуривая сигарету, спрашивает:

— В чем дело? Почему ты остановился, тебе плохо?

— Нет, мне почудился крик, будто кто-то закричал от горя... Кажется, эта ночь не будет спокойной.

— А что может случиться? Должно быть, какая-нибудь собака, иногда собаки плачут, совсем как люди. Пошли...

Даниэль, наверное, мог бы понять этот плач. Хуан же — нет. Хуан болтун, ему нравятся песни да веселые женщины. А у Даниэля семья, четырех дочерей дал ему господь, четырех, да старшей попался какой-то непутевый жених...

Мерседес услышала их разговор и зажгла свет. Тени от

кукол и лица киноактеров, все с одинаковой улыбкой, так испугали ее, что она была готова снова закричать. Закричать от горя и тоски, оттого, что из-за своей искалеченной ноги не может гулять по воскресеньям и пританцовывать в такт какой-нибудь песенке. И снова ей является все та же мысль: если бы у нее хватило мужества! Но сейчас же ее охватывает ужас. А ведь достаточно тюбика аспирина да стакана воды, и потом... Нет, она не сможет это сделать. Никогда у нее не хватит смелости или, может быть, трусости сделать это. Ее нога ни на что не годится, и не будет воскресных вечеров, танцев, прогулок под деревьями — только окно, да костыли, да фотографии улыбающихся мужчин, которые в кино смотрели на нее с экрана, а она, сидя в зале, еще острее чувствовала свое одиночество...

— Да, Хуан, видать, я ошибся. Наверно, это была собака или ребенок. Иногда, когда дети плачут жалобно, будто собака скулит. Глупость я сказал, но в такую ночь только глупости на языке. Пошли. Улица так же спокойна, как и ночь...

Действительно, улица эта спокойная, здесь никогда ничего не происходит. Какая-то женщина страдает, дети плачут от боли и страха, мужчина, задавленный нищетой, не может заснуть, супружеская пара мирится после ссоры, мечется в тоске девушка с искалеченной ногой, юноша задыхается от кашля... И в самом деле, на этой улице никогда ничего не происходит.



ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

На ночном столике в рамке из тисненой кожи — фотография женщины. Ее лицо едва различимо в полутьме. Рядом — раскрытая книга. Хуан лежит на кровати полуодетый, и, как всегда летними ночами, его мучит бессонница. Хуан занимает ту же комнату, в которой жил еще холостяком. В соседней комнате, с окнами, выходящими во двор, спят его жена и дочери; бабушка спит внизу, рядом с кухней. Двери его комнаты открыты, ее наполняет острый запах пищи, к которому примешивается долетающий из сада легкий аромат жасмина. Где-то близко пробило час. Дует восточный ветер, очень жарко. Кажется, что время остановилось, загустело, стало тяжелым и давит на его мозг. Хуан наедине со своей бессонницей, она одержала над ним верх и теперь терзает его.

Летние ночи вызывают у меня ощущение чего-то грязного и отвратительного. Уже поздно, полночь, а я ворочаюсь в по-

стели, и сон не приходит. Размышляю о своей жизни, и все мне представляется как в тумане; спрашиваю себя: почему я не могу быть счастливым, почему не могу примириться со своей судьбой, с тем, что я есть, и с тем, что я делаю? Меня охватывает отчаяние. Я встаю и зажигаю лампу. Подхожу к окну; на улице кое-где горит свет. Хакаранды * неподвижны, дуновение ветра не долетает до них. Кто-то медленно проходит по тротуару. Сверху, из окна второго этажа, я вижу этого человека. Знаю, что он молод, хотя идет медленно и устало. Мне бы хотелось окликнуть его и поговорить немного, чтобы хоть как-то облегчить эту тяжелую, тоскливую бессонницу, но я с ним не знаком и только смотрю, как он проходит мимо. Подхожу к почтовому столику, выдвигаю ящик и достаю пачку сигарет. Я уже много выкурил, и мне трудно дышать. Закуриваю сигарету и хожу по комнате. Свет я потушил, но в бликах уличных фонарей ясно видны все предметы. Затягиваюсь и кашляю от дыма. Тереса, которая еще не спит, потому что должна в половине второго кормить ребенка, слышит мой кашель и спрашивает из своей комнаты:

— Ты плохо себя чувствуешь, Хуан?

— Нет, все в порядке, это я кашляю от табака, ты же знаешь.

— Пожалуйста, перестань курить и ложись: может быть, заснешь, тебе это необходимо, сколько ночей ты уже мучаешься...

Я думаю о Тересе, о ее теле, плечах, волосах и синих глазах, по скоро образ ее стирается и остается лишь влажная кожа, блестящие от пота щеки и лоб. Мне бы хотелось, чтобы мои мысли были полны покоя и нежности, но я не нахожу в себе любви к этой полнеющей и стареющей рядом со мной женщине. Я спрашиваю себя, та ли это Тереса, которую я знал двадцатилетней девушкой? Вспоминаю наши тихие прогулки, ожидание помолвки, первые ласки, но эти воспоминания еще больше отдаляют меня от нее, и я уже совсем ничего не понимаю.

Завтра, да, завтра я встану рано — будет много работы. И снова этот человек, дон Гонсало, который с каждым днем все больше раздражает меня и донимает своими оскорблениями. Конечно, он хорошо мне платит, но значит ли это, что я должен терпеть его? Да, должен, ты женат, у тебя семья, и ты не свободен.

* Хакаранда — тропическое дерево.

— Я знаю, Хуап, что ты страдаешь, по ты должен помнить, что ты не один, у тебя я, дочери и бабушка.

Тереса всегда говорит это, но она-то остается дома, болтает с соседками, потеет и моется, становится все ленивее и толще, если ей скучно, идет гулять... Обида и отвращение ко всему на свете переполняют меня, я все острее чувствую свое поражение. Не знаю, лето ли тому виной, или этот пот, которого я совершенно не выношу, или вся моя жалкая, нищенская жизнь...

Я снова зажигаю свет. На столике книга, которую я начал читать. Еще не все страницы разрезаны, прочитано совсем мало, а уже вся обложка в пятнах от моих влажных рук; пожалуй, этот пот действует на меня сильнее всех переживаний. Я снова думаю об этом человеке. А глаза Тересы-девушки, полные надежды, смотрят на меня с фотографии. То, что я связался с ним и его грязными делами, не имело бы никакого оправдания, если бы я это не сделал ради семьи. Помню, я сказал Тересе:

— Дону Гонсало, знаешь, тому, что занимается поставками для кораблей, нужен счетовод, чтобы придать хоть какую-то законность его делу. Он предложил мне хорошее жалованье. Хотя мне и жаль оставлять дону Николаса и мою честную работу, но на деньги, что я там получаю, ничего не сделаешь. Я его очень уважаю, но он поймет...

— Я бы и не думала больше об этом — не привязывать же себя к нему навсегда только из-за того, что ты его уважаешь; я знаю, что ты уже много лет работаешь с ним, с тех пор как окончил Торговую школу, но, хотя он к тебе хорошо отнесся, платит ничтожное жалованье и, вероятно, никогда не увеличит его. Он-то живет хорошо; дети учатся в дорогих колледжах, его жена может только гордиться. Ты же выручаешь его во всех затруднительных случаях, и ведь их немало — не так ли? — а живешь в пужде. Мы молодцы, Хуап, и имеем право на лучшее.

— Пожалуйста, не злись, Тереса. Пойми, что такова жизнь, и мне на долю выпал худший жребий.

Подул легкий ветер. Мне стало лучше. Тереса встала, слышу, как она ходит, должно быть, дает рожок малышке. Я решил, но дома ничего не скажу. Я еще молод, и на те деньги, что я получу при уходе, мы сможем прожить пару месяцев. А я тем временем подыщу себе какую-нибудь работу. К дону Николасу я не вернусь, для меня это означало бы признать свое поражение.

Табак, что я курю, довольно сухой. Не знаю, отчего я курю легкий табак. Ведь всем известно, что он вреден, и все-таки я не могу курить гаванский, он у меня вызывает сильный кашель и, по мнению бабушки, пропитывает мою одежду запахом нищеты и старости.

— Ты что же, всю ночь не будешь спать? Впрочем, пожалуйста, только погаси свет, хоть сэкономим немного, в прошлом месяце нам прислали довольно большой счет за электричество...

Тереса неожиданно входит в комнату и видит меня сидящим с книгой в руках. Я не поднимаю головы от книги. Слушаю, что она говорит, и теряю нить своих мыслей. Хочу, чтобы она оставила меня одного, но не решаюсь сказать ей об этом. Я боюсь и упреков, и ласковых, полных преданности слов, которые не очень-то понимаю.

— Ты не забыл, что завтра должен получить чек? На эти деньги мы протянем до конца месяца и сможем купить ботиночки Хуаните; она уже не может выходить на улицу в своих белых, я их оставляю для дома...

Не знаю, почему я не могу возразить, сказать, что больше не будет чеков, что девочка все лето будет ходить в своих старых ботинках и что сама Тереса не получит кофточку, которая ей так нравится; я удивляюсь своим словам, тому, что не восстаю против этой смешной, или нет, скорее человеческой комедии:

— Да, Тереса, я получу чек. И принесу тебе ту кофточку, которую ты видела в лавке, ведь завтра твои именины? Можешь пригласить нескольких друзей... только, пожалуйста, оставь меня, я хочу побыть один, понимаешь? Я знаю, что мне надо делать, только оставь меня, ради бога... Да, я погашу свет, не буду больше курить, попытаюсь заснуть, даже приму таблетку того снотворного, что так хорошо действует на твоего брата...

— Я знаю, что тебе тяжело, Хуан, я тоже страдаю вместе с тобой, но...

— О, не говори, не говори ничего.

— Ты невозможен сегодня. Когда ты по вечерам сидишь в таверне со своими друзьями, ты тоже такой? И не повторяй мне то же, что всегда, я знаю, что ты скажешь: «Вино отвратительно, друзья невыносимы, но, когда я выпью, я забываю о нашей нищете». Тебе не кажется, что ты несправедлив ко мне, что мне неприятно выслушивать это?

На Тересе мятый халат. Красная ткань мягко оттеняет ее белую кожу. Она вся покрыта испариной — лоб, уголки рта, руки, которые сейчас перебирают мои волосы. А я жажду чистоты, ясности, прохладной воды по утрам.

— Послушай, не будь глупым! Ты знаешь, что я тебе многое прощала, потому что я люблю тебя, Хуан, и буду любить, что бы ни случилось.

— Прекрасно, дорогая, я это знаю, но оставь меня, пожалуйста, я хочу побыть один.

Я смотрю, как она выходит. Ее слова пробудили во мне жалость. Мне бы хотелось выполнить все ее желания и чтобы дочери были счастливее меня, хотя бы для этого мне многим пришлось пожертвовать, даже своей порядочностью. Завтра я буду все так же терпеть грубость дона Гонсало, его шуточки и свою боль. Хочу, чтобы ничто не менялось, чтобы завтра дочь обрадовалась новым ботинкам, а жена поцеловала меня за купленную в день ее ангела кофточку... Даже если заплачу за это страданиями. Потому что я не один, мое одиночество — это ложь... Летняя ночь оскверняет мои мысли и делает меня трусом, и я думаю, люблю ли я Тересу, и связан ли я с этой семьей, которую сам создал, а мое одиночество — не призрак ли это какой-то другой, чужой жизни, которую я просто выдумал, подражая кому-то...

Хуан гасит лампу. Теперь ветер дует с моря, пахнет водорослями, воздух свежее. Свет, зажженный Тересой в коридоре, проникает в комнату. Маленькая плачет. Чтобы убаюкать ее, Тереса тихонько напевает колыбельную: «Спи, моя девочка, спи, моя любовь...» Хуан слушает уже в постели. Дремота, охватившая его, все понемногу сглаживает, светлеют тени, заполнявшие комнату.



КРИВОЙ МИГЕЛЬ

Жизнь не баловала Мигеля. Детство у него было безрадостное, в юности ничего не изменилось к лучшему, и сейчас, в старости, было то же самое: он работал как проклятый, чтобы прокормиться. В детстве его поднимали на расвете, потому что нужно было помогать отцу. В двенадцать лет, когда он уже ходил в вечернюю школу, ему камнем выбили правый глаз. Потом пришлось оставить школу и пойти на стройку — за жалкие тридцать песет в неделю он работал по десять часов в день. Мигеля называли Кривым, но это его не задевало. Разве только вначале, но не будешь же драться с соседскими мальчишками каждый раз, как они тебе крикнут: «Кривой, пойдешь с нами? Хочешь сыграть в лотерею? Кривой, Кривой, тебя мать зовет, ты что, не слышишь?»

Нищета и злоба иссушили его тело и опустошили сердце, и он ни к кому не чувствовал жалости. Вероятно, потому, что и его никто не жалел. Хотя, если хорошенько подумать,

а он много размышлял над этим, жалость — всего-навсего предрассудок, каких много на свете. Он видел только одним глазом. И если второго действительно не было, к чему расстраиваться, когда тебя называют Кривым? Ясно, что такие вещи либо понимаешь, либо нет. И если нет, то можешь свихнуться и начнешь драться направо и налево, хотя и знаешь, что говорят тебе чистую правду.

Перепившись, однажды на рассвете умер его отец, и ему пришлось заботиться о матери и двух сестрах. Сначала все шло хорошо. Все работали, семья не нуждалась. Но младшая, Роза, слишком уж увлекалась тряпками и танцами, а ведь известно, к чему это приводит. Старшая, Мария, вышла замуж через два года после смерти отца. Живет довольно бедно, но честно и чисто. Роза не честная и не бедная, и, хотя Кривой всего натерпелся в жизни, он не любит, когда ему говорят об этой сестре. Мигель, которому уже больше пятидесяти, продолжает жить вместе с матерью. Живут они в одном из окраинных районов города. Работает он помощником каменщика и, когда в субботу получает деньги, поступает так же, как его отец, — напивается до того, что на ногах не стоит. А возвращаясь домой, изливает на мать всю свою горечь и злость. Добрая женщина не жалуется, а только повторяет, словно молитву: «Ты точно такой, как твой отец, той же самой породы».

Иногда на Мигеля находит что-то, и он начинает думать, что его мать из того же теста, что и Роза, и если осталась честной, то лишь потому, что отец был настоящий мужчина. Но эти дурные мысли мимолетны. Он по-своему любит мать, со всеми ее достоинствами и недостатками. Мигель хлебнул вдоволь нищеты и горестей, так что уже не питает иллюзий и не может не видеть — хотя бы и одним глазом, — что жизнь не удалась. Когда ему становится неважно и он готов наброситься на кого-нибудь с кулаками, ему говорят:

— Ты весь кипишь завистью и злобой, Кривой. Оттого и поступаешь так. Ты не имеешь права драться только потому, что тебе что-то не нравится. К тому же...

— Что? Ты можешь терпеть, а я нет, и в этом все дело. Тебя и жена может обмануть, а я, если бы был женат и узнал, что жена мне изменила... я убил бы ее! Я такой и меняться не собираюсь. Словами меня не убедишь.

В двадцать лет у Мигеля была невеста. Девушка служила горничной в богатом доме. «Эти господа, — говорил Мигель, — душатся и ломаются, как женщины, ничего-то им не нравит-

ся, готовы хныкать по любому поводу, а сами ни на что не способны». Но господа девушку ценили. Она поступила к ним еще девочкой и выросла у них на глазах. Когда сеньора узнала, что с Мигелем у нее серьезно, она сказала:

— Ты уже взрослая, Мерседес, по все-таки мне кажется, что этот, как его...

— Мигель...

— Да. Так мне кажется, что этот Мигель совсем тебе не пара. Конечно, поступай как знаешь. Но я тебя предупреждаю. Мне он не правится: злобный, недалекий, задира и пьяница, я знаю, мне о нем рассказывали.

Несколько месяцев они были женихом и невестой. Мигель заметно переменялся. По субботам уже не напивался, а в воскресенье ходил в кино. По просьбе Мерседес купил темные очки. Он-то знал, что все это зря. Но она настояла, и ему ничего не оставалось делать. «Просто каприз,— думал Мигель,— жепские штучки». Он говорил себе: «Все это напрасно. Еще подумают, что... но я-то знаю, что это не так. Всем известно, что я кривой, и только потому, что кому-то мешает мой выбитый глаз, я буду закрывать его? Ведь меня это насколько не волнует».

Кривой Мигель не задавал себе лишних вопросов. Жил, потому что находил в себе силы терпеть эту жизнь, а если бы бог лишил его мужества, все давно бы кончилось. Однажды у него был разговор с товарищем по работе. Тот, хотя и сильно уставал к концу дня, вечером шел заниматься. Делал он это ради детей, которые уже учились в школе, и ему было стыдно, что он не умеет читать. Жена его с утра до ночи гладила белье, эта работа иссушила ее легкие, и по ночам она кашляла.

— Нельзя сдаваться, Мигель, это главное. Ты же полон обид, а это ни к чему хорошему не приведет, разве что однажды...

— Проповеди оставь при себе. Мне они ни к чему. Я знаю, чего хочу. А тебе следовало бы стать священником. Ты бы тогда...

— Пойми меня. Уж так ты устроен, что никогда не сможешь быть счастливым...

— И ты им будешь вместо меня, да? Только не говори мне о доброте. Если не я их, то они меня. Надо ничего не бояться и поменьше болтать, приятель. Родился я бесправным и ничем никому не обязан. Люди меня уважают, потому что я сильный. Меня боятся. А когда я был маленьким,

все было наоборот. Ты не поверишь, но я смирился со своим несчастьем. Как тебе правится мое прозвище? Тебе оно ничего не говорит, зато мне...

С Хуаной он познакомился в портовой таверне. Она жила с хозяином. Выглядела еще неплохо. Крепкотелая, черноволосая, с продолговатыми глазами. Много раз они разговаривали украдкой, и однажды ночью она ушла к нему. Матери с первого дня Хуана не понравилась.

— Она тебе принесет несчастье, сынок. Такие всегда приносят несчастье, а ты мог бы найти честную женщину, ты ведь еще молодой...

Мигель подумал, что его сестра тоже принесла кому-то несчастье, а жила очень хорошо. Он знал об этом от соседок, так как не видел ее уже много лет... Иногда она приходила повидаться с матерью, но всегда, когда его не было дома. Он догадывался о ее приходе, потому что в тот день обед готовился получше да у матери появлялось новое платье или туфли.

Хуана была очень чистоплотная. Целый день наводила порядок в двух их маленьких комнатах. Купила занавески на окна и распятие в спальню. Мигель не спрашивал, любит ли она его. Она ему нравилась, а остальное его не интересовало. Он ни с кем не говорил о Хуане, и никто его о ней не спрашивал. Теперь он любил рано приходить домой и, усевшись у окна, смотреть своим единственным глазом на играющих детей. Пальцы Хуаны перебирали его волосы, и он чувствовал рядом ее еще молодое тело. Мигель стал более приветлив с людьми. За глаза о нем судачили:

— Кривого-то подменили. Вот что значит женщина — сразу размяк сухарь.

Наверху, на строительных лесах, Кривой Мигель чувствовал себя счастливым. Время уже не тянулось, как раньше: он знал, что кому-то нужен. Сверху все кажется меньше и проще. Он больше не жаловался, плечи не болели от тяжести и канатов. Сильными руками он крепко держал веревку. Не сбиваясь с ритма и не теряя времени на бесполезные разговоры, поднимал блоки, ведра и мешки с цементом. В эти чудесные часы Мигелю казалось, что тело его совсем не знает усталости. Надо было заработать побольше, чтобы хоть немного выбраться из нужды.

Однажды осенним вечером, подходя к дому, он увидел, что Хуана ждет его у окна. На ней был новый костюм. Как всегда, Мигель поцеловал ее. Он почувствовал запах деше-

вого бриллиантина и стал молча снимать пиджак. Была суббота, он принес получку за неделю. Вынув деньги из кармана, Мигель положил их на почной столк. Хуана следила за ним взглядом, потом вдруг поднялась и сказала:

— Я должна идти, Мигель, мне нужно уйти. Если я останусь, то не принесу тебе ничего, кроме огорчений. Я должна уйти сейчас же.

— Но уже поздно, ты могла бы уйти и завтра. А сегодня сходили бы в кино.

— Нет, сегодня, не знаю, решусь ли я на это завтра. Ты мне нравишься и всегда был добр ко мне. Я тебе говорила, что когда-нибудь это случится, помнишь, говорила?

— Помню. Но что ты хочешь? Я к тебе привык и, хотя я всегда жил один, теперь не знаю, что мне делать. Вероятно, со мной ты не стала счастливой?

Хуана тяжело переживала эту сцену. Она знала, что Мигель страдает, но все было кончено. Надо быть твердой. Если она останется здесь на ночь, завтра уже не сможет уйти.

Да и тот, другой, с полудня ожидал ее с друзьями в таверне. Мигель присел на кровать. И почувствовал, что сейчас заплачет. Все-то у него кончается, едва начавшись,— дружба, любовь, мечты. Он вспомнил слова матери: «Она тебе принесет несчастье, сыпок; такие женщины всегда приносят несчастье...»

Он все еще сидел на кровати, когда Хуана окончила укладывать свой картонный чемодан. Мигель провел рукой по ее волосам и снова почувствовал рядом тепло ее тела. Он хотел обнять Хуану, но сдержался. И не знал, что сказать ей. Ни просьба, ни упрек не сорвались с его губ. Он снова был одиноким и отверженным, как в детстве: «Ты никогда не будешь счастлив, Кривой. Ты полон обид».

Всегда один, сколько он помнил себя, но Мигель не задавал себе вопросов, да и не мог бы ответить ни на один из них. Так было с детства, когда нужно было подниматься на рассвете, чтобы помогать отцу, но теперь выносить одиночество было труднее. Он уже пемолод, да и душой стал мягче. Наверное, надо что-то сделать, хоть что-нибудь, а он спокойно сидит на кровати. Мать спала в соседней комнате, он слышал ее затрудненное астмой дыхание.

— Что ты будешь делать, Хуана? Работать как лошадь, плакать от обид да терпеть нужду?

— Я все понимаю, Мигель, но я должна идти. Он меня

ждет, ждет уже несколько часов. Мне так же тяжело, как и тебе, Мигель. Прощай...

В понедельник Кривой Мигель пришел на работу. С сорокаметровой высоты лесов все кажется маленьким. Тело устало, руки потеряли ловкость.

— Осторожнее, Мигель...

— Тебе-то что? Разве я плохо работаю? Так что помолчи. А если тебе страшно, ищи другую работу. Я не боюсь упасть, я моложе тебя и знаю, что о моей матери никому позаботиться, кроме меня...

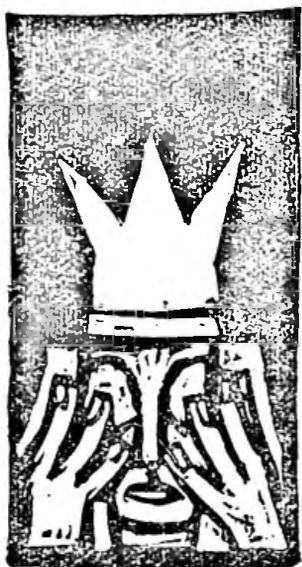
Мигель почувствовал, что щеки у него стали мокрые. Небо было затянуто тучами, но дождь не шел. «Уж не плачу ли я», — подумал он и взглянул на стоявшего рядом товарища.

— Надо кончать работу, дождь начинается, — заметил тот.

Кривой Мигель сжал его руку и сказал, словно издали:

— Дождь пойдет, когда на то будет воля божья, а сейчас это мои слезы. Разве такому человеку, как я, нельзя и поплакать хотя бы раз?

Дождь, смочивший леса, пока еще только примеривался, не решаясь начаться по-настоящему. Дети, шедшие в школу, прыгали и гонялись друг за другом; отсюда они казались совсем крошечными. Когда их рубашки промокли, они спустились с лесов. Было начало осени, понедельник, девять часов утра.



ВРЕМЯ И ПАМЯТЬ

Я оставил сцену, потому что у меня ослабла память и я больше не мог заучивать роли. Однако ослабла она не настолько, чтобы я забыл, как я был королем некой восточной страны, с каким успехом проходили мои выступления в самых знаменитых театрах Испании и Америки, как я встречался с Марией Герреро *, Бенаvente **, Цаккони *** и со многими другими.

Еще я помню, как однажды увидел павлина. Он распутал свой хвост, а когда снова сложил его, перед моим взором возник фантастический парк, весь в серебре, окутанный

* Мария Герреро — знаменитая испанская актриса (1868—1928).

** Хасинто Бенаvente — испанский драматург конца XIX — начала XX века.

*** Эрмете Цаккони — итальянский актер (1854—1948).

музыкой, словно бархатом. По парку гуляли женщины в прозрачных одеждах. Я влетел в этот парк как на крыльях. Впервые в жизни я летал. Парк не имел ничего общего с садом дяди Херонимо в Посуэло. Гигант, облаченный в зеленое шелковое платье, держа на голове огромный сосуд с золотистой водой, приблизился ко мне и все объяснил.

Оказывается, мой отец был королем той волшебной страны. Но ему так и не удалось занять престол, потому что моя мать ни за что па свете не хотела, чтобы он бросил свои мастерские. Так оно и было. Я хорошо помню, как мать говорила:

— Занимайся-ка своей работой, печего тебе вмешиваться в политику.

Но отец перехитрил мою мать и прибыл в свое королевство. Сидя в огромном тронном зале, он ожидал меня, чтобы поздравить с прибытием. Сделав легкий, изящный прыжок, я оказался высоко в воздухе и, словно на крыльях, влетел в зал. Он был весь позолоченный, но стены покрывала серебряная бумага, которая слегка колыхалась от дуновения нежного морского ветерка. В воздухе парили десять, а может быть, двенадцать женщин необычайной красоты. Тропом отцу служила большая, тонкой резьбы кровать. Сидя под ее пологом, король то и дело отпивал вино из большого золотого кувшина.

Друзья короля — постоянные партнеры отца по карточной игре — сидели, каждый с прекрасной дамой, у ног повелителя. В одной из дам я узнал нашу приходящую служанку, в другой — дочь привратницы, в третьей — продавщицу фруктов из лавки напротив. Только сейчас они были так хороши собой, что казались мне едва ли не богинями. Дочь привратницы, которая всегда относилась ко мне пренебрежительно, сейчас смотрела на меня влажными глазами.

Отец повторил то же самое, что я уже узнал от гиганта в парке. Потом он спросил, нравится ли мне здесь, и я ответил, что все мне очень нравится, кроме одного: я не хочу, чтобы дочь привратницы принадлежала другу отца.

Волею короля дочь привратницы стала моею, а для своего друга он выбрал одну из воздушных танцовщиц.

— Сын мой, теперь ты принц, у тебя есть все, чего только можно пожелать: богатство, земли, прекрасные женщины, лошади, слуги.

Придворные проводили меня в покои с огромными, рас-

пахнутыми настежь окнами, выходящими на море. Широкое ложе из морской пены манило лечь и уснуть безмятежным сном.

Я не был любезен с дочерью привратницы, потому что она всегда относилась ко мне пренебрежительно и однажды, когда мы играли в фанты, отказалась поцеловать меня. В другой раз, когда я попытался ущипнуть ее, она сильно стукнула меня ногой по голени. Но вовсе не потому, что мальчики были ей противны: я видел, как она целовалась с Альфредо, нашим подмастерьем. А тот обнимал ее и прижимал к себе без всякого стеснения.

Сейчас я собирался сказать ей, что привел ее сюда вовсе не для того, чтобы целовать насильно. Просто мне показалось, что ей не нравится быть с другим отцом.

Слуги приносили нам торты, пирожные, цыплят, жареную рыбу, орехи в меду. Морские волны врывались в окна, скользили по ковру, но оставляли его сухим. Со стороны моря доносились возгласы: «Да здравствует король!»

Однако я чувствовал себя не в своей тарелке, потому что то и дело входили и выходили слуги и мне казалось, что дочка привратницы вот-вот взглянет на меня пренебрежительно. Как тогда, во время игры в фанты, или когда я хотел ее ущипнуть.

Но вот слуги исчезли.

Дочь привратницы была на несколько лет старше меня и выше ростом.

На ней была голубая, плотно облегающая фигуру туника.

Я взглянул на девушку.

Она ответила мне улыбкой, сверкнув белыми, ровными зубками.

Увы, я, разумеется, спал и видел один из своих бесчисленных снов. Комната уплывала куда-то, сласти исчезли со стола. Передо мной была лишь дочь привратницы.

Я приблизился к ней, она обвила меня обнаженными руками. Я поцеловал ее в губы и почувствовал вкус печеных яблок, которые иногда подавала к столу моя мать.

Но тут я, помню, проснулся.

Сначала я сильно расстроился. Но потом подумал, что сон был не так уж плох, и с тех пор всякий раз, когда оставался один, воскрешал его в памяти. Иногда мое воображение настолько разыгрывалось, что мне начинало казаться, будто дочь привратницы и впрямь в моих объятиях и я наяву целую ее пахнущие печеными яблоками губы.

Я помнил этот сон не месяц и не два, помнил даже когда стал взрослым и работал в театре.

Тогда я славился своей памятью. Мне достаточно было один раз прорепетировать роль, чтобы запомнить ее навсегда и уверенно выходить на сцену.

Конечно, настоящие актеры так не работают. Это стиль новичков и бродячих комедиантов. Благодарение богу, я очень скоро прошел через это, и меня стали приглашать лучшие театральные труппы. Сам Эчегарай * заметил меня. Однажды он сказал, что, если я создам когда-нибудь труппу, он напишет для меня пьесу.

Несколько лет я был ведущим испанским актером, и однажды какой-то импресарио из Рима заключил со мной контракт на несколько спектаклей. С огромным успехом прошли тогда в Риме «Саламейский алькальд» и «Жизнь есть сон» ** с моим участием. Местные журналисты наградили меня дипломом, я был принят министром просвещения. Когда же я вернулся в Испанию, все газеты писали только обо мне. Друзья устроили в мою честь прием в гостинице «Националь», куда не преминули явиться даже мои недоброжелатели. Всего в мою честь было дано тридцать три банкета. А может, сорок три, точно не помню. Раньше помнил, а сейчас память у меня никуда не годится.

На судах и поездах, специально отведенных для моей труппы, я с триумфом объездил все страны Южной Америки.

Уже в пятьдесят лет я показал в Париже «Дона Хуана Тенорио» и «Низину» ***.

Я одевался по самой последней моде. У меня были квартиры в Мадриде и Барселоне, особняки в горах и в Фуэнтеррабиа. Позже я приобрел ферму в Мериде.

Свой короткий отпуск я проводил обычно в этих местах, и всегда в обществе очаровательных женщин.

Мне усердно воздавали хвалу. Если собрать все написанное обо мне, я думаю, получилось бы несколько книг. И в довершение всего семь лет назад правительство отметило мой труд медалью.

Когда дела мои пошли из рук вон плохо, вместо того что-

* Мигель Эчегарай (1848—1927) — испанский драматург, автор многочисленных бытовых комедий.

** Пьесы Кальдерона де ла Барки, знаменитого испанского драматурга (1600—1681).

*** Пьесы Соррильи-и-Морали, испанского поэта и драматурга (1817—1893).

бы подписывать относительно выгодные контракты, я продал свои особняки и подготовил новый спектакль. С ним я отправился в Америку, но потерпел там полный провал. Я так и не понял, почему это произошло, да и сейчас не понимаю. Другая публика, другие критики. А может, я стал другим? До сих пор не могу в этом разобраться.

Вернувшись в Испанию, я создал новую труппу, но неудачи следовали одна за другой. Молодые актеры играют хуже меня, зато зрители теперь менее разборчивы, к тому же в искусстве появились новые веяния.

Я почти задаром продал свою ферму в Мериде и нанялся актером в чужую труппу.

В то время невероятным мне казалось не то, как я стал жить, а то, как я жил раньше. Неужели у меня было столько денег, столько побед и столько любовных приключений?

Нашелся человек, одолживший мне денег, чтобы я в последний раз попытал счастья. И опять последовал провал.

В течение трех или четырех лет я занимался в разные труппы на характерные роли. Но скоро пошла молва, что я теряю память. А дело было в том, что мне приходилось учить роли, которых я прежде не играл, и отказываться от старых. Иногда я ошибался и вместо реплики дона Лопе произносил реплику Педро Креспо.

Ко мне вернулась жена, но спустя несколько месяцев умерла. Я распродал большую часть своего театрального гардероба и оставившиеся декорации. Похороны были вполне приличные. Тогда я думал, что мои будут куда торжественнее. За гробом пойдет целая процессия, мои старые друзья и молодежь, уже не видевшая меня на сцене. Возможно, в день моей смерти даже приспустят флаги.

А может, ничего подобного не будет, просто я все на свете перепутал, а на самом деле никогда не купался в лучах славы. Откровенно говоря, я не пользовался особым уважением среди коллег. Прежде они попрекали меня моими слишком высокими заработками, а потом злорадствовали, когда я стал получать гроши.

Я пытался бунтовать, но это ни к чему не привело. Тогда я решил быть твердым и не работать до тех пор, пока не получу выгодного контракта. Я не выходил па сцену больше года, а когда поступил в одну провинциальную труппу, пошел слух, что у меня не все дома. Я ничего не помнил и говорил очень тихо. Я знал, что говорю невнятно, но про себя думал: «Я первоклассный актер, а этой мелочи никто не за-

мечает». Но оказалось, замечали, импресарио возмутился и меня уволили.

Потом уже никто больше не давал мне работы. Так прошли два самых длинных года в моей жизни. Первый из них я жил на деньги, которые мне удавалось одолжить. Потом просил у кого-нибудь пальто и костюм и отправлялся в кафе в надежде заключить контракт хотя бы на один спектакль в Гвадалахаре или Аранхуэсе, чтобы быть сытым на следующий день.

Я изо всех сил старался убедить своих собеседников, что мне аплодировали в Риме, Париже и Буэнос-Айресе, что меня наградили медалью, что со мной были дружны все тогдашние знаменитости. Напрасно. Молодые люди, завсегда в кафе, не желали меня слушать, их интересовало одно: где бы раздобыть денег. Старики же вроде меня лишь рассказывали о своих триумфах. Почти все они были моими коллегами, но настоящей славы никто из них не изведал. Я подумал, что в этом кафе одинаково достоверно звучат мои воспоминания и их вымыслы, и сомнение вновь закралось в мою душу. Неужели я пользовался успехом? Ведь теперь мне дарят одежду, платят за мою чашку кофе, из сострадания предоставляют жилье. Некоторым из этих стариков, наверное, жилось куда легче. Не узнай я славы, меня ожидала бы судьба этих несчастных, болтающих о давно минувших временах, которые теперь никого не интересуют.

Один молодой журналист решил, что моя жизнь могла бы стать прекрасной темой для его статьи. Я поделился с ним воспоминаниями о Герреро, Метерлинке, Цакконни... Он написал о несправедливости, жертвой которой я стал. Ему ответил какой-то писатель. В течение недели только и было разговоров, что обо мне, и я носил в кафе газетные вырезки. Все начиналось сначала. Оказывается, я действительно был знаменитым.

В мою честь дали благотворительный спектакль с участием нескольких моих друзей и каких-то странных юнцов, которых я никогда прежде не видел. После концерта я рыдал в объятиях старого дона Хасинто Бенаvente. Публика стоя аплодировала нам. У знаменитого писателя дрожали руки. А я, увидев, как в зале зажигаются огни и все поднимаются со своих мест, а некоторые, продолжая аплодировать, приближаются к сцене, потерял сознание.

На деньги, вырученные от спектакля, я расплатился с некоторыми долгами, купил себе два костюма, пальто и четыре

для ходил сытый. Потом меня поместили в этот приют для престарелых актеров. Нас здесь семеро, и сейчас все мы равны, хотя раньше кто-то из нас был больше знаменит, а кто-то меньше. Все мы одинаково бедны, сморщенные. Всем нам дают одну и ту же чесночную похлебку, чечевицу и лапшу.

И хотя мы не могли бы теперь заучивать роли, нам вполне хватает памяти, чтобы после каждой партии в домино воскрешать прошлое. Воспоминания тускнеют с каждым днем. По крайней мере мои. С каждым днем я все больше похожу на этих стариков-неудачников и с каждым днем все больше убеждаюсь, что все мои встречи со знаменитыми людьми, мое богатство, женщины, мой триумф на сцене всего лишь плод моего воображения. А действительность — это партия в домино, приютская комната в теплых лучах солнца, чесночная похлебка да мои рыбки, гоняющиеся друг за другом.

С одинаковым безразличием вспоминаю я о почестях, которые мне воздавали когда-то, о пурпурной кардинальской мантии, в которую я облачался на сцене, или о том давнем сне, в котором я был принцем некой восточной страны. Не все ли равно, о чем вспоминать, если приютская комната да несколько лет жизни — это все, что мне осталось. Откинувшись на подушку, я думаю о партии в домино, либо о том, как впервые меня поздравила донья Мария, либо о поцелуе, пахнущем печеными яблоками.

Сквозь занавеску пробиваются ласковые лучи февральского солнца, освещая стены моей комнаты и грубую сосновую мебель. Здесь же стоит кресло-качалка, где я отдыхаю во время сиесты. Когда я начинаю дремать, я особенно ясно понимаю, что никогда не был знаменитостью, что там, в городе, как и в тысячах других городов, люди работают, любят, страдают, смеются, думают, но никогда не говорят обо мне.

Сиеста кончается в четыре часа, пора начинать партию в домино. Но как раз сегодня произошел неприятный случай, нарушивший весь распорядок дня. Инохоса рассердился из-за вчерашней партии и теперь не хочет играть. Нужно пойти за Родригесом и уговорить его быть четвертым.

Родригес наотрез отказывается. Он не любит домино, ему больше нравится читать. Особенно после того, как его внук, став артистом, прислал ему две книги, купленные на первое жалованье. Тогда мне поручают уговорить Инохосу. Это трудная миссия, потому что Инохоса страшно упрям. Он угощает меня глотком апельсинового напитка, который держит в своем шкафу, и в конце концов я его уламываю. Вместе мы

спускаемся в зал. Нас встречает всеобщее ликование. Вчетвером мы придвигаем стол к окну, поближе к солнышку.

Никто в мире так и не узнает, что мы сидим здесь и играем в домино. Ни Герреро, которая давным-давно умерла, ни Бенавенте, ни Цакони... Ну что за напасть, вечно мне попадается эта шестерка-дубль! Был бы я королем восточной страны, упразднил бы ее вовсе. А ведь это хорошо, когда память слабеет, хотя ролей уже и не выучишь. Зато жизнь постепенно сводится к партии в домино. И тебе почти никогда не бывает грустно, потому что ты почти никогда не вспоминаешь о более счастливых днях в твоей жизни.

Инохоса ставит три-шесть, и я могу наконец избавиться от своего злополучного дубля. Мы перебрасываемся несколькими словами, партия продолжается.



ВСЛЕД ЗА МЕРТВЕЦАМИ, ИЛИ ЗАМУРОВАННЫЙ

I

Было ровно пять минут первого, когда солнце начало пробиваться сквозь высокие окна. Уголком глаза Лукас сразу же увидел его и, не отрываясь, стал следить за тем, как солнечные лучи заливают витраж. В первую неделю этого месяца, если дни стояли погожие, солнце вело себя по-особому. Сначала его косые лучи лишь слегка касались витража, но не проходили насквозь, а словно растворялись в нем. И тогда на стекле во всем своем целомудрии и прелести являлись древние узоры из пыли и крохотные цветы из грязи. «Психоанализ стекла», — думал Лукас. Громадное окно находилось высоко над столами. Вокруг все дрожало от стука пишущих машинок, отовсюду доносились гнусавые голоса начальников отделов, которые разглагольствовали о бланках и служебных

документах. А Лукас тем временем присутствовал при свидании своей мысли с таинствами витража.

В десять минут первого он поднял голову и посмотрел на окно. Загадочный лик стекла постепенно исчезал. Открылась полоса синего неба. Яркое солнце освещало здания на противоположной стороне улицы. Кусочек мира глядел в прямоугольник окна, на крашенных железных крышах, металлических антеннах и медных проводах ослепительно блестя солнечные лучи.

— Вас вызывает к себе управляющий.

Часы на руке показывали около пятнадцати минут первого. Прелестные рисунки из грязи и пыли почти совсем исчезли, теперь узкий луч света, подобно мечу, пронзив стекло насквозь, лежал ярким бликом на дремлющем столе Лукаса. «А меня, как на грех, вызывают. Не пойду и все тут!»

— Хорошо, сейчас, — ответил он сухим чиновничьим тоном.

Лукас посмотрел вокруг. Все тот же мертвенный свет флюоресцентных ламп. Монотонный стук. Ротаторы, скоросшивательные, счетные машины, пишущие машинки, люди-машины, чтобы отвечать, информировать и дезинформировать, люди-машины, чтобы лизоблюдничать-преуспевать, чтобы преуспевать-тупеть-командовать, люди-машины, чтобы не думать, люди-почти-вещи, люди-машины-для-приветствия, люди-«чего изволите?»-«разрешите?», люди-справочники, люди-промокашки, люди-конторские-бланки, люди-должностно-оклады... Людей не было, была шестерня гигантского вращающегося механизма. Освещенная теми же лампами дневного света. Лукас слышал от кого-то, что в воздухе рассеяны крохотные частички стекла. Отражаясь в них, солнечный свет становится еще ярче, ослепительней.

— Вас настоятельно просят сейчас же явиться в кабинет.

— Я же сказал: иду!

Тем временем одинокий луч света скользил все дальше и дальше, играя то на одном, то на другом предмете, находившемся на столе помер тридцать пять, в отделе помер три, что расположен на одном из многих этажей одного из многочисленных зданий гигантского вращающегося механизма. Солнечный луч ухитрился даже нырнуть на несколько секунд в чернильницу. В первую неделю этого месяца всякий раз, когда часы на руке Лукаса показывали без двадцати час, луч исчезал совсем, хотя невидимые частички стекла, должно быть, еще продолжали светиться в воздухе, впитав в себя

свет солнца. Несколькими днями раньше луч встречал и несколькими днями позже будет встречать на своем пути преграду, поэтому теперь, словно скряга, он прятал большую часть своего тепла. В остальное время года, пока тянутся долгие дни и долгие недели, солнце вообще не приходит на стол номер тридцать пять. Возможно, виной тому расположение домов, построенных каменщиками с благословения светил от архитектуры.

Без девятнадцати минут час Лукас поднялся со стула и направился в кабинет управляющего.

— В течение получаса вас вызывали дважды.

— Я был занят сложнейшими бюджетными операциями за тысяча девятьсот пятьдесят...

— Что такое?

— Я к вашим услугам, сеньор управляющий.

С юношеских лет сеньор управляющий успел пересидеть почти за каждым столом, в каждом кабинете на нескольких этажах.

— Внимательно прочтите этот приказ.

У себя дома сеньор управляющий хранил в ящике письменного стола тетрадь в клетку, откуда регулярно вычеркивал имена сотрудников, умерших, ушедших на пенсию или уволенных, начиная с тысяча девятьсот двадцать первого года, февраля месяца, одиннадцатого числа.

— Этот приказ касается меня?

— Конечно. Читайте, читайте.

Сеньор управляющий испытывал удовольствие всякий раз, когда видел, как продвигается молодежь. Вся его жизнь была занесена в тетрадь, втиснута в крохотные клеточки, заранее предусмотрена, размечена синим, красным, зеленым карандашами, условно обозначавшими артериосклероз и другие несчастья его служащих. Пометки разноцветной шариковой ручкой отразили честолюбивые устремления сеньора управляющего, его тактику выжиданий, новогодний туррон * и пока еще не осознанное приближение к могиле.

— Я не согласен с этим приказом.

Дряблое лицо старика выразило крайнее удивление. Такого ему еще не приходилось слышать.

— Простите, но как это вы не согласны? Вы в своем уме?

— Видите ли, стол номер тридцать четыре в отделе ре-

* Сласти, приготовленные из меда, жареного миндаля и орехов.

гистрации счетов и приложений стоит у северной стены без окон.

Управляющий все еще пребывал в состоянии полнейшего недоумения. Его старческое лицо давно утратило всякие краски, из носа торчали редкие волоски.

— Стол номер тридцать пять в третьем отделе, который занимает ваш покорный слуга, единственный, куда временами заглядывает солнце. Соседние здания расположены на редкость удачно, сеньор управляющий.

— Что? Что такое вы говорите?

— Я не согласен на повышение.

— Послушайте, но ведь это лишних пятнадцать дуро в месяц, это ваша карьера, ваше будущее!

Лоб человека-реестра был испачкан фиолетовыми чернилами, в глазах застыло недоумение, а может, они выражали скудость ума, о которой подобные люди и не подозревают, особенно если у них в столе хранится тетрадь с замусоленными страницами, единственная в своем роде, Тетрадь с большой буквы. Управляющий радовался от души, когда молодые люди продвигались по службе, и сейчас вконец расстроился. Его руки дрожали, он столкнулся с чем-то, чего был не в силах постичь.

— Нет, я не могу согласиться на повышение,— повторил Лукас.— Не могу.

Он шел по коридору, по обеим стенам которого были развешаны яркие графики и схемы в рамках под стеклом. Проходя мимо второй таблицы на левой стене, он легонько стукнул по стеклу шариковой ручкой. Лукас ощущал, как ликует каждая клеточка его молодого тела, это был своеобразный гимн будущему и сведение счетов с настоящим. Стекло от удара ручки издало мелодичный звон. В упоении Лукас снова постучал по стеклу, на этот раз пятой таблицы справа. На ней была изображена кривая линия, которая поднималась все выше и выше и наконец исчезала в верхнем углу. Он всмотрелся в свое лицо, печетко отражавшееся на фоне этой липки. «Я не такой, как все»,— подумал Лукас и снова почти с нежностью забарабанил по стеклу. Какой-то холеный тип, шедший по коридору с папками под мышкой, удивленно взглянул на Лукаса.

Вернувшись к себе, Лукас не знал, как справиться с чувством внутренней свободы, так неожиданно захлестнувшим его сегодня утром. Он сел за стол, взял кусок желтой бумаги и принялся рисовать смешных человечков. Из-под карандаша

возникла цепочка словно отштампованных уродцев, над ними кусочек солнца, потом фигурка управляющего и человечка — «пе такого, как все»...

Трещали пишущие машинки.

II

Лукас провел рукой по лбу и снова взглянул на человечков. Он чувствовал, как лицо у него начинает гореть. Подняв глаза к потолку, он углубился в свои мысли и так, неподвижно, просидел несколько минут. Потом свернул в трубочку бумагу с человечками и зажег спичку. В хрустальной пепельнице остался только завиток пепла. Лукас отодвинул пепельницу от себя. Но человечки не давали ему покоя, в его воображении они продолжали танцевать, строить ему рожницы из своего графического мирка. К нему подошел служащий, чтобы уточнить какую-то сводную таблицу.

— Никак вы не можете понять, что статистика — это основа всех основ, — отчитал его Лукас.

«Никогда в жизни я больше не прикаснусь к своим бумагам», — пообещал он самому себе и повернулся с откровенно недовольной миной к служащему.

— Когда же наконец вы научитесь аккуратно вести статистический учет?

Служащий сказал, что он действительно плохо вел учет, что дон Лукас тысячу раз прав и что теперь он будет ежедневно проверять по всем правилам данные, как велит дон Лукас. И тут дон Лукас почувствовал, как нарисованный человечек, «не такой, как все», словно иглой уколол его полусонный мозг.

— Можете идти, я позову вас позже.

Подняв глаза к потолку, он опять углубился в свои мысли. «Там, в конце коридора, украшенного графиками в рамках, стояла зеленая плевательница», — неожиданно вспомнил Лукас. И сразу у него перед глазами вырос лохотип, который шел ему навстречу с папками в руках. «Я назвал его человеком-справочником. А ведь он принадлежит к серии людей, вышедших из игры. Справочник... Кто-то мне говорил, что он не спит по ночам, мастерит кораблики из древесной коры. — Лукас снова провел рукой по лбу. — Однако таких людей раз-два и обчелся, — признал он. — Мало у кого есть подобные увлечения. Все мы манерны и неестественны и больше всего напоминаем шахматные фигуры, графические

схемы. Мы погрёбаем себя заживо». Он стукнул кулаком по столу, завиток пепла — напоминание о будущем и о сведении счетов с настоящим — разлетелся по краям пепельницы.

Лукас подошел к стеклянной перегородке кабинета и некоторое время смотрел оттуда на свой стол номер тридцать пять. Потом прикрыл глаза рукой. За его столом сидел, склонившись над бумагами, молодой человек заурядной внешности. «Должно быть, весь в прыщах», — подумал Лукас. За окном серело небо. Лукас ждал чего-то от своего стола. Но безуспешно. Потом он заслонил глаза и другой рукой, словно пытался хоть что-то понять в этом прыщавом молодом человеке, сидящим за столом номер тридцать пять. Но и это ничего не дало, он с досадой повернулся спиной к столу и воскликнул:

— Ну и осел же я!

Снова засунув подальше в ящик синюю папку с аккурратно выведенными на ней буквами «Лукас Эстебанес, личные документы», он принялся усердно разбирать лежащие на столе бумаги. Сначала углубился в проверку какого-то счета, потом в чтение циркуляра. В течение получаса он внимательно проверял черновик статистических данных. Прошел еще час, на столе теперь лежала другая бумага. Потом еще час. Лукас занялся таблицей. Потом он взял список служащих. «Сколько же мне предстоит подниматься по лестнице этих строчек, чтобы добраться до кресла заместителя управляющего? — мысленно прикинул он. — Если принять во внимание, что...» Он вдруг вспомнил о похоронах, на которых ему недавно пришлось присутствовать. «Ну и смеху было! Движение вдруг перекрыли, а когда снова дали зеленый свет, мы на такси бросились вдогонку за покойником...»

И тут дон Лукас вскочил, словно в стуле оказался гвоздь.

— Еще есть время? — прошептал он. — Может, еще есть время, чтобы...

Но вопрос этот, едва коснувшись его сознания, угас, как слабое дуновение ветра. По рыхлому, заурядному лицу дон Лукуса можно было догадаться, что он не знает, для чего у него еще есть время, а для чего уже нет.

И словно зверь, посаженный в клетку, он заметался по кабинету.



ОДИНОЧЕСТВО

Иногда она рассказывала об этом. Первое время плакала. Потом нет. Кругом горе, несправедливость, так стоит ли ныть и жаловаться?

— Такова жизнь.

Позади молодость, надежды, мечты. А сейчас — нищета, болезни, голод и холод, боль души, унижение и несправедливость. Теперь она уже не плачет. Остались безразличие и ожесточение. Все остальное ушло. Ничего не поделаешь, такова жизнь.

Сначала чернорабочая, служанка, потом воровка и наконец проститутка. А дальше? Голодное и больное существо. Разврат, болезни, подхваченные под открытым небом около солдатских казарм. Потом очереди за остатками еды, жизнь на подаяния, скитание по помойкам. Вместо дома нора, вырытая у подножия горы на окраине города.

Бывало, мать говорит ей:

— Тело — твоё богатство.

— Да.

А старухи подзадоривают:

— Не будь дурой.

— Нет. Не бывать этому.

— Тело — твоё...

— Он тебе купит новое платье.

— Он тебе купит конфет и всего, что ты захочешь.

— У тебя будет много-много денег. Твоя бедная мать...

— Ты должна быть послушной, ласковой, слышишь?

Тринадцать лет, за спиной тяжелые косы.

— Он тебя видел однажды. Ты ему очень нравишься.

— Тело — твоё богатство...

— Он очень добрый.

— Он настоящий рыцарь.

— Нет, нет.

— Он богат.

За спиной тяжелые косы. Платье в заплатках.

Мать пыталась хоть что-нибудь вспомнить, из последних сил напрягая память.

— Нет. Ничего не помню. Все забыла. Дайте мне вина.

Улица. Полутемное кафе.

— Принесите нам что-нибудь из оставшихся блюд и пару бутербродов с ветчиной. Может, хочешь с чем-нибудь другим?

— Нет, нет.

— И красного вина. Хочешь еще чего-нибудь?

— Нет, нет.

— За заплатит сеньор. А ты ведь себя как полагаешься, и все будет в порядке. Он человек добрый, и ты ему очень нравишься. Постарайся быть с ним поласковой.

Новое платье, конфеты. Настоящая куколка... и опять мужчина.

— Как поживаешь, малышка?

— Хорошо.

— Нужно говорить: «Слава богу, сеньор, хорошо.

А как вы?»

— Послушайте, хватит вам. А ты садись, садись.

— Ну, как она? Ничего?

— Мила.

— Она у нас добрая, ласковая, правда?

— Да, сеньор.

— Как тебя зовут?

— Исабель.

— Нужно отвечать: «Исабель, к вашим услугам, сеньор».

— Хочешь чего-нибудь выпить?

— Нет, сеньор.

Он взял ее за подбородок. Она почувствовала прикосновение его ноги. Вздрыгнула от страха.

— Не бойся, я для тебя ничего не пожалею.

— Вот видишь, дурочка. Разве я тебе не говорила? Будь умницей.

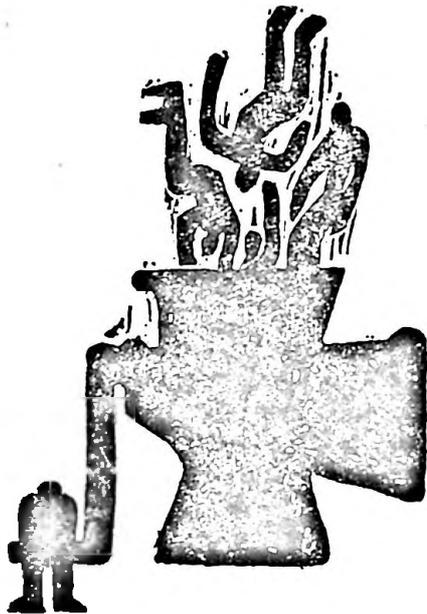
Женщина посмотрела на них и бесстыдно засмеялась.

— Послушайте, вы хоть и в годах, а туда же...

— Ну, голубчик, чем старше, тем больше смаку...

— Ступайте, ступайте, вот навязалась, право.

Тринадцать лет, за спиной тяжелые косы. Плохо вымытые уши и шея, грязные руки.



МАШИНА

Парень улыбнулся. Это был совсем ребенок с очень светлыми глазами.

— Споем,— сказал он.

Раздались звуки патриотического гимна. Он тоже пел и радостно и гордо смотрел на своих друзей, улыбался толпе. Гремели военные оркестры, слышались восторженные возгласы и овации. Сияло теплое, ласковое солнце. Реяли знамена. Он шагал непринужденно, высоко подняв голову. Наверное, она видит его сейчас и довольна им. Он отыскал ее в толпе, заполнившей улицу. Она робко махала ему рукой. В ее грустных глазах блестели слезы. Она открыла личико сына, чтобы и он увидел отца. Солдат горделиво улыбнулся.

— Прощай, прощай!

Неистово гремела барабанная дробь, воздух дрожал от рокота труб. Аплодисменты, солдатская песня и приветственные возгласы слились в оглушительную какофонию. Ветер

с шумом рвал полотнища знамен. Раскачивались штандарты. Шли солдаты, громко смеясь, возбужденно разговаривая и распевая свои песни. Шли, лихо чеканя шаг. Оркестры постепенно утихли. Они остались позади вместе с овациями и приветственными возгласами. Солдаты перестали петь. Воцарилось тяжелое молчание, молчание утомленных, охваченных сомнением людей.

— Что носы повесили? А ну-ка, запевай!

Они пели до хрипоты, шагая по нескончаемой, опустошенной, без единого деревца равнине. Они пели, пытались заглушить тоску, пытались отогнать назойливые мысли и предчувствия.

Они шли много часов подряд, теперь уже без песен и без разговоров. Солдаты устали и выбились из сил. Солнце медленно катилось по прозрачному небосводу, словно капля масла по стеклу. Начинало темнеть, горизонт окрасился кровавыми сполохами. Солнце стало гранатовым. Фиолетовый зрачок этого гигантского глаза гневно взирал на них сквозь мрак и, казалось, хотел испепелить их.

Сначала донесся оглушительный грохот. И он увидел внезапно выросшие на фоне зловещего неба черные силуэты домов, высокие трубы и громадные подъемные краны.

Колонна солдат молча шла вперед. Безмолвная масса согнувшихся от усталости людей. Он сжал руку шагавшему рядом пареньку.

— Нам сюда?

— Ох, братишка! — прошептал тот в ужасе.

Ночь наступила внезапно. Жуткая темнота опустилась на них тяжелым камнем. Словно заблудшие, солдаты шли и шли вперед сквозь кромешную тьму. Вот они вышли на узкую улицу. Лишь один подъезд был освещен. Из него в ночной мрак вырывался поток ослепительного света. Солдат заглянул через порог и увидел высокого человека с темным лицом, который хохотал, охваченный каким-то диким весельем. В правой руке он держал серп. У его ног стоял на коленях, дрожа от холода и страха, обнаженный юноша. Высокий схватил юношу за волосы и грубо запрокинул ему голову. В глазах юноши застыло отчаяние и горестная мольба. Человек засмеялся. Взмахнул серпом и опустил его с быстротою молнии. Послышался резкий свист, и серп вонзился в правый глаз жертвы. Слабый предсмертный хрип вырвался из горла юноши. В наступившей тишине хлестала кровь. Человек потянул за серп, застрявший в черепе, потом с силой

рванул его несколько раз. Наконец сталь рассекла нежный лоб.

— Ни к черту не годятся эти серпы! — воскликнул человек и оглушительно захохотал.

Двое мужчин в грязных, засаленных комбинезонах молча ввели другого раздетого догола паренька. Этот был совсем еще ребенок с очень светлыми глазами. С душераздирающей покорностью он опустился на колени.

Солдат в ужасе смотрел на него. Потом оглянулся — вокруг не было ни души.

— Нет! — закричал он. — Нет!

Высокий перестал хохотать. Он повернул к нему свое лицо — темное пятно без единой черты. Солдат смотрел на него, похолодев от страха. Потом перевел взгляд на тех двоих. Их лица исказились жесткой ухмылкой. Паренек робко взглянул на солдата.

— Братишка! — взмолился он.

Потом тихо опустил голову и заплакал.

Высокий схватил его за волосы.

— Нет! Пощадите его! Пощадите!

К солдату подошли несколько мужчин в грязных комбинезонах и ударом в лицо заставили замолчать. Затем они повалили солдата на землю, стали пинать в живот и спину. Он почувствовал, что его тащат куда-то в темноту. Ужас охватил солдата. «Что теперь со мной будет?» Мужчины волокли его за ноги, голова глухо ударялась о булыжник. Корчась от боли, он кричал.

— Пощадите! Пощадите!

Тишину прорезал шум работающих па предельной скорости машин. Сквозь этот грохот солдат различил голос высокого:

— Ты тоже должен убивать! Беспощадно! Беспощадно!

А он кричал:

— Нет! Нет! Не хочу! Нет!

Его заставили подвяться. Потом погнали, подталкивая штыками. Ледяная сталь с хрустом вонзалась в тело, которое сковывала нестерпимая боль.

Он вошел в громадное помещение с закопченными стенами. Оглушительно визжали гигантские острозубые пилы. Хрипели, сотрясая воздух, транспортеры.

— Сто тысяч, — сказал высокий с самодовольным безразличием. Послышался его свистящий хохот. — Сто тысяч убитых за одну победу!

Он засмеялся еще громче, леденящим, презрительным хохотом.

У здания сгрудилась толпа людей. Их лица выражали тоску, покорность, в глазах застыл ужас. Все они были раздеты догола и прикрывались руками, дрожа от холода и страха.

Внутри громадного помещения у дверей толпилась другая группа тоже раздетых догола людей. Они неуверенно держали в трясущихся руках стальные ножи. Безоружные покорно и тупо, словно стадо овец, входили в здание. Люди с ножами нерешительно смотрели на них.

Высокий кричал:

— Чего ждете? Убивайте их! Убивайте!

Вперед вышел тщедушный человечек с подлой ухмылкой на бледном лице. Подобострастно улыбнувшись, он вонзил нож в обнаженную спину жертвы. Фонтаном брызнула кровь, раненый вскрикнул, зашатался, как пьяный, и рухнул ничком на землю.

Лицо убийцы исказила отвратительная улыбка. Некоторые возле него тоже улыбались.

Высокий разразился хохотом:

— Видите, как это просто! Бейте же! Бейте!

Палачи зашевелились, стали глухо перешептываться дрожащими голосами. С мрачным самодовольством человечек подталкивал их. Он снова вышел вперед и вонзил нож в горло следующей жертвы. Издав отчаянный крик, несчастный рухнул на землю. Кровь пенистым потоком лилась из горла, казалось, она затопит весь зал. Запах крови возбуждал убийц, их ноздри раздувались. Они то сбивались в кучу, то отступали в нерешительности. Вдруг воздух огласился стенаниями и воплями. Это ревела сотысячная толпа осужденных на смерть людей. Палачи хохотали как безумные, набрасывались на свои жертвы, безжалостно вонзая в них ножи. Люди падали, корчась в предсмертной агонии, слышались душераздирающие вопли.

Высокий снова захохотал.

— Убивайте их! Убивайте!

К бойне уже подходили мужчины в комбинезонах. Ступая по лужам крови, они тащили тела раненых. Прямо к гигантским пилам. Умиравшие корчились в муках, молили о пощаде. А мужчины в комбинезонах безжалостно подталкивали их к адским машинам. Пилы отрезали у людей конеч-

пости, головы, кромсали тела, разбрызгивая кровь, отбрасывая куски мяса.

— Еще людей, еще! Убивайте их!

Прибывали новые пополнения. Двести тысяч, пятьсот, миллион человек. Темное море голов волновалось, исчезая где-то вдаль.

— Давайте еще! Еще! Еще! Убивайте их! Убивайте!

Лавина людей устремлялась па фабрику смерти, и все они падали под ударами стали. Над головами проносился оглушительный шквал воплей, рыданий, проклятий.

А солдат все молил:

— Нет! Нет! Не хочу!

Высокий кричал:

— Нужно убивать! Беспощадно! Беспощадно!

Стальные когти подъемного крана вонзились солдату ниже живота. Он скорчился от боли, закричал. Стальная лапа взметнула его высоко над землей. Оттуда он увидел множество темных здавий. Из труб валил дым, языки пламени прорезали темноту фиолетовыми молниями. Мужчины в комбинезонах сновали взад-вперед, словно муравьи. Они сжигали, разрезали, кромсали человеческие тела. Чудовищным смерчем устремлялись вверх громадные языки пламени, грохот машин, клокотание гигантских котлов, предсмертные хрипы людей.

Подъемный кран опустил солдата в громадный зал, облицованный белым блестящим кафелем. Горел ослепительно яркий, режущий глаза свет. Весь зал был уставлен прилавками, у которых стояли длинные ряды женщин, мужчин и детей с сумками в руках, покорно ожидавших своей очереди. Прилавки были узкими, и за каждым из них стояло по мяснику. Мясники посмеивались, перебрасываясь грубыми, непристойными шутками. С крюков свисали освежаванные человеческие трупы землистого цвета, с разможеванными головами и остекленевшими глазами. Мясники отрезали от этих жутких туш куски, клали их на весы, издеваясь над своими безмолвными покупателями, принимали от них деньги, с шумом вращали ручки счетных машин.

Он зашатался, чуть не упав от ужаса в обморок.

— Нужно убивать! Беспощадно! Беспощадно!

— Нет! Нет! Я не хочу! Нет!

Как безумный, он с криком бросился бежать. Но снова оказался в когтях подъемного крана. Стальная лапа прижала его лицом к краю трубы, которая с оглушительным ревом

всасывала в себя бурлящий поток. Ему казалось, что стальные когти вдавили его в землю, они разрывали легкие, стискивали спину так, что было слышно, как трещат ребра. Поток уносил за собой стариков, женщин и детей — гниющую массу человеческих тел, высохших от голода, покрытых ожогами, ранами, изъеденных зловонными язвами. Одни протягивали к нему руки в отчаянии и мольбе, другие проносились безмолвно, лишь бросая на него полные ужаса и ненависти взгляды. Те, которых еще не успело поглотить жерло трубы, яростно боролись, кусая и ударяя друг друга в безумной надежде выбраться из адского водоворота.

Увидев это, он закричал, словно в предсмертной агонии, пытаясь из последних сил перевернуться на спину. Но стальная лапа еще сильнее прижала его к земле, и он не мог пошевелиться от нечеловеческой боли.

Но вот он глазами отыскал их. Она держала па руках сына. У обоих были изуродованные, опухшие, серые от страдания лица.

Она бросила на него полный кротости и беспредельной тоски взгляд и исчезла в водовороте. Теперь он видел только ее руки, судорожно сжимавшие тельце ребенка над водой.

Он закричал:

— Спасите их! Их еще можно спасти!

Но рядом вырос высокий. Он захохотал и ударом тяжелого гаечного ключа размозжил мальчику голову. Слово оранжевый гранат, по воде поплыл мозг ребенка.

— Ты тоже должен убивать! Беспощадно! Беспощадно!

И солдат, рыдая, повторял:

— Беспощадно! Беспощадно!



ДАЛЕКО ОТ МАДРИДА

Внезапно горизонт озарился. И ветер — точно неподалеку пламя потрескивало — донес отдаленное громыханье, и громыханье это — так повторялось из ночи в ночь — стало медленно расползаться вширь, обозначая линию фронта.

Подняв голову с подушки, мальчик позвал:

— Мам, слышишь?

— Спи, — прошелестел в соседней комнате голос матери.

— Ты ничего не слышишь?

— Тише, брата разбудишь.

— Можно к тебе?

— Нет.

— Тогда ты иди сюда.

— Не бойся, лежи тихо и, сам увидишь, скоро уснешь.

Мальчик честно зажмурил глаза, но легче не сделалось: гул вдали страшил его. Брату что, спит себе, как ни в чем не бывало, а ты лежи тут под раскрытым окном...

Война их застигла на даче, в разгар лета. Липня фронта перерезала железную дорогу, отец остался по ту сторону, а они трое — мать и двое мальчишек — все отступали и отступали, уходя от войны, подчиняясь приказу об эвакуации.

Выехали они на автобусе рано поутру вместе с последними дачниками. Чередой мелькали дни, мелькали, как станции, как набитые солдатами поезда. Каждое утро новый начальник досматривал автобус — кто едет. Катились мимо деревни, притихшие, опустелые. Ко всему безучастные старики хмуро смотрели им вслед; позабытые, нелюдимые, сидели на корточках по обочинам дети. Нескончаемая, однообразная, колыхаясь в такт ходу автобуса, убегала назад добела раскаленная степь. Заброшенные церквушки, пересыхающие, с тихой каплей источники и — настороженное подозрительное молчание, скупые, педоверчивые жесты людей, в чьи сердца крадывался страх перед войной.

Но вместе со страхом — и восторг. Извечная радость оттого, что ты вырвался из каменных тисков города, каждый день видишь что-то новое, бродишь по цветущим полям с восхода и до заката, когда солнце опускается за горы...

Въехали в городок, и мальчик тотчас признал его. Зимой, когда долгими вечерами он читал о давних дьях и былых сражениях, ему виделись такие вот городки: старый-престарый замок с темными провалами окон, обожженные солнцем каменные стены, взбегающие вверх косогором и опоясывающие древние хоромины.

И только как сгущались сумерки, уже ближе к ночи, сердце начинало щемить, к горлу комком подступала тоска по далекому домашнему очагу, по дому. Ничком на подстилке, рядом с братом, мальчик засыпал мгновенно, едва касаясь головой подушки, но в середине ночи просыпался и звал мать:

— Мам!

— Чего тебе?

— Не спится, мам!

Мать не отзывалась. Но и она не спала, видно: в комнате у нее поскрипывали половицы.

— Мам, ты встала?

— Тс-с-с.

— Пить хочется. Принеси мне немпожко воды.

— Воды нет.

— Мне страшно.

— Закрой глаза и спи. Завтра опять в дорогу.

Где-то снова началась стрельба, и стало тревожно. Мальчику на память пришел отец. Где он теперь? Лицо его всегда было замкнутым. Вечерами, после работы, за ужином отец молчал, скажет, бывало, «да», «нет» — и все. А ночью мальчика будили голоса родителей, брат обычно просыпался раньше него.

— Слышишь, Антонио? Чего это они?

— Не твое дело. Спи.

Спи да спи, будто спать, вечно спать — главная его обязанность на свете.

— Они ссорятся, да?

— Ты-то что в этом смыслишь?

Голоса смолкали. Потом, чуть скрипнув, притворялась дверь, и в комнату, неслышно ступая, входила мама. Братья замирали, притворяясь, что спят. А через несколько месяцев к мальчикам пришел попрощаться отец. На вокзале сказал, что будет приезжать на дачу каждое воскресенье. В середине лета, устав ждать, мать решила ему позвонить. Воротилась она в слезах. Это он точно помнит. Потом перед верандой каждый день останавливался почтальон и говорил: «Вам еще пишут, сеньора» — и рисовал рукой в воздухе что-то неопределенное.

...Светало, и в свете рождающегося дня меркли далекие отблески фронта.

— Мам, светает. Когда мы обратно в Мадрид поедем?

— Туда нельзя сейчас.

— Я по папе соскучился.

— Туда не проехать.

— А через горы если?

— Через горы и давно.

— А вчера на станции говорили, будто один человек через горы пробрался. Слышишь, мам?

— Ну, что тебе?

— А куда они едут?

— Кто?

— Ну, они, которые едут.

— В Мадрид, наверное. Откуда мне знать.

— А зачем они в Мадрид едут?

— Наверное, чтоб родных повидать, которые там остались. Ничего я сама не знаю. Что ты меня все пытаешь?

— А почему мы туда не едем?

Снаружи донеслось тарахтение моторов. Мальчик выглянул в окно. От станции, пробивая себе путь сквозь рассеивающийся туман, приближались огоньки.

— Мама, ты слышишь?

— Слышу, это машины.

— Они идут за нами?

— Может быть...

— Мы что же, поедем в Сеговию?

— Куда повезут, туда и поедем, сынок.

— Слышь, мам, это грузовики.

— Ляг в постель, озябнешь.

Мальчик ложится. Колонна машин все ближе. Проезжает, должно быть, перекресток, что у депо.

— Где наш папа?

— Он добраться до нас не может.

— Другие ведь добираются.

— Кто это — другие?

— Вот Антонио и Хулито с папой. И Маноло тоже.

— Твой отец много работает. Он очень занят.

— Никогда он не придет. Зачем ему приезжать? Не хочет он нас видеть.

— Не смей говорить так.

— Почему?

— Он твой отец.

— Другие вот по субботам приезжали, а по понедельникам уезжали...

— У него много дел.

— И в воскресенье?

— И в воскресенье.

— Неправда это.

— Замолчи сейчас же.

Холодный, отдающий паленым ладапником ветер приносит обрывки команд, чей-то громкий, перекрываемый ревом моторов начальственный голос.

— Мама, — шепчет едва слышно мальчик, — сколько людей приехало...

— На станцию?

— Нет, в грузовиках. Все военные... Мы поедем сейчас в Мадрид?

Мать не отвечает.

— Мы едем в Мадрид, мам? Когда мы едем в Мадрид?

— Через несколько дней. Вот только все кончится.

— А если не кончится?

Колонна совсем рядом, когда машины проходят под окнами, моторы заглушают слова. Фары горят вполне, движутся лишь маленькие пятна света перед колесами. Машины ползут одна за другой и скрываются в первых отрогах гор.

Одна останавливается у дома. Она не похожа на те, па каких они ехали сюда.

— Мама! Машина пришла! Она приехала за нами! Куда мы поедем сегодня?

Двое людей вылезают из кабины и направляются к дому.

— Мама, мама, заснула ты, что ли?

— Не заснула, одевайся. И разбуди брата.

— Мама, ты плачешь?

— С чего ты взял, я не плачу.

— Нет, плачешь, я слышу, ты плачешь. И когда говоришь, тоже плачешь.

— Одевайся, скоренько.

— Мамочка, не плачь, не надо.



РЕБЕНОК — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Сеньор Лоренсо, земледelec, призвал однажды своего сына Монсеса, чтобы сообщить о принятом им решении.

— Я уже стар,— начал он,— но я не хочу умереть, пока не погуляю на твоей свадьбе и не попяччу внуков. Говорю так не потому, что занемог,— об этом и речи нет; у меня еще хватает сил вести дом и пахать землю. Я и о твоём житее думаю. Пора тебе жениться. Невеста твоя, Эмилия, охотно пойдёт за тебя. Сколько лет ты с ней в дружбе? По-моему, много. Ведь вы ещё совсем махонькими были, а уж и тогда бегали друг за дружкой. Девушка она хорошая, работающая, уважительная. Да и нужды ни се отец, сеньор Онорно, ни я особой не терпим. А земли у них и у нас примерно поровну.

— Так-то оно так,— задумчиво проговорил Монсес.

— Ты будто чем расстроен. Я-то мыслил, что слова мои обрадуют тебя. А ты, я вижу, сидишь тут, на этой табуретке, как в воду опущенный. Уж не раздумал ли братъ Эмилию в жены? Или уж до этого дошло? А о помолвке ты что, забыл?

— Не в том дело, отец.

— В чем же тогда? Ты что-то мудришь. Может, у тебя какие неприятности?

— Я все голову себе ломаю.

— Голову ломаешь? А над чем? Уж не пришла ли и тебе на ум прихоть уехать из селения в город или в какие другие страны?

— Нет, сеньор.

— Это хорошо! Здесь как-никак есть все, что тебе надо: собственный дом, участок земли — и не такой уж он маленький, так что жить при нем можно безбедно, — три пары мулов, новехонький инвентарь. Даже трактор и чистик купил я в прошлом году по твоему совету. Правду я говорю или небылицы рассказываю?

— Правду говорите, отец.

— Вид у тебя какой-то чудной, вроде как у птенца с подрезанными крыльями. Да что с тобой? Неужто дружба у тебя с Эмилией врозь пошла? Ты ли виноват, она ли, все равно — дело это нехорошее. Может, и помолвку уже расстроили?

— Между нами всегда было все ладно. Эмилия добра, как ангел, и на все согласна. Не в том дело. Не в том...

— Тогда говори, Моисес, разрази тебя гром!

— Нерадостную весть приходится мне вам сообщить.

— Вот как? Тогда не томи меня, парень, говори сразу. Я еще крепок телом и душой, выдержу всякое.

— Все это, отец... по молодости лет. Бывает ведь, человеку кровь к голове прильет, а сердце застучит в груди как шальное. А потом, ясное дело, идет человек напропалую, не думая о том, что будет.

— Что же с тобой приключилось? Пугаешь ты меня. Может, какая другая женщина тут замешалась?

— Так и есть, отец, замешалась.

— Выходит, полюбил другую?

— Если уж о любви речь вести, то, сказать по правде, Эмилия мне всех милее. Ведь любим мы друг друга с детства, а такая любовь, что ни говори, всегда крепче.

— Тогда за чем же дело стало?

— Вы знаете, что я частенько ездил в Савчотелью, на рынок. Обычно по вторникам, но бывало еще и среди недели. Так вот, однажды познакомился я там с девушкой по имени Леониса, бедной, но очень уж красивой и статной. Первоначала отправились мы с ней на танцы, потом — погулять

и сосновой бор... Так оно и пошло: спутался я с ней, сам того не желая.

— Что ж тут такого? Все мы молодыми гршили. Если только в этом причина...

— Причина еще и в ребенке.

— В ребенке?

Сеньор Лоренсо вскочил, словно пламя в горящем рядом очаге вырвалось наружу и обожгло его.

Ребенок! В этом коротком слове Моисес выразил все мысли, которые уже давно волновали и мучали его. Чего еще можно от него требовать?

В наступившем молчании сеньор Лоренсо успел все обдумать. Он нашел решение, и решение не безрассудное, не путаное, а совершенно ясное и недвусмысленное.

— Жепиться надо на той, Моисес... Другого выхода нет. Ребенок — прежде всего...

Скандалная новость мигом облетела все селение. Шутка ли! Моисес, сын сеньора Лоренсо, решил порвать с Эмилией. И так неожиданно. Заявить такое, конечно, проще простого, а вот на деле все может обернуться лихом, и еще каким! Что скажет на это Эмилия? Что скажут ее родители, ее братья? Как отнесутся к этому их родственники, друзья и знакомые, их соседи и вообще все люди? Посмотрим еще, как выпутаются из этой истории сам жених и его отец.

И тут сеньору Лоренсо пришла в голову идея: что, если его сыну поговорить с Эмилией, узнать ее мнение? В случае чего можно еще какой выход поискать. Спешить тут не следует. Но что скажет та, другая? Обезумеет еще, чего доброго, с отчаявния, и ничего удивительного в этом не будет.

Моисес встретился с невестой и изложил ей суть дела: так, мол, и так. Эмилия, как нередко бывает в жизни, сразу же нашла выход из положения. Ну конечно, ребенка они возьмут к себе, как только поженятся. Тогда все и уладится.

Да, но согласится ли па это мать? Когда Леописа узнала о новом замысле, она взъерилась как тигрица, у которой захотели отнять ее детеныша. Как, отдать своего ребенка чужой женщине?! Во имя чего, собственно? Или Моисес женится на ней, или уж ни па какой другой. Что же это такое в конце концов! Она ведь тоже не из камня сделана.

Когда все эти разговоры дошли до сеньора Лоренсо, он снова позвал сына и сказал ему так:

— Ну что ж, Моисес, есть, видно, только один выход — придется тебе все-таки жениться на той. Знаю, что всем вам

горько сейчас, но тут превыше всего это невинное создание — твой сын. Мой внук! — Сеньор Лоренсо поднял свою большую жилистую крестьянскую руку и, смахнув со щеки слезу, продолжал: — Но знай, отныне жить будешь по своему усмотрению, своим трудом. И еще — придется тебе покинуть этот дом и не возвращаться в него до той поры, пока бог не заберет меня к себе... Ее же я видеть не хочу. Ты — дело другое. Ты можешь приезжать ко мне, когда вздумаешь, но только не один, а с внуком. Чтобы мог я обнять его, приласкать... Слышал, что я сказал, и понял ли меня?

— Да, отец.

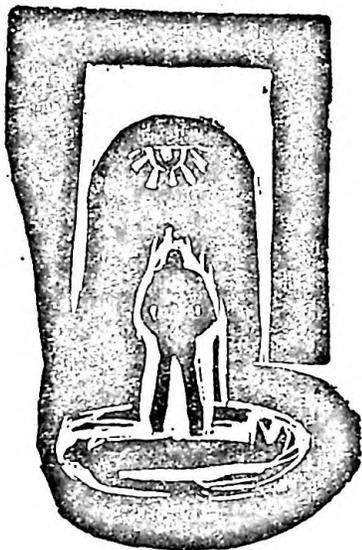
— И больше говорить об этом нечего. Лишние слова тут ни к чему.

Свадьбу справили в Санчотельо, чуть ли не втайне. Приглашена была только родня. Особых затрат на церемонию и угощение делать, понятво, не стали. О, совсем не так мечтал наш земледелец отпраздновать женитьбу сына! Такое событие, сложись все иначе, он отметил бы достойно, как положено, как господь велит...

Моисес остался со своей женой Леонисой и со своим ребенком в Санчотельо. А его родители и те немногие родственники, что ездили с ними на свадьбу, отправились восвояси.

Возвратясь в селение, они увидели там необычное зрелище. Все жители высыпали на площадь и шумно толпились на ней, возбужденные и растревоженные. Что здесь произошло?

— А то, что Эмилия в минуту отчаяния бросилась в колодезь во дворе своего дома, — объяснил какой-то старик из толпы. — Она умерла вскоре после того, как ее вытащили. Бедняжка!



ПОМЯНЕШЬ ВОЛКА...

«...Из мрака под аркой выступил человек и, выйдя на середину переулка, преградил ему путь. Силуэт человека неясно выделился в тусклом и каком-то зыблом свете уличного фонаря. Человек что-то держал в руке — оружие.

— Молчать! — приказал неизвестный.

Тесня, человек загнал его в угол, куда не проникал свет фонаря. Он прижался к стене спиной, глаза его расширились, взгляд стал напряженным.

— Бумажник, часы... — прошепел грабитель.

Он невольно схватился за внутренний карман. Несмотря на темноту, грабитель зорко следил за каждым его движением и, когда он попытался схватить револьвер, слегка отступив, оттолкнул его руку. Однако он, подчиняясь инстинкту самосохранения, снова попытался схватить направленное на него оружие. Может быть, он надеялся, что грабитель не посмеет воспользоваться револьвером, не решится выстрелить?

Ведь всего в пятидесяти метрах отсюда находится большая улица, там могли оказаться люди... Но грабитель тоже подумал об этом и, ловко подбросив револьвер, схватил его за дуло. А потом размахнулся и ударил его изо всех сил рукояткой в висок. Он глухо вскрикнул, и крик его поглотили каменные стены. Грабитель ударил его еще раз, опять в висок.

Колено у него подогнулись, и он, теряя сознание, упал на землю. Голова его тяжело ударилась о выступ стены, тело скатилось на мокрую мостовую и осталось лежать неподвижно. Убийца наклонился над ним, быстро схватил бумажник, часы, золотую булавку для галстука... Затем, выпрямившись, толкнул лежавшего ногой — тот не шевельнулся.

Убийца с презрением плюнул на тело жертвы и бесшумно исчез в конце переулка, словно растворился во мраке ночи.

Писатель вынул страницу из пишущей машинки, бегло ее перечитал и остался доволен. Работа завершена. Наконец-то, после двух месяцев напряженного труда, роман готов.

Он отодвинул машинку в сторону и положил последнюю страницу на стопку таких же страниц, лежавших на другом конце стола. Затем, немного подумав, взял перо и, как завершающий штрих, вывел внизу последней страницы дату.

Ставил дату, писатель невольно задержался взглядом на заключительных абзацах и, откладывая страницу, задумался.

Неплохо было бы еще раз посмотреть место преступления. Он хорошо знал этот глухой и узкий переулок с выступом в стене дома, фонарь на углу, старую арку, под которой всегда темно, ветхую стену с камнями, грозящими обрушиться... Да, он помнил все это, но сколько времени прошло с тех пор, как он там был в последний раз? Пять лет? Шесть? А за столь долгий срок ведь могло что-нибудь измениться.

«Вряд ли», — сказал он себе. Но даже если все и осталось неизменным, можно ли верить своим впечатлениям пятишестилетней давности? А если они его подведут? Окажется, например, что место за выступом в стене, где герой его романа нашел свою смерть, недостаточно темное?

«Надо бы это проверить», — опять подумал писатель. Совесть художника-реалиста не позволяла ему пренебрегать и мелочами. И даже если его описание достаточно точно, разве помешает еще большая точность, какая-нибудь деталь, которую можно обнаружить только на месте? Одна из тех значительных деталей, что придают такую выразительность опи-

санию и заставляют читателя восклицать: «Ах, как это убедительно, как правдоподобно!»

Он посмотрел на часы. Было ровно два часа пополуночи. Приблизительно то самое время, когда происходит эта сцена в его романе. От такого совпадения писатель заволновался еще больше. Было бы очень интересно отправиться туда именно сейчас, когда улицы пусты и безлюдны, как этого требовал сюжет романа.

Мало-помалу мысль о посещении переулка становилась все настойчивее. А если это так необходимо, то зачем откладывать? Нынешний день для этого подходил так же, как всякий другой, вернее говоря, нынешняя ночь, пока он еще под впечатлением собственного вымысла. Если какая-либо подробность от него ускользнула или описание получилось не столь точным, как хотелось бы, он сможет, вернувшись, исправить нужные места. Пускай придется поработать до трех-четырёх часов. Велика беда! Разве он не привык работать по ночам?

Приняв решение, писатель сложил страницы рукописи в аккуратную стопку и вышел из кабинета. Возбуждение, овладевшее им, все усиливалось. Теперь он ни за что на свете не отказался бы от задуманной прогулки. Ему чудилось даже, что он уже вдыхает свежий и влажный воздух окраины. Именно влажный! Ведь днем был дождь. Правда, шел он несколько часов тому назад и продолжался недолго, и тем не менее камни мостовой должны быть еще влажными, как это и описано в романе.

В передней он передел пиджак и снял с вешалки плащ. С плащом, перекинутым через руку, вошел в спальню и, не зажигая лампы, а оставив дверь в коридор, где горел свет, приоткрытой, подошел к кровати, на которой мирно спала жена. Писатель коснулся ее плеча.

— Терезина, Терезина... — позвал он.

Жена пошевелилась, но не проснулась, продолжая спать первым, самым крепким сном.

— Терезина... — повторил он.

Жена открыла глаза и посмотрела на него. В темноте разглядеть лицо мужа она не могла, но по его позе догадалась, что он хочет ей что-то сказать.

— Терезина... Я ненадолго выйду.

От этих слов жена проснулась окончательно.

— Выйдешь? — переспросила она. — Но который сейчас час?

— Два.

— Куда же ты собрался в такое позднее время?

— Я только что закончил свой роман,— торжественно сообщил писатель.

Жена не поняла.

— Ну и что же из этого?

— Я хочу проверить, правильно ли я описал место, где разыгрывается заключительная сцена нападения... Ты знаешь...

Жена приподнялась на постели.

— Но уже так поздно! Разве ты не можешь сделать это завтра?

— Я должен видеть все это почью. Я не задержусь, потребуется какой-нибудь час, не больше.

— Не понимаю, что это тебе вздумалось,— вздохнув, проговорила жена после небольшой паузы.

— Я не задержусь,— повторил оп.— А ты спи.

Писатель наклонился и поцеловал жену.

— Надень по крайней мере кашне,— посоветовала она на прощание.— Наверное, холодно, а ты немного простужен.

— Хорошо, дорогая. Итак, до скорого!

— Когда вернешься, разбуди меня.

— Непременно.

Он плотно прикрыл за собой дверь спальни, надел плащ и — чтобы сделать жене приятное, хотя она и не могла его видеть,— снял с вешалки кашне и обернул им шею. Затем он вышел из дому.

На улице оказалось гораздо прохладнее, нежели он предполагал, сидя дома. Заблуждение вполне понятное, ибо за весь день он ни разу не выходил из своего кабинета. Увлеченный работой, он писал, рвал написанное, переписывал заново: заключительная глава далась ему особенно трудно.

Писатель поднял глаза к небу. Небо было совершенно черное — наверное, скоро опять пойдет дождь,— однако даже это несколько не поколебало его решимости отправиться на место, где разыгрался последний акт трагедии его героя.

Держась поближе к домам, он направился к трамвайной остановке. На остановке никого не оказалось, кроме одного человека, видимо тоже ожидавшего трамвая.

Писатель закурил. Но за сегодняшний вечер и ночь он курил так много, что, едва сделав одну-две затяжки, с отвращением отшвырнул сигарету.

Он подошел к самому краю тротуара — посмотреть, не

идет ли трамвай, по мешали деревья, растущие вдоль тротуара, и ему пришлось сойти на мостовую.

Далеко, очень далеко показался огонек, наверное, трамвай. Но через мгновение огонек исчез, и писатель понял, что ошибся. Улица по-прежнему оставалась пустой: никого, кроме него и неизвестного, не было. Где-то вдалеке раздавалось постукивание палки ночного сторожа, совершавшего обход. Но сторож так и не появился, а постукивание смолкло.

Писатель вернулся с мостовой на тротуар и ждал, прислонившись к стене дома. Неизвестный оставался на мостовой, и писатель стал посматривать на него с некоторым интересом. «Если бы люди откровенно рассказывали друг другу о своих делах!» — подумалось ему. Вот, например, этот человек: совершенно очевидно, что он стоит здесь не для собственного удовольствия. Непохоже, чтобы он был в театре или приятно развлекался, и слишком стар, чтобы предполагать, будто он возвращается с любовного свидания. Что же в таком случае привело его сюда, на остановку трамвая, в столь поздний час? Какая странная причина?

Писатель улыбнулся. Странная? А что может быть более странным, чем то, что заставило прийти сюда его — автора романа? Если бы он и этот человек разговорились и он сказал бы ему, что отправляется на далекую окраину лишь потому, что только что закончил роман, последняя сцена которого разыгрывается как раз на этой окраине, интересно, как реагировал бы его собеседник?

Не переставая улыбаться, поскольку теперь, представив себе реакцию незнакомца, писатель понял, что поездка его может показаться смешной, он отделился от стены дома и снова вышел на мостовую. Опять посмотрел вдалеку и опять увидел огонек. На сей раз, решил он, это трамвай.

Вскоре донесся скрежет колес. Трамвай приближался очень быстро, не задерживаясь на тех остановках, где никто не сходил и не входил. Когда трамвай приблизился, писатель увидел, что он почти пустой. Трамвай мчался во весь опор, и писатель, испугавшись, как бы он не проскочил мимо, поднял руку...

Но трамвай уже останавливался. Минуту спустя писатель уже был в вагоне, согретом теплом сотен людей, которые ездил в нем целый день.

Писатель не чувствовал усталости, по вагон был пуст, и он сел. Трамвай же возобновил свой бег между шпалерами спящих фасадов, обогнал небольшую группу молодых людей,

которые неторопливо шли, громко разговаривая и смеясь, потом миновал ночного сторожа.

Наконец они въехали на окраину, которая совершенно неожиданно оказалась освещенной лучше, чем улицы в центре. Но и здесь было так же безлюдно. Лишь изредка попадался запоздалый прохожий или девица, которая посматривала по сторонам в надежде заполучить позднего клиента...

Трамвай приблизился к нужной остановке, и писатель дал знак кондуктору, тот дернул за шнурок, и в кабине вагонновожатога задребезжал колокольчик.

Кроме писателя, на этой остановке никто не вышел. Впрочем, в вагоне оставалось всего два пассажира.

Он перешел на другую сторону улицы и переулком направился к цели своего путешествия. Навстречу попался пьяный, едва бредущий на нетвердых ногах. Писатель посторонился, давая ему дорогу. И тот, оцепив эту предупредительность, несмотря на свое состояние, поблагодарил писателя, приподняв измятую шляпу. Писатель не удержался от беззлого жестя. В своих романах он часто изображал пьяниц, вообще опустившихся людей, однако в жизни они всегда внушали ему отвращение. Пожалуй, даже довольно сильное.

Писатель завернул за угол, до нужного ему переулка оставалось каких-нибудь тридцать шагов. Он тряхнул головой, стараясь освободиться от посторонних мыслей и всецело сосредоточить внимание на улице, по которой он шел. Ведь этим же самым путем шел его герой к той зловещей арке.

Писатель внимательно всматривался в фасады домов, стараясь запечатлеть их в своей памяти, отчетливо, как на фотографии. Но запечатлеть было нечего: все окна были темные, двери заперты, улица пустынна и печальна... И ни одной интересной детали, за которую стоило бы ухватиться. Лишь на некоторых балконах сушилось белье да в одном из окоп виднелась полка с посудой. Совершенно незначительные мелочи, однако писатель впитывал их в себя почти сладострастно. Например, эта полка с посудой вполне подходит для его романа, он обязательно о ней упомянет. Две строчки, не больше, но как это будет реалистично! Пусть читатель почувствует, что автор сам ступал по этой улице, что он хорошо ее знает, что ни одна мелочь не ускользнула от его внимания...

И вот он в переулке. Писатель остановился на углу и окинул переулок удовлетворенным взглядом. Нет, он ни в чем не ошибся: и фонарь на месте, и арка посередине переулка,

мрачная и темная, точь-в-точь такая, какой она ему запомнилась.

Он снова закурил, но и эту сигарету отшвырнул после двух-трех затяжек.

Засунув руки в карманы, писатель пошел по переулку, то и дело останавливаясь, чтобы лучше рассмотреть стены старых домов с низкими, узкими дверцами и крохотными окнами.

Но все двери домов были заперты, а в окнах темно, будто никто там не жил. Лишь по едва заметным признакам можно было догадаться о присутствии людей в этих словно вымерших домах.

И здесь, в переулке, он не встретил ни души. Именно так он себе все и представлял: с определенного часа, когда здешние жители укладываются спать — а укладываются они рано, потому что большинство из них рабочие и встают чуть свет, — этим переулком завладевает мрак.

Он посмотрел себе под ноги — на неровные плиты тротуара. Ну конечно! Плиты были совсем мокрые. Сюда никогда не проникал луч солнца, а свежий воздух проникал с большим трудом, поэтому сырость после дождя удерживалась долго. Наверное, они никогда и не высохали, эти камни, даже в самую жаркую летнюю пору...

До арки оставалось два шага. Но и отсюда он видел, что в стене дома по другую сторону арки действительно был выступ, как он и описал в романе. Хотя он и был здесь пять или шесть лет тому назад, все оказалось таким, как он изобразил, память его не подвела. Писатель был удовлетворен и несколько не удивился: он знал, что обладает памятью, которая помимо его воли впитывает все мелочи, даже самые незначительные.

Писатель поднял глаза и обвел взглядом арку: она замше-ла от времени, меж ее потрескавшихся, неровных камней пробивались стебли травы...

Писатель сделал два шага.

Из мрака под аркой выступил человек и, выйдя на середину переулка, преградил ему путь. Силуэт человека неясно выделялся в тусклом и каком-то унылом свете уличного фонаря. («Интересно...» — отметил про себя писатель.) Человек что-то держал в руке — оружие.

— Молчать! — приказал неизвестный.

Тесня, человек загнал его в угол, куда не проникал свет фонаря. Он прижался к стене спиной, глаза его расшири-

лись, взгляд стал напряженным. («Невероятно!» — подумал писатель.)

— Бумажник, часы... — прошипел грабитель.

Он невольно схватился за внутренний карман. Несмотря на темноту, грабитель зорко следил за каждым его движением, и когда он попытался ухватить револьвер («Не может же все повториться в точности», — с надеждой подумал писатель), слегка отступив, оттолкнул его руку. Однако он, подчиняясь инстинкту самосохранения, снова попытался схватить направленное на него оружие. Может быть, он надеялся, что грабитель не посмеет воспользоваться револьвером, не решится выстрелить? Ведь всего в пятидесяти метрах отсюда находится большая улица, там могли оказаться люди... Но грабитель тоже подумал об этом и, ловко подбросив револьвер, схватил его за дуло. А потом размахнулся и ударил его изо всех сил рукояткой в висок. («Нет, этого не может быть! Наверное, я сплю и мне снится, будто я все еще пишу заключительную главу...») Он глухо вскрикнул («Ну, теперь-то я обязательно проснусь!»), и крик его поглотили каменные стены. Грабитель ударил его еще раз, опять в висок.

Колени у него подогнулись, и он, теряя сознание, упал на землю. Голова его тяжело ударилась о выступ ступи, тело скатилось на мокрую мостовую и осталось лежать неподвижно. Убийца наклонился над ним, быстро схватил бумажник, часы. (С булавкой для галстука писатель ошибся.) Затем, выпрямившись, толкнул лежащего ногой — тот не шевельнулся.

Убийца с презрением плюнул на тело жертвы и бесшумно исчез в конце переулочка, словно растворился во мраке ночи.



БУМАГИ

Перед ним в очереди стояло еще человек двадцать или тридцать. Это немного, потому что служащий, сидевший по ту сторону окошка, работал быстро. Время от времени разыгрывался небольшой инцидент, когда какая-нибудь женщина позволяла себе высказывания, которые, по мнению чиновника, были неуместны. В таких случаях последний несколько возвышал голос — известно ведь, что человек, сидящий за окошком учреждения, чувствует себя облеченным властью и склонен поэтому покрикивать.

Он был доволен. Он достиг — или по крайней мере думал, что достиг — конца своего крестного пути. Он держал в руках шестьдесят три документа: свидетельства, официальные бланки, заверенные нотариусом заявления. На сей раз их хватит. Выписка из свидетельства о рождении с надлежащими справками, каждая — на отдельном бланке. (Бумаги на свете

хоть отбавляй, и надо же ее куда-то девать!) Итак: свидетельства о рождении, младенчестве, отрочестве, юности, зрелом возрасте, старости. С основным свидетельством это составит семь. Два свидетельства о рождении каждого из его родителей и соответственно два свидетельства о смерти. И свидетельство об их бракосочетании — всего пять. С семью предыдущими это составит двенадцать. Далее следовали свидетельства о его родне: жене, двоих сыновьях, брате, двух сестрах, двух зятях и семерых племянниках. Это уже будет двадцать семь. Послужной список, свидетельства о благонадежности религиозной, нравственной, гражданской, семейной и военный билет. Всего шесть, и с предыдущими это уже составит тридцать три. Два свидетельства об имущественном положении — его и жены; две выписки из актов о бракосочетании — церковном и гражданском; свидетельство о том, что в настоящее время он состоит в браке, — еще пять. Всего — тридцать восемь. Свидетельство о...

Но тут подошла его очередь, он уже стоял перед самым окошком. Служащий ограничился единственным вопросом:

— Район?

— Восьмой, — ответил он.

— Окно девяносто седьмое, — отрезал человек за окошком.

В обширном помещении было много окошек, однако нужного девяносто седьмого ему обнаружить не удалось: последний номер был двадцать шестой. Он направился к выходным дверям и там обратился к служащему в галунах, восседавшему за засаленным столом.

— Четвертый этаж, — сообщил служащий, даже не удостоив его взглядом.

Лифт в этом учреждении был, но не действовал. Придется пройти пешком все четыре этажа, поскольку сведения он получил на самом нижнем, на цокольном. Верхний этаж оказался в точности похожим на нижний — должно быть, все они были одинаковы и отличались только померами на окошках.

Перед окошком номер девяносто семь не оказалось ни души. Он мысленно поздравил себя с этой маленькой удачей. Однако не оказалось ни души и по другую сторону окошка, хотя оно и было открыто. Он немного подождал, а затем, потеряв терпение, решил тихонько постучать по матовому стеклу стенки. Тогда какой-то человек, сидевший спиной к окошку и смотревший в большое окно, выходявшее наружу,

обернулся, поднялся и, попыхивая сигаретой, подошел к окошку.

Не произнеся ни слова, служащий взял протянутые ему документы, с профессиональной быстротой просмотрел этот ворох бумажек за бумажкой, на что при всем его опыте потребовалось около получаса. Потом все так же молча возвратил ему бумаги.

— Чего-нибудь недостает? — спросил он, встревоженный.

— Да, — ответил служащий. — Бланк X-2, окно двадцать четыре; бланк Э-0, окно тридцать один; бланк С-1-П, окно сорок восемь.

— Но... — пробормотал он еле слышно. — А что это за бланки?

— Потрудитесь прочесть инструкцию, — ответил чиновник и повернулся к нему спиной.

Руководствуясь элементарной логикой, он предположил, что если первые двадцать шесть окошек находятся на цокольном этаже, а окошко девяносто седьмое — на четвертом, то окошки тридцать первое и сорок восьмое должны быть или на втором или на третьем этажах. Он проверил это и увидел, что не ошибся: окошко сорок восьмое оказалось на третьем этаже. Но оно было закрыто. Он постучал в стекло. Ему пришлось постучать еще и еще раз, прежде чем окошко открылось.

— Что вам угодно? — грубо спросил какой-то очень мрачного вида субъект.

— Мне нужен бланк С-1-П.

— Вы не читали объявления?

— Какого объявления?

Чиновник захлопнул окно. Только теперь он заметил, что рядом с окошком висело крошечное объявление с расписанием часов приема: от двенадцати до часу. Это привело его в полное недоумение. Он никак не мог понять, почему у одних окошек одни часы работы, у других — другие, когда все они расположены в одном и том же здании, составляют часть одного и того же учреждения.

Было без четверти двенадцать, и он решил использовать имевшуюся в его распоряжении четверть часа, чтобы сходить к окошкам номер тридцать один и номер двадцать четыре. Первое из них тоже оказалось закрытым и, как гласило объявление, было открыто с половины первого до половины второго. Тогда он спустился на цокольный этаж, где ему посча-

стливилось застать окошко двадцать четыре открытым. Поспел он в самый раз, потому что окошко это закрывалось в двенадцать.

Он получил бланк X-2 и возвратился на второй этаж. Поднимаясь по лестнице, ознакомился с содержанием бланка, который предназначался для заполнения районным врачом. Ну, что ж! Дело не представит больших хлопот.

Когда он достиг второго этажа, было уже пять минут первого, но ему пришлось прождать еще десять минут, потому что окошко не открылось до четверти первого. Перед ним уже дожидалось два человека.

Окошко открылось, и все пошло достаточно быстро. Ему вручили еще один бланк для подтверждения его общественной благопристойности. Он немного встревожился, прочитав в инструкции на оборотной стороне бланка, что для этого требуется триста подписей. Значит, у него должно быть не меньше трех сотен друзей и знакомых? Он почесал в голове и постарался припомнить всех, к кому мог бы обратиться за подписью, но не насчитал и половины нужного количества. И только прибавив всех лавочников и торговцев своего района, дотянул до ста семидесяти пяти. Недостающих сто двадцать пять найти будет трудновато. Придется прибегнуть к помощи родни — зятьев, племянников. Среди друзей его родных и их друзей, может быть, и удастся собрать еще сотню подписей.

Подсчитывая это в уме, пересчитывая бланки, которые он уже получил, и покуривая сигарету, он не заметил, как прошло время и часы показали половину первого. Пора было идти к окошку номер тридцать один. Здесь он получил новый бланк и, не прочитав его, начал спускаться с лестницы.

И, только очутившись на улице, он взглянул на бланк и невольно вскрикнул. «Свидетельство о существовании» — прочел он и даже остановился. Да, да! Требовалось еще свидетельство о том, что он действительно существует! И это несмотря на множество других свидетельств, которые каждое по-своему подтверждали его существование! Он подумал, что произошла какая-то ошибка. Повернул назад и вновь оказался перед окошком, где только что получил бланк.

— Что вам угодно? — спросил чиновник.

Он попытался объяснить:

— Я по поводу этого бланка... Дело в том, что у меня уже есть другой документ — метрическая выписка.

— Ну и что из того?

— Мне кажется, метрической выписки уже достаточно, чтобы подтвердить...

— Я вижу, что вы невнимательно прочитали бланк. Он предназначен для засвидетельствования вашего существования.

— Ну?

— Так это не одно и то же.

— А! В таком случае... А кто мне должен подписать этот бланк?

— Это уже меня не касается. Руководствуйтесь инструкцией.

Последнему совету он никак не мог последовать, потому что на обороте нового бланка — в отличие от остальных — никакой инструкции не было. Печатный текст бланка был прост, пожалуй, даже чрезмерно прост. Он гласил: «Настоящим подтверждаю, что сеньор (пропуск для заполнения) лет (пропуск для заполнения), проживающий по улице (пропуск для заполнения), в доме номер (пропуск для заполнения), в квартире номер (пропуск для заполнения) действительно существует»: Далее следовало место для даты и совсем внизу, мелкими буквами: «Подпись». И больше ничего.

Он возвратился домой в полной растерянности. Обсудил положение с женой, со взрослым сыном, который жил вместе с ними, с соседями, но никто не мог сказать ничего вразумительного.

— Ну что ж! — решил он. — Пока что займусь другими бланками...

В тот же самый день, под вечер, он отправился к районному врачу, но врач уже не принимал и пришлось прийти вторично. Не слушая его объяснений, лишь бегло взглянув на бланк, врач уселся за письменный стол и извлек из ящика кипу новых бланков, форматом помельче. На каждом поставил свою подпись и вручил бланки ему.

— Вам придется посетить вот этих специалистов, — сказал врач, — они заполняют бланки, подпишут, вы придете с ними ко мне, и тогда я подпишу ваш бланк.

— Но я полагал, что это простая формальность...

— По существу, так оно и есть. Но надо точно следовать предписаниям. Мы все от этого только выиграем.

Он плохо понимал, какой это будет выигрыш, но не стал возражать. С ворохом новых бланков он вышел из кабинета и прочитал заголовки: уролог, оториноларинголог, дермато-

лог, пульмонолог, кардиолог, венеролог, дантист, мозолист... кого только тут не было...

Следующие дни он посвятил посещению всех этих врачей. После долгого или не очень долгого ожидания — чаще, впрочем, долгого — врач впускал его к себе в кабинет и, узнав, о чем идет речь, быстро окидывал его взглядом, задавал пару вопросов, а затем направлял на рентген. Каждый раз требовалось семь снимков, никак не меньше, каждому врачу нужна была локальная рентгенограмма, а не общая. И каждый раз врач в рентгеновском кабинете подвергал его унизи- тельным процедурам.

На это ушло еще несколько дней. Получая очередной рентгеновский снимок, он отправлялся с ним к соответствующему врачу. Врач бросал на снимок рассеянный взгляд, прятал его в архив, затем брал чистый бланк, ставил свою подпись и вручал ему с поздравлением. Это было частное свидетельство — одно из тех, на основании которых он получит общее медицинское свидетельство за подписью районного врача.

Сначала он надеялся, что сможет сдать медицинское сви- детельство одновременно со свидетельством о своей общест- венной благопристойности, но он ошибся. Посещение врачей, не говоря уже о длительных ожиданиях у их кабинетов, по- требовало столько времени, что заняться чем-нибудь еще было просто-напросто невозможно.

Он начал с лавочников своего района. По его расчетам, среди них можно было собрать подписей двадцать с неболь- шим, на поверку же вышло, что его знали только шестна- дцать человек, некоторые совсем мало. Его жене удалось соб- рать двенадцать подписей у торговцев на рынке, и таким образом общее количество подписей коммерсантов достигло почти тридцати. После этого он начал обход знакомых и со- служивцев, среди которых с большим трудом набрал восемь- десят подписей. К сослуживцам он обращался на работе, что позволило значительно сэкономить время. Что же касается знакомых, то к каждому пришлось отправляться на дом. Как бы то ни было, но за две недели он собрал сотню подписей да еще двадцать семь подписей соседей. Однако это не со- ставило и половины нужного количества. Тогда он отдал до- кумент одному из своих зятьев, пообещавшему добыть еще сотню подписей. Подписи зять добыл, но ушло у него на это двенадцать дней. Испешренный подписями лист оказался на- столько засаленным и измятым, что у него появилось опасе-

ние — примут ли документ в таком виде. Впрочем, об этом было рано думать, доставало еще пятидесяти подписей.

Это число сократилось до пяти, когда он отдал бланк второму зятю и тот добыл еще сорок пять подписей. Случайный гость, зашедший к соседям, неожиданно согласился подписаться, после чего осталось собрать всего четыре подписи. Понадобилась еще неделя, чтобы добыть три подписи, но четвертой, последней, ему так и не удалось получить. В конце концов отчаявшись, он послал бланк по почте в Теруэль, где жил его второй сын, с просьбой добыть недостающую подпись. Прошла еще неделя, и он получил свой бланк с последней подписью. Теперь все было в порядке. Оставалось только свидетельство о существовании.

Он предположил, что самым подходящим местом для получения такого рода документа окажется суд, но, явившись туда, был разочарован. Там ничего не знали об этих бланках и не могли указать поэтому, куда следует обратиться. То же произошло и в главном полицейском управлении, где также не занимались подобными вопросами.

Тогда он решил обратиться к алькальду своего района, поскольку, пока он хлопотал о шестидесяти трех бланках и свидетельствах (ныне уже готовых), ему неоднократно приходилось обращаться к этому должностному лицу, и они даже успели немного подружиться. Однако же и районный алькальд чистосердечно признался, что ничего не знает о свидетельстве и посоветовал — как он делал всегда, когда у него спрашивали насчет этого документа — для начала снять копии свидетельства о рождении, младенчестве, отрочестве и прочем и приложить к ним копии свидетельства о рождении и бракосочетании и кончине его родителей. Кому же следовало вручить все эти бумаги, алькальд сказать не мог.

Хотя и совершенно упав духом, он все же возобновил свои паломничества по разным учреждениям, адреса которых ему дал добрый алькальд. Он перебрал в уме все инстанции, куда можно было бы обратиться за подписью на этом завершающем документе, поскольку все другие уже были оформлены. Остался еще как будто бы приходской священник.

К нему он и отправился в один прекрасный вечер. Священник сказал, что, по его мнению, вся собранная документация никак не может служить подтверждением его существования. Несколько сбивчиво священник постарался объяснить разницу между жизнью и существованием, и тут обнаружилось, что и сам он не очень-то понимает, в чем состоит эта

разница. В заключение священник сказал, что — хотя дело это и весьма далеко от его компетенции — он все же считает, что, прежде чем будет найдено лицо или учреждение, уполномоченное подписать документ, о котором идет речь, стоит снять копии со свидетельств правдивой, религиозной и прочей благопадежности. Не лишним будет, добавил священник, присовокупить к этим копиям выписки из свидетельств о крещении, первом причастии и прочем.

Он вышел от священника совсем обескураженный и все же решил последовать его советам. Дни шли, рос ворох бумаг, и он не знал, что с ними делать.

Набравшись духу, он обратился к адвокату. Адвокат, тонко проанализировав смысл слова «существование» или, вернее сказать, несколько смыслов этого слова, пришел к выводу, что в данном случае речь может идти только о существовании юридического. Кто же, однако, правомочен засвидетельствовать юридическое существование человека? Судья? Но в суде он уже побывал, и там ему отказали...

Два дня спустя он купил адресную книгу и, сверяясь с ней, обегал ряд учреждений. Но нигде ничего не добился. В одних вообще не слышали о подобных свидетельствах. В других слышали, по от третьих лиц и что-то очень неопределенное.

Он оказался в тупике и не видел из него выхода. Тогда само отчаяние подсказало ему гениальную идею. Внизу в бланке стояло всего одно слово: «Подпись». Не требовали печати, ни заверения этой подписи. Ничего, кроме подписи. А почему бы ему самому не подписать бы ему самому не засвидетельствовать собственноручно? Стоило рискнуть! Так он и сделал.

А на следующий день предстал перед окошком в пятой комнате на четвертом этаже и протянул бумаги, Карола заку, который взял их и погрузился в чтение. Через несколько минут чиновник поднял от бумаг голову и посмотрел на него с удивлением и к лепнем. Как знать? Может быть, это был первый случай в практике, когда вся документация представлялась полностью.

— Все в порядке? — спросил он.

— Да... — нехотя признал чиновник.

— Значит, от меня ничего больше не требуется?

— Нет. Ждите теперь известия.

С лестницы он сбегал, подпрыгивая весело, как ребенок. За всю свою жизнь он не переживал минуты более счастли-

вой. С бумагами покончено! Теперь ждать, только ждать. Какое счастье! Он словно парил в воздухе...

Почти через год ему сообщили, что он может явиться и получить. Что получить, не имело уже значения, от него только требовалась метрическая выписка, сделанная на текущей неделе.

Однако выправить эту бумагу он уже не смог, потому что успел умереть. От счастья.

сп.
нии
прочем и
и бракосоче-
мало вручить

Хотя и со
свои паломни
ему дал до
куда мо
шаю
лег

и



ЛЕТИЦИЯ

В духе Эдгара По, но совсем не страшно.

«Проснись, не отходи навек!».

Псалом XLIV, стих 23

Мы хоронили бедную Летицию в четыре пополудни, скромно, без отпевания. Прежде чем гроб опустили в землю, Моника встала около него на колени и помолилась за упокой души усопшей. И вдруг в эту скорбную минуту Карола засмеялась, но тут же овладела собой и даже нашла доводы в свое оправдание: она вообще никогда не падала духом и к тому же испытывала сейчас нервное возбуждение. Моника посмотрела на нее с ненавистью, и Карола побледнела. Все мы, и я первый, готовы были простить Кароле ее смех. Карола Марелли была очень красива. Красивее Луизеты, красивее Фанни и — падо ли добавлять? — красивее Моники. Может быть, даже красивее Летиции — бедная Летиция

умерла, и правда, какой бы она ни была, не могла ее ранить, холодную и одинокую в своем гробу.

Моника поднялась с колен и спокойно перекрестилась. Мы все страдали, очень страдали. Валези откашлялся и бросил на Луизету нежный взгляд. Ронши нетерпеливо поглядывал на часы. Ильдебранд обвинял за талию свою Фанни. Комья земли постепенно засыпали гроб. В зелени кипарисов раздавался щебет птиц, которых Летиция так любила... Наконец земля поглотила деревянный ящик и лежавшую в нем Летицию — пленницу вечности. Фанни всплакнула, так как знала, что не очень обильные слезы ей к лицу. Ильдебранд нежно ее утешал. Луизета только теперь посмотрела на Валези, и взгляд ее тоже был полон печальности. Однако Валези по рассеянности ничего не заметил. Припомнив еще одну молитву, заключительную, Моника прочитала ее. Но никто из нас не слушал Моника. Ее голос заглушали рыдания, не вызвавшие в нас, однако, ни малейшего сочувствия. Мы все ненавидели Моника — уже немолодую, ханжески-набожную и театрально-фальшивую. Не выдержав того, что на них так часто смотрят, часы Ронши остановились. Небо быстро заволакивали тучи.

Мы в последний раз посмотрели на то место, где поконилась Летиция, и мысленно попрощались с пей — еще живой в нашей памяти. Заморосил мелкий дождь.

Кареты громыхали по булыжникам предместья, и от этого грохота страдал не только наш слух, но и наши души. Моника, Ронши, Карола и я ехали в первой карете, которую везла старая воронья кляча. Валези и Луизета, Ильдебранд со своей Фанни следовали за нами во второй карете, и я не мог определить ни возраст, ни масть запряженной в нее лошади. Мы ехали по узким, тесным улочкам, темным и безрадостным. Вдали показались красные готические шпили церкви Пречистой Девы.

Все молчали. Дождь шел все сильнее, и улицы под льющимися с неба потоками выглядели еще мрачнее, почти жутко. Тем не менее ни под одним из уличных фонарей я не заметил и следа демонической черной кошки, и это меня разочаровало. Силуэты редких прохожих, едва возникнув из мглы, тут же исчезали, как в кошмаре.

Моника вдруг предалась воспоминаниям о Летиции, она ворошила прошлое, как давно остывший пепел, и слова ее отдавались в моей душе погребальным эхом.

Зевнув, Ронши еще раз покосился на остановившиеся часы. Не знаю, думала ли сейчас об умершей Карола, кото-

рая сидела рядом со мной, смежив веки. Карола была кузиной покойной Летиции и, кроме того, никогда не падала духом. К тому же она была на редкость красива, и это было самым главным. Красивее Луизеты, красивее Фанни и — надо ли добавлять? — красивее перезрелой Моппки. Может быть, даже красивее Летиции. Во всяком случае, она очень походила на мою Летицию, которая теперь одна, бледная и холодная, лежит в сырой земле, под кипарисами, где поют птицы и льет проливной дождь... На мою Летицию, которая лежит теперь в гробу одна, холодная и бледная...

Мы миновали церковь Пречистой Девы, и, хотя мостовая не стала лучше, а дождь продолжался, старая вороная лошадь вдруг пошла хорошей рысью. Карету затрясло еще больше, и это дало нам возможность отдохнуть от красноречия Моника, а Ронши даже уснул и храпел, как пьяный. Дождь лил словно из ведра, монотонно стуча о крышу нашей кареты. В окошко я видел, что серая лошадь резво бежит по лужам почти следом за нами. Недоставало только черных кошек: именно сегодня они очень были бы кстати под тусклыми уличными фонарями.

Церковь Пречистой Девы, красная и очень высокая, осталась далеко позади, растворившись во мгле. Мы выехали на асфальт, теперь карету трясло меньше, и Моника получила возможность снова заговорить о Летиции. Однако не чувствовалось, чтобы она понимала при жизни покойную: слишком уж сухо трактовала Моника тему. Между тем проснулся Ронши и стал покорно слушать речь ораторши.

Вторая лошадь, подгоняемая кучером, приблизилась к нам настолько, что мне показалось, будто я слышу голоса Луизеты и Валеги, смех Ильдебранда и его Фанни. Что ж! Пусть себе смеются! Ведь не очень-то весело ехать под проливным дождем с кладбища...

Карола по-прежнему сидела с закрытыми глазами, и мне очень хотелось бы знать, о чем она думает. Не о моей ли Летиции?

Вдруг паша лошадь упала на скользкий от дождя асфальт. Моника взвизгнула. Ронши инстинктивно схватился за часы. А Карола Марелли открыла глаза и нежно сжала мне руку: от того, кто никогда не падает духом, меньшего ждать не приходилось.

Кучер слез с козел и начал ругаться весьма виртуозно. Иные из его ругательств, которыми он в ярости осыпал лошадь, стараясь заставить ее подняться, я даже запомнил.

Стоя под продолжавшим лить дождем, мы наблюдали эту сцену, и Моника метала гневные взгляды на Каролу, которая нервно смеялась. Про Летицию никто не вспоминал.

Старая вороная лошадь ржала — от ушиба и от ударов кнутом. К нам присоединились пассажиры второй кареты, и Карола, как заправский чичероне, комментировала художественную декламацию кучера, к которому присоединился не менее энергичный коллега с догнавшей нас кареты. Валези обнял Луизету, Ильдебранд не отходил от своей Фанни. Красноречие Моника наконец иссякло, и она, теперь уже молча, негодовала против Каролы и против дождя. Ронши наблюдал за происходящим разинув рот. Мне наскучило смотреть на возню кучеров с лошадью, и мои печальные мысли вновь обратились к Летиции. К Летиции там, на кладбище, бледной и холодной, оплетенной корнями кипарисов... Моника тоже вспомнила Летицию, и звук ее голоса заставил меня еще сильнее ощутить, насколько я одинок. Луизета — эдакая плутовка! — воспользовалась рассеянностью Валези и тоже обняла его.

Лошадь поднялась на ноги, неистовая ругань кучеров смолкла. И мы, изрядно намокшие, снова сели в кареты. Ронши заявил, что дождь скоро прекратится, но только Моника отреагировала на это, начав утверждать обратное.

Поехали дальше. После падения лошадь хромала и шла теперь с трудом, хотя мы ехали по асфальту. Скоро Ронши снова заснул. Его размеренное дыхание раздражало Моника, и, глядя на нее, Карола улыбалась.

Мы ехали по улицам, похожим одна на другую и ничем не примечательным, которые только сумерки немного облагораживали. Как я ни старался, но у редких фонарей мне так и не удалось обнаружить хотя бы одну зловещую кошку.

Устав возмущаться Ронши, Моника опять заговорила про Летицию. Ее колоратурные пассажи сопровождали тремоло приглушенных рыданий, но тон был фальшивый, и, слушая ее голос, я чувствовал, что образ покойной все больше удаляется от меня. Карола опять засмеялась — то ли потому, что не падала духом, то ли потому, что нервничала, — только от этого смеха мне стало немного легче.

Старая вороная кляча еле тащилась, и бессильная ярость кучера снова вылилась в поток замысловатых ругательств. Метнув на него возмущенный взгляд, Моника умолкла.

Проснулся Ронши и спросил, который час. Никто из нас этого не знал, и Моника почувствовала себя униженной, по-

тому что не в ее принципах было оставлять обращенные к ней вопросы без ответа. Усугубив ее нелепые страдания едва заметной саркастической улыбкой, Карола смежила веки и задремала. Огорченный Ронши попробовал вернуть жизнь своим остановившимся часам и вскоре торжествуя возвестил, что они пошли. Однако мы тут же обнаружили, что это ему лишь показалось.

Дождь продолжал лить с прежним упорством, принеся Монике победу в споре с Ронши. Опыленная успехом, она долго похвалялась безошибочностью своих прогнозов, всячески выказывая презрение противнику. Теперь наша карета превратилась в лекционный зал: Моника подробно излагала самые верные признаки, по которым можно предсказать несчастье. Ее слова впивались в мои уши, как колючки агавы. От Моник не было спасения, но все эти разглагольствования я предпочитал ее разговорам о Летиции. В голосе Моник, который лился неудержимым потоком, так и сквозило самообожание, но этого чувства никто с ней не разделял. Ронши опять томно взглянул на часы, почти как умирающий, и решил соснуть, пока мы едем. Ликующая победительница Моника оставила его в покое. Карола улыбалась уже через силу.

Теперь наша лошадь останавливалась на каждом углу погрузившихся в темноту улиц, и у меня родилось подозрение, что эта вороная изможденная кляча определенно должна иметь какое-то отношение к зловещим черным кошкам. С каждым шагом она хромала все больше, еле переставляя ноги.

Моника замолчала, исчерпав тему о предсказании погоды, и была вознаграждена за это молчаливой же благодарностью Каролы. Карола Марелли, похожей на Летицию, быть может даже более красивой, чем Летиция, чем моя Летиция, печальная и одинокая, навсегда оставшаяся в гробу, под тяжелыми пластами сырой земли...

...Быстро взмахивая лопатой, могильщик засыпал гроб. Невидимые в зелени кипарисов, пели птицы. Было четыре часа пополудни, стояла ясная погода. Далекие тучи едва вырисовывались на горизонте. Фанни всплакнула, потому что знала, что не очень обильные слезы ей к лицу. Она плакала, и Ильдебранд ее утешал. Моника прочла заключительную молитву, но никто из нас к ней не присоединился. Ронши окончательно сломал свои часы. Карола держалась, как подобает женщине, которая никогда не падает духом. Она только что засмеялась, и мы все вздрогнули, но простили ей этот смех:

слишком прекрасна была она. Только Моника могла ее ненавидеть. Валези обнял Луизету.

Мрачные черные тучи набежали как-то внезапно. Солнце заволкло, и оно едва успело напоследок робко скользнуть своим лучом по дальним шпилям церкви Пречистой Девы, очень высоким, очень красным. Закончив молитву, Моника истерически разрыдалась. Мы в последний раз посмотрели на свежевскопапную землю, под которой покоилась Летиция, и пустились в обратный путь измученные и бледные. Все это было в незапамятные времена: сегодня, в четыре пополудни...

Карету встряхнуло особенно сильно. Старая вороная кляча выбивалась из последних сил и отчаянно хромала. Мы боялись, что она снова упадет, это могло оказаться роковым для ветхой кареты. Даже Ронши отказался от своего намерения поспать — мешала тряска, к тому же он не мог больше утешаться, поглядывая на часы. Смеясь без всякой причины нервно и возбужденно, Карола прижималась к моему боку. Моника наблюдала за ней с неубывающей и неутолимой ненавистью, однако на Каролу это не производило ни малейшего впечатления. Ее смех напоминал мне смех Летиции. Карола вообще напоминала мне Летицию, очень сильно напоминала мне мою Летицию. Я уже понял, что мое желание не сбудется: не суждено мне увидеть под фонарем силуэт зловещей черной кошки, моющейся под дождем. Не осуществиться этому наваждению, зато здесь, рядом со мной, было другое наваждение: Карола Марелли, вполне ощутимая и прекрасная и так похожая на Летицию... Или Летиция не умерла, и я могу ее обнять? Однако у меня хватило здравого смысла преодолеть это наваждение — не могло оно меня обмануть, так как я знал, что сегодня мы похоронили Летицию в четыре часа пополудни. Это было очень давно, и на память мою опустилась мрачная завеса, сотканная из кипарисов, птиц и дождя. Комья свежей земли с глухим стуком падали на гроб Летиции, моей бедной Летиции, умершей у меня на руках, умершей по-настоящему и навсегда, никогда она не воскреснет, никогда не родится вновь.

За нами гвталась вторая лошадь и уже почти нас настигла. Впрочем, погоня эта была всего лишь игрой моего воображения, призрачной фантазией. Я хорошо это знал и все же не мог преодолеть дрожь, охватившую меня. До нас теперь ясно доносился смех Валези и Луизеты и разговор Ильдебранда с его Фанни. Потом я забыл и о второй карете, и о сидевшей рядом Кароле и снова стал вглядываться в таинственные тени

под тускло светящими фонарями. Мопика, такая добрая, такая предупредительная, поспешила сообщить мне, хотя я ее об этом и не просил, что тени под фонарями — это вовсе не злобные кошки. Как всегда, Мопика была права, ведь именно за это ее и ненавидели.

Она уже пришла в себя после падения лошади и спова, рыдая и всхлипывая, пачала вспоминать мою Летицию. Глотая слезы, обильно струившиеся по ее щекам, она так жеманничала, что мне захотелось впрыснуть в ее дряблую шею хорошую дозу цыкуты.

Ронши шумно зевнул, и у него при этом вздулись вены на висках. А когда Карола брезгливо поморщилась, мне вновь показалось, будто рядом со мной сидит воскресшая из мертвых Летиция.

Дождь не унимался, но мы уже почти приехали. Уже можно было различить фигуру Секундины Лопарт, привратницы, вышедшей нас встретить.

Наконец мы вылезли из карет и отпустили кучеров. Оказавшись рядом со мной, Валези и Луизета и Ильдебранд со своей Фанни постарались принять сокрушенный вид, насколько это было возможно при их молодости и жизнерадостности. Впрочем, Летицию они любили и уважали по-настоящему.

Жалкая воропая кляча медленно удалялась по улице, товарка ее шла следом. Наша верная Секундина Лопарт стояла с заплакавшими глазами: видимо, еще находилась под впечатлением выпоса тела и наше прибытие опять напомнило ей о покойнице. Секундина помогала Фите Хромой и Нарцисе Мус спаряжать Летицию в последний путь. Я ее вознаградил за это с щедростью, на какую только способен небогатый художник вроде меня. Секундина осталась довольна, осушила слезы и, успокоенная, вернулась на свое обычное место в подъезде.

А дождь продолжал лить все сильнее и сильнее. Мы промокли и дрожали от холода. У Ронши начинался озноб, его трясло, и Мопика дала несколько медицинских советов, дружески похлопывая его по спине. Валези зевнул и спова обнял Луизету. И все молча, с попикшими головами пачали подниматься по лестнице.

Подниматься нам было высоко, и, пока мы шли, наши длинные тени скользили рядом, по едва освещенным стенам. Мопика уже в новой роли врача-терапевта открывала шестые и часто останавливалась, чтобы проконсультировать следовавшего за ней Ронши. Валези и Луизета, Ильдебранд с его

Фанни шли за ними, а я замыкал шествие. Подъем был трудным — надо было добраться чуть ли не до чердака. У Ронши, самого толстого из нас, началась одышка. Остановились передохнуть. Валези раскашлялся и на сей раз не обнял Луизету. Ей это не понравилось, поэтому на следующий этаж она поднималась с обиженным видом.

Когда мы проходили мимо дверей толстой сеньоры де Фрамис, навстречу выскочил Самсон, обнюхал нас и залился злобным лаем. Унять его выбежала Офелия, которая обратилась к псу, соблюдая все церемонии, будто говорила со старым, опытным дипломатом. Самсон унялся, и мы благословили в душе Офелию, все, кроме Моника, принявшей авторитетным тоном высказываться о проблемах собачьего воспитания. Валези и Луизета успели помириться и преспокойно обнимались, будто и не думали подниматься выше. Добравшись до цели, мы были вынуждены их позвать: кричали мы громко, но совсем не раздраженно.

Дверь нам открыла Сапофрена. Она держала за руку Фамагусту — дочку Летиции и другого мужчины. Фамагуста была еще совсем маленькая, она бросилась мне на шею и стала громко оплакивать потерю матери; я отстранил ее довольно бесцеремонно. Я никогда не любил Фамагусту и теперь, слава богу, мне незачем было притворяться и изображать, будто я испытываю к этому ребенку нежные чувства — теперь, когда Летиции нет в живых. Девочка кинулась к Монике, одарив меня яростным оскалом, и мне тотчас вспомнился по ассоциации пес сеньоры де Фрамис.

Моника заключила Фамагусту в объятия и осыпала ласками. Валези и Луизете, Ильдебранду и его Фанни — всем им тоже волей-неволей пришлось приласкать сиротку: этого требовало приличие. Карола с большим тактом продолжала играть роль кузины покойной. Только Ронши, которого тряс озноб, не обратил никакого внимания на ребенка, к тому же он все еще никак не мог успокоиться из-за своих часов. Он так страдал, что я, будь то в моих силах, обязательно починил бы ему упорно не желающий действовать механизм.

Фамагуста перестала плакать и с жадностью пожирала мятные карамельки, которыми ее потчевала Моника. Воспользовавшись наступившим молчанием, Сапофрена объявила, что меня дожидается несколько дам. То были герцогиня Бургундофора, Ксантипа, Фатима и Кристалина. По словам Сапофрены, шесть других дам в трауре только что отбыли, измученные слишком долгим ожиданием.

Вместе с моими спутниками я вошел в гостиную, где находились оставшиеся четыре дамы.

Герцогиня Бургундофора приехала из своего имения в Пиринеях, специально чтобы выразить мне соболезнование. Она была женщиной толстой, старой и весьма возвышенной. Как и полагалось герцогине, она не верила в прогресс и в возможность совершенствования будущих поколений. Если бы случилась революция, герцогиню Бургундофору непременно бы казнили. Но я ее уважал. Нас связывали с ней воспоминания о далеком прошлом, о сообщи совершенных преступлениях, однако не кровавых, а всего-навсего эстетических. Под бременем прожитых лет Бургундофора и сама превратилась в воплощенное преступление, но, невзирая на это, продолжала держаться, как подобает истинной герцогине.

Она прочувствованно воздала хвалу покойной Летиции, потом мы оба всплакнули и этим ограничились.

Фатима по-арабски, с изысканной учтивостью приветствовала Ильдебранда — профессора уголовного права в университете Лавинии *. Ильдебранд, хотя и запинаясь, ответил ей не менее почтительно, они не знали, что еще сказать друг другу, и Моника пошла это вполне естественным. Ильдебранд, когда не был занят своей Фанни, блуждал мыслью в лабиринтах учения Нехака ибн Мансура.

Потерпев фиаско с арабским, Фатима упала духом, весь ее апломб исчез, ибо по натуре она была очень робкой. Ксап-типе стало жаль приятельницу, и, чтобы ее утешить, она заговорила с ней о пальмовых рощах.

Ронши вступил в беседу с Кристалиной — канонисой ордена знатных дам Моравии. Они обменялись мнениями о носящих митры аббатисах женских монастырей и об испорченных часах Ронши.

Было уже поздно, может быть часов семь. Снаружи царил тьма. А электричество вдруг начало мигать, меркнуть и в конце концов погасло. Комнату наполнил густой и зловещий мрак. Как слепой спрут, вползал он в окна, жадно пащупывал углы. Мы почти ощущали прикосновение его холодных парализующих щупалец.

Но Сапофрепа внесла свечи из чистого воска, и их мягкий свет рассеял наши страхи. Погребальные свечи зажглись над мертвым телом темноты, которая разлагалась на наших

* Так называет автор Барселону.

глазах с поразительной быстротой. Всего лишь несколько часов назад свечи эти торжественно и предачно горели у гроба Летиции, охраняя покойницу от когтей дьявольских кошек. Теперь они победили мрак, воздав ему последние почести трепещущим пламенем. Свечи таяли, падали капли воска, и я проникался сочувствием к этим благородным подвижникам. Для них сегодня выдался очень напряженный день. Поэтому, как только зажглось электричество, я велел Сапофрене унести свечи отдохнуть, они этого заслужили.

Удобно расположившись на подушках дивана, герцогиня Бургундофора принялась развлекать нас старыми анекдотами. Ксаптипа неодобрительно отозвалась о дамах в трауре, которые не дождались меня, однако выразил опасение, как бы они не вздумали возвратиться. Фатима грезила о мечетях и финиковых пальмах. При молчаливом одобрении Кристаллины Ронши злословил об одной очень известной аббатисе, якобы участвовавшей в какой-то некрасивой истории с контрабандными часами. Валези обнимал Луизету и, могу вас уверить, делал это отлично. Ильдебранд повторял урок права, и его Фанни ему помсгала. Мошика доедала за Фамагусту мятную карамель и стыдила девочку за обжорство. Сапофрена хлопотала на кухне. Карола улыбалась. О Летиции никто не вспоминал.

Дождь отстукивал по крыше танец в африканском ритме. На мгновение переставал, словно переводя дыхание, и тут же принимался стучать с новой силой. Ветер швырял в окна струи воды с такой яростью, что мы уже опасались за стекла. Сучья деревьев, раскачиваясь от ветра, вонзались в паутину мрака и вырывали из нее редкие нити. В лавочке Марианжелы, зеленщицы, еще мерцал огонек, в крошечной лавочке, где продавались такие полезные для здоровья вещи, как полынь, солодковый корень, лакрица, цитварное семя, можжевельник, змеевка, королевский чистоуст.

Жизнь в воскресшем электричестве едва теплилась. Неужели нам угрожает новое нашествие мрака? Так не хотелось нарушать заслуженный отдых свечей...

Дождь над нашими головами совсем обезумел. Казалось, он исполняет свирепый ритуальный танец доисторических времен, перенеся вдруг меня в ту эпоху. Я слышал звуки тамтама, я видел магический обряд первобытной охоты. Ронши превратился в жреца, Моника — в лань, израненную каменными стрелами. Бургундофора и остальные с диким ревом гнались за ланью Моникой, уступы скал окрашивались

ее кровью. Покойная Летиция была покровительницей охоты, а мы с Каролой стояли в стороне и наблюдали. Карола улыбалась и плотоядно облизывала губы — толстые губы молодой дикарки.

С возмущенными криками все набросились на Мопику, это походило на побитие камнями. Все, кроме Каролы, которая только улыбалась. Моника печально нарушила правила благопристойности (в чем это выразилось — лучше умолчать), и наказание, затем последовавшее, было чрезвычайно сурово. Карательную акцию возглавила Бургундофора, посрамленной Монике оставалось только порыться у себя в карманах — поискать еще мягких карамелек для Фамагусты. Но девочка уже обьялась ими, ее мутило, и потому она безжалостно отвергла Мопику и ее угощение. Она предпочла Каролу, упорно принимая ее за покойную мать. Конечно, заблуждение это объяснялось тем, что Фамагусту уже клопило ко спу и к тому же она была совсем маленькой. Тем не менее нельзя было отрицать поразительного сходства между Каролой и Летицией. Только Карола, пожалуй, была красивее Летиции. Красивее уже потому, что выпешней ночью Летиция спала в гробу, засыпанном сырой землей.

Сырая земля засыпала Летицию, бледную и холодную. Безмолвную, беззащитную, одинокую. Даже черпой кошки не осталось у ее могилы. Птицы давно умолкли на ветвях вечнозеленых кипарисов. От дождя потускнели ярко-алые шпили церкви Пречистой Девы. Могильщик, закопавший днем гроб Летиции, ночью будет жаловаться во сне на свою безрадостную жизнь. А Летиция останется одна в сырой земле. Много поколений птиц сменится на вечнозеленых кипарисах кладбища. Могильщик сохнет, умрет, и на смену ему лягут другие могильщики, которые тоже будут пить и жаловаться на тяжелую жизнь. Разрушатся шпили церкви Пречистой Девы от жадных неумолимых дождей и времени. А Летиция все будет лежать в сырой земле, ее сожрут черви в сырой земле, она там превратится в прах. Сегодня она, бледная и холодная, еще лежит нетронутая под корнями кипарисов, под слепыми небесами, под комьями сырой земли. Черви сожрут ее позже, и останется только горстка праха в сгнившем гробу, в сырой земле. И спустя много тысячелетий копи апостола Фомы промчатся над этим прахом, над прахом моей Летиции, которая сегодня, бледная и холодная, совсем одна поконится в сырой земле.

Электричество все время мигало. Бургундофора и остальные помирились с раскаявшейся Моникой; восстановив мир, все оживилось, и снова зазвучала беседа под аккомпанемент дождя. Поощряемый сочувственной улыбкой герцогини, Валези без стеснения обнимал Луизету. Ильдебранд зубрил урок, Фанни его слушала. Фатима находилась во власти миража: ей мерещились далекие пальмовые рощи, заброшенные мечети, бескрайняя пустыня. Она давно мечтала о панисламистской революции, которая рисовалась ей, как романтический караван верблюдов, шествующий через пустыню лунной ночью. Ксантипа немного успокоилась, когда стало ясно, что шесть дам в трауре сегодня не возратятся. А Ронши опять стал бить озноб, лихорадка, отпустившая было его, возобновилась. Ронши трясся и просил извинения у своей собеседницы Кристаллины, которая очень охотно его простила и живо заинтересовалась его здоровьем, а также его золотыми часами. Однако щедрость не была добродетелью Ронши, и он не догадался подарить часы Кристаллине.

Фамагуста приставала к Кароле, требуя рассказать ей сказку. И Карола растерянно озиралась по сторонам, ища помощи. Ее охотно выручила Моника, очень мило рассказав про Аладина и волшебную лампу. Сказку слушали Фамагуста и старая герцогиня, обе затанув дыхание. На кухне хлопотала Сапофреца. О Летиции никто не вспоминал.

Яростный воинственный танец дождя начал затихать. Тучи расселились, и теперь капли ударялись о крышу глухо и неторопливо, словно рассказывали что-то доброе вроде сказки про Аладина. На небе показалась луна, очень печальная и как бы тронутая зеленоватой ржавчиной. Ведь луна из меди, и потому сырость ей вредна. Тучи уходили на запад, в сторону красных готических шпилей церкви Пречистой Девы. Хотя я этого и не видел, но догадывался, что сейчас у стен этой церкви бродят полчища черных кошек.

На всех колокольнях города торжественно прозвучало десять ударов. Они доносились с самого верха — оттуда, где царствуют ангелы, и едва нас не оглушили. Испуганная Фамагуста принялась уверять нас, что это гений Аладина подает голос. Герцогиня Бургундофора поддержала девочку, и Моника заметила — впрочем, очень тихо, — что герцогиня похожа на выжившую из ума старуху. Дух противоречия и злоба снова проснувшись в Монике; оставаясь безукоризненно вежливой, она третировала Бургундофору, обращаясь с ней, как со слабоумной.

Лунный свет легко преодолел сопротивление окон и проник в комнату, ободрил свет электрический, который перестал мигать и светил теперь как положено.

Аладин стал императором Китая и счастливо женился на своей Брудульбудур. Фамагуста потребовала сказку про Али Бабу. Герцогиня тоже выразила желание ее услышать, и Монике оставалось только превратиться в Шехерезаду. Но едва она начала, вошла Сапофрена и объявила, что ужин подан.

Шествие к столу возглавила Бургундофора, самая старая и самая знатная среди нас. Все ели с удовольствием и негромко поминали Летицию. За столом Валези лишился возможности обнимать Луизету, и теперь лишь взглядом клялся ей в вечной любви. Словно учитель, радующийся успехам ученицы, Ильденбранд наблюдал, как его Фанни, которая славилась аппетитом, утоляет голод. Обильная трапеза возвратила Ронни здоровье, лихорадка вновь отступила. При хлебывая вино, он беседовал с Кристалиной, подвергая суровому осуждению все ту же аббатису, и даже выпитое вино его не смягчило. Фатима старалась обратить Ксантиму в панисламистскую веру.

Сапофрена снова вала между комнатой и кухней, будто выступала в соревновании кулинаров, где мы были благосклонной и признательной судейской коллегией. Старая Сапофрена знала меня со дня моего рождения и с тех пор вдохновенно и искусно старалась мне угождать. Правда, она не любила слишком многолюдных сборищ и громких разговоров. Наши голоса ее раздражали, и потому при первой же возможности она удалялась в свои владения — к кухонной плите.

Фамагуста, бодрствовавшая, пока светила волшебная лампа Аладина, снова задремала и снова приняла, уже полусонная, Каролу за покойную мать. Моника поправила ее, а я побранил. Тогда Фамагуста расплакалась и обещала, что впрямь будет панькой. Карола улыбалась. Мы все на нее взглянули и побледили. Фамагуста была права: любой из нас мог бы поклясться, что видит перед собой воскресшую Летицию.

Мы смотрели на нее со страхом и молчали. А Карола улыбалась и уже не приводила никаких доводов для оправдания своей улыбки. Да никто из нас и не осмелел бы потребовать от нее объяснений. Мы все понимали, что нарушен некий закон, но ни само это нарушение, ни обстоятельства, при которых оно совершилось, не были предусмотрены ни одним законодательством, а присущее всем нам консервативное чувство такта не позволяло обращаться с вопросом к

Кароле. Консервативное чувство такта и покоряющая красота Каролы.

Никто из нас ее не знал. Она появилась в момент смерти Летиции, назвалась Каролой Марелли, сказала, что доводится покойной родственницей, и как женщина, которая никогда не падает духом, все время улыбалась. А мы прощали ей эту улыбку — прощали ради ее красоты. Карола была изумительно красива: красивее Фанни, красивее Фатимы, Ксантипы, Кристалины, Моники, Луизеты. Может быть, даже красивее Летиции, умершей у меня на руках и похороненной в сырой земле.

Лишь с трудом освободились мы от наваждения, побранили Фамагусту за то, что она не умсет себя вести, и приговорили виновную без права апелляции к ссылке в постель. Фамагуста завизжала, и ее вырвало мятвыми карамельками. Кончилось тем, что Сапофрена увела ее из комнаты и после долгих утешений кое-как успокоила. И тогда всеми нами вдруг овладел смех — беспричинный, какой-то истерический. Потом мы постарались окончательно рассеять свой страх. Моника утверждала, что рот Каролы совсем не похож на рот Летиции: у покойной он был гораздо больше. Я постарался представить себе рот Летиции и не смог. Неужели ее образ уже начинает тускнеть в моей памяти? Когда я целовал Летицию, ее рот мне всегда казался таким маленьким...

Моника снова завладела беседой и снова ударилась в воспоминания о Летиции. Карола по-прежнему улыбалась.

Мы кончили ужинать, и Сапофрена убрала со стола. Монолог Моника был прерван мяуканьем, которое доносилось из-за входной двери. Сапофрена открыла. Вошла кошка, но не злобешая, черная, а обычная, ангорская. Все узнали любимицу пашей Секундины. Сладострастно потягиваясь, кошка не спеша забралась на стол и занялась остатками пашей тризны. Мы не сочли нужным ей мешать и даже по очереди приласкали ее. Карола — последняя. Я почему-то почувствовал раздражение, глядя, как Карола проводит рукой по кошачьей спине. Кошка мурлыкала от удовольствия, не теряя, однако, достоинства, терлась о подол Каролы и вскоре уснула.

Мы заскучали. Тогда герцогиня сделала вполне демократический жест, милостиво предложив сыграть в карты. Из стыда я не стану называть игры, в которые мы играли — обычно в них играют завсегдатаи тавера, — по другим мы не знали. Монике везло: она часто выигрывала, к пей, как на-

рочно, все время приходили козыри. Герцогине первой па-
скучила игра. Решили пемного помузицировать, и паша раз-
носторонне одаренная подруга спела нам арию из «Лючии»
очень уверенно и непринужденно. Ей хлопали, и она раскла-
нялась совсем как с эстрады.

У герцогини, обремененной жизненным опытом, возрастом
и грехами, слипались веки. Было уже очень поздно. Герцогиня,
наверно, соскучилась по своему тихому имению в Пиренеях
и парку с вековыми елями. Валези в первый раз после ужина
обнял Луизету. Ильдебранд делился знаниями со своей Фан-
ни. Раскачиваясь из стороны в сторону, Фатима бессознатель-
но подражала колыханию романтических караванов, шест-
вующих через пустыню. Ксаптина никак не могла забыть о
шести дамах в трауре, а Ропши и Кристалипа принялись за
очередную аббатису. Снизу, из квартиры Офелии де Фра-
мис, донесся лай Самсона, и ангорская кошка, широко рас-
крыл глаза, павостирила уши. Карола улыбалась.

Спящую в соседней комнате Фамагусту, должно быть,
мучил кошмар: она стонала и звала мать. Сапофрена броси-
лась ее успокаивать. Тенерь Моника вызвалась спеть романс.
Беллини, по ее предложению было отвергнуто.

Луна плавно совершала свой путь по небу, избегая встреч
с коварными звездами. В королевстве аистов между тем часы
пробили двенадцать раз. Забыть о Летиции нам не позволяла
Карола.

О Летиции, лежащей в гробу, там, под кипарисами, залп-
тыми лунным светом. Корни кипарисов ввипчиваются в рых-
лую землю. Летиция лежит бледная под светом медной луны.
В свою первую ночь на кладбище, холодную и лунную, она
будет оплакивать свою беззащитность, свое одиночество. Ле-
тучие мыши в неровном и низком полете будут задевать ее
могильный холм. С верхушек деревьев прокричат совы, пред-
вещая беду. А Летиция — одна под медной лупой, печальная
и робкая, под медной лупой. Могильщик за чаркой доброго
вина будет рассказывать товарищам жуткие истории о при-
видениях. Зловещий черпый кот вонзит когти в рыхлую зем-
лю чьей-нибудь могилы в поисках грешной души. Черви при-
мутся за свежий труп, за чьи-то неизвестные останки. А Ле-
тиция — там, наступила ее первая ночь на кладбище. Белая,
лежит она под кипарисами, в сырой земле, под светом мед-
ной луны.

Герцогиня Бургундофора внимательно сосчитала удары
башенных часов. Затем поднялась и все, последовав ее при-

меру, начали прощаться со мной, еще раз выразив соболезнование в самых избитых выражениях. Только Карола не собиралась уходить, и это никого не удивило. Бургундофора рассеянно спросила, успокоилась ли Фамагуста, и гости, как бы испугавшись, что визит может затянуться, заторопились к дверям. Моника, которая еще не простила нам отвергнутый романс Беллини, тихо и зловеще предсказала, что этой ночью обязательно произойдет несчастье. Ронши по-прежнему занимался Кристаллиной и на прощание все же подарил ей свои испорченные часы, уверяя, будто их можно еще исправить, если прибегнуть к хирургической операции. Валези ласкал Луизету. Ильдебранд обвинил рукой осиную талию Фанни, своей стройной и умной невесты. Стоя позади меня, улыбалась Карола. Фатима обсуждала с Ксантипой сумму субсидий для поддержки панисламистского восстания. На темной лестнице гулко отдавались шаги уходивших гостей.

А мне вспомнилась старая ворсиня кляча; вспомнились зловещие черные кошки под дождем, луна медного цвета, гроб под комьями рыхлой земли... Совсем рядом, почти касаясь меня, улыбалась Карола. Мои друзья уже вышли наружу и разошлись по разным улицам, залитым лунным светом. Я запер входную дверь.

Фамагусту мучили кошмары, и она стонала — ее желудок не мог справиться с мятными конфетами. Девочка то и дело просыпалась, кривя рот от позывов к рвоте. Сапофрепа приготовила пастой из лекарственных трав и заставила Фамагусту выпить его горячим. Фамагуста обожгла язык, однако позволила Кароле, сидевшей у ее изголовья, утешать и ласкать себя. Девочка опять принимала ее за Летицию, Карола улыбалась. От прикосновения ее нежных пальцев Фамагуста успокоилась и вскоре заснула спокойным, глубоким сном. Мы потихоньку вышли из детской.

Луна щедро заливала комнату своим медным светом, и лицо Каролы в этом свете казалось мраморным, до ужаса похожим на лицо Летиции. Сапофрена, заметив это сходство, поспешно перекрестилась, убежала к себе в комнату и там заперлась. Карола же вызывающе засмеялась и начала гладить ангорскую кошку.

Нервы мои не выдержали, я вдруг вспомнил когда-то читанные страшные истории. В ярости схватив кошку, жавшуюся к груди Каролы, я вышвырнул ее на улицу, где светила медная луна. Я понимал, что мне не избежать неприят-

ного объяснения с Секундиной, и все же не мог поступить иначе.

Карола, безмолвная и страшная, выпрямилась во весь рост. Она стояла передо мной в свете медной луны, и ее великолепные глаза горели негодованием. Какая она была белая в свете медной луны. Какая прекрасная была Карола в свете медной луны! Она стояла передо мной, как белое и живое изваяние в свете медной луны, точное подобие Летиции, и вид ее вселял в меня ужас.

Моя бедная Летиция, печальная и одинокая, лежит под корнями кипарисов. Лежит в гробу под комьями рыхлой земли. Лежит Летиция, похороненная в четыре часа пополудни, в далекие незапамятные времена. Летиция, умершая у меня на руках, умершая навсегда, без надежды на воскресение и на рождение вновь.

И тем не менее Летиция здесь, передо мной, в свете медной луны. Она готова отдаться мне в свете этой медной луны, белая и нагая. Я хотел бежать от призрака Летиции — меня влекла живая Карола, страшная и прекрасная в свете медной луны. Каролу я желал обнять, а не тускнеющий в памяти образ моей Летиции, бледной и печальной, лежащей в гробу, под кипарисами, под комьями рыхлой земли, залитой лунным светом. Сегодня всю ночь напролет я буду любить и ласкать Каролу Марелли.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Альдекоа, Хосе Игнасио (1925—1969) — один из крупнейших писателей современной Испании, автор романов «Блеск и кровь» (1954), «С восточным ветром» (1956), «Великое солнце» (1957), «Часть одной истории» (1967), сборников рассказов «Ожидание третьего класса» и «Накануне молчания» (1955), «Сердце и другие горькие фрукты» (1959), «Лошадь пикадора» (1961), «Археология» (1961), «Нейтральный угол» (1962), «Птицы и пугала» (1963), «Птицы Баден-Бадена» (1965), «Железная Санта-Олаха» (1968) и путевых очерков «Тетрадь Годо» (1961). Рассказы И. Альдекоа переведены более чем на 10 языков.

Арбб, Себастьян Хуан (род. в 1912 г.), пишет на каталаанском и испанском языках. Первый роман «Земля Эбро» написан на каталаанском языке. За испанский вариант этого романа (1934) удостоен премии Фастенрат. Автор романов «Бесполезное сражение», «Ночные дороги» (1936) (премия Города Барселоны), трилогии

«Мартин де Каретас» и др. В 1949 г. получил премию «Надаль» за роман «На серых камнях». Последний его роман «Надежда» вышел в свет в 1968 г. Автор нескольких сборников: «Рассказы дельты» (1965), «Люди земли и моря» (1962), удостоенного премии Бласко Ибаньеса, а также воспоминаний, эссе и литературных исследований: «Вердагер» (1956), «Пио Бароха и его время» (1963), «Сервантес».

Аус, Виктор — повеллист. Его рассказы публикуются в мадридских журналах.

Бальестерос, Мерседес (род. в 1913 г.), окончила философско-филологический факультет Мадридского университета. Автор пьес «Неизвестная женщина», «Поющие бабочки», трагедии «Снежная палатка», романов «Комета и эхо», «Собака со странным хвостом»; выпустила несколько сборников рассказов, сотрудничала в юмористических журналах, ее перу принадлежат юмористические сборники «Такова жизнь», «Этот мир». Пишет также для детей — «Донья Сентенито, дикая кошка». Автор литературных исследований и сборника афоризмов «Радости и горести». За рассказы награждена премией «Коррео литерарио».

Гойтисоло Гай, Луис (род. в 1935 г.), печатается в журналах с 1955 г. За рассказы удостоен премии «Сезам» (1956). Автор романов «Окранна» (1958), за который удостоен премии «Библиотека бревна», и «Те же слова» (1962). Романы Л. Гойтисоло Гая распадаются на циклы-эпизоды.

Доменеч, Рикардо (род. в 1935 г.) — прогрессивный литературный критик, повеллист, сотрудник журнала «Инсула». Опубликовал ряд статей о театре и современной реалистической литературе. Печатался также в коммунистических журналах «Нуэстрас идеас» и «Реалидад». За повеллы удостоен премии Габриэля Миро. Творчество Р. Доменеча преимущественно посвящено деревне.

Кандель, Франсиско. Пишет на каталанском и испанском языках. Опубликовал несколько романов, рассказы Канделя собраны в книгах «Там, где город меняет свое лицо» (1957), «30 тысяч песет за одного человека» (1968). Пишет, главным образом, об обитателях барселонских трущоб. Автор книги «Твой пульс не бьется, Хемингуэй» (1959).

Киньонес, Фернандо (род. в 1930 г.), основал и редактировал кадисский журнал «Платеро». Поэт, переводчик (с итальянского, английского, немецкого языков), очеркист, критик. Автор рассказов (сборник «Большой сезон»), посвященных корриде. Удостоен нескольких литературных премий. В 1967 г. вместе с другими деятелями культуры подписал воззвание в защиту арестованных франкистским правительством руководителей рабочих комиссий.

Конде Кармен (род. в 1907 г.) — одна из наиболее известных современных поэтесс Испании. Начала печататься в 1929 г. Автор стихотворных сборников «Устье», «Страстное слово» (1944), «Женщина без рая» (1947), «Живущие века» (1954), романов «Жизни, отраженные зеркалом» (1944), «Медь» (1955), «Темные корни» (1954), рассказов, эссе «Моя книга», «Эскорнал» (1949), воспоминаний «Начиная жить» (1955).

Лаиглесиа, Альваро де (род. в 1922 г.) — известный юморист. Автор более 30 книг, рассказов, повестей, а также пьес. Редактор и автор юмористического журнала «Ла кодорнис» («Перепелка»). Сборники рассказов А. Лаиглесиа («Как приятно пахнут дамы», «Полумертвый и ничего больше», «Плакать запрещается», «Сундук с мертвецами», «Умирают только дураки», «Мир, демон и рыба» и др.) выдержали множество изданий и пользуются большим успехом.

Матуте, Ана Мария (род. в 1926 г.) — одна из выдающихся прогрессивных писательниц Испании. Автор многочисленных рассказов, повестей и романов: «Абель» (премия «Надаль»), «Праздник на Юго-Западе» (1953), «Маленький театр» (1954), «В этой земле» (1955), «Мертвые сыновья» (1958, русский перевод — 1964), трилогия «Торгаши»: «Первые воспоминания» (1960) (премия «Надаль»), «Солдаты плачут по ночам» (1964, русский перевод — 1970), «Западня» (1969). За рассказы удостоена многих литературных премий. Последний сборник ее рассказов «Разные дети» вышел в свет в 1968 г. Автор статей, посвященных творчеству Тараса Шевченко. Много пишет для детей. На русском языке издана повесть «Безбилетный пассажир» (1968). Произведения Аны Марии Матуте переведены на 18 языков. Принимает участие в антифранкистских выступлениях испанской интеллигенции.

Медио, Долорес (род. в 1920 г.), за первую повесть «Нина» получила премию Кончи Эспины (1945). В 1952 г. за автобиографический роман «Мы, Риверо» — премию «Надаль» (1953). Опубликовала ряд романов: «Государственный служащий» (1956, русский перевод — 1958), «Рыбка плавает по-прежнему» (1959), «Дневник учительницы» (1961), «Бибиана» (1963, русский перевод — 1968), «Сеньора Гарсиа» (1967). Известна также как автор рассказов и повестей («Утро», «Светлый дворик», «Компас надежды» и др.). Последний сборник рассказов — «Андрес» (1967). Пишет также для детей («Дьявол не покупает души» и др.). Произведения Д. Медио переведены на многие языки.

Мульис, Мауро (род. в 1931 г.), в 1957 г. окончил в Мадриде Высшую школу журналистики. Главный редактор еженедельника «Эспаполь». Удостоен нескольких литературных премий, в том

числе в 1962 г. за один из рассказов — премии «Сезам». В 1963 г. опубликовал сборник «Получка», в 1968 г. — роман «Забастовка».

Пуьес, Антонио. Новеллист, литературный обозреватель журнала «Нисула». Рассказы А. Пуьеса публикуются в периодической печати, посвящены трудовым людям, ведутся обычно от лица ребенка.

Пуьес, Мерседес — псевдоним, под которым выступает писательница, живущая сейчас в эмиграции.

Ойо, Артуро дель — литературный и театралный критик, историк литературы. Опубликовал ряд книг, статей и рецензий, издал полное собрание сочинений Ф. Гарсиа Лорки. Автор книг «Мировой театр» (1953), «Балтасар Грасиан» (1960).

Поис Прадос, Эдуардо — новеллист, публикуется в периодической печати. Основная тема его творчества — современность, гражданская война. Сочувственно изображает бойцов республики.

Рабиниад, Антонио (род. в 1927 г.), первые рассказы опубликовал в 1947 г. В 1952 г. получил Интернациональную премию за свой первый роман «Встречи тайком». Второй роман, «Иногда в этот час», вышел в свет в 1965 г. В 1967 г. опубликовал сборник рассказов-воспоминаний «Удивленный ребенок» о детстве, совпавшем с гражданской войной. За эту книгу удостоен премии Города Барселоны. В 1969 г. выпустил в свет роман «Сны Марко», также посвященный на воспоминаниях о послевоенных годах.

Рубио, Родригес (род. в 1931 г.) — романист, журналист, литературный радиокomentатор. Автор шести романов, повестей и рассказов, опубликованных в периодической печати, за которые в 1961 г. получил литературную премию. За роман «Тяжелая любовь к земле» в 1965 г. удостоен премии «Планета». В 1963 г. вышел его роман «Печаль также умирает», в 1965 г. — «В это время» и «Пожар», в 1967 г. — «Ожидание», в 1968 г. — «Сутана». Опубликовал два сборника рассказов — «Слова, умершие в пыли» (1967) и «Убийство владетеля» (1969), а также экономическое исследование «Обезлюдивание деревни» (1966) и несколько книг-очерков. Основная тема его произведений — бедственное положение современной испанской деревни.

Суньига, Анхель (род. в 1911 г.), с 1936 г. выступает как журналист и кинокритик, драматург и новеллист. В начале 60-х гг. был в Нью-Йорке корреспондентом известной барселонской газеты «Вангвардиа». Автор работы «История кино», романа «Хлеб и футбол». Рассказы А. Суньиги собраны в книге «Жизнь мертвых».

Суньига, Хосе Эдуардо (род. в 1919 г.), после войны, как сторонник республики, долгое время не мог печататься. Работал радиотехником, фотографом, изучал восточные и славянские языки. Не-

реводчик, критик. Написал несколько романов, которые до сих пор не издааны, книгу о славянской культуре. Выпустил сборники рассказов «Всеобщие непужности» (1962 г.) и исторических повелл о Гредии времен Александра Македонского «Коралл и воды».

Товар, Хулио (ум. в 1965 г.) — выдающийся представитель послевоенной литературы Канарских островов. Опубликовал три книги стихов, автор драмы «Летние дни и ночи», в которой выступил продолжателем чеховских традиций. Редактировал «Газета Семаналь де лас Артес», выходившую в Санта-Крус де Тенерифе. Автор сборника «Хроника спокойной улицы» (1960). Основная тема его рассказов — быт мелких чиповников, рабочих.

Фернан Гомес, Фернандо — повеллист. Печатается в периодических изданиях (журналы «Инсула», «Эстафета литературы» и др.).

Фернандес Косеро, Педро Эмилио — автор ряда рассказов, опубликованных в 1965—1969 гг. на страницах различных мадридских и провинциальных журналов.

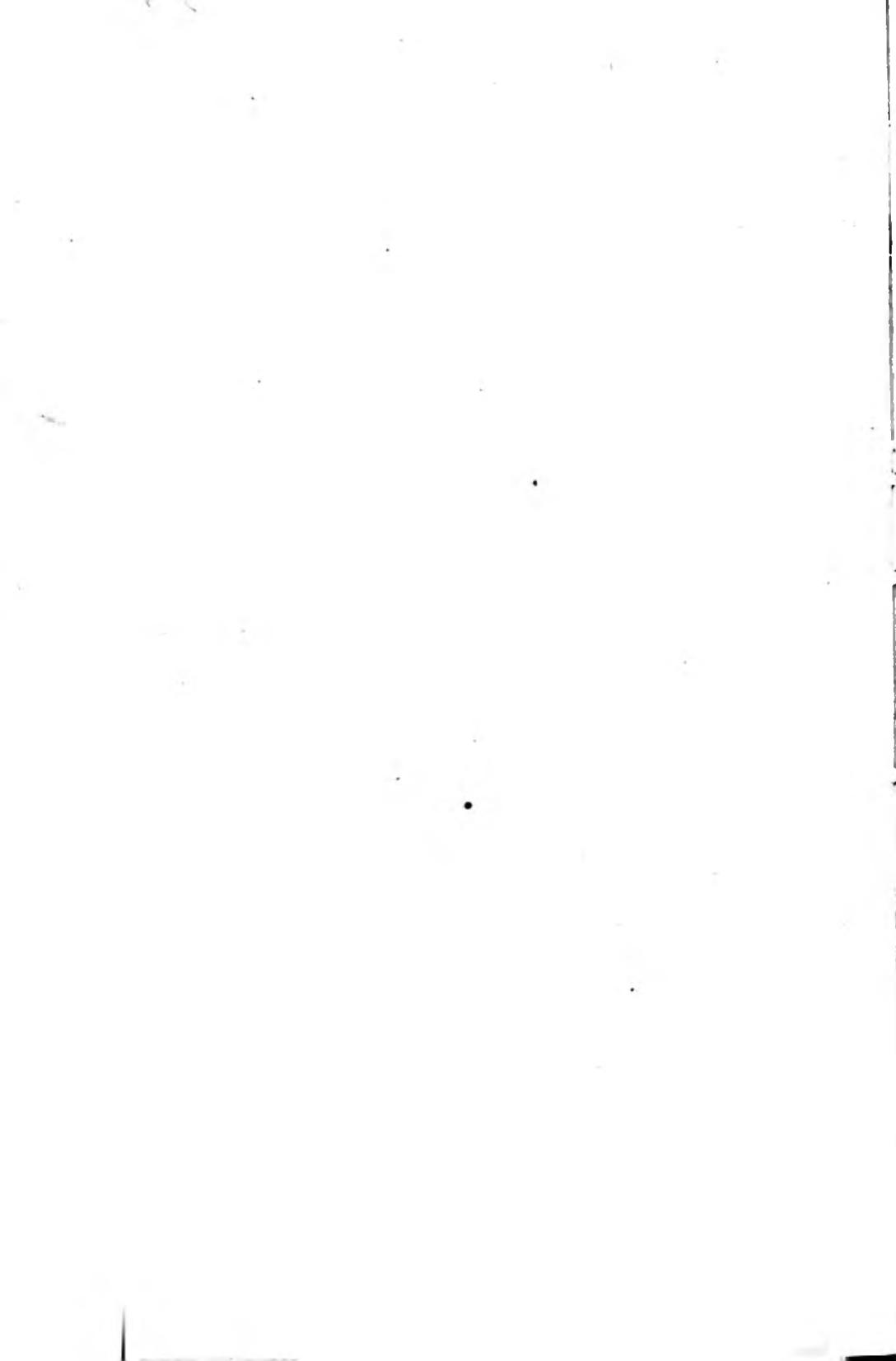
Фернандес де ла Регера, Рикардо (род. в 1916 г.), впервые выступил как журналист. В начале гражданской войны был насильно мобилизован во франкистскую армию. После войны живет в Барселоне. За роман «Когда я буду умирать» (1951) удостоен премии Города Барселоны. Автор романов «Мы потеряли рай» (1955, Интернациональная премия), «Блаженны те, кто любят» (1956, премия Копчи Эспины), нескольких книг очерков и рассказов («Бродяги на время», «Шпионаж» и др.), романа «Дожись!» о событиях гражданской войны (1954, русский перевод — 1965). С 1963 г. совместно с женой — писательницей Сусаной Марч — работает над многотомной эпопеей «Современные национальные эпизоды». Книжки Р. Фернандеса де ла Регеры переведены на многие иностранные языки. Регера — участник движения сторонников мира. Неоднократно выступал с протестами против политики франкистского правительства в отношении творческой интеллигенции.

Фернандес Сантос, Хесус (род. в 1926 г.), окончил философско-филологический факультет Мадридского университета. Руководил первым студенческим экспериментальным театром, работал актером в Национальном камерном театре и на Мадридском радио. Опубликовал романы «Храбрецы» (1954) и «На костре» (1957), за который получил премию Габриэля Миро, «Лабиринт» (1964), «Святой человек» (1969), сборник рассказов «Стриженная голова» (1958). Работает в кино в качестве режиссера и постановщика (документальный фильм «Испания 1800» о творчестве Гойи, полнометражный фильм «Достигнуть большего»). Один из выдающихся представителей прогрессивного направления в современной испанской литературе.

Эскобар, Хулио — новеллист. Печатается в периодических изданиях. Основная тема его творчества — быт и нравы современной испанской деревни.

Педроло, Мануэль де (род. в 1918 г.) — один из крупнейших современных каталонских писателей. Поэт, драматург, автор ряда романов и рассказов, опубликованных в 50—60 гг. Пишет на каталонском языке. Удостоен ряда литературных премий: Марагалля — за поэзию, Жоанома Марторселя — за роман и Виктора Катала — за рассказы. В 1957 г. получил премию Фастеспрат за роман «Один из нас», в 1962 г. за роман «Итог подведен утром» — премию Сан Хорди.

Эсприу, Сальвадор (род. в 1913 г.), изучал в университете право и древнюю историю. Поэт, новеллист, автор ряда романов. Один из самых известных писателей, пишущих на каталонском языке. Начал печататься с 16 лет. Первый роман — «Доктор Рип». После войны пишет драмы «Антигона», «Первая история Эсфири» и др. В 1946 г. опубликовал книгу стихов «Кладбище Сивервы», затем выпустил несколько сборников рассказов. Произведения Сальвадора Эсприу переведены на 12 языков.



СОДЕРЖАНИЕ

В. Ясный. Предисловие	5
---------------------------------	---

С испанского

Альдекоа, Хосе Игнасио	
Лошадь пикадора. <i>Перевод А. Старостина</i>	15
Пылающий меч. <i>Перевод А. Старостина</i>	23
Арбо, Себастьян Хуан	
Проклятая смоковница. <i>Перевод С. Вафа</i>	30
Мой кузен Кико. <i>Перевод С. Вафа</i>	41
Аус, Виктор	
В ожидании носорога. <i>Перевод Е. Гальперина</i>	53
Бальестерос, Мерседес	
Рождественский рассказ. <i>Перевод Е. Гальперина</i>	62
Гойтисоло Гай, Луис	
Цветник. <i>Перевод Э. Чашинной</i>	69
Доменеч, Рикардо	
Письмо. <i>Перевод С. Вайнштейна</i>	81

Кандель, Франсиско	93
Приходская канцелярия. <i>Перевод А. Старостина</i>	
Торегано, Конопатый и Восточный базар. <i>Перевод А. Старостина</i>	103
Как умер дядюшка Серральто. <i>Перевод А. Старостина</i>	119
Вешалка и коловорот. <i>Перевод А. Старостина</i>	127
Кино «Касас». <i>Перевод А. Старостина</i>	131
Киньонес, Фернандо	
Свадьба. <i>Перевод Э. Чашинной</i>	139
Коррида в Мадриде. <i>Перевод Э. Чашинной</i>	150
Большой сезон. <i>Перевод Э. Чашинной</i>	157
Конде, Кармен	
Башня мрака. <i>Перевод Е. Родзевич</i>	186
Ланглесиа, Альваро де	
Эптузназм. <i>Перевод А. Старостина</i>	190
Мадам и голубки. <i>Перевод А. Старостина</i>	203
Матуге, Ана Мариа	
Лавочники. <i>Перевод С. Вафа</i>	209
Учитель. <i>Перевод С. Вафа</i>	215
Рассвет. <i>Перевод С. Вафа</i>	228
Рождество Маленького Циркача. <i>Перевод С. Вафа</i>	232
Медно, Долорес	
Адрес. <i>Перевод С. Вафа</i>	236
Во второй раз. <i>Перевод С. Вафа</i>	246
Несправедливость. <i>Перевод С. Вафа</i>	254
Муньис, Мауро	
Получка. <i>Перевод Е. Родзевич</i>	266
Ожог. <i>Перевод Е. Родзевич</i>	270
В поисках работы. <i>Перевод Е. Родзевич</i>	274
Праздник. <i>Перевод Е. Родзевич</i>	278
Нуньес, Антонио	
Страда. <i>Перевод С. Вайнштейна</i>	284
Первое свидание. <i>Перевод М. Абезгауз</i>	296
Нуньес, Мерседес	
Тюрьма Вептас. <i>Перевод С. Вафа</i>	304
Ойо, Артуро дель	
Первая охота. <i>Перевод Е. Гальперина</i>	332
Нора. <i>Перевод Е. Гальперина</i>	339
Понс Прадос, Эдуардо	
История как история. <i>Перевод С. Вайнштейна</i>	344
Рабиннад, Аптопнио	
Бомбардировки. <i>Перевод А. Старостина</i>	352
Очередь. <i>Перевод А. Старостина</i>	354
Женщина в трауре. <i>Перевод А. Старостина</i>	356
Убийство акации. <i>Перевод А. Старостина</i>	358
Рубио, Родригес	
Расставание. <i>Перевод С. Вайнштейна</i>	360
Суньига, Апхель	
Хуана — сестра и мать. <i>Перевод М. Абезгауз</i>	368
Суньига, Хосе Эдуардо	
Веточка коралла. <i>Перевод Е. Гальперина</i>	375
Товар, Хулио	
Хроника тихой улицы. <i>Перевод Э. Чашинной</i>	385

Летняя почва. Перевод Э. Чашинной	391
Кривой Мигель. Перевод Э. Чашинной	396
Фернан Гомес, Фернандо Время и память. Перевод Е. Родзевич	402
Фернандес Косеро, Педро Эмилио Вслед за мертвецами, или замурованный. Перевод Е. Род- зевич	410
Фернандес де ла Регера, Рикардо Одиночество. Перевод Е. Родзевич	416
Машина. Перевод Е. Родзевич	419
Фернандес Сантос, Хесус Далеко от Мадрида. Перевод С. Вайнштейна	425
Эскобар, Хулио Ребенок — прежде всего. Перевод Е. Гальперина	430

С каталанского

Педроло, Мануэль де Помнишь волка... Перевод А. Сиповича	434
Бумаги. Перевод А. Сиповича	442
Эсприу, Сальвадор Летиция. Перевод А. Сиповича	451
Коротко об авторах	468